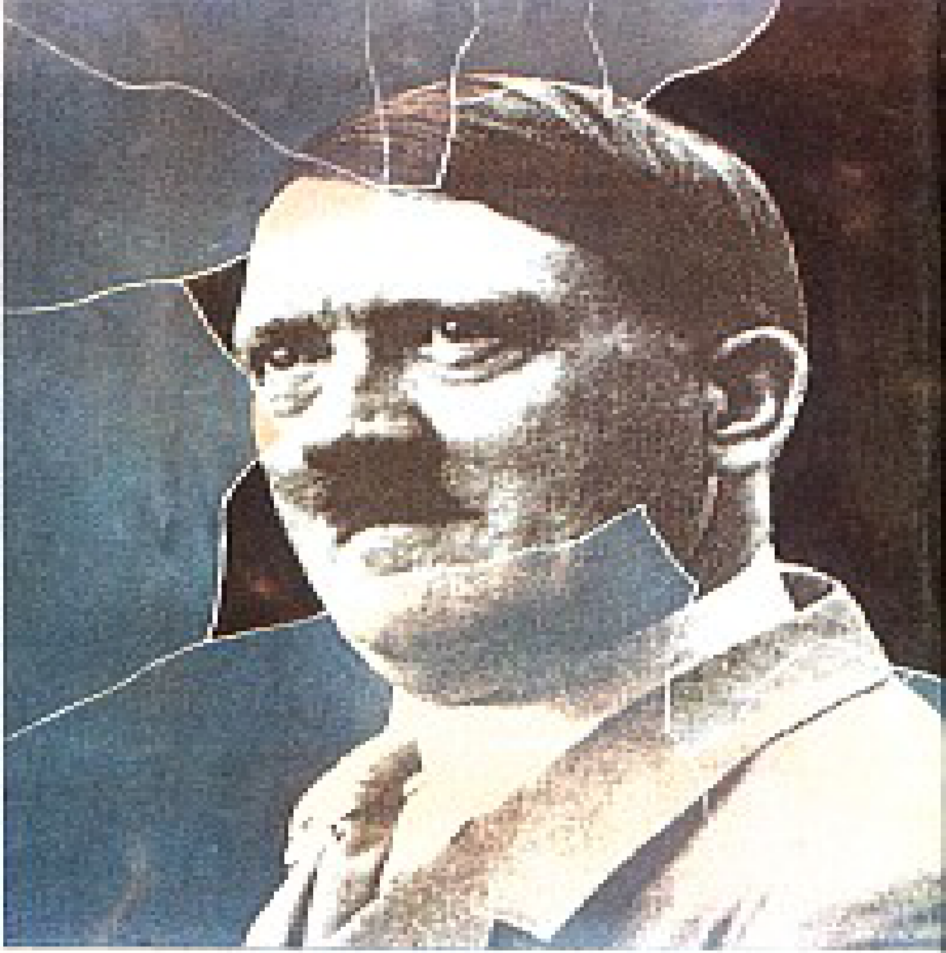
XX ВЕК. ФАШИЗМ



И.Фест

АДОЛЬФ ГИТЛЕР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Теперь жизнь Гитлера действительно разгадана», — утверждалось в одной из популярных западногерманских газет в связи с выходом в свет книги И. Феста.

Вожди должны соответствовать мессианским ожиданиям масс, необходимо некое таинство явления. Поэтому новоявленному мессии лучше всего возникнуть из туманности, сверкнув подобно комете. Не случайно так тщательно оберегались от постороннего глаза или просто ликвидировались источники, связанные с происхождением диктаторов, со всем периодом их жизни до «явления народу», физически уничтожались люди, которые слишком многое знали. Особенно рьяно такую стратегию «выжженной земли» вокруг себя проводил Гитлер.

Так возникает соблазн для двух типов интерпретации, в принципе родственных, несмотря на внешнюю противоположность. Первый из них крайне упрощённый, на основе элементарной рационализации мотивов во многом аномальной личности; второй — перенесение поисков в область подсознательного или даже оккультного.

Автору этой биографии Гитлера удалось счастливо избежать и той, и другой крайности. Его книга уникальна по глубине проникновения в мотивацию поведения и деятельности Гитлера, именно это и должно привлечь многих читателей, которых едва ли удовлетворит простая сводка фактов.

- Иоахим К. Фест
  - КНИГА ТРЕТЬЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
  - КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
  - ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАССУЖДЕНИЕ II:
  - КНИГА ПЯТАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88

- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132

- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176

- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220

- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264

- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308

- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352

- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396

- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440

- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484

- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528

- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572

- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602

Иоахим К. Фест
Адольф Гитлер. В трех томах. Том 2

КНИГА ТРЕТЬЯ
ГОДЫ ОЖИДАНИЯ

Глава I
ВИДЕНИЕ

Вы должны знать, что у нас
есть историческое видение событий.
Адольф Гитлер

Ландсберг. — Чтение. — «Майн кампф». — Программное честолюбие Гитлера. — Стиль и тон. — Революция нигилизма? — Константы гитлеровской картины мира — Великая болезнь мира. — Железный закон природы. — Учение о творческих расовых зёрнах. — Повелитель антимира. — Идеология и внешняя политика. — Поворот на Восток. — Господство над миром. — Выход из тюрьмы.

Лавровый венок, который Гитлер повесил на стене своей камеры в крепости Ландсберг, представлял собой нечто большее, нежели вызывающий символ неизменности его замыслов. Вынужденное выключение из текущих политических событий, вызванное тюрьмой, пошло ему на пользу, как в политическом, так и в личном плане, потому что позволило избежать тех последствий, что были уготованы партии катастрофой 9 ноября, и следить за распрями своих раздираемых ожесточённым соперничеством соратников с безопасной, да к тому же ещё и окружённой нимбом национального мученика дистанции. В то же время оно помогло ему после нескольких лет чуть ли не исступлённой неугомонности прийти в себя — прийти к вере в себя и свою миссию. Улёгся разгул эмоций, и начало — сперва несмело, а по ходу процесса все увереннее — выкристаллизовываться притязание на роль руководящей фигуры правого крыла «фелькише», все более обретая при этом самоуверенные контуры единственного, наделённого мессианскими способностями фюрера. Последовательно и с глубоким проникновением в роль Гитлер приучает к чувству своей избранности сначала своих «сокамерников», и подобное усвоение роли придаёт, начиная с этого момента, его облику те сходные с маской, застывшие черты, которые уже не допускают ни улыбки, ни нерасчётливого жеста, ни необдуманной позы. На

удивление неосязаемой, почти абстрактной персоной без лица станет он отныне и впредь появляться на сцене, будучи её неоспоримым хозяином. Ещё до ноябрьского путча Дитрих Эккарт жаловался на folie de grandeur[1] Гитлера, на его «мессианский комплекс»[2]. Теперь же тот все более сознательно застывает в позе статуи, отвечавшей монументальным размерам его представления о величии и фюрерстве.

Отбывание наказания не было помехой этому планомерному процессу его самостилизации. На последовавшем вслед за первым дополнительном процессе были осуждены ещё около сорока участников путча, которых затем также отправили в Ландсберг. Среди них были члены «ударного отряда Гитлера» Берхтольд, Хауг, Морис, затем Аман, Гесс, Хайнес, Шрек и студент Вальтер Хевель. Начальство тюрьмы предоставляло Гитлеру в рамках этого круга свободное, даже в чём-то компанейское времяпрепровождение, что максимально способствовало его персональным амбициям. В обеденное время он сидел во главе стола под знаменем со свастикой, его камера убиралась другими заключёнными, а вот в играх и лёгких работах он участия не принимал. Доставлявшиеся в тюрьму после него единомышленники должны были «незамедлительно докладывать о себе фюреру», и регулярно в десять часов, как рассказывается в одном из свидетельств, проходила «летучка у шефа». В течение дня Гитлер занимался поступавшей корреспонденцией. Одно из полученных хвалебных писем принадлежало перу молодого доктора филологии Йозефа Геббельса, который так отзывался о заключительной речи Гитлера на процессе: «То, что Вы там сказали, это — катехизис новой политической веры для пребывающего в отчаянии, рушащегося, лишённого божества мира… Некий бог поручил Вам сказать, чем мы страдаем. Вы облекли нашу муку в слова избавления… „ Писал ему и Хьюстон Стюарт Чемберлен, в то время как Розенберг поддерживал во внешнем мире память об узнике, распространяя „открытку с портретом Гитлера“, «миллионами штук как символом нашего фюрера“[3]

Гитлер часто прогуливался в тюремном саду; у него все ещё трудности со стилем — сохраняя на лице мину цезаря, он принимал хвалу со стороны своих верноподданных, будучи одетым в кожаные шорты, куртку от национального костюма, а нередко и не сняв с головы шляпу. Когда устраивались так называемые дружеские вечера, и он выступал на них, то «за дверями на лестнице молча толпились служащие крепости и внимательно слушали»[4]. Словно и не было никогда поражения, он развивал перед слушателями легенды и видения своей жизни,

а также — в весьма характерном сочетании — практические планы по созданию того государства, чьим единоличным диктатором он, как и прежде, видел себя; например, идея магистральных автомобильных дорог-автобанов, как и малолитражек «Фольксваген», согласно более позднему свидетельству, родилась именно в ту пору. Хотя время для посещений в тюрьме ограничивалось шестью часами в неделю, Гитлер по шесть часов в день принимал своих сторонников, просителей и политических партнёров, превративших крепость Ландсберг в место паломничества; немало было среди них и женщин — не без оснований об этой тюрьме говорили потом как о «первом Коричневом доме»[5]. На 35-летие Гитлера, которое отмечалось вскоре после окончания процесса, цветы и посылки знаменитому узнику заполнили несколько помещений.

Вынужденная передышка послужила в то же время для него и своего рода поводом для «инвентаризации», в ходе которой он старался навести порядок в неразберихе своих аффектов и складывал обрывки когда-то читанного и наполовину усвоенного, дополняя все это плодами текущего чтения, в чертёж некой мировоззренческой системы: «Это время дало мне возможность разобраться с различными понятиями, которые до того я ощущал лишь инстинктивно»[6]. О том, что им действительно было прочитано, можно судить только по косвенным доказательствам и свидетельствам из третьих рук; сам же он в своей постоянной заботе самоучки, как бы его не заподозрили в духовной зависимости от кого-то, чрезвычайно редко говорил о книгах и любимых авторах — многократно и в различной связи упоминается только Шопенгауэр, с чьими произведениями он якобы не расставался на войне и мог пересказывать из них большие куски; то же относится к Ницше, Шиллеру и Лессингу. Он всегда избегал цитирования и создавал тем самым одновременно впечатление об оригинальности своих познаний. В автобиографическом очерке, датированном 1921 годом, он утверждал, что в юности занимался «основательным штудированием народнохозяйственных учений, а также всей имевшейся, в то время антисемитской литературы», и заявлял: «На 22-м году жизни я с особым рвением набросился на военно-политические труды и буквально в течение нескольких лет не упускал ни малейшей возможности самым тщательным образом заниматься всеобщей всемирной историей»[7], однако при этом никогда не упоминается ни один автор, ни одно название книги, всегда речь идёт — что так характерно для неконкретной формы выражения его гигантомании — о целых областях знаний, якобы усвоенных им. В той же связи — и вновь с указующим в даль

перстом — он называет историю искусства, историю культуры, историю архитектуры и «политические проблемы», однако нетрудно предположить, что свои познания он до той поры приобретал лишь как компиляцию из вторых и третьих рук. Ханс Франк, говоря о временах заключения в ландсбергской тюрьме, назовёт Ницше, Чемберлена, Ранке, Трайчке, Маркса и Бисмарка, а также военные мемуары немецких и союзнических государственных деятелей. Но вместе с этим и до этого он черпал элементы своего миропонимания и из тех отложений, что наносились потоком мелкотравчатой псевдонаучной литературы из весьма сомнительных источников, чей точный адрес сегодня уже едва ли возможно определить, — расистские и антисемитские труды, сочинения по теории германского духа, мистике крови и евгенике, а также историко-философские трактаты и дарвинистские учения.

Достоверной в свидетельствах многочисленных современников, касающихся вопроса о чтении Гитлера, является, в принципе, лишь та интенсивность, с которой, как рассказывают, он утолял свой книжный голод. Ещё Кубицек говорил, что Гитлер был записан в Линце одновременно в трех библиотеках и он помнит его не иначе как «окружённого книгами», а по выражению самого Гитлера он либо «набрасывался» на книги, либо «проглатывал» их[8]. Однако из его речей и сочинений — вплоть до «застольных бесед», — равно как и из воспоминаний его окружения, перед нами встаёт человек с весьма характерной духовной и литературной индифферентностью; среди примерно двух сотен его монологов за столом лишь вскользь упоминаются имена двух-трех классиков, а в «Майн кампф» лишь однажды появляется ссылка на Гёте и Шопенгауэра, да и то в достаточно безвкусном антисемитском контексте. Познание и впрямь для него ничего не значило, он не ведал ни связанных с ним высоких чувств, ни кропотливых трудов, для него была важна утилитарность знания, а то, что он назвал и описал как «искусство правильного чтения», никогда не было чем-то иным, кроме поиска формул для заимствования, а также весомых доказательств для собственных предубеждений — «подходящим по смыслу вкраплением в картину, которая в каком-то виде уже существовала всегда»[9].

Лихорадочно и с той жадностью, с какой он набрасывался на горы нанесённых книг, накинулся он с начала июня на работу над «Майн кампф» — первая часть этой книги была завершена уже через три с половиной месяца. Гитлер говорил, что он «должен был написать обо всём, что беспокоило душу». «До поздней ночи

стучала пишущая машинка, и можно было слышать, как он в узких стенах диктовал текст своему другу Рудольфу Гессу. Уже готовые главы он потом обычно читал вслух… в субботние вечера сидевшим вокруг него подобно апостолам вокруг Христа товарищам по судьбе»[10]. Задуманная поначалу как отчёт об итогах «четырех с половиной лет борьбы», эта книга превратилась затем в значительной мере в своего рода смесь из биографии, идейного трактата и учения о тактике действий и имела одновременно своей целью изготовление легенды о фюрере. В его мифологизирующем изображении жалкие, затхлые годы до вступления в политику приобретали благодаря смело вплетённым узорам нужды, лишений и одиночества характер некой фазы аккумуляции и внутренней подготовки, как бы тридцатилетнего пребывания в пустыне, предусмотренного Провидением. Макс Аман, будущий издатель книги, явно ожидавший получить автобиографию с сенсационными подробностями, был поначалу чрезвычайно разочарован рутинностью и многословием этой скучной рукописи.

Однако тут следует исходить из того, что честолюбие Гитлера с самого начала целило куда выше, нежели это мог разглядеть Аман. Автор хотел не разоблачать, а интеллектуально подкрепить только что обретённое притязание на фюрерство и представить себя в виде прославлявшегося им же самим гениального сочетания политика и программолога. А пассаж, содержащий ключ к этим его дальним замыслам, находится в неприметном месте в середине первой части книги:

> «Если искусством политики действительно считается искусство возможного, тогда программолог относится к тем, о коих говорят, что богам только нравится, когда они требуют и хотят невозможного… В рамках продолжительных периодов истории человечества может однажды произойти так, что политик обручится с программологом. Но чем сердечнее это слияние, тем мощнее и сопротивление, противостоящее затем действиям политика. Он работает уже не на потребности, которые ясны любому взятому наугад мещанину, а на цели, которые понятны лишь немногим. Поэтому его жизнь бывает тогда раздираема любовью и ненавистью…
>
> И тем реже (бывает) успех. Но если он всё-таки улыбнётся в веках одному, то, может быть, тогда в свои поздние дни тот будет уже окружён лёгким мерцанием грядущей славы. Правда, эти великие бывают только

марафонцами истории; лавровый венец современности коснётся разве что висков умирающего героя»[11].

То, что это окружённое лёгким мерцанием явление есть не кто иной, как он сам, и является постоянным, назойливым мотивом книги, а картина умирающего героя — это, скорее, попытка трагически мифологизировать неудачу, которую потерпел он сам. Гитлер посвящает себя сочинительству с чрезвычайной, жаждущей аплодисментов серьёзностью и явно старается доказать этой книгой не в последнюю очередь и то, что вопреки незаконченной школе, вопреки провалу при поступлении в академию и вопреки фатальному прошлому в виде мужского общежития он находится на уровне буржуазного образования, что он глубоко мыслит и наряду с интерпретацией современности может представить и свой проект будущего, в этом и заключается претенциозное и главное назначение книги. За фасадом звучных слов явственно проглядывает озабоченность полуобразованного человека, как бы читатель не усомнился в его интеллектуальной компетентности; примечательным образом цепляет он, дабы придать монументальность своему языку, часто целые ряды существительных друг за другом, многие из которых он образует от прилагательных или глаголов, так что их содержание кажется пустым и искусственным: «Благодаря представлению мнения, что на пути якобы достигнутого демократическими решениями одобрения… „ — в общем и целом это язык, лишённый дыхания, лишённый свободы, напряжённый, как в боевой стойке: «Углубляясь по-новому в теоретическую литературу этого нового мира и пытаясь разобраться в возможных последствиях оной, я сравнил затем последние с фактическими явлениями и событиями их эффективности в политической, культурной и экономической жизни… Постепенно я получил таким образом своё собственное подтверждение, правда, и тогда уже прямо-таки гранитного фундамента, так что я с того времени не нуждался больше в том, чтобы осуществлять корректировку моей внутренней убеждённости в этом вопросе…“[12]

И многочисленные стилистические огрехи, так и не устранённые, несмотря на немалые усилия по редактуре, которой занимались несколько человек из его окружения, тоже имеют своим истоком маскируемую суесловием псевдонаучность автора. Вот он и пишет, что «крысы политической отравленности нашего народа» выгрызли и без того скудные школьные знания «из сердец и памяти широких масс», или что «флаг рейха» поднялся «из чрева войны», а люди у него «берут грех прямо на бренную плоть». Рудольф Ольден как-то обратил внимание на то, какое

насилие над логикой совершает стилистическое утрирование Гитлера. Вот как пишет он, например, о нужде: «Кто никогда не побывал сам в тисках этой душащей гадюки, тот никогда не познакомится с её ядовитыми зубами». В этих нескольких словах столько ошибок, что их с лихвой хватило бы на целое сочинение. У гадюки нет тисков, а у змеи, которая может обвиваться вокруг человека, нет ядовитых зубов. И если уж человека душит змея, то тем самым она никак не знакомит его со своими зубами[13]. Но одновременно при всём этом высокомерном беспорядке мыслей в книге есть и остроумные соображения, неожиданно выступающие из глубокой ирреальности, и меткие формулировки, и впечатляющие картины — вообще для этой книги характерны в первую очередь противоречивые, спорящие друг с другом черты. Её застылость и озлоблен ность поразительным образом контрастируют с ненасытной тягой к плавному потоку речи, а постоянно ощущаемое стремление к стилизации — с одновременным отсутствием самоконтроля, логика — с тупостью, и лишь монотонно и маниакально зацикленный на себе эгоцентризм, только подтверждаемый отсутствием на страницах этой толстенной книги людей, не имеет в ней своего антипода. Но как ни утомительно и трудно читать её в целом, все же она даёт примечательно точный портрет своего автора, постоянно озабоченного, как бы его не разглядели, но именно благодаря этому, собственно говоря, и дающего возможность себя разглядеть.

Вероятно, осознав изобличающий характер своей книги, Гитлер впоследствии попытается даже отмежеваться от неё. Как-то он окрестил «Майн кампф» стилистически неудачной чередой передовиц для газеты «Фелькишер беобахтер» и презрительно обозвал её «фантазиями за решёткой»: «Во всяком случае, я знаю одно: если бы я в 1924 году мог предвидеть, что стану рейхсканцлером, то не написал бы этой книги». Правда, одновременно он дал понять, что это продиктовано только лишь чисто тактическими или стилистическими соображениями: «По содержанию я не стал бы менять ничего»[14].

Претенциозный стиль книги, вычурные, тянущиеся, как черви, периоды, в которых витиевато соединяются буржуазная тяга блеснуть учёностью и напыщенность австрийского канцелярита, несомненно, весьма затрудняли доступ к ней и имели в конечном итоге своим результатом, что, напечатанная тиражом почти в десять миллионов экземпляров, она разделила участь любой обязательной и придворной литературы, т. е. оставалась непрочитанной. Не менее отталкивающе действовала, по всей видимости, и лишённая воздуха, пропитанная все теми же

мрачными галлюцинациями почва сознания, на которой процветали все его комплексы и чувства и которую Гитлер, надо полагать, мог покидать только как оратор, в своих препарированных выступлениях, — удивительно затхлый запах бьёт в нос читателю со страниц этой книги, особенно ощутим он в главе о сифилисе, но, помимо этого, и в частых грязных жаргонизмах, и в избитых образах, что составляет в целом трудно определяемый, но совершенно очевидный запах бедности. Манящие запретные представления зашоренного молодого человека, попадавшего вследствие войны и бурной активности в последующие годы вплоть до Ландсбергской тюрьмы разве что в объятия подружек материнского типа и охваченного, по свидетельству из его окружения, страхом «стать предметом пересудов из-за женщины»[15], отражаются в той на удивление душной атмосфере, которой он наделяет свою картину мира. Все представления об истории, политике, природе или человеческой жизни сохраняют тут страхи и вожделения бывшего обитателя мужского общежития — возбуждающие галлюцинации о Вальпургиевой ночи при затянувшемся половом созревании, когда мир предстаёт в картинах совокупления, непотребности, извращения, осквернения и кровосмешения:

> «Конечно, еврейской целью является денационализация, сплошная гибридизация всех других народов, снижение расового уровня наивысших, а также покорение этого расового месива путём истребления народной интеллигенции и замены её представителями собственного народа… Планомерно портя женщин и девушек, сам он (еврей) не останавливается и перед тем, чтобы в ещё большем масштабе разрушать кровные узы у. других. Евреи были и есть те, кто привозит на берега Рейна негра, — все с той же задней мыслью и откровенной целью — наплодить ублюдков и разрушить тем самым ненавидимую ими белую расу, свергнуть её с её культурной и политической высоты, а самим возвыситься до её хозяев… Если бы физическая красота не была сегодня совершенно оттеснена на задний план нашей безвкусной модой, то совращение сотен тысяч девушек кривоногими, отвратительными еврейскими выродками было бы просто невозможным… Планомерно оскверняют эти чёрные паразиты народов наших неопытных, юных, белокурых девушек и разрушают тем самым нечто уже невосполнимое на этом свете… Мировоззрению „фелькише“ следует, наконец, добиться

> наступления той благородной эпохи, когда люди будут заботиться уже не о селекции собак, лошадей и кошек, а о возвышении самого человека…»[16]

Откровенно невротические испарения этой книги, её вычурность и беспорядочная фрагментарность породили, однако, и то пренебрежение к ней, которое долгое время частично определяло и такое же отношение к национал-социалистической идеологии. «Никто не принимал книгу всерьёз, не мог принимать её всерьёз, да и вообще не понимал этот стиль, — писал Герман Раушнинг и объяснял точные причины этого. — То, чего, собственно, хочет Гитлер… в „Майн кампф“ не содержится»[17]. Не без стилистического изящества Раушнинг формулирует теорию, толкующую национал-социализм как «революцию нигилизма». У Гитлера, считает он, и руководимого им движения не было никакой идеи или даже хотя бы приблизительно законченного мировоззрения, они брали себе в услужение только имевшиеся настроения и тенденции, если оные могли обещать им эффективность и сторонников. Национализм, антикапитализм, культ народных обрядов, внешнеполитические концепции и даже расизм и антисемитизм были открыты для постоянно подвижного, абсолютно беспринципного оппортунизма, который ничего не уважал и не боялся, ни во что не верил и как раз самые торжественные свои клятвы нарушал наиболее беззастенчиво. Тактическое клятвопреступление национал-социализма, говорит Раушнинг, буквально не имеет границ, а вся его идеология — это всего лишь фокусничанье с шумом на авансцене, призванное замаскировать стремление к власти, которое одно только и является всегда самоцелью и любой успех рассматривает исключительно как шанс и ступеньку к новым, диким и честолюбивым авантюрам — без смысла, без конкретной цели и без остановки: «Это движение в своих движущих и направляющих силах полностью лишено предпосылок, лишено программы, оно готово к действиям — инстинктивным со стороны его лучших стержневых отрядов и в высшей степени обдуманным, хладнокровным и изощрённым со стороны его руководящей элиты. Не было и нет такой цели, от которой национал-социализм не был готов отказаться в любой момент или которую он не был бы готов в любой момент выдвинуть во имя движения». Точно так же говорили в 30-е годы и в народе, с насмешкой называя идеологию национал-социализма «миром, где воля есть — ума не надо».

Правильным тут было и остаётся, пожалуй, то, что национал-социализм всегда демонстрировал высокую степень готовности

приспосабливаться, а сам Гитлер — столь характерную для него индифферентность в программных и идейных вопросах. Двадцати пяти пунктов — как бы они ни устарели — он придерживался (по его собственному признанию) только из тех тактических соображений, что любое изменение запутывает, а его отношение к программам вообще было просто равнодушным; так, например, об основном труде своего главного идеолога Альфреда Розенберга, считавшемся одной из основополагающих работ национал-социализма, он ничтоже сумняшеся заявил, что «прочитал всего лишь небольшую часть, потому что… написан он труднодоступным языком»[18]. Но если национал-социализм не разработал никакой ортодоксии и для доказательства правоверности довольствовался обычно просто коленопреклонением, то не был, однако, и некой исключительно тактически обусловленной волей к успеху и господству, возводившей себя в абсолют и бравшей на вооружение идеологические конструкции в зависимости от меняющихся потребностей. Скорее, тут было и то, и другое, национал-социализм был одновременно и практикой господства, и доктриной, причём одно входило в другое и многократно переплеталось друг с другом, но даже и в самых отвратительных из дошедших до нас признаниях в бессмысленной жажде власти Гитлер и его ближайшие окружение все равно всегда проявляли себя пленниками своих предрассудков и господствовавших над ними утопий. Как национал-социализм не впитал в себя ни единого мотива, который не был бы продиктован возможностями преумножения власти, так и его решающие проявления власти нельзя понять без определённого, порою, правда, беглого и лишь с большим трудом осязаемого идеологического мотива. По ходу своей удивительной карьеры Гитлер был обязан тактической сноровке всем, чем вообще можно быть обязанным тактике, — более или менее впечатляющим сопутствующим обстоятельствам успеха. А вот успеху как таковому приходится, напротив, иметь дело с целым комплексом идеологизированных страхов, надежд и видений, чьей жертвой и эксплуататором и был Гитлер, а также с принудительной силой мысли, каковую он умел придавать своим представлениям по некоторым коренным вопросам истории и политики, власти и существования человека.

Насколько недостаточна и неудачна в литературном отношении оказалась поэтому попытка с помощью «Майн кампф» сформулировать какое-то мировоззрение, настолько же несомненен и тот факт, что эта книга содержит — пусть и в отрывочной и неупорядоченной форме — все элементы национал-социалистического мировоззрения. Все, чего хотел Гитлер, уже

есть в ней, даже если современники не заметили этого. Тот, кто умеет приводить в порядок разбросанные части и вычленять их логические структуры, получает в итоге «идейное построение, от последовательности и консистенции которого перехватывает дыхание»[19]. И хотя Гитлер в последующие годы, после отсидки в ландсбергской тюрьме, ещё доводил свою книгу до кондиции и в первую очередь приводил её в систему, но в целом дальнейшего развития она уже не получила. Изначально зафиксированные формулировки остались неизменными, они пережили годы восхождения и годы власти и проявляли — далеко за пределами всей нигилистической позы — уже перед лицом конца свою парализующую силу: стремление к расширению пространства, антимарксизм и антисемитизм, сцепленные друг с другом дарвинистской идеологией борьбы, образовывали константы его картины мира и определяли как его первые, так и его последние известные нам высказывания.

Правда, это была картина мира, которая не формулировала ни какой-то новой идеи, ни какого-нибудь представления о социальном счастье, она являлась скорее произвольной компиляцией многочисленных теорий, относившихся ещё с середины XIX века к распространённой составной части одиозной вульгарно-националистической науки. Все, что «память-губка» Гитлера впитала в себя в предыдущие периоды жадного чтения, всплыло теперь зачастую в самых неожиданных сочетаниях и новых взаимосвязях — это было смелое и уродливое строение не без мрачных закоулков, выросшее из идейного сора эпохи, и оригинальность Гитлера проявилась тут как раз в способности насильственно соединять разнородное и едва ли совместимое и всё-таки придать лоскутному ковру своей идеологии плотность и структуру. Наверное, можно было бы сформулировать так: его ум едва ли производил мысли, но он наверняка генерировал огромную энергию. Она отфильтровывала и закаляла эту идейную смесь и придавала ей ледниковую первозданность. Хью Тревор-Роупер, нарисовав запоминающуюся картину, назовёт призрачный мир этого духа устрашающим, «поистине величественным в его гранитной застылости и всё же жалким по его беспорядочной перегруженности — это словно какой-то исполинский варварский памятник, выражение огромной силы и дикого духа, окружённый грудой прогнившего мусора старыми банками и дохлыми тараканами, золой, шелухой и сором — интеллектуальной осыпью веков»[20].

Наиболее весомой при этом была, пожалуй, способность Гитлера каждой мыслью ставить вопрос о власти. В

противоположность лидерам движения «фелькише», которые потерпели фиаско не в последнюю очередь в результате своих идеологических изысков, он рассматривал сами мысли как «всего лишь теорию» и присваивал их себе только тогда, когда в них проглядывало практическое, организаторское зерно. То, что он называл «мышлением с точки зрения партийной целесообразности», было его умение придавать всем идеям, тенденциям и даже слепой вере ориентированную на власть, по сути своей политическую форму.

Он сформулировал оборонительную идеологию уже давно перепуганного буржуа, ограбив собственные представления последнего и дав в его распоряжение агрессивное и целеустремлённое учение-действие. Мировоззрение Гитлера уловило все кошмары и интеллектуальные моды буржуазного века: великий, продолжавший пагубно действовать ещё с 1789 года и актуализированный в России, как и в Германии, ужас перед революцией слева в облике социального страха; психоз австрийского немца перед чужим засильем в облике расово-биологического страха; сотни раз выражавшееся опасение «фелькише», что неповоротливые и мечтательные немцы окажутся побеждёнными в состязании народов, в облике национального страха и, наконец, и тот страх эпохи, которым была охвачена буржуазия, видя, что время её величия проходит, а сознание уверенности рушится. «Нет больше ничего прочного, — восклицал Гитлер, — нет больше ничего крепкого у нас внутри. Все только внешнее, все пробегает мимо нас. Беспокойным и торопливым становится мышление нашего народа. Вся жизнь совершенно разрывается… «[21]

Его размашистый темперамент, искавший безграничных пространств и охотно вращавшийся в эпохах оледенения, расширил это основное чувство страха до симптома одного из тех великих кризисов мира, в которых рождаются или гибнут эпохи и ставится на карту сама судьба человечества: «Этому миру конец!» Гитлер был словно одержим представлением о великой болезни мира, о вирусах, о ненасытных термитах, о язвах человечества; и когда он потом обратился к учению Гербигера о всемирном оледенении, то привлекло его тут, прежде всего то, что историю Земли и развитие человечества оно объясняло последствиями исполинских космических катастроф. Словно зачарованный, предчувствовал он близящееся крушение, и из этого ощущения грядущего всемирного потопа, свойственного его картине мира, рождалась вера в своё призвание, мессианская, обещавшая всемирное благо и считавшая себя ответственной за это как Необъяснимая последовательность, с которой он во время войны

до самого последнего момента и вопреки какой-либо военной необходимости продолжал дело уничтожения евреев, диктовалась в своей основе отнюдь не только его болезненным упрямством — скорее, она имела своим обоснованием представление, что он участвует в битве титанов, которой подчинены все текущие интересы, а сам он является той «иной силой», что призвана спасти Вселенную и отбросить зло «назад к Люциферу»[22].

Представление об исполинском, космическом противоборстве доминировало над всеми тезисами и позициями его книги, насколько бы абсурдными или фантастическими они ни казались, — они придавали метафизическую серьёзность его суждениям и выводили эти суждения на мрачно-грандиозный сценический фон: «Мы можем погибнуть, может быть. Но мы унесём с собой весь мир. Всемирный огонь Муспилли, вселенский пожар», — так выразился он однажды, будучи в таком апокалипсическом настроении. В «Майн кампф» есть немало пассажей, где он придаёт своим заклинаниям космический характер, образно включая в них всю Вселенную. «Еврейское учение марксизма, — пишет он, — став основой мироздания, привело бы к концу всякого мыслимого людьми порядка», и именно бессмысленность этой гипотезы, возводящей идеологию в принцип порядка мироздания, демонстрирует непреодолимую тягу Гитлера мыслить космическими масштабами. В драматические события им вовлекаются «звезды», «планеты», «всемирный эфир», «миллионы лет», а кулисами тут служат «сотворение», «земной шар», «царство небесное»[23].

Это была почва, позволявшая убедительным образом защищать принцип безжалостной борьбы всех против всех и победы сильных над слабыми, поднимая его до уровня своего рода эсхатологического дарвинизма. «Земля, — любил говорить Гитлер, — как раз и есть что-то наподобие переходящего кубка и поэтому всегда стремится попасть в руки самого сильного. И так на протяжении десятков тысяч лет…»[24] И он полагал, что открыл своего рода всемирный закон, заключавшийся в перманентном и смертельном конфликте всех со всеми:

> «Природа… поначалу заселяет наш земной шар живыми существами и следит за свободной игрой сил. Наиболее крепкий в мужестве и труде получает затем от неё как её любимое дитя право господства в существовании… Только прирождённый слабак может воспринимать это как что-то ужасное, но потому-то он и является слабым и ограниченным человеком; ибо если бы не царил этот закон, то было бы ведь немыслимым

> любое представимое развитие всех органических живых существ к более высокой ступени… В конечном итоге извечно побеждает только стремление к самосохранению. Под ним так называемая гуманность как выражение помеси глупости, трусости и кичливого умничанья тает, словно снег под мартовским солнцем. В извечной борьбе человечество выросло — в вечном мире оно погибнет».

Этот «железный закон природы» являлся истоком и стержнем всех его соображений — он определял представление, что история есть не что иное, как борьба народов не на жизнь, а на смерть за жизненное пространство и что в этой борьбе допустимы «все мыслимые средства»: «уговоры, хитрость, ум, настойчивость, доброта, лукавство, но и грубая сила тоже», равно как и то, что между войной и политикой, в принципе, нет никакой разницы, более того — «последняя цель политики — это война»[25]. Тот же закон определил и понятия права и морали, которые, считал он, уважают только то, что совпадает с нормами природных процессов; этот закон инспирировал и аристократическую вождистскую идею, а также теорию расовой селекции лучших с её национально-агрессивными акцентами — огромный «лов рыбы сетями в поисках нужных кровей» собирался организовать в Европе Гитлер, чтобы поставить белокурый и бледнокожий человеческий материал на службу «распространению базы собственной крови» и стать непобедимым. И в плане этой философии тотальной борьбы подчинение значило больше, нежели мысль, готовность к действию была лучше, нежели осмотрительность, а слепой фанатизм становился высочайшей добродетелью. «Горе тому, кто не верует!» — не уставал повторять Гитлер. Даже брак становился для него союзом ради самоутверждения, а дом — «крепостью, откуда ведётся битва за жизнь». Своими грубыми аналогиями между животным миром и человеческим обществом Гитлер воспевал превосходство беспощадных над тонкими в эмоциональном отношении натурами, превосходство силы над духом: обезьяны, говорил он, «затаптывают насмерть любого чужака в их стае. А то, что верно для обезьян, должно быть в ещё большей степени верно и для людей»[26].

О том, что в такого рода высказываниях не было никакой иронии, свидетельствует тот авторитетный тон, с которым он обосновывает привычками обезьян в еде своё собственное вегетарианство — обезьяны указали ему правильный путь к питанию. И брошенный взор на природу радует его, например,

таким уроком, что велосипед — это изобретение правильное, а дирижабль — «совершенно идиотское». Человеку не остаётся иного выбора, как исследовать законы природы и следовать им, «вообще нельзя придумать лучшей конструкции» нежели безжалостные законы отбора, царящие в джунглях. Природа не ведает аморальности. «Кто виноват, если кошка пожирает мышь?» — с издёвкой спрашивает он. Так называемая гуманность человека — это «только служанка его слабости и тем самым в действительности жесточайшая погубительница его существования». Борьба, подчинение, уничтожение неизбывны. «Одно существо пьёт кровь другого. Одно, умирая, питает собой другое. Нечего молоть вздор о гуманности»[27].

Едва ли где ещё полнейшее непонимание Гитлером права и претензии другого на собственное счастье, его крайняя аморальность раскрываются более ярко, нежели в этом «безусловном преклонении перед… божественными законами бытия. „ Разумеется, тут проявился и определённый элемент позднебуржуазной идеологии, которая пыталась компенсировать присущее времени чувство упадка и слабости прославлением жизни за её простоту, склоняясь к тому, чтобы принимать грубое и примитивное за первозданное. Правда, можно также и предполагать, что Гитлер в этом тождестве с законом природы пытался найти и некое помпезное оправдание своей индивидуальной холодности и эмоциональной бедности. Идентификация с надличностным принципом приносила облегчение и превращала борьбу, убийство и „кровепожертвование“ в акты смиренного исполнения некой божьей заповеди: „Борясь с евреем, я сражаюсь за дело Господа, « — говорится в «Майн кампф“, а почти двадцать лет спустя, в разгар войны и истребления, он не без нравственного удовлетворения заявит: «У меня всегда совесть была чиста“[28].

Ибо война и уничтожение были изначально необходимы, чтобы восстановить основы миропорядка, — в этом и заключалась мораль и метафизика его политики. И когда он пропускал перед своим взором, сам при этом, находясь на тех далёких и неопределённых расстояниях, кои он так любил, всемирные эпохи и раздумывал над причинами гибели народов и культур, он всякий раз сталкивался с непослушанием со стороны собственных инстинктов. Все застои, состояния слабости и катастрофы великих систем господства можно было объяснить неуважительным отношением к природе, в частности, смешением рас. Ведь в то время как каждое живое существо строго соблюдало врождённую тягу к чистоте расы и «шла синица к синице, зяблик к зяблику, аист к аистихе, полевая мышь к полевой мыши»,

человек подвергался искушению действовать вопреки законам природы и совершать биологическую измену. Это был тезис, послуживший предметом и сочинения Рихарда Вагнера «О женственном и человеческом», которое тот начал писать в Венеции в день своей смерти 11 февраля 1883 года, но так и не завершил. Импотенция и старческая смерть народов являлись ничем иным как местью преданного первобытного порядка. «Кровосмешение и обусловленное этим снижение расового уровня — единственная причина умирания всех культур; ибо люди гибнут не из-за проигранных войн, а из-за потери той сопротивляемости, которая присуща только чистой крови. То же, что не является в этом мире доброй расой, представляет собой плевелы»[29].

А за всем этим стояло учение о творческих расовых ядрах, согласно которому испокон веков многочисленные арийские элиты подчиняли себе тупые и прозябающие вне истории массы неполноценных народов, чтобы с помощью покорённых развивать свои гениальные способности. Эти подобные Прометею светлые фигуры лишь одни в состоянии создавать государства и творить культуры, «всякий раз вновь разжигая тот огонь, что познанием освещал ночь молчащих тайн и тем облегчая человеку путь вверх, во властелины над другими существами на этой земле». И только когда арийское расовое ядро начинало смешиваться с покорёнными, наступали нисхождение и упадок, ибо «человеческая культура и цивилизация на этом континенте неразрывно связаны с наличием ария. Его вымирание или гибель вновь опустит на нашем земном шаре тёмные завесы бескультурных времён»[30].

Именно в этом и заключалась опасность, грозящая человечеству. Но по сравнению с гибелью великих империй античности речь шла не только об исчезновении какой-то культуры, но и о конце человека как венца творения вообще. Ибо распад субстанции арийского ядра зашёл глубже, чем когда-либо, «германская кровь на нашей земле приходит постепенно к своему истощению», как с отчаянием выражается Гитлер, и вот, словно в предвкушении грядущего триумфа, со всех сторон подступают силы тьмы: «Я дрожу от страха за Европу, „ — восклицал он в одной из своих речей, и его взор видел уже, как старый континент «тонет в море крови и скорби“[31]. И опять же «трусливые умники и критики Природы» намеревались обойти её элементарные законы и были агентами «всеобъемлющего генерального наступления», ведущегося в разнообразнейших замаскированных формах. Коммунизм, пацифизм и Лига наций, вообще все

международные движения и учреждения, равно как и еврейско-христианская мораль и её велеречивые космополитические варианты не оставляют своих попыток внушить человеку, что он может победить природу, взять на себя роль повелителя собственных инстинктов и добиться вечного мира. Однако никто не в состоянии «восстать против небосвода»[32]. Неоспоримая воля природы, говорит он, одобряет существование народов, развитие их воинственности, деление на господ и рабов и жесточайшую борьбу за сохранение вида.

В системе попыток такого рода трактовки было нетрудно распознать следы Гобино, чьё уже упоминавшееся учение о неравенстве человеческих рас впервые сформулировало страх перед расовым хаосом Нового времени и связало закат всех культур с промискуитетом крови. И если расовый комплекс этого французского аристократа, его презрение к «порочной крови черни», почти не скрывали источника своего происхождения — чувства классовой ненависти уходящего со сцены господствующего слоя, то его эскиз, характеризующийся богатым идеями произволом и гениальной неопределённостью, на весьма продолжительное время вдохновляет графоманское сектантство эпохи и порождает богатую и разнообразную вторичную литературу, которая, опять же, включает того же Рихарда Вагнера с такими его эссе как «О героизме» или «О Парсифале»[33]. Примечательно, однако, что Гитлер, в свою очередь, сузил это учение, поставив его на службу своей демагогии и превратив в систему легкодоступных объяснений для всех отрицательных эмоций, страхов и кризисных явлений современности. Версаль и ужасы Республики Советов, тяготы капиталистического строя и современное искусство, ночная жизнь и сифилис стали теперь формами проявления того извечного противоборства, которое выражается в смертельном натиске низших расовых слоёв на людей благородной арийской крови. А за всем этим скрывался тот, кто был зачинщиком, стратегом и жаждущим власти врагом номер один, чью личину наконец-то распознали, — это доведённый до мифологических размеров пугающий образ Вечного Жида.

Это была инфернальная, карикатурная фигура-призрак, «короста по всей земле», смертный враг и «хозяин антимира», трудно поддающаяся объяснению конструкция, созданная одержимостью и психологическим расчётом[34]. В соответствии с теорией о единственном противнике Гитлер делает фигуру еврея воплощением всех мыслимых и немыслимых пороков и страхов, для него он — дело и его отрицание, теза и антитеза, он буквально «виновен во всём» — в диктатуре бирж и большевизме,

в идеях гуманности и тридцати миллионах жертв в Советском Союзе, а в одном из опубликованных во время заключения в крепости Ландсберг разговоров со вскоре умершим Дитрихом Эккартом Гитлер, ссылаясь на Книгу Пророка Исайи (19, 2-3) и Исход (12, 38), даже будет настаивать на тождественности еврейства, христианства и большевизма[35]. Ибо изгнание евреев из Египта явилось, считает он, результатом их попытки путём возбуждения черни фразами о гуманизме («Точь-в-точь как у нас») посеять революционные настроения, так что в Моисее нетрудно разглядеть первого вождя большевизма. И как Павел в определённом смысле изобрёл христианство, дабы погубить Римскую империю, так и Ленин использовал учение марксизма, чтобы положить конец современному порядку; источник же из Ветхого Завета выдаёт модель повторяющегося во все времена покушения евреев на более полноценную расу созидателей.

Возводя еврея в категорию виновного за все, универсального врага, Гитлер, похоже, никогда не упускал из виду технико-пропагандистский аспект своего антисемитизма. Если бы еврея не было, заметил он как-то, «нам следовало бы его выдумать. Нужен зримый враг, а не кто-то незримый»[36]. Но в то же время еврей был «пунктиком» его аффектов, патологической химерой, не слишком сильно отличавшейся по своему субъективному образу от созданного пропагандой образа дьявола. Он являлся эксцентрической проекцией всего того, что Гитлер ненавидел и чего вожделел. Вопреки всей своей макиавеллистской рациональности он видит в тезисе о стремлении евреев к мировому господству не только психологически эффективную фразу, но и, по всей видимости, ни много ни мало, ключ к пониманию всех явлений, и на этой «спасительной формуле»[37] строит он своё растущее убеждение в том, что только он один проник в суть великого кризиса времени и способен его излечить. Когда в конце июля 1924 года один национал-социалист из Богемии, специально приехавший в Ландсберг, чтобы побеседовать с Гитлером, спросил его, изменилось ли его отношение к еврейству, тот ответил: «Да, да, совершенно верно, что мой взгляд на способ борьбы с еврейством изменился. Я понял, что до сего времени я был слишком мягок! Работая над моей книгой, я пришёл к убеждению, что на будущее, чтобы мы могли рассчитывать на успех, следует применять самые жёсткие средства борьбы. Я убеждён, что это — вопрос жизни и смерти не только для нашего народа, но и для всех народов. Ибо жиды — это мировая чума»[38].

В действительности же беспримерное обострение и брутализация его комплекса ненависти — это, несомненно, не

только результат его раздумий в пору заключения в Ландсберге. Ещё в мае 1923 года Гитлер, выступая в цирке «Кроне», провозгласил: «Еврей — это, пожалуй, раса, но не человек. Он просто не может быть человеком в смысле образа и подобия Бога Вечного. Еврей — это образ и подобие дьявола. Еврейство означает расовый туберкулёз народов»[39]. Но собрав впервые воедино и в обозримой взаимосвязи многочисленные обрывки идей и эмоций, он обрёл интеллектуальную опору, а также непоколебимую уверенность идеолога, подпирающего здание своего мировоззрения убеждениями. И теперь это уже не просто демагогический галдёж, а демонстрация смертельной и канонизированной серьёзности, когда он отрицает право еврея считаться человеком и для обоснования своего убеждения привлекает понятия из жаргона паразитологии, — ведь сам закон природы требует применять против «паразита», «извечной пиявки» и «вампира народов» меры, имеющие свою собственную, не подлежащую отмене мораль, и логический вывод из системы его мышления заключается в том, что уничтожение и геноцид суть одновременно высочайший триумф этой морали. И Гитлер до последнего момента ссылается на познание им этих взаимосвязей и на радикальность, с коей он сделал выводы из этого познания, как на свою заслугу перед человечеством, ибо, как он считает, он не искал одной лишь славы завоевателя, как Наполеон, который все же был «всего лишь человеком, а не всемирным явлением»[40]. В конце февраля 1942 года, вскоре после конференции в Ванзее, где было принято так называемое «окончательное решение» еврейского вопроса, Гитлер заявил своим сотрапезникам: «Открытие еврейского вируса явилось одной из величайших революций, которые когда-либо предпринимались в мире. Борьба, которую мы ведём, это борьба того же рода, что вели в прошлом веке Пастер и Кох. Как много болезней причиняются этим еврейским вирусом!.. Мы лишь тогда вновь обретём здоровье, когда истребим еврея». С непоколебимостью человека, глубже думавшего и больше разглядевшего, чем все другие, он видел в этом своё персональное задание, вековую миссию, возложенную на него, демиурга природного порядка, это была его «циклопическая задача»[41].

Вот в том и заключалась другая существенная поправка, сделанная им в отношении Гобино: он не только персонифицировал расовую и культурную смерть в фигуре еврея, к которой сводились все причины упадка и ответственность за него, но и возвратил истории утопию, преобразовав «меланхоличный и фаталистический пессимизм Гобино в

агрессивный оптимизм»[42]. В противоположность этому французскому аристократу он утверждал, что распад расы не неизбежен. Да, полагал он, стратегия всемирного еврейского заговора видит в лице Германии как арийского форпоста своего последнего и решающего врага, и нигде больше биологическое отравление, равно как и сочетание капиталистических и большевистских махинаций не являются столь систематическими и разлагающими, но именно в этом обстоятельстве и черпает он энергию для мобилизации своей воли, ибо Германия представляет собой в этом мире то поле битвы, на котором решается судьба всего земного шара. Такие представления наглядно показывают, как далёк он от старомодного антисемитизма немецкой и европейской традиции, и говорят о том, что химера еврея больше питала его манию, нежели все видения национального величия. «Если наш народ и наше государство станут жертвой этих жадных до крови и денег тиранов народов, то вся земля погрузится в щупальца этого полипа; если же Германия вырвется из этого объятия, то можно будет считать сломленной величайшую опасность для народов и всего мира»; и тогда ей (Германии) по праву уготован Тысячелетний рейх, приход которого он со всей своей нетерпеливостью приветствовал уже тогда, когда позади него остался пока ещё один-единственный дорожный знак; и вот тогда-то из глубокого упадка вновь возродится порядок, установится единство, господа и рабы будут стоять там, где и положено, и ведомые мудростью «коренные народы мира» будут уважать и щадить друг друга, поскольку корень всемирной болезни, источник всей инстинктивной неуверенности и враждебного природе смешения будет окончательно устранён[43].

И вот эта внутренне прочно сцепленная, хотя так и не ставшая никогда законченной системой идеология дала его пути ту уверенность, которую сам он охотно называл «сомнамбулической». На какие бы уступки ни шёл он в угоду текущему моменту, его толкование состояния мира и ощущение борьбы не на жизнь, а на смерть они не затрагивали, что и придавало его политике безапелляционную последовательность и первозданность. Его боязнь определённостей, засвидетельствованный единодушно почти всеми партнёрами по сцене страх Гитлера перед принятием решений всегда касались только тактических альтернатив, в то время как в коренном вопросе он не знал ни сомнения, ни боязни, и насколько любил он откладывать и выжидать, настолько же был нетерпеливым и решительным, когда речь шла о великом конечном противоборстве. И едва ли было что-либо более ошибочным,

нежели наивные разговоры тех времён в народе, что, мол, определённая бесчеловечность режима объясняется тем, что он ничего об этом не знает. На самом же деле он знал намного больше, чем было известно о событиях, и намного больше, чем кто-либо мог догадываться, — он был «самым радикальным национал-социалистом», как сказал о нём один человек из его самого ближайшего окружения.

Широко охватывающий комплекс его идеологических представлений наложил свой отпечаток, в частности, на его внешнеполитическую концепцию, чьи наиболее существенные, оставшиеся неизменными до самого конца главные линии были развиты уже в «Майн кампф», хотя из-за своей казавшейся скорее фантастической целенаправленности они никогда не воспринимались как конкретная политическая программа. Положив в основу крушение Германии того времени, он ставит новый подъем страны в зависимость от готовности восстановить замутнённый расовый материал. То, что он называл «разорванностью кровных уз», «лишило рейх мирового господства», и потому он считает: «Если бы немецкий народ в своём историческом развитии обладал тем стадным единством, которое пошло на пользу другим народам, то Германский рейх наверняка стал бы сегодня властелином земного шара». Распространённой в НСДАП националистической традиционной фразе о «народе без пространства» он противопоставляет формулу «пространство без народа» и видит актуальнейшую внутриполитическую миссию национал-социализма именно в том, чтобы дать пустому пространству между Маасом и Мемелем единый народ, ибо «то, что мы сегодня имеем, это уже марксистские людские массы, а не немецкий народ»[44].

Картина революции, которая вставала перед его мысленным взором, и была в значительной степени пронизана элитарно-биологическими представлениями — его целью были не только новые формы господства и новые учреждения, его целью был новый человек, появление которого он торжественно возвещал во многих своих речах и статьях как наступление «подлинного золотого века». «Кто видит в национал-социализме только политическое движение, — так заявит Гитлер, — тот почти ничего не знает о нём. Это — ещё большее, нежели религия, это — воля к сотворению нового человека»[45]. Поэтому к самым жгучим задачам нового государства относятся, по его мнению, воспрепятствование «дальнейшей бастардизации», «поднятие брака с уровня постоянного расового осквернения» и придание ему вновь возможности «плодить обезьян и подобия Господа, а не

помеси человека с обезьяной». Идеальное состояние, в котором господствует заново выращенный путём «гибридизации вытеснения» чистый арийский тип, видится Гитлеру как результат длительного биологического процесса. В своей секретной речи, произнесённой 25 января 1939 года перед кругом высших офицеров, он говорил о развитии, которое потребует сотен лет, чтобы в итоге большинство обладало теми признаками избранности, благодаря которым оно будет в состоянии покорить мир и властвовать в нём[46].

Жизненное пространство, требование об обретении которого повторялось им с религиозной настойчивостью, отнюдь не мыслилось тем не менее как необходимость дать пропитание населению, чьё количество «хлынуло через край», или как необходимость избежать «голодного обнищания» и восстановить крестьянское сословие, которому угрожали промышленность и торговля, в его первозданных правах — в значительно большей мере и в первую очередь жизненное пространство должно было послужить в качестве исходной базы стратегии покорения мира. Каждый народ с честолюбивой фантазией нуждается в определённом количестве пространства, в количестве территории, которое делает его независимым от союзов и конъюнктуры текущего дня, и этой мысли, привязывавшей историческое величие к географической протяжённости, Гитлер придерживается до самого последнего дня. И в своих медитациях в бункере незадолго до конца он будет жаловаться на судьбу, которая навязала ему слишком поспешные захваты, поскольку, скажет он, народ без большого пространства просто неспособен выдвигать великие цели. Поэтому из четырех возможностей парировать угрозу со стороны будущего он отвергает и ограничение рождаемости, и внутреннюю колонизацию, и заморскую колониальную политику — частью как малодушные мечты, частью как «недостойные задачи», и, настойчиво ссылаясь на Соединённые Штаты, оставляет только возможность захватнической войны на континенте: «Что не поддаётся по-доброму, то берётся именно кулаком», — пишет он в Ландсберге и тут же называет направление своих экспансионистских устремлений: «Если мы хотели земель в Европе, то это в общем и целом было возможно только за счёт России, и тогда новый рейх должен был бы снова выступить в поход по дороге орденских рыцарей»[47].

А за всем этим опять поднималось представление о великой перемене в мире — история, казалось ему, стоит у начала новой эпохи, в очередной раз приводит она в движение своё исполинское колесо и заново раздаёт судьбы и возможности.

Заканчивается эпоха морских держав, завоевавших своими флотами дальние страны, накопивших сокровища, создавших опорные базы и покоривших мир. Море, эта классическая трасса дотехнической поры, затрудняет в современных условиях владычество протяжённых империй, колониальное величие стало анахронизмом и обречено на гибель.

Вспомогательные технические средства современности, возможность вести дороги, автострады и железнодорожные пути в бескрайние области с ещё не разведанными богатствами и связывать их плотной системой опорных баз опрокинули старый порядок — мировая империя будущего, утверждает он, будет континентальной державой, компактным, не имеющим швов гигантским образованием, способным защитить себя; эпоха уже вступила на этот путь, и наследие прошлого обречено. Конечно же, интервенционистская череда последующих внешнеполитических операций Гитлера тесно связана с чрезвычайной беспокойностью его натуры, но одновременно это было и отчаянным противодействием времени, ходу истории, и его неизменно мучит озабоченность тем, что Германия при разделе мира может во второй раз опоздать. И оценивая державы, которые могли бы конкурировать с Германией, когда в мире пробьёт новый час, за будущее господство, он вновь и вновь натыкается на Россию. Тут сходилось все — расовый, политический, географический и исторический аспекты, и все они указывали на Восток[48].

Перед таким эпохальным горизонтом и развивал Гитлер свои внешнеполитические представления. Свою карьеру он начинал — таково господствующие мнение — как ревизионист, требуя упразднения Версальского договора и одновременно восстановления — если понадобится, то и насильственно — границ 1914 года, а также объединения всех немцев в крупное, единое, могучее государство. Эти планы были обращены в первую очередь против Франции, как опасливой хранительницы послевоенного мира, и нацеливались на то, чтобы из обозначившихся расхождений этого западного соседа с Италией и Англией получить зацепку для самых широких реваншистских замыслов. Однако склонность Гитлера мыслить большими категориями побуждает его вскоре обратить взор на континент в целом и совершить мысленный переход от политики границ к политике пространств.

Исходной точкой всех его соображений явилось то, что Германия, находясь в военном, политическом и географическом отношении в фокусе угрозы, сможет выжить лишь в том случае, «если она безоговорочно поставит во главу угла политику мощи».

Ещё в одном из своих ранних столкновений с кайзеровской внешней политикой Гитлер выдвинул альтернативу — либо Германия отказывается от морской торговли и колоний и вместе с Англией выступает против России, либо же, если она стремится к владычеству на море и торговле со всем миром, она выступает в союзе с Россией против Англии[49]. Сам он в начале двадцатых годов однозначно отдавал предпочтение второй возможности. Ведь он причислял Англию к «принципиальным» противникам рейха и разрабатывал, исходя из этого, свою откровенно прусскую концепцию; под влиянием эмигрантских кругов, группировавшихся вокруг Шойбнер-Рихтера, он рассчитывал на союз с «национальной», «оздоровлённой», освободившейся от «еврейско-большевистского ига» Россией, направленный против Запада, и ни понятие о жизненном пространстве, ни убеждение в неполноценности славянской расы, составившие впоследствии сердцевину его экспансионистской восточной идеологии, не играли в то время никакой роли. И только в начале 1923 года, по всей видимости, ввиду стабилизации советского режима, у него возникает мысль об изменении ситуации с союзом и о пакте с Англией против России. На протяжении более года Гитлер, если верить источникам, вновь и вновь перепроверял эту новую концепцию, развивал её, прикидывал её последствия и шансы для её реализации, прежде чем развернуть в знаменитой 4-й главе «Майн кампф» войну за жизненное пространство против России в программу.

Разумеется, это не отменяло идеи войны с Францией, напротив, она осталась одной из внешнеполитических констант Гитлера вплоть до самых последних монологов в бункере, но теперь она, равно как и купленная отречением от Южного Тироля благожелательность со стороны Италии или нацеленный на союз с Англией отказ от всех колониальных притязаний, выдвинулась в ряд предпосылок для беспрепятственного похода Германии на Восток. Уже во втором томе «Майн кампф», написанном в течение 1925 года, Гитлер с чрезвычайной остротой выступает против плана ревизии, направленного, по его словам, на восстановление совершенно нелогичных, случайных, слишком тесных и, кроме того, нецелесообразных по военно-географическим соображениям границ, — плана, чреватого, помимо всего, противопоставлением Германии всем бывшим военным противникам и грозящего вновь сплотить воедино рушащийся союз врагов: «Требование о восстановлении границ 1914 года, — так гласит его напечатанная в разрядку формулировка, — это политический вздор таких масштабов и последствий, которые делают его преступлением. „ Напротив, приобретение больших пространств — это

единственная акция, которая оправдывает „перед Богом и нашим немецким потомством пролитие крови“ и „снимает в грядущем“ с ответственных государственных мужей «вину за кровь и жертвы народа“[50].

Военный поворот в сторону российских просторов, идея великого похода германцев ради создания огромной континентальной империи в старом «подчинённом немцам пространстве на Востоке» становится с этого времени центральной мыслью гитлеровской политики, сам он признается потом в своей «безраздельной увлечённости» ею, в «напряжении даже самой последней энергии» ради неё и с гордостью назовёт её «исключительной целью» своих сознательных политических действий. И это решение тоже приобретает у него эпохальное значение[51]:

> «Тем самым мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешнеполитической ориентацией нашего довоенного времени. Мы начинаем там, где остановились шесть веков назад. Мы останавливаем извечный! германский поход на юг и запад Европы и обращаем взор к земле на Востоке. Мы завершаем, наконец, колониальную и торговую политику довоенного времени и переходим к территориальной политике будущего».

Можно только гадать, явилась ли эта концепция результатом последовательного развития собственных идей или же отражением теорий, почерпнутых из третьих рук. Однако очевидно, что мысль о жизненном пространстве, придавшая ей решающий поворот, попала в мир идей Гитлера через Рудольфа Гесса. Благодаря своему навязчивому восхищению «этим мужем», как любил он называть Гитлера с прерывающимся от восторгом дыханием истинно верующего, Гесс сумел в годы заключения в крепости Ландсберг со временем оттеснить всех соперников, в частности, Эмиля Мориса, который выполнял обязанности секретаря Гитлера. Тот же Гесс — очевидно, ещё в 1922 году — помог Гитлеру установить личный контакт со своим учителем Карлом Хаусхофером, который развил плодотворную первоначально отрасль политической географии — основанную англичанином сэром Хэлфордом Макиндером «геополитику» — в философию империалистической экспансии. При всей макиавеллистской сдержанности, коей характеризовалась завоевательная концепция Гитлера, она всё же не была свободна от хотя и расплывчатой уверенности относительно силы того, что Макиндер называл «страной-сердцевиной»: Восточная Европа и

европейская Россия, защищённые от любого нападения гигантскими земельными пространствами и ставшие неуязвимыми, являли собой вследствие этого «цитадель мирового господства». Это и провозглашалось основателем геополитики: «Кто владеет страной-сердцевиной, тот владеет миром». Представляется, что именно столь странного рода магический рационализм подобных полунаучных формул и соответствовал особой структуре гитлеровского интеллекта, ибо и познание имело для него свои тёмные области[52]. Но, как это наглядно видно на примере этих и иных влияний, и тут «ярко выраженный комбинаторский талант» Гитлера проявился с той же редкой силой, как и при попытке выработать внешнеполитическую концепцию, которая соединила отношение Германии к различным европейским державам, потребность отомстить Франции, устремления к территориальным захватам и завоеваниям, аспект смены времён и, наконец, различные идеологические взгляды в единую, когерентную систему мышления. Свою вершину и универсальное оправдание эта концепция обрела включением в её орбиту представлений об истории рас, тем самым весь круг замкнулся:

> «Кажется, сама судьба захотела нам дать тут знак. Беря на себя ответственность за большевизм, Россия отняла у русского народа ту интеллигенцию, которая до сего времени создавала и гарантировала её государственную прочность. Ибо организация русской государственности была не результатом государственно-политических способностей славянства в России, а в большей степени лишь чудесным примером государствообразующей действенности германского элемента в неполноценной расе… Столетиями жила Россия за счёт этого германского ядра своих высших руководящих слоёв. Можно считать, что сегодня оно почти без остатка истреблено и уничтожено. На его место пришёл еврей. Насколько невозможно для русского как такового сбросить собственными силами иго еврея, настолько же невозможно для еврея надолго удержать в своих руках могучую империю. Сам он не является элементом организации, а есть фермент разложения. Гигантская империя на востоке созрела для крушения. И конец еврейского господства в России будет и концом России как государства. Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая явится мощнейшим подтверждением правильности расовой

теории фелькише»[53].

Из этих представлений и сформировалась уже в начале двадцатых годов концепция политики, которую будет затем проводить Гитлер, — первоначальные попытки союза с Англией и «ось» с Римом, поход на Францию, а также чудовищная война на истребление на Востоке с целью захвата и удержания «страны-сердцевины мира». Моральные соображения его не беспокоили. Союз, цель которого не диктуется планом войны, не имеет смысла, заявляет он в «Майн кампф», государственные границы устанавливаются и изменяются людьми, «только безмозглому идиоту» они представляются неизменными, сила завоевателя с избытком служит доказательством его права, «кто имеет, тот имеет» — таковы были максимы его политической морали[54]. И сколь бы ужасающе и сумасбродно не выглядела та программа, что была сконструирована им из его кошмаров, его исторических теорий, его ложных выводов из биологии и анализов ситуаций, она обещала — и это так — при всей своей утрированной радикальности больший успех, нежели более взвешенный план ревизии, требовавший возвращения Южного Тироля или Эльзаса. В противоположность своим партнёрам-националистам Гитлер понял, что у Германии при существующей системе власти и порядка нет шанса, а его глубокое чувство неприятия нормальности сослужило ему верную службу, когда он взялся подвергать все это кардинальному сомнению. Только тот, кто не участвовал в игре, мог её выиграть. И когда он обратился вовне, против Советского Союза, открыто грозившего уничтожить эту систему, на помощь ему пришли силы и неожиданно сделали Германию «потенциально такой могучей… что покорение мировой державы совершенно осязаемым образом было бы легче, нежели возврат Бромберга или Кенигсхютте»[55], а наступление на Москву перспективнее, чем на Страсбург или Бозен.

Точно так же, как и цель, Гитлер знал и учитывал и риск, и весьма примечательно, с какой непоколебимостью он приступает в 1933 году к осуществлению своего раннего плана. Для него альтернатива всегда гласила так: либо власть над миром, либо гибель, причём в самом что ни на есть буквальном смысле. «Каждое существо стремится к экспансии, — заявил он в 1930 году, выступая перед профессорами и студентами в Эрлангене, — и каждый народ стремится к мировому господству». Этот постулат, как он полагал, следовал прямиком из закона природы, желавшего везде и повсюду, чтобы побеждал более сильный, а более слабый был уничтожен или безоговорочно подчинился. Вот поэтому-то в самом конце, когда всё было им проиграно и гибель

была уже перед глазами, он и позволит себе сказать Альберту Шпееру невозмутимую, столь глубоко поразившую близких ему ещё вчера людей, но совершенно логичную по своей последовательности фразу, что «нет никакой необходимости заботиться об основах, которые нужны (немецкому) народу для его дальнейшей примитивнейшей жизни», ибо он «оказался более слабым, и будущее принадлежит тогда исключительно более сильному восточному народу»[56]. Германия проиграла куда больше, чем войну, — у него, Гитлера, не осталось больше надежды. В последний раз склонился он перед законом природы, «этой ужасной королевой всей мудрости» — инстанцией, которая с давней поры повелевала его жизнью и мыслью.

Уже в конце 1924 года, через год с небольшим после заключения в крепость-тюрьму, которую Гитлер иронически назовёт своей «высшей школой за государственный счёт»[57], время его отсидки подошло к концу. По запросу прокуратуры при Первом мюнхенском земельном суде директор тюрьмы Лейбольд выдал ему 15 сентября характеристику, которая, по сути, требовала для него условного наказания: «Гитлер проявляет себя как человек порядка, — говорилось в ней, — и дисциплины не только в отношении самого себя, но и в отношении других заключённых. Он послушен, скромен и услужлив. Не предъявляет никаких претензий, отличается спокойствием и пониманием, серьёзностью и полным отсутствием агрессивности, со всем тщанием старается переносить наложенные приговором ограничения. Это человек без личного тщеславия, питанием в тюрьме доволен, не курит и не пьёт и при всём товарищеском отношении к другим заключённым умеет обеспечить себе определённый авторитет… Гитлер будет пытаться вновь раздувать национальное движение соответственно своему пониманию, но не как прежде, насильственными, при необходимости (!) направленными против правительства средствами, а в контакте с законными правительственными инстанциями».

Образцовый стиль поведения и тактика, о чём свидетельствовала характеристика, явились предпосылкой для применения условного наказания, предусматривавшегося приговором суда после отбытия шестимесячного заключения. Правда, трудно было понять, о каком условном наказании могла идти речь в отношении фюрера национал-социалистов, уже имевшего один испытательный срок и избежавшего затем суда благодаря личному вмешательству идеологически коррумпированного министра, в отношении человека, уже в

течение ряда лет организовывавшего беспорядки и схватки в залах, заявившего о смещении правительства рейха, арестовавшего министров и оставившего позади себя трупы. Поэтому появился и протест прокуратуры, по которому это решение суда было первоначально отменено. Однако авторитет государства проявил тут готовность признать по отношению к нарушителю закона свою собственную слабость. Посему власти пошли навстречу законодательно закреплённому и подлежащему безусловному исполнению требованию о высылке Гитлера лишь наполовину. И хотя руководство полиции Мюнхена ещё 22 сентября в письме на имя государственного министра внутренних дел сочло эту высылку «неизбежной», а новый баварский премьер-министр Хельд даже зондировал почву, готовы ли австрийские власти принять Гитлера в случае принятия решения о его высылке[58], дело тем и ограничилось. Сам же Гитлер, чрезвычайно этим озабоченный, показал себя достаточно умным, чтобы всеми мыслимыми способами доказывать, что будет вести себя самым что ни на есть лояльным образом. И он был недоволен, когда Грегор Штрассер назвал в ландтаге продолжавшееся тюремное заключение Гитлера позором для Баварии и сказал, что в этой земле правит «банда свиней, подлая банда свиней». Мешала Гитлеру и нелегальная активность Рема.

Однако обстоятельства вновь благоприятствуют ему. На проходивших 7 декабря выборах в рейхстаг движение «фелькише» смогло получить только три процента голосов, и из тридцати трех депутатов, которых оно имело в парламенте, сумели сохранить свои места только четырнадцать. Представление, что правый радикализм уже прошёл свой апогей, по всей вероятности, повлияло на решение Верховного земельного суда от 19 декабря, которое оставило без внимания протест прокуратуры относительно условного наказания в деле о путче и допустило все же досрочное освобождение Гитлера. 20 декабря, когда заключённые в тюрьме Ландсберг уже готовились к встрече рождества, пришла телеграмма из Мюнхена о немедленном освобождении из заключения Гитлера и Крибеля.

Несколько заблаговременно проинформированных друзей и приверженцев поджидали Гитлера у ворот тюрьмы с автомашиной. Это была разочаровывающе маленькая кучка. Движение распалось, сторонники рассеялись либо перессорились. В мюнхенской квартире его ждали Герман Эссер и Юлиус Штрайхер. Никакого выступления, никакого триумфа. Располневший к тому времени Гитлер казался беспокойным и нервным. Вечером того же дня он появился у Эрнста Ханфштенгля и прямо с порога неожиданно патетически

попросил: «Сыграйте мне „Смерть любви“. Ещё в Ландсберге на него, бывало нападало настроение, что всё кончено. Теперь ироничный некролог гласил, что умер он молодым и что „наверняка германские боги любили его“[59].

Глава II
КРИЗИСЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Этот Гитлер допрыгается до того, что будет покойником.

Карл Штютцель, баварский министр внутренних дел, 1925 г.

Ха! Я покажу этим собакам, какой я покойник!

Гитлер, весна 1925 г.

Перемена декораций. — Распад окружения. — Переговоры с Хельдом. Покориться или быть высланным из страны. — Разрыв с Людендорфом. «Все к Гитлеру!» — Новое рождение партии. — Запрет на публичные выступления. — Грегор Штрассер. — Ссора с Эрнстом Ремом. — Глубже некуда. — Йозеф Геббельс — «новый тип». — Группа Штрассера и её планы. — Совещание в Ганновере. — Тактика «катастроф». — Гитлер удаляется в горную идиллию.

Сцена, на которую вернулся Гитлер из Ландсберга, и впрямь сильно изменилась в негативном для него плане. Прошлогоднее возбуждение улеглось, истерия прошла, и из рассеявшейся пыли и висящей в вышине хмари опять проступили тупые, лишённые романтики контуры повседневности.

Эта перемена началась со стабилизацией денег, что первым делом восстанавливало у людей ощущение твёрдой почвы под ногами и, как следствие, лишало материальной базы прежде всего воинствующих носителей хаотической сумятицы — добровольческие отряды и полувоенные формирования, для содержания которых раньше было зачастую достаточно всего лишь небольших валютных затрат. Постепенно государственная власть получала прочность и авторитет. В конце февраля 1924 года она уже могла позволить себе отменить чрезвычайное положение, объявленное в ночь на 9 ноября. И уже в течение того

же года политика согласия эры Штреземана принесла первые результаты. Они нашли своё выражение не столько в каких-то отдельных конкретных успехах, сколько в улучшившейся психологической ситуации в Германии, которой удавалось теперь шаг за шагом рассеивать застарелые чувства вражды и ненависти, — в плане Дауэса[60] уже проглядывало решение проблемы репараций, французы собирались уйти из Рурской области, рассматривалось соглашение о безопасности, а также о приёме Германии в Лигу наций, а благодаря бурному потоку американских кредитов во многом стало улучшаться и экономическое положение. Безработица, чьи серые краски ещё вчера определяли картины нищеты на углах улиц, в очередях перед кухнями для бедных и за социальными пособиями, заметно сократилась. Перемена ситуации отражалась и на результатах выборов. Хотя в мае 1924 года радикальные силы смогли ещё раз отпраздновать свой успех, но уже на декабрьских выборах в том же году они потерпели весьма ощутимое поражение; только в Баварии группы «фелькише» потеряли около шестидесяти процентов своих сторонников. И если даже этот поворот не привёл к моментальному усилению демократических центристских партий, то все же создавалось впечатление, что после нескольких лет кризисов, опасностей государственного переворота и депрессии Германия встала, наконец, на нормальный путь.

Подобно многочисленному слою других, впервые оказавшихся на виду и лишённых какой-либо профессии профессиональных политиков, Гитлер тоже, как будто, достиг финиша вместе с той десятилетней фазой неупорядоченного существования, что характеризовалась авантюрами и антигражданской направленностью, и вновь очутился перед лицом «спокойствия и порядка», внушавших ему ужас ещё тогда, когда он был подростком[61]. При трезвом рассмотрении положение его было бесперспективным. Ведь, несмотря на свой ораторский триумф в зале суда он за истёкшее время оказался в ситуации потерпевшего крах политика, которого уже ни в грош не ставили и наполовину забыли. Партия и все её организации были запрещены, равно как и «Фелькишер беобахтер», рейхсвер и иные покровители движения — преимущественно частные лица — от него отвернулись и, после всех волнений и игр в гражданскую войну, вновь посвящали себя повседневным делам и обязанностям. Многие, вспоминая 1923 год, только растерянно пожимали плечами — он казался им сегодня сумасшедшей и недоброй порой. Дитрих Эккарт и Шойбнер-Рихтер были покойниками, Геринг находился в эмиграции, и Крибсль был уже

на полпути туда же.

Многие из ближайших сторонников Гитлера либо ещё находились в заключении, либо перессорились между собой и их пути разошлись. Непосредственно перед арестом Гитлеру удалось передать Альфреду Розенбергу нацарапанную второпях карандашом записку: «Дорогой Розенберг, с этого момента Вы будете возглавлять движение». После чего Розенберг — под весьма примечательным псевдонимом Рольф Айдхальт, своего рода анаграммы из имени и фамилии Адольф Гитлер[62] — попытался объединить остатки прежних сторонников в рамках «Великогерманского народного сообщества» (ГФГ), отряды штурмовиков СА продолжали существовать под видом разного рода спортивных союзов, кружков любителей пения и стрелковых гильдий. Но по причине небольшого авторитета и надоедливого многословия Розенберга движение вскоре распалось на антагонистические клики, враждовавшие друг с другом. Людендорф выступал за объединение бывших членов НСДАП с Немецкой национальной партией свободы, которой руководили фон Грефе и граф Ревентлов; Штрайхер основал в Бамберге «Баварский блок фелькише», у которого, опять же, были свои амбиции. В ГФГ, наконец, прорвались к руководству возвратившийся Эссер, Штрайхер и проживавший в Тюрингии д-р Артур Динтер, автор лихо накрученных расистских кровавых фантазий в форме романов, между тем Людендорф вместе с фон Грефе, Грегором Штрассером и вскоре также с Эрнстом Ремом организовал Национал-социалистическую партию свободы как своего рода сборный пункт для всех групп «фелькише». Их бесконечные ссоры и интриги шли рука об руку с попытками, воспользовавшись тюремным заключением Гитлера, вырваться вверх в движении «фелькише», а то и оттеснить его с завоёванной им ведущей позиции на роль простого барабанщика.

Однако эти удручающие обстоятельства ни в коей мере не испугали Гитлера, более того, именно тут он увидел свой шанс и источник новых надежд. Позднее Розенберг признается, что назначение его временным руководителем движения чрезвычайно его поразило и он не без основания предположил, что за этим скрывается какой-то тактический ход Гитлера, который заранее сознательно принял в расчёт разрушение движения и даже способствовал этому, дабы тем самым ещё убедительнее утвердить свои притязания на руководство. Нередко такое поведение ставится ему в вину, однако тут упускается из виду сама природа того притязания, каковое Гитлер уже выдвинул к этому времени, ибо он не мог делегировать кому-то призвание своей судьбы — история искупительного подвига Христа не знает

фигуры вице-Спасителя.

И вот теперь он бесстрастно наблюдает за ссорами между Розенбергом, Штрайхером, Эссером, Пенером, Ремом, Аманом, Штрассером, фон Грефе, фон Ревентловом и Людендорфом и, как сказал один человек из его ближайшего окружения, «даже мизинцем» не шевелит; более того, он стравливает противников между собой и срывает так, между прочим, все попытки слияния групп «фелькише» — пусть, пока он находится в заключении, не принимаются, насколько это возможно, никакие решения, не образуются центры власти и не создаются фундаменты под чьими-то претензиями на руководство. По той же причине он критиковал и участие в парламентских выборах, хотя это и соответствовало его новой тактике завоевания власти легальным путём, — ведь любой член партии, обретя парламентский иммунитет и деньги на содержание, обретал тем самым и определённую независимость. С неудовольствием отметил он, находясь в тюрьме Ландсберг, что Национал-социалистическая партия свободы получила на выборах в рейхстаг в мае 1924 года худо-бедно, но всё-таки тридцать два места из четырехсот семидесяти двух. Вскоре после этого он в своём «Открытом письме» слагает с себя руководство НСДАП, отказывается от всех полученных полномочий и запрещает посещать себя с целью обсуждения политических вопросов. Не без оттенка самодовольства Рудольф Гесс говорил в одном из своих писем из тюрьмы о «глупости» соратников[63], в то время как сам Гитлер считал, что его высокая ставка подкреплена сильными козырями. И когда он вернулся из Ландсберга, то увидел, конечно, развалины, но зато — ни одного серьёзного соперника, и вместо сплочённого фронта противников его встретило нетерпение бессильных фракций — он явился как Долгожданный спаситель погрязшего — не без его же содействия — в маразме движения «фелькише». И Гитлер сможет строить не в последнюю очередь и на этом своё ставшее вскоре непререкаемым притязание на руководство: «То, что было бы никак невозможно раньше, — открыто признает он впоследствии, — я смог тогда (после выхода из тюрьмы) сказать всем в партии: теперь будем бороться так, как хочу я, и никак иначе»[64].

Правда, по возвращении он встретился не только с далеко идущими надеждами, но и с самыми противоречивыми требованиями своих разобщённых сторонников. И его политическое будущее зависело теперь от того, удастся ли ему изолироваться от всех частных интересов и придать партии на плотно оккупированном правыми пространстве свой, ни на кого не похожий профиль, хотя бы и неопределённый, но достаточный,

чтобы сплотить самые разные амбиции. Многие ожидали, что он вместе с Людендорфом организует единое движение «фелькише». А он уже понял, что только возвышающаяся надо всем, поднятая до высот культа фигура фюрера может породить ту интегрирующую силу, которой требовал его план. Поэтому в тот момент для него было первостепенным не заключение поспешных союзов, а проведение линий размежевания и осуществление своего личного и безусловного притязания. И этими соображениями будет определяться тактическое поведение Гитлера в последующие недели.

Для начала он по совету Пенера просит аудиенции у нового баварского премьер-министра Хельда. Когда-то Гитлер и его сторонники вели с этим ревностным католиком, решительным приверженцем федерализма и председателем Баварской народной партии весьма ожесточённую борьбу. Чтобы как-то смягчить скандальный характер этой встречи, состоявшейся 4 января 1925 года, Гитлер подыскал предлог, будто собирается просить об освобождении своих ещё находящихся в заключении в Ландсберге товарищей. На самом же деле этой встречей он делал первый шаг к легальности. Критики из лагеря «фелькише» упрекали его в том, что этим визитом он хочет заключить свой «мир с Римом». В действительности же он искал мира с государственной властью. В противоположность Людендорфу, цинично замечает Гитлер, он не может позволить себе роскошь предварительно оповещать своих противников, что собирается их изничтожить[65].

Успех этого предприятия был для его дальнейшей политической судьбы не менее важен, чем осуществление его притязания на руководство внутри лагеря «фелькише». Ибо наряду с построением ведомой диктаторскими методами, боевой партии для неуклонного претворения в жизнь все тех же амбиций по завоеванию власти все зависело теперь от того, сумеет ли он восстановить утраченное доверие мощных институтов и извлечь урок из событий 9 ноября, заключавшийся в том, что политика состоит не только из преодоления, азарта и агрессии, но и имеет двойную суть, требующую лично от него исполнения новой роли. Решающим тут было стремление выступать и революционером, и защитником существующих порядков, производить впечатление и радикала, и одновременно умеренного, угрожать существующему строю и играть роль его защитника, нарушать право и самым правдоподобным образом уверять, что речь идёт о восстановлении этого права. Неизвестно, были ли такие парадоксы тактики Гитлера когда-либо сознательно обоснованы им теоретически, но его практика чуть ли не каждым своим

шагом была нацелена именно на то, чтобы претворять их в жизнь.

В начале беседы он заверил премьер-министра, принявшего его весьма сдержанно, в своей лояльности, а также в том, что впредь будет действовать в рамках легальности и считает путч 9 ноября ошибкой. За это время он осознал, что необходимо уважать авторитет государства и что сам он как гражданин и патриот готов всеми силами способствовать этому и в первую очередь предоставить себя в распоряжение правительства в борьбе против разлагающих сил марксизма. Но для этого ему нужно, чтобы существовала его партия и газета «Фелькишер беобахтер». На вопрос, как он думает совместить это своё предложение с антикатолическим комплексом «фелькише», Гитлер назвал такого рода нападки личной причудой Людендорфа и заявил, что его отношение к генералу и без того весьма скептическое, а сам он не имеет с этим ничего общего. Для него изначально неприемлема любая религиозная вражда, но надо бы, чтобы все испытанные национальные силы стояли в едином строю. Ко всем этим излияниям Хельд остался холоден. Он сказал, что рад тому, что Гитлер собирается, наконец, уважать государственный авторитет, хотя ему лично все равно, станет ли Гитлер это делать или нет, поскольку он как премьер-министр будет защищать этот авторитет от любых посягательств, и что ситуация, предшествовавшая 9 ноября, в Баварии больше не повторится. Но так или иначе, поддавшись уговорам своего личного друга д-ра Гюртнера, бывшего в то же время и одним из покровителей Гитлера, Хельд решил отменить запрет НСДАП и её газеты, поскольку — так сформулировал он свои впечатления от разговора с Гитлером — «бестия укрощена»[66].

Несколько дней спустя Гитлер появился перед своей фракцией ландтага и, словно состояние движения не было и без того весьма неутешительным, спровоцировал там ожесточённую дискуссию. С плетью из кожи бегемота в руке (она стала теперь одним из непременных атрибутов) он вошёл в здание ландтага, где в праздничном настроении собрались депутаты «фелькише», чтобы оказать ему торжественный приём. Но он без долгого вступления обрушился на них с обвинениями, в которых инкриминировал им слабость руководства, а также отсутствие какой-либо концепции, особенно же возмущало его, что они отклонили предложенное им Хельдом участие в правительстве. Когда же ошеломлённая аудитория стала возражать ему, что есть, мол, принципы, которыми порядочный человек поступиться не может, и что нельзя упрекать противника в измене немецкому народу и в то же время входить с ним в одно правительство, и когда один из собравшихся выразил даже в заключение

подозрение, что Гитлер хотел бы такой коалицией лишь купить себе досрочное освобождение, последовал презрительный ответ, что его освобождение было бы для движения в тысячу раз важнее, нежели все непоколебимые принципы двух дюжин парламентариев «фелькише».

И впрямь казалось, что своим грубым и вызывающим притязанием на руководство он собирается оттолкнуть всех, кто не захочет ему подчиниться. Позднее он с ироническим пренебрежением будет говорить об «инфляционной прибыли» партии в 1923 году, о её слишком быстром росте, ставшем решающей причиной слабости и недостатка сопротивляемости во время кризиса; теперь же он извлёк из этого уроки. Вскоре руководители групп «фелькише» стали слёзно жаловаться на отсутствие у Гитлера готовности к сотрудничеству и охотно взывали при этом к совместно пролитой у «Фельдхеррнхалле» крови[67]. Однако для Гитлера куда важнее были не такого рода мистические сентиментальности, а воспоминание о союзах 1923 года, о вынужденной необходимости считаться со столь многими щепетильными либо твердолобыми соратниками и об усвоенном из этого уроке, что любое партнёрство есть некая форма плена. И насколько податливым выступал он вовне, по отношению к государственной власти, настолько же властно и непоколебимо настаивал он поэтому на подчинении ему в рядах движения. И для него не стало проблемой то обстоятельство, что в результате той дискуссии в ландтаге с ним остались только шесть из двадцати четырех депутатов, большинство же перешло в другие партии.

Но он отнюдь не удовольствовался этим столкновением — горя нетерпением, он затевает все новые диспуты и отламывает дальнейшие куски от краёв ставшего мизерным движения. Он усердно подчёркивает то, что отделяет его от других многочисленных групп «фелькише» и правых радикалов, и отказывается от любого сотрудничества с ними. Из четырнадцати депутатов рейхстага верными ему останутся только четверо, да и те демонстрируют свою строптивость и требуют в первую очередь, чтобы он отмежевался от таких одиозных и нечистоплотных людей в своём окружении как Герман Эссер и Юлиус Штрайхер. Поскольку же Гитлер отчётливее нежели его противники сознаёт, что ожесточённый, продолжающийся уже более месяца спор имеет своим предметом не чистоту, а единовластие в партии, то он не отступает тут ни на шаг.

По ходу дела он уже подготовил разрыв с Людендорфом. Причиной тому было не только замечание генерала, которое Гитлер не мог ему простить, в полдень 9 ноября, что ничто не

может оправдать его бегства от «Фельдхеррнхалле» и что ни один немецкий офицер не станет служить под командой такого человека, — дело было ещё и в том, что «национальный полководец» стал ныне немалой обузой — во всяком случае, в Южной Германии, — особенно с тех пор, как его упрямство и эксцентрическое самолюбие его второй жены, докторши Матильды фон Кемниц, начали втягивать его во все новые свары. Он грубо и открыто нападал на католическую церковь, затеял никому не нужную дуэль с баварским кронпринцем, перессорился со всем офицерским корпусом — дело дошло даже до того, что группа его бывших сослуживцев исключила его из своих рядов, — и все глубже залезал в псевдорелигиозные дебри сектантской идеологии, где с глубокомысленным видом сваливались в одну кучу и какие-то заговорщицкие страхи, и вера в германских богов, и пессимизм по отношению к цивилизации. Что же касается Гитлера, то от такого рода привязанностей, в которых он вновь встречался с мракобесием своих юных лет, Ланцем фон Либенфельсом и бредовыми картинами общества «Туле», он давно уже ушёл и успел сформулировать в «Майн кампф» своё жгучее презрение к подобным романтическим воззрениям «фелькише», хотя в мире его собственных представлений и прослеживались рудименты оных. Определённую роль играли тут и комплексы ревности, ибо он очень хорошо ощущал ту непроходимую пропасть, которая в глазах строго различавшего военную субординацию народа отделяла бывшего ефрейтора от генерала. Интересно в этом плане, что одна из групп «фелькише» в своём послании в начале 1925 года называет Людендорфа «его высокопревосходительством великим вождём», а Гитлера — «духом огня, который освещает своим светом тьму нынешнего положения вещей». И, наконец, как личное оскорбление со стороны Людендорфа воспринял Гитлер тот факт, что этот генерал-квартирмейстер мировой войны своим воинским приказом отобрал у него его персонального сопровождающего Ульриха Графа, за что он и осыпал того гневными упрёками в первой же их беседе. В то же самое время, словно все больше входя в раж, требовавший от него накалять вражду, Гитлер вступает в противоборство с лидерами северогерманского Национал-социалистического освободительного движения фон Грефе и фон Ревентловом, которые ещё ранее публично заявили, что у Гитлера не должно быть прежней власти, ибо он — одарённый агитатор, но не политик. В одном более позднем письме» свидетельствующем об обретении им самоуверенности, Гитлер ответил фон Грефе, что прежде он был барабанщиком и будет таковым снова, но только ради Германии, а уж никак не для

Грефе и ему подобных, «и это так же верно, как то, что мне помогает Бог!»[68]

26 февраля 1925 года возобновился выход газеты «Фелькишер беобахтер», где было помещено объявление, что на следующий день в «Бюргербройкеллере», бывшем сценой неудавшегося путча, состоится новооснование (не воссоздание) НСДАП. В своей передовой статье «Новое начало», а также в опубликованных одновременно директивах по организации партии Гитлер подводит фундамент под своё притязание на руководство — он отклоняет все условия и, имея в виду упрёки по поводу Эссера и Штрайхера, заявляет, что руководство партии должно не столько заниматься моралью своих членов и конфессиональными распрями, сколько проводить в жизнь политику, своих же критиков он обзывает «политическими несмышлёнышами». И как первая реакция на его энергичный курс начинают поступать со всех концов страны подтверждения его поддержки.

Выступление следующего дня было тактически очень тщательно продумано. Чтобы придать своему призыву больший эффект, Гитлер уже в течение двух месяцев не выступал публично как оратор и тем самым чрезвычайно подогревал как ожидания своих приверженцев, так и нервозность своих соперников; он не принимал посетителей, отказывал даже зарубежным делегациям и поручил от своего имени заявить, что все политические послания он выбрасывает, «не читая, в корзину для бумаг». Хотя собрание было назначено только на 20 часов, первые его участники — «вход: 1 марка» — начали собираться уже вскоре после полудня. В шесть часов полиции пришлось перекрыть доступ в зал, где к тому времени сошлось около четырех тысяч человек, причём многие из них были меж собой в отношении вражды и взаимных интриг. Но когда Гитлер появился в зале, он был встречен бурной овацией, присутствовавшие вскакивали на столы, хлопали, размахивали керамическими пивными кружками и обнимались от счастья. Председательствовал Макс Аман, поскольку Антон Дрекслер поставил условием своего участия в собрании исключение Эссера и Штрайхера. Не было также Штрассера, Рема и Розенберга. И вот ко всем к ним, колебавшимся или упрямившимся партнёрам, обратился с двухчасовой, необыкновенно эффектной речью Гитлер. Он начал с общих фраз, вознёс хвалу арийцу за его победы в деле культуры, проанализировал внешнюю политику и заявил, что мирный договор можно было бы разорвать, а соглашение о репарациях объявить недействительным, но гибель Германии грозит из-за заражения еврейской кровью. Возвращаясь к своему маниакальному представлению, он напомнил о берлинской

Фридрихштрассе, где каждый еврей ведёт под руку немецкую девушку. Марксизм, сказал он, «может быть свергнут, если против него выступит учение большей истинности, но такой же брутальности при его проведении в жизнь». Затем он покритиковал Людендорфа, который повсюду заводит себе врагов и не понимает, что называть противником можно одного, а иметь при этом в виду совсем другого, и перешёл, наконец, к существу дела:

> «Когда кто-то приходит и хочет ставить мне условия, я ему говорю: подожди, дружок, и послушай-ка те условия, которые я поставлю тебе. Я не гонюсь за большой массой. Через год вы, мои товарищи по партии, сами будете решать. Если я действовал правильно, тогда хорошо, а если я действовал неправильно, тогда я сам отдам свою должность назад в ваши руки. Но до этого такой уговор: я один руковожу движением, и никто не ставит мне условий, пока я лично несу всю ответственность. А я снова несу ответственность абсолютно за все, что происходит в нашем движении»[69].

С пылающим от гнева лицом он в заключение выступления заклинает собравшихся прекратить все их многочисленные распри, забыть прошлое и положить конец сварам внутри движения. Он не просит идти за ним, не намекает на какие-либо компромиссы — он просто требует подчиниться ему или рассчитаться. Заключительная овация укрепляет его в намерении придать новой НСДАП авторитарный покрой партии, повинующейся исключительно только его приказам, — партии фюрера. Когда посреди всеобщего ликования Макс Аман вышел вперёд и торжественно бросил в зал: «Раздорам должен быть положен конец — все к Гитлеру!», на сцене вдруг оказались друг против друга все старые противники: Штрайхер, Эссер, Федер, Фрик, тюрингский гауляйтер Динтер, а также руководитель баварской фракции Буттман. И это была чрезвычайно трогательная сцена, когда они на глазах тысяч людей, с криками вскакивавших на стулья и столы, демонстративно протянули друг другу руки. Штрайхер, запинаясь, сказал что-то о «божественном уделе», а Буттман, который ещё недавно, во время встречи Гитлера с фракцией ландтага, остро и ядовито возражал тому, кому теперь все рукоплескали, заявил, что все сомнения, с которыми он сюда пришёл, «растаяли во мне во время речи фюрера». То, чего не сумели добиться ни мощная фигура Людендорфа, ни фон Грефе, Штрассер, Розенберг или Рем — ни

вместе, ни поодиночке, — добился лишь немногими ходами он, и сознание этого укрепляло его авторитет, равно как и его самоуверенность. По выражению Буттмана, которое уже в прошлом применялось к нему Людендорфом и другими конкурентами, с этого дня он зовётся «фюрером» и по праву является таковым — единоличным вождём.

Как только Гитлер обеспечил себе ещё более диктаторскую, чем прежде, власть над партией, утвердившись, как писал Герман Эссер, перед всеми этими «канальями, проклятым отребьем интриганов», он приступил к осуществлению своей второй целеустановки — превращению НСДАП в прочный и мощный инструмент для своих тактических замыслов. О своём решении делать отныне революцию не с помощью насилия, а с помощью закона, он в весьма саркастических выражениях заявил одному из своих приверженцев ещё во время пребывания в крепости Ландсберг: «Когда я возобновлю свою деятельность, я должен буду проводить новую политику. Вместо завоевания власти силой оружия, мы, к огорчению депутатов-католиков и марксистов, сунем наши носы в рейхстаг. И пусть на то, чтобы победить их по количеству голосов, понадобится больше времени, чем на то, чтобы их расстрелять, но в конечном счёте их же собственная конституция всучит успех нам в руки. Любой легальный процесс — процесс медленный»[70].

И он оказался даже ещё более медленным и трудным, нежели предполагал Гитлер, и сопровождался все новыми провалами, противодействиями и конфликтами. Обстоятельства сложились так, что Гитлер стал виновником первой серьёзной неудачи. Ибо баварское правительство не только восприняло его замечание, что вполне можно говорить об одном враге, а иметь в виду совсем другого, именно так, как и следовало, т. е. как доказательство его несомненной враждебности по отношению к конституции, но и связало это с другим высказыванием, что либо враг пройдёт по его трупу, либо он пройдёт по трупу врага: «Я хотел бы, — так продолжал он, — чтобы если в следующий раз я паду в борьбе, моим саваном было знамя со свастикой». Такого рода высказывания посеяли столь большие сомнения в правдивости его заверений в легальности, что власти в Баварии, а вскоре вслед за тем и в большинстве других земель, просто запретили ему публичные выступления. В сочетании с испытательным сроком и по-прежнему грозившей ему высылкой из страны, а также с учётом всеобщей ситуации, казалось, что этот запрет, ставший для него страшным и неожиданным ударом, кладёт конец всем его планам. А это означало, что вся его концепция рушилась, не

начав ещё осуществляться.

Однако это не вызывает у него ни растерянности, ни даже намёка на замешательство. Ещё полтора года назад, летом 1923 года, такого рода удар мог выбить его из колеи и породить в нём летаргию и слабость, как в юношеские годы, теперь он остаётся равнодушен и почти безучастен даже к последствиям запрета на выступления и в личном плане, хотя это означало для него потерю важнейшего источника доходов; теперь средства на жизнь он зарабатывает гонорарами за передовицы, которые пишет для партийной печати. Нередко выступает он и перед небольшой аудиторией из сорока-шестидесяти гостей в доме Брукманов, и полное отсутствие средств для опьяненности, доведения себя до экстаза вынуждает его теперь искать и находить новые методы рекламы и подачи себя. Наблюдатели того времени единодушно отмечают перемены, произошедшие с Гитлером за время его нахождения в тюрьме, появление более жёстких и строгих черт, которые впервые придают этому невыразительному облику психопата контуры индивидуальности: «Узкое, бледное, болезненное, часто казавшееся пустым лицо стало более резким, явственнее проступила сильно развитая структура строения костей от лба до подбородка; то, что раньше производило впечатление меланхоличности, уступило теперь место не вызывавшей сомнений черте твёрдости»[71]. Она придала ему, вопреки всем неприятностям, то упорство, с помощью которого он и преодолел фазу стагнации и развернул в конечном итоге своё триумфальное шествие в начале тридцатых годов. И когда летом 1925 года, на низшей точке упадка всех его надежд, совещание руководителей НСДАП вздумало обсуждать вопрос о его заместителе, он резко выступил против этого с вызывающим утверждением, что существование или крах движения зависит только от него одного[72].

Картина его ближайшего окружения убеждала, что тут он, несомненно, прав. В результате сознательно вызванных коллизий и размежеваний в последние месяцы с ним, естественно, остались в первую очередь заурядные и послушные приверженцы и его антураж опять свёлся к когорте скототорговцев, шофёров, вышибал и бывших профессиональных вояк, к которым он ещё со смутных времён начала становления партии испытывал какое-то удивительно сентиментальное, чуть ли не человеческое чувство. И зачастую весьма одиозная репутация этих его спутников смущала его столь же мало, как и их шумливая грубость и примитивность, и именно такое окружение демонстрировало в первую очередь, насколько утратил он свои буржуазные, эстетизирующие истоки. Когда его, бывало, упрекали за это, то он

тогда ещё оправдывался с определённым налётом неуверенности, что, мол, и он может ошибаться в своих наперсниках, ибо это в природе человека, который «не может не заблуждаться»[73]. Однако вплоть до тех лет, когда он стал канцлером, именно такому типу в его свите и отдавалось предпочтение, да и после этот тип преобладал в тех приватных компаниях его собеседников в длинные пустые вечера, когда он устраивал в помещениях, которые когда-то занимал Бисмарк, просмотры кинофильмов или предавался пустой болтовне, расстегнув пиджак и далеко вытянув ноги из тяжёлого кресла. Не имея ни корней, ни семьи, ни профессии, но непременно какой-то излом в характерах или биографиях, они пробуждали у бывшего обитателя мужского общежития определённые сокровенные воспоминания, и, возможно, как раз аура и запахи венских лет и были причиной того, что он вновь оказался в кругу всех этих кристианов веберов, германов эссеров, йозефов берхтольдов или максов аманов. Восхищение и откровенная преданность — это было все, что они могли предложить и безоговорочно принести ему в дар. Не отрывая самозабвенных взглядов от его губ, слушали они его пространные монологи в «Остерии Бавария» или в «Кафе Ноймайер», и вполне вероятно, что в их слепом энтузиазме он и находил эрзац необходимому ему как наркотик восхищению масс, которого теперь его на время лишили.

К тем скудным успехам, которыми мог бы похвастаться Гитлер в этот период парализованности, относится прежде всего привлечение им на свою сторону Грегора Штрассера. До провалившегося ноябрьского путча этот аптекарь из Ландсхута и гауляйтер Нижней Баварии, которого привёл в политику «фронтовой опыт», лишь изредка появлялся на сцене. Однако, воспользовавшись отсутствием Гитлера, он сумел двинуться в первый ряд и принести национал-социализму определённое количество сторонников в рамках «Национал-социалистического освободительного движения» — главным образом в Северной Германии и в Рурской области. Этот грубовато сбитый, хотя и не лишённый тонких чувств мужчина, не чуравшийся драк в ресторациях и читавший в оригинале Гомера, а в целом являвший собой и впрямь этакое клише тяжёлого на подъем баварца из числа зажиточных граждан маленького провинциального городка, был весьма примечательной фигурой и имел, помимо собственного ораторского дара, в лице своего брата Отто ещё и умелого и напористого союзника-журналиста. С не раз уже сломленным и холодным неврастеником Гитлером он сошёлся с трудом, личность последнего была тут такой же большой помехой, как и имевшее дурную репутацию его послушное

окружение, в то время как совпадение политических взглядов сводилось почти исключительно к трактовавшемуся самым широким образом и игравшему всеми красками, но совершенно не имевшему точного определения понятию «национал-социализм». Но его восхитила магия Гитлера и способность того собирать приверженцев и мобилизовывать их ради какой-либо идеи. В мероприятии по «новообразованию» партии Штрассер не участвовал. Когда же Гитлер в начале марта 1925 года предложил ему в качестве отступного за выход из «Национал-социалистического освободительного движения» широкую самостоятельность по руководству НСДАП во всём северно-германском регионе, Штрассер самоуверенно подчеркнул, что примкнёт к Гитлеру не как последователь, а как сподвижник. Он оставляет за собой право на свои принципы и сомнения, но выше всего для него — перспективность и нужность идеи: «Поэтому я отдал себя в распоряжение господина Гитлера ради нашего сотрудничества»[74].

Это приобретение уравновесилось, однако, весьма примечательной потерей. В то время как Штрассер с бурной энергией приступает к построению партийной организации в Северной Германии и в короткий срок создаёт между Шлезвиг-Гольштейном, Померанией и Нижней Саксонией семь новых партийных округов-гау, Гитлер демонстрирует свою решимость любой ценой, даже за счёт дальнейших потерь, утверждать собственный авторитет и свою концепцию — он порывает с Эрнстом Ремом. Выпущенный, несмотря на обвинительный вердикт, мюнхенским народным судом на свободу, этот отставной капитан незамедлительно начал собирать своих бывших соратников времён добровольческих отрядов и «Кампфбунда» под знамёна нового союза «Фронтбанн». С растерянностью взиравшие на возрастающую нормализацию ситуации, вечные «только-солдаты» были почти все без исключения готовы вступить в это новое объединение, быстро набиравшее силу благодаря энергии и организационному таланту Рема.

Гитлер не без беспокойства следил за этой активностью ещё из крепости Ландсберг, поскольку она равным образом угрожала и его досрочному освобождению, и его руководящей позиции в рядах движения «фелькише», да и его новой тактике тоже. Среди уроков, усвоенных им из ноябрьских событий 1923 года, был и тот, что ему следует отмежёвываться от всех вооружённых формирований, от их порождаемой оружием самоуверенности, мании конспирации и игр в солдатики. То, что, по мнению Гитлера, было необходимо НСДАП, так это

парамилитаризованное, стоящее исключительно под политическим командованием и, следовательно, подчиняющееся только ему одному партийное войско, в то время как Рем придерживался прежней идеи тайной вспомогательной армии для рейхсвера и даже подумывал о том, чтобы сделать СА независимыми от партии и командовать ими как подразделениями своего «Фронтбанна».

В принципе, это было все тем же старым спором о назначении и функции СА. В противоположность тугодуму Рему Гитлер за это время уже приобрёл определённый эмоциональный и рациональный опыт. Он не забыл Лоссову и офицерам его штаба их предательства 8 и 9 ноября, но одновременно усвоил из событий той ночи, что присяга и легальность для большинства офицеров являются непреодолимым моральным барьером. Нарушенная Лоссовом клятва не в последнюю очередь была отчаянной попыткой вырваться из не предусмотренной правилами, позорной двусмысленности нелегальности, в которую втянули армию Кар, Гитлер, собственная нерешительность Лоссова, да и вся ситуация вообще, и Гитлер сделал отсюда вывод, продиктованный ему его собственным честолюбием руководителя, — избегать какой бы то ни было тесной связи с рейхсвером, ибо именно в этом и было начало любой нелегальности.

В первой половине апреля дело дошло до ссоры. Рем был страстным приверженцем Гитлера, он вообще был искренним, ненавязчивым человеком, столь же непоколебимо сохранявшим верность своим друзьям, как и своим взглядам. Надо полагать, Гитлер не забывал, чем он обязан Рему с самого начала своей политической карьеры, но в то же время он видел, что времена переменились и обладавший когда-то немалым влиянием человек стал своенравным, обременительным другом, едва ли вписывавшимся в изменившиеся условия. Правда, какое-то время он ещё колебался и уходил от настойчивых домогательств Рема, но затем без каких-либо угрызений совести все же решился на разрыв. В ходе их беседы в середине апреля, когда Рем в очередной раз начал требовать строгого размежевания между НСДАП и СА и одновременно упорно настаивать на праве командовать своими подразделениями как частной армией, находящейся вне всех партийных и текущих раздоров, дело дошло до ожесточённой перебранки. Особенно обидело Гитлера, что планы Рема не только делали его, как это уже имело место летом 1923 года, пленником чужих целей, но и, помимо всего, опять опускали его до роли «барабанщика». И когда, будучи в оскорблённых чувствах, он упрекнул Рема в предательстве их

дружбы, тот прекратил разговор. День спустя он письменно сообщил, что снимает с себя обязанности по командованию СА, однако Гитлер никак на это не прореагировал. В конце апреля, сняв с себя обязанности по руководству «Фронтбанном», он вновь обратился к Гитлеру с письмом, которое закончил такой примечательной фразой: «Я пользуюсь случаем, чтобы, вспоминая те прекрасные и тяжёлые часы, которые мы пережили вместе, сердечно поблагодарить тебя за твоё товарищеское отношение и попросить тебя не лишать меня твоей личной дружбы». Но и на это письмо ответа он не получил. Когда же на следующий день он передал в печать «фелькише» заметку о своём уходе, то «Фелькишер беобахтер» напечатала её без каких-либо комментариев[75].

В то же самое время произошло событие, которое не только продемонстрировало Гитлеру, сколь опасно тают его шансы, но и наглядно показало ему, что разрыв с Людендорфом, случившийся по преимущественно личным мотивам, был политически совершенно оправдан. В конце февраля 1925 года умирает социал-демократический президент страны Фридрих Эберт, и по инициативе Грегора Штрассера группы «фелькише» выдвигают в противовес усердному, но совершенно неизвестному кандидату правых буржуазных партий д-ру Ярресу собственного кандидата с именем — Людендорфа. И вот генерал, получив чуть больше одного процента голосов, терпит на выборах сокрушительное поражение, что не без злорадного удовлетворения и принимается к сведению Гитлером. Когда же через несколько дней после выборов в результате несчастного случая погиб д-р Пенер — единственный достойный доверия и уважения сподвижник, который у него ещё оставался, — казалось, что политическая карьера Гитлера и впрямь закончилась. В Мюнхене партия насчитывала всего 700 членов. Антон Дрекслер от него ушёл и, разочарованный, основал собственную партию, соответствующую его скромным запросам, хотя драчливая гвардия Гитлера превратила в свою любимую забаву вылавливать членов «конкурирующей фирмы» и задавать им трёпку. Схожим образом обстоит дело и с другими родственными группами; нередко и сам Гитлер, с гиппопотамовой плетью в руке, участвует в штурме собраний и появляется на трибуне, молча улыбаясь, поскольку не имеет права выступать, и приветствуя массы. Перед вторым туром выборов президента страны он призывает своих сторонников голосовать за выдвинутую к этому времени кандидатуру фельдмаршала фон Гинденбурга. Конечно, при том положении дел Гитлер вовсе не собирался пускаться в «многолетнюю политическую спекуляцию», как будет расцениваться потом его

решение выступить в поддержку Гинденбурга[76], да и те немногие голоса, коими он располагал, погоды не делали. Но важным тут было то обстоятельство, что тем самым он демонстративно вступал вновь в ряды «партий порядка» и приближался к этому овеянному легендами человеку — тайному «эрзацкайзеру», в руках которого уже был или скоро будет ключ к почти всем без исключения инструментам власти.

Продолжавшиеся провалы не могли не сказываться на позиции Гитлера внутри партии. В то время как ему приходится вести борьбу за свою пошатнувшуюся власть главным образом в Тюрингии, Саксонии и Вюртемберге, Грегор Штрассер продолжает строительство партии в Северной Германии. Он всё время в разъездах. Ночи он проводит в поездах или в залах ожидания на вокзалах, днём встречается со сторонниками, организует окружкомы, устраивает совещания с функционерами, выступает на собраниях как докладчик или участник дискуссии. И в 1925, и в 1926 годах он главный докладчик на чуть ли не ста мероприятиях в год, в то время Гитлер приговорён к молчанию, и это обстоятельство и — в меньшей степени — честолюбивое соперничество Штрассера создают впечатление, будто центр тяжести партии перемещается на север. Вследствие лояльности Штрассера руководящая позиция Гитлера в общем и целом поначалу ещё признается, хотя недоверие трезвых северных немцев-протестантов по отношению к мелодраматичному представителю мелкобуржуазной богемы и его якобы «проримскому курсу» проявляется от случая к случаю достаточно явно, и нередко новых сторонников партии можно было вербовать только с помощью обещания значительной независимости от штаб-квартиры в Мюнхене. И требование Гитлера, чтобы руководители местных организаций назначались руководством партии, на севере поначалу тоже не соблюдается. Продолжительное время то затухал, то вновь разгорался спор между центром и округами-гау относительно права выдачи партбилетов. Благодаря своему сверхчувствительному нюху на всё, что касается власти, Гитлер моментально понял, что такого рода побочные организационные вопросы были, по сути, вопросом либо о сохранении контроля со стороны центра, либо о бессилии последнего. И хотя в этом деле он не шёл ни на какие уступки, ему пришлось довольно долго терпеть своеволие отдельных гау; так, например, в гау Северный Рейн в конце 1925 года отказались использовать членские билеты мюнхенского центра[77].

Секретарём в этом партийном округе со штаб-квартирой в Эльберфельде был молодой человек с академическим

образованием, безуспешно попытавший свои силы как журналист, писатель и аукционист на бирже, прежде чем стать секретарём одного немецкого политика из числа «фелькише» и познакомиться затем с Грегором Штрассером. Его звали Пауль Йозеф Геббельс, и к Штрассеру его привёл в первую очередь собственный интеллектуальный радикализм, который он не без восторга от самого себя фиксировал в своих литературных опусах и дневниковых записях: «Я — самый радикальный. Человек нового типа. Человек-революционер»[78]. У него был высокий, на удивление захватывающий голос и стиль, соединявший чёткость с присущим этому времени пафосом. Радикализм Геббельса питался преимущественно националистическими или социал-революционными идеями и казался тонкой и заострённой версией представлений и тезисов его нового ментора. Ибо в противоположность бескровному, обитающему в на удивление абстрактном эмоциональном мире Гитлеру более подверженный чувствам Грегор Штрассер позволял вести себя от нужды и опыта нищеты послевоенного времени к романтически окрашенному социализму, который связывался с ожиданием, что национал-социализму удастся прорыв в пролетарские слои. В лице Йозефа Геббельса, как и в своём брате Отто, Грегор Штрассер на какое-то время нашёл интеллектуальных выразителей собственного программного пути, на который он, правда, так никогда и не вступит и который имеет значение лишь как беглое выражение некой социалистической альтернативы «фашистскому» южногерманскому национал-социализму Гитлера.

Особое сознание северногерманских национал-социалистов впервые обрело своё лицо в неком учреждённом 10 сентября в Хагене рабочем содружестве, во главе которого рядом с Грегором Штрассером сразу же появился и Геббельс. И хотя участники этого рабочего содружества неоднократно высказывались против любого рода конфронтации с мюнхенским центром, они все же говорили о «западном блоке», «контрнаступлении» и о «закостеневших бонзах в Мюнхене» и упрекали руководство партии в недостаточном интересе к программным вопросам, а Штрассер обвинял «Фелькишер беобахтер» в его «до серости низком уровне». Примечательно однако, что ни один из многочисленных упрёков не касался ни личности, ни должности Гитлера, более того, его позицию, как считали участники рабочего содружества, следовало не ослаблять, а укреплять, и возмущение у них вызвало «свинское и безалаберное ведение дел в центре» и опять же «изворотливое пустозвонство» Эссера и Штрайхера[79]. Совершенно ошибочно оценивая обстановку, они надеялись вырвать Гитлера из тисков «порочного мюнхенского

направления», спасти его от «диктатуры Эссера» и переманить на свою сторону. И здесь уже не в первый раз встречаешься с трудно объяснимым, распространившимся ещё в ранние времена и — вопреки всем абсолютно очевидным фактам — продержавшимся до самого конца представлении, будто «фюрера», человека слабого и человечного, постоянно окружают только плохие советчики, эгоистичные или злокозненные элементы, мешающие ему действовать по собственной доброй воле и скрывающие от него все плохое.

Программа группы, опубликованная в амбициозно подаваемом, но — и это весьма примечательно — редактировавшемся самим Геббельсом журнале «Национал-социалистише брифе», выходившем два раза в месяц, пыталась главным образом повернуть лицо движения в сторону современности и вывести его из-под пресса ностальгически ориентированной на прошлое идеологии среднего сословия. Почти все, что в Мюнхене «было свято, ставилось тут когда-нибудь под сомнение либо открыто поносилось». Особенное внимание уделялось журналом иным, по сравнению с югом, социальным условиям на севере, его, в противоположность Баварии, пролетарско-городской структуре, и это усиливало антикапиталистическую тенденцию журнала. Так, в письме одного из берлинских сторонников партии говорилось, что национал-социализм не может состоять «из радикализированных буржуа» и не должен «пугаться слов „рабочий“ и „социалист“[80]. «Мы — социалисты, — так формулировал журнал одно из своих программных кредо, — мы — враги, смертельные враги нынешней капиталистической системы хозяйствования с её эксплуатацией слабых, с её несправедливой оплатой труда… мы полны решимости при всех обстоятельствах уничтожить эту систему». Совершенно в том же духе Геббельс искал формулы сближения между национальными социалистами и коммунистами и составил целый ката-лог их идентичных позиции и взглядов. Он отнюдь не отрицал теорию классовой борьбы и уверял, что крушение России похоронило бы «на веки вечные наши мечты о национал-социалистической Германии», подвергал в то же время сомнению теорию Гитлера об универсальном враге-еврее своим замечанием, что «вероятно, будет неверно ставить на одну доску еврея-капиталиста и еврея-большевика», и дерзко заявлял, что еврейский вопрос вообще «более сложен, чем думают»[81].

Значительно отличались тут от взглядов мюнхенского руководства и представления в области внешней политики. Хотя группа Штрассера восприняла социалистический зов эпохи, она понимала его «не как призыв к классу пролетариев, а как призыв

к нациям-пролетариям», в первом ряду которых стояла преданная, оскорблённая, ограбленная Германия. Мир, считали они, разделён на народы угнетаемые и угнетающие, и развивали из этого тезиса те ревизионистские требования, что были осуждены в «Майн кампф» как «политический бред». И если Гитлер рассматривал Советскую Россию как объект широких завоевательных планов, а Розенберг называл её «колонией еврейских палачей», то Геббельс с глубоким уважением отзывался о русской воле к утопии, а сам Штрассер выступал за союз с Москвой «против милитаризма Франции, против империализма Англии, против капитализма Уолл-стрита»[82]. В своих программных заявлениях группа ставила требование об отмене крупного землевладения, о принудительной организации всех крестьян в сельскохозяйственные кооперативы, о слиянии всех мелких предприятий в корпорации, а также о частичной социализации всех тех промысловых объединений, где число работников превышает двадцать человек, — рабочему коллективу, при сохранении частнопредпринимательского ведения хозяйства, предусматривалась доля в десять процентов, государству — тридцать, области — шесть, а общие — пять процентов. Они поддерживали также предложения по упрощению законодательства, по организации школьного образования, которое было бы доступно выходцам из любого класса, а также по частичной натурооплате, что являлось романтическим выражением порождённого инфляцией и распространившегося недоверия к денежному обращению.

Основные принципы этой программы были изложены Грегором Штрассером на заседании, состоявшемся 22 ноября 1925 года в Ганновере и продемонстрировавшем вышедшее за все мыслимые рамки мятежное настроение северо— и западногерманских гау по отношению к центру и «мюнхенскому папе», как это было сказано под дружные аплодисменты присутствовавших гауляйтером Рустом. На новой встрече, имевшей место в конце января снова в Ганновере, в квартире гауляйтера Руста, Геббельс потребовал, чтобы присланному Гитлером в качестве наблюдателя и усердно записывавшему каждое острое замечание участников встречи Готфриду Федеру просто указали на дверь. На том же совещании, если верить источникам, он же предложил, «чтобы мелкий буржуа Адольф Гитлер был изгнан из рядов национал-социалистической партии»[83].

Однако куда более тревожащими, нежели подобного рода мятежные высказывания, были деловые обсуждения на встрече, показавшие, насколько низко упал за это время престиж Гитлера.

Штрассер, выдвинув в декабре свой проект программы, который должен был заменить довольно произвольно сконструированные когда-то 25 пунктов и снять с партии репутацию представительницы интересов мелкой буржуазии, в том же декабре распространил этот проект без ведома центра по всей партии, и хотя Гитлер был «в ярости» от такого своеволия, никто на том собрании не обратил внимания на возражения Федера, более того, его лишили права голоса при голосовании по всем вопросам. А кроме него, презрительно названного Геббельсом «засохшим кактусом», из двадцати пяти участников за Гитлера открыто вступился только один человек — кёльнский гауляйтер Роберт Лей, «глупец и, может быть, интриган»[84]. И по бурно дебатировавшемуся в это время общественностью страны вопросу, следует ли экспроприировать имущество немецких княжеских домов или, напротив, надо вернуть им отобранное в 1918 году, рабочее содружество в конечном итоге выступило против точки зрения Гитлера, вынужденного по тактическим соображениям встать на сторону князей, как и вообще всех имущих слоёв, в то время как группа Штрассера, подобно левым партиям, придерживалась мнения о бескомпенсационной экспроприации бывших хозяев страны, правда, не без оговорки на словах в преамбуле принятого решения, что они не собираются предвосхищать позицию руководства партии. Без согласования с мюнхенским центром было также решено выпускать газету «Национал-социалист», а на деньги, полученные Грегором Штрассером под залог его аптеки в Ландсхуте, — основать издательство, ставшее вскоре концерном заметного масштаба. Выпуском своих шести еженедельных газет он на время не только превзошёл по объёму продукцию принадлежащего мюнхенскому центру издательства «Eher», но и, по оценке Конрада Хайдена, оставил далеко позади публикации последнего «по своей духовной многосторонности и искренности»[85]. Но наиболее откровенно решимость собравшихся в Ганновере помериться силами с Гитлером выразилась в требовании Грегора Штрассера сменить пугливую тактику легальности на агрессивную, готовую на крайности «политику катастроф». Любое вредящее государству и разъедающее этот строй средство — путч, бомбы, забастовки, уличные эксцессы или погромы — представлялись его прямому стремлению к захвату власти подходящими, чтобы добиться успеха: «Мы достигнем всего, — так описал вскоре Геббельс эту концепцию, — если двинем в поход за наши цели голод, отчаяние и жертвы», и он же говорил о намерении «разжечь искры в нашем народе в один великий костёр национального и социалистического отчаяния»[86].

А Гитлер до сих пор так и хранит молчание по поводу всех инициатив группы, хотя она уже создала свой центр власти, имевший, как одно время казалось, характер параллельного правительства внутри партии, имя же Штрассера означало в Северной Германии «чуть ли не больше», чем его, Гитлера, собственное: «Ни один человек не верит больше Мюнхену, — писал, торжествуя, в своём дневнике Геббельс, — Эльберфельд должен стать Меккой немецкого социализма»[87]. С презрением не обращает Гитлер внимания и на слухи о планах дать ему номинальный пост почётного председателя партии и объединить расколотый лагерь «фелькише» в единое мощное движение, он посвящает этим планам всего лишь несколько язвительных страниц в «Майн кампф».

Эта сдержанность Гитлера частично объяснялась личными мотивами. Дело в том, что в это время он снял себе в Оберзальцберге близ Берхтесгадена, где находилось и имение Бехштайнов, у одного гамбургского коммерсанта сельский домик — хорошо расположенное, хотя и скромное строение с большим жилым помещением и верандой на первом этаже и тремя комнатами на втором. Своим гостям он многозначительно говорил, что дом ему не принадлежит, «так что о замашках бонз по дурному примеру иных „партийных шишек“ тут не может быть и речи»[88]. Хозяйство в доме он попросил вести свою овдовевшую сводную сестру Ангелу Раубаль. Вместе с ней приехала и её шестнадцатилетняя дочь Гели, и вскоре его привязанность к хорошенькой, недалёкой и экзальтированной племяннице превратилась в страсть, которая, правда, безысходно отягощалась его нетерпимостью, романтически возвышенным представлением о женском идеале, а также угрызениями совести по поводу этого романа — как-никак он был ей дядей, — что и вылилось в итоге в приступ отчаяния. Он почти не выходит из дома, только бывает с племянницей в мюнхенском оперном театре либо, при случае, у своих друзей в городе, а это все те же Ханфштенгли, Брукманы, Эссеры, Хофманы. Делами партии он почти не занимается, даже в Южной Германии все громче слышатся критические голоса по поводу его руководства спустя рукава, непринуждённого обращения с партийной кассой в личных целях и продолжи тельных экскурсий по окрестностям с хорошенькой племянницей, но Гитлер едва ли принимает все эти упрёки к сведению. Летом 1925 года выходит первый том «Майн кампф», и хотя книга не пользуется успехом и в первый год не удаётся продать даже десяти тысяч экземпляров, Гитлер, терзаемый тягой рассказать о том, что у него накипело, а также стремлением оправдаться, незамедлительно приступает к диктовке второго тома.

С видимой безучастностью следит он с высот своей горной идиллии и за дискуссией о программе северогерманских национал-социалистов. Его сдержанность объясняется не только столь характерной для него нелюбовью к принятию каких-либо решений, но и равнодушием к теории со стороны практика, презирающего дефиниции и, когда это необходимо, облекающего какую угодно вещь в какие угодно слова. Вероятно, втайне он надеялся повторить ту же игру, что так удачно провёл, находясь в тюрьме Ландсберг, когда он поощрял своих соперников, обострял антагонизмы и повысил свой авторитет как раз тем, что свёл его использование до минимума. Однако теперь, с выдвижением Штрассером концепции «катастроф», ситуация для него внезапно переменилась. Не без основания ему пришлось увидеть в этих намерениях заранее обдуманный вызов ему лично, поскольку они — точно так же, как и акции Рема, — угрожали назначенному ему испытательному сроку, а тем самым и его политическому будущему вообще. Поэтому он с нетерпением ждал шанса разгромить организующихся противников и восстановить свой пошатнувшийся авторитет.

В ретроспективе казалось, что нетерпеливая и властная натура Гитлера наносит партии после её успешного нового начала не меньший вред, чем авантюра в ноябре 1923 года, — его темперамент совершенно явно издевался над любой тактической концепцией. Одна местная организация сообщала в августе 1925 года, что из ста тридцати восьми членов в январе активной работой заняты сейчас лишь двадцать-тридцать человек. На процессе по защите чести и достоинства, который Гитлер вёл в это время против Антона Дрекслера, свидетелем против него выступил один из его бывших сторонников и в своём заключительном слове упрекнул его в том, что НСДАП, взяв на вооружение его методы, не может рассчитывать на успех: «Вы очень плохо кончите!»[89]

И только самого Гитлера, казалось, нисколько не смущала столь затянувшаяся полоса его неудач. Уверенность, которую придала ему выработка его миропонимания, равно как и его упрямство, позволили ему выстоять во всех кризисах, не опуская рук и не поддаваясь настроению подавленности, и почти казалось, что он снова и не без удовольствия позволяет развитию дрейфовать навстречу самой крайней, самой драматической точке. Словно не замечая никаких фатальных событий вокруг себя, он рисует в это время в своём альбоме для эскизов или на маленьких открытках величественные, похожие на античные строения, триумфальные арки, помпезные залы с куполами — театральные декорации застывшей в величии пустоты,

претенциозно выражавшие несломленность его планов мирового господства и его векового ожидания, вопреки всем крушениям и всему жалкому состоянию его нынешней ситуации[90].

Глава III
ПОСТРОЕНИЕ К БОЮ

Если мы хотим создать фактор силы, то тогда нам нужны единство, авторитет и дисциплина. Мы никогда не должны руководствоваться мыслью о создании некой армии политиков — нужна армия солдат нового мировоззрения.

Адольф Гитлер, 1925 г.

Бамбергское совещание. — «Добрый, честный Штрассер!» — Конец левых. — Институциональное закрепление власти и празднование победы. — «Мёртвый национал-социализм». — Проблема роли С А. — Геббельс меняет взгляды. — Организационное развёртывание партии. — Теневое государство. — Первый Нюрнбергский партсъезд. — Дом в Оберзальцберге. — Возвращение под купол цирка. — Претензии на непогрешимость. — «Пусть только начнётся представление!» — Третья шкала ценностей.

Ситуация, в которой очутился Гитлер, требовала от него прямо-таки невозможного. Мессианская аура, окружавшая его после возвращения из крепости Ландсберг и придававшая его вызовам, оскорблениям и раскольническим манёврам высшее право — право спасителя и объединителя, год спустя улетучилась, и партия была явно не в состоянии выдержать такого рода нагрузки ещё раз. И если он хотел сохранить свои политические перспективы, то должен был разгромить фронду и одновременно перетянуть её на свою сторону, отразить северогерманские социалистические тенденции, а также концепцию «катастроф» и восстановить единство партии, а для этого требовалось в первую очередь изолировать Грегора Штрассера, переманить фрондёров и, кроме того, примирить их с мюнхенской компанией штрайхеров, эссеров и аманов. И тут с редкостной силой проявились тактическая сноровка Гитлера, его

с трудом поддающееся задним числом расшифровке искусство обращения с людьми, равно как и его личная магия.

В качестве рычага ему послужил спор об экспроприации княжеской собственности. Дело в том, что предложенный социалистическими партиями всенародный референдум вскрыл противоречия вдоль всех фронтов и политических взаимосвязей и представлялся, поэтому особенно подходящим, чтобы расколоть существующие группировки. Этот вопрос страстно дебатировался и в Ганновере, где согласия удалось добиться лишь путём компромиссов. Не только рабочий класс, но и среднее сословие, мелкие вкладчики сберегательных касс и владельцы некрупных состояний, т. е. самый значительный тип членов его партии, со стихийным возмущением увидели, что княжеским домам собираются вернуть то, что сами они потеряли безвозвратно. Но одновременно как раз для того же типа и его национального самосознания была невыносима сама мысль о том, чтобы вступить в союз с марксистами против прежних хозяев страны и, соглашаясь на экспроприацию, тем самым как бы частично санкционировать деликт революции — отсюда и вся цепь споров.

Тактической выгодой этой ситуации и воспользовался Гитлер, приняв быстрое решение. Он назначил на 14 февраля 1926 года в Бамберге совещание партийных руководителей всех рангов. Уже сам выбор места для этого совещания был сделан не без умысла. Город Бамберг был одной из цитаделей преданного ему душой и телом Юлиуса Штрайхера, и всего за несколько недель до этого Гитлер почтил местную партгруппу своим участием в рождественском празднике. Кроме того, он позаботился о том, чтобы на северогерманских гауляйтеров, возглавлявших большей частью незначительные местные организации, произвели впечатление обилие знамён, бросающихся в глаза плакатов, а также извещения о крупномасштабных массовых мероприятиях, дабы сбить с них, насколько возможно, их гонор. Помимо этого он обеспечил себе и своим сторонникам из-за быстроты созыва совещания, а также манипуляций со списком его участников подавляющее большинство[91]. Дискуссия, продолжавшаяся в течение всего дня, открылась его речью, занявшей почти пять часов. В ней он назвал сторонников экспроприации княжеской собственности лицемерами, потому что собственность еврейских банковских и биржевых князей они ведь щадят, и заявил, что бывшие хозяева страны не должны получить ничего, на что они не вправе претендовать, но у них нельзя отбирать то, что им принадлежит, ибо партия защищает частную собственность и право. Затем он под нарастающие аплодисменты своих южногерманских сторонников, к которым постепенно и

нерешительно, один за другим, стали присоединяться и немцы с севера, прошёлся, пункт за пунктом, по программе Штрассера, противопоставив ей программу партии 1920 года и сказав, что она «учредительный документ нашей религии, нашего мировоззрения. Изменить её означало бы предательство по отношению к тем, кто умер, веря в нашу идею». Запись в дневнике Геббельса точно отражает процесс растущего замешательства среди фрондёров: «Я весь как побитый. Кто он — Гитлер? Реакционер? Изумительно неловок и неопределён. Русский вопрос — абсолютно не в масть. Италия и Англия — вот природные союзники. Ужасно! Наша задача — наголову разгромить большевизм. Большевизм — это жидовская работа! Мы должны унаследовать Россию! 180 миллионов!!! Компенсация князьям!.. Чудовищно! Программы достаточно. С этим соглашаются. Федер кивает. Лей кивает. Штрайхер кивает. Эссер кивает. У меня душа обливается кровью, когда я вижу Тебя в подобном обществе!!! Короткая дискуссия. Выступает Штрассер. Запинается, голос дрожит, так некстати, добрый честный Штрассер, ах, господи, как же не доросли мы ещё до этих свиней внизу!.. Я не могу сказать ни слова. Меня как по голове треснули»[92].

Правда, Гитлеру не удалось заставить противную сторону отречься от всего. Более того, Штрассер настаивал на том, что антибольшевизм неразумен и являет собой пример затуманивания мозгов капиталистической системой, которой удалось поставить национальные силы на службу своим эксплуататорским интересам. И всё же поражение было полным. Позднее Отто Штрассер, дабы оправдать позорный характер этого поражения, будет ссылаться на то, что Гитлер из хитрости будто бы назначил это совещание на будний день, чтобы не смогли приехать северогерманские гауляйтеры, исполнявшие свои обязанности на общественных началах и поэтому занятые на работе, так что в Бамберге были только Грегор Штрассер и Геббельс. Однако 14 февраля было воскресеньем, и сторонники Штрассера были представлены почти всеми крупными фигурами: Хинрих Лозе из Шлезвиг-Гольштейна, Теодор Вален из Померании, Руст из Ганновера, Клант из Гамбурга. Но ни один из них не поднялся с места, чтобы выступить в защиту идеи левого национал-социализма, смущённо смотрели они на Йозефа Геббельса, этот природный ораторский талант в своих рядах, и чувствовали себя, как и он, так, словно их треснули по головам. И как Геббельс был до онемения поражён силой внушения, исходившей от Гитлера, его блестяще аранжированным выходом, его колонной автомобилей, аппаратом и материальными

затратами мюнхенцев, так и Грегор Штрассер оказался жертвой — хотя бы только на мгновение — ловкости и совратительной силы Гитлера. Когда атаки на «концерн предателей»[93] дошли до своей кульминационной точки, Гитлер внезапно и демонстративно подошёл к нему и положил ему руку на плечо, и если этот жест и не обратил в его веру самого Штрассера, то все же произвёл впечатление на собрание и вынудил Штрассера пойти на определённое примирение: рабочее содружество северо— и западногерманских гауляйтеров было практически распущено, их проект программы даже не был поставлен на обсуждение, а экспроприация княжеской собственности была отклонена. Три недели спустя, 5 марта, Грегор Штрассер разослал размноженное на гектографе письмо, в котором просил товарищей срочно вернуть ему проект программы — «по совершенно определённым причинам», как он писал, и ещё потому, что он «обещал господину Гитлеру забрать назад все проекты без остатка»[94].

Можно считать, что энергичный отпор Гитлера адресовался не столько левой программе, сколько левому менталитету приверженцев Штрассера. Во всяком случае, он никогда не оценивал появление ростков какой-то идеи выше её самой и, как до того, так и после, перенимал или хотя бы использовал как декорацию любые представления о социализме; не без оснований же Геббельс ещё незадолго до заседания в Бамберге надеялся «завлечь Гитлера на нашу почву»[95]. И уж если он что и считал абсурдом и смертельной опасностью для движения, так это фигуру дискутирующего, запутавшегося в проблемах и волнуемого интеллигентскими чувствами самооправдания и сомнениями национал-социалиста, а именно такая фигура и маячила в окружении братьев Штрассеров. В её лице он боялся возврата того сектантского типа, который уже загубил движение «фелькише», и с характерной для него склонностью к крайним позициям приравнивал ничтоже сумняшеся любые идейные споры к сектантству. Насколько Гитлер ценил — и даже подогревал — личные конфликты среди людей своей свиты, настолько же не терпел он программных разногласий, ибо они, как он считал, только расходуют энергию и уменьшают ударную силу, которую следует направлять вовне. Одна из секретов успеха христианства, любил повторять он, заключается в неизменности его догм, и «католический» темперамент Гитлера редко где проявляется так ощутимо, как в этой приверженности застывшим, неизменным формулам. Как-то он сказал, что все дело только в политической вере, «вокруг которой кругами вращается весь мир», программа может быть «насквозь идиотской, источником же веры в неё является твёрдость, с которой её отстаивают». Всего несколько

недель спустя он создаст и использует возможность, чтобы объявить старую программу партии, несмотря на все её ярко выраженные слабости, «не подлежащей изменению». Именно её устаревшие, старомодные черты и превращают её из предмета дискуссии в объект почитания — ведь она должна была не отвечать на вопросы, а придавать энергию; прояснение, считал Гитлер, означало бы только раздробление. А то, что он с неуклонной последовательностью настаивал на тождестве фюрера и идеи, соответствовало, помимо всего прочего, принципу непогрешимого фюрера, принципу не подлежащей изменению программы. «Слепая вера сворачивает горы», — сказал Гитлер, а один из наперсников коротко сформулировал это так: «Наша программа в двух словах: Адольф Гитлер»[96].

Бамбергское совещание и последующее унижение Грегора Штрассера означали, по сути, конец левого национал-социализма, и несмотря на весь громогласный, поднятый главным образом Отто Штрассером, шум в печати он, начиная с этого момента, будет представлять собой всего лишь некую теорию-помеху, а отнюдь не серьёзную политическую альтернативу. «Социализм» был заменён лозунгами аполитичного патриотизма, и весьма примечательно, что фигура «капиталиста-спекулянта» стала все в большей степени уступать место фигуре «торговца национальными интересами» в лице Густава Штрезсмана или иных представителей правительства. Тем самым эта встреча обозначила в то же время и окончательный поворот НСДАП — её превращение в партию, действующую по приказам фюрера. Отныне и до самого конца в ней не будет больше боев из-за идейной ориентации, а будет лишь борьба за посты и проявления благосклонности: «Сила ассимиляции нашего движения колоссальна», — с удовлетворением констатировал Гитлер. Одновременно с этим национал-социализм отказался и от вызова республиканскому строю выдвижением собственного общественного проекта; вместо идеи ему было противопоставлено готовое к сражению, дисциплинированное, смутно осчастливленное харизмой «фюрера» боевое содружество — «примитивная сила односторонности», которая «как раз и внушает нашим высокопоставленным лицам такой ужас», как витийствовал Гитлер, прежде чем перейти к не очень удавшемуся ему образу «мужского кулака, который знает, что яд можно сломить только противоядием… Решать должен более прочный череп, величайшая решимость и более высокий идеализм». А в другом месте он заявлял: «В таком бою сражаются не „духовным“ оружием, а фанатизмом»[97].

Вот именно этот её нескрываемо инструментальный характер

и выделил вскоре НСДАП из всех других партий и боевых движений и обеспечил ей совершенно явное преимущество в плане дисциплинированности даже по сравнению с кадрами коммунистов, в чьих рядах всё-таки проявлялись порой элементы отклонения, скепсиса и интеллектуального противоборства. Произошедший на редкость легко, без какого-либо сопротивления распад фронды словно пробудил стремление к подчинению, и как раз многочисленные сторонники Штрассера упоённо прилагали теперь все свои силы ради того, чтобы превратить «движение в удобный, безукоризненно работающий инструмент в руках фюрера»[98].

Даже по отношению к своим высшим руководящим инстанциям Гитлер, начиная с этого времени, применяет структуру абсолютного приказа в сопровождении щёлкающего кнута и лишает их права принятия даже самых незначительных деловых решений. «Прототипом хорошего национал-социалиста» считается с той поры тот, «кто в любой момент готов отдать жизнь за своего фюрера», а общие собрания членов партии будут впредь воспринимать требуемое уставом предложение о переизбрании Гитлера Первым председателем со смехом, как формальный фарс[99]; ведь и впрямь было ясно, как выразится потом Геринг, что на фоне непререкаемого авторитета «фюрера» любой другой — «не больше, чем камень, на котором тот стоит». Сам же Гитлер подкрепит своё притязание на руководство вот таким историческим обоснованием: «Нас упрекают в том, что мы проводим культ личности, — скажет он на партийном собрании в марте 1926 года, — это неправда. Во все великие времена в истории всегда выступает в каком-либо движении только одна личность; и не какое-то движение, а личности остаются в истории»

Успех в Бамберге Гитлер, вопреки своей обычной склонности к безудержному триумфу, сопроводил встречными жестами. Когда Грегор Штрассер попал в автомобильную катастрофу, Гитлер навестил его в больничной палате «с огромным букетом цветов» и был, по словам из письма больного, «очень мил». И Геббельса, имевшего у мюнхенского партийного руководства самую плохую репутацию одного из апологетов группы Штрассера, Гитлер тоже, неожиданно для него самого, окружил вниманием и пригласил главным докладчиком на одно из собраний в «Бюргербройкеллере». В конце этого собрания растроганный Гитлер со слезами на глазах обнял его. «Мне даже стыдно, что он так добр ко мне», — с умилением отметил Геббельс в дневнике[100]. Однако в то же время Гитлер принимает меры, чтобы раз и навсегда закрепить свой вновь завоёванный

авторитет организационно.

Общее собрание членов партии приняло в Мюнхене 22 мая 1926 года новый устав НСДАП, совершенно неприкрыто ориентированный лично на Гитлера. Центральной организацией партии теперь считается по уставу Национал-социалистический рабочий союз в Мюнхене, его руководство было одновременно и руководящим органом в масштабах всей страны. И хотя Первый председатель, согласно «Положению о союзе», избирался, но домашняя власть Гитлера — всего несколько тысяч членов местной мюнхенской организации — являла собой коллегию выборщиков от имени всей партии, которая тем самым была полностью лишена голоса. А поскольку, в соответствии с помимо всего прочего регламентированной до самых мелочей процедурой, только всё та же мюнхенская организация имела право потребовать отчёта у Первого председателя, то это обеспечивало ему неограниченную и неконтролируемую власть над всей партией. Не было никаких принимаемых большинством голосов решений, выполнять которые он был бы обязан. Впредь и гауляйтеры, дабы избежать возникновения даже бессильных фракций, уже не будут избираться на партийных собраниях на местах, а будут назначаться Первым председателем; то же правило касается и председателей комитетов и комиссий. Чтобы дополнительно подстраховать эту систему властеобеспечения, создаётся, сверх всего, ещё и некая комиссия по расследованию и улаживанию конфликтов (УШЛА) — своего рода партийное судилище, роль которого заключалась в том, что у неё было право исключать из НСДАП отдельных членов, а то и целые организации. Когда же первый её председатель, отставной генерал-лейтенант Хайнеман, по своей наивности посчитал эту комиссию инструментом для борьбы с коррупцией и нарушителями морали, Гитлер заменил его на этом посту послушным майором Вальтером Бухом, а заместителями назначил готового выполнять любые приказы Ульриха Графа и молодого адвоката Ханса Франка.

Шесть недель спустя, в первые дни июля, Гитлер отпраздновал свою победу на партийном съезде в Веймаре, где отчётливо проявились подвижки и тенденции новой эры. Все критические или, как презрительно называл их Гитлер, «остроумные» порывы, все «скороспелые и сомнительные идеи» были подавлены и впервые нашла применение внедрившаяся впоследствии практика партийных съездов, когда разрешалось вносить только такие предложения, которые «получили подпись Первого председателя». Вместо дебатирующей, погрязшей в программных разногласиях и «дрязгах» партии отныне

общественности будет представляться картина «единого, сплочённого и монолитного руководства», и председательствующие на отдельных чрезвычайных заседаниях будут, как определит это в своих «основополагающих директивах» Гитлер, «чувствовать себя руководителями, а не исполнительным органом, зависимым от результатов голосования; голосования же, считает он, вообще следовало бы отменить, а „безбрежные дискуссии — запретить“, потому что они способствуют тому заблуждению, будто политические вопросы „можно решить, сидя в креслах на съезде союза“. В конечном итоге было резко ограничено время для выступлений на пленарных заседаниях, дабы „вся программа не была похоронена одним единственным господином“[101]. И не лишено было, наверное, глубокого смысла, что когда после проведения мероприятия в Национальном театре Гитлер, стоя в открытой машине, в штурмовке с портупеей и в штанах с гетрами принимал парад 5000 своих сторонников, он впервые вскинул тут руку в приветствии итальянских фашистов. И хотя Геббельс с ликованием узрел при виде колонн, марширующих в форме штурмовиков, приближение «третьего рейха» и пробуждение Германии, подавление любого вида спонтанности придало съезду скорее невыразительный оттенок, тем более, что идеологическая нищета и тоска единомыслия не перекрывались тогда ещё тем навыком устройства ослепительного манифестационного ореола славы, который не достиг ещё высоты последующих лет. Кстати, среди почётных гостей тут были руководитель «Стального шлема» Теодор Дюстерберг и сын кайзера принц Август Вильгельм, вступивший вскоре после этого в СА; некоторые группы «фелькише» тоже, под впечатлением от единства и силы партии, отказались от своей независимости и перешли в НСДАП. Однако там же, в Веймаре, родилась в устах Грегора Штрассера и формула о «мёртвом национал-социализме».

Последним элементом непокоя и мятежной энергии оставались СА, в чьих рядах радикальные лозунги Штрассера и его сторонников встречали особенно сильный отклик. Поэтому Гитлер выжидал целый год после ухода Рема, прежде чем назначить осенью 1926 года отставного капитана Франца Пфеффера фон Заломона, замешанного ранее в различных акциях добровольческих отрядов и делах тайных судилищ и бывшего до своего нового назначения гауляйтером Вестфалии, высшим руководителем новых СА (ОСАФ). С его помощью он хотел решить традиционную проблему роли СА и заложить начала такой организации, которая не была бы ни вспомогательным

военным формированием, ни тайным союзом, ни драчливой гвардией местных партийных руководителей, а стала бы в руках центра строго руководимым инструментом пропаганды и массового террора — преображением национал-социалистической идеи в фанатичную и исключительно боевую силу. Чтобы продемонстрировать расставание штурмовиков с полувоенными спецзаданиями и бесповоротное включение СА в состав партии, он вручил новым отрядам «под клятву верности» и мистический церемониал в веймарском Национальном театре штандарты, выполненные по его личным эскизам. «Подготовка СА, — говорилось в одном из его посланий фон Пфефферу, — должна осуществляться не с военной точки зрения, а исходя из партийной целесообразности». Прежние оборонительные формирования, — продолжал Гитлер, — хотя и были мощными, но не имели идеи и потому потерпели крах; тайные организации и кружки по подготовке покушений, опять же, никогда не понимали, что враг действует анонимным способом в умах и душах и не может быть истреблён физическим уничтожением его отдельных представителей, поэтому борьбу следует вывести «из атмосферы мелких акций мести и заговора на великий простор мировоззренческой войны на уничтожение с марксизмом, его порождениями и заправилами… Следует работать не на тайных сборищах, а на огромных массовых демонстрациях, и не кинжалом, ядом или пистолетом может быть проложена дорога движению, а путём завоевания улицы»[102].

Серией так называемых «приказов по СА» и «Основополагающих распоряжений» фон Пфеффер затем ещё более дифференцирует со временем особенность и принципы действий СА и проявит при этом поразительное чутьё в отношении эффективности воздействия на психологию масс строгой, выдержанной в духе строевой подготовки механики. В своих приказах по проведению мероприятий он выступает и как командир, и как режиссёр, регулирующий каждый выход, каждое движение на марше, каждое поднятие руки и каждый возглас «хайль!» и тщательно расчитывающий эффект своих массовых сцен. «Единственная форма, — так заявил он, — в которой СА обращаются к общественности, это их выступление сплочёнными рядами. Одновременно это является одной из сильнейших форм пропаганды. Вид большого числа внутренне и внешне одинаковых, дисциплинированных мужчин, чья беззаветная воля к борьбе очевидна или чувствуется — это производит на каждого немца глубочайшее впечатление и обращается к его сердцу на более убедительном и захватывающем языке, нежели это могут сделать и печать, и речь, и логика. Спокойная сосредоточенность

и естественность подчёркивают эффект силы — силы марширующих колонн».

И всё же попытка переделать СА в безоружное пропагандистское сборище и придать им взамен амбициозного особогосознания военных театрализованную притянательность в общем и целом успехом не увенчались. Несмотря на все старания Гитлера ему удалось лишь в ограниченном объёме сделать штурмовиков послушным инструментом своих политических целей. Причинами тому были не только безидейный, ландскнехтский образ мысли этих вечных солдат, но и градиция страны, исстари отдававшей военной инстанции особые полномочия по сравнению с инстанцией политической. Лозунги Пфеффера по перевоспитанию так и не смогли затушевать того, что СА как «борющееся движение» воспринимали себя чуть ли не морально превосходящими Политическую организацию (ПО) как всего лишь говорящей речи частью их движения и продолжали весьма примечательным образом называть её с откровенным презрением «П-нуль». Именно в этом смысле они и считали себя «вершиной нашей организации». «Штурмовика наподобие нас им не сделать», — пренебрежительно отзывались они о так называемых парламентских партиях[103]. Правда, у этих последних не было и тех трудностей, с которыми сталкивались НСДАП вследствие существования своей партийной армии и которые порождали делемму — как потребовать от этих преисполненных комплексов офицеров и солдат мировой войны исполнения столь причудливого трюка на канате в роли послушного, на удивление мягкотелого рода людей-господ, той роли, что будет по плечу только следующему поколению. Кстати, вскоре начались и первые конфликты с фон Пфеффером, оказавшимся столь же строптивым, более хладнокровных и не сдававшим сантиментами, как его предшественник. Этот «хилый австрияк» ему не нравится, — заявлял сын прусского тайного советника[104].

Особенно самоуправно вели себя штурмовые отряды в Берлине, их низовые подразделения проводили свою собственную политику, близкую к уголовщине и лиходейству, и местный гайляйтер д-р Шланге ничего не мог с ними поделать. Распри между руководителями берлинской политической организации и СА выливались порой в обмен пощёчинами, причём этот шум находился в определённом противоречии с ролью и значением берлинской организации НСДАП. Она не насчитывала и тысячи членов и стала обращать на себя внимание только благодаря тому, что в начале лета братья Штрассеры начали разворачивать

тут своё газетное предприятие. «Внутрепартийное положение в этом месяце, — говорилось в отчёте о ситуации в октябре 1926 года, — не было хорошим. В нашем гау обстановка сложилась таким образом и обострилась на этот раз до такой степени, что приходится уже считаться с перспективой полного развала берлинской организации. Вся трагедия гау в том, что тут никогда не было настоящего руководителя»[105].

И вот уже в том же месяце Гитлер кладёт конец этой ставшей невыносимой обстановке, и вся его тактическая изощрённость распознается в том, как использовал он этот хаос, чтобы одновременно и вывести эту местную организацию из-под власти Грегора Штрассера, и коррумпировать его самого способного сторонника, переманив того на свою сторону, — он назначает новым гауляйтером в столице Йозефа Геббельса. Ещё в июле этот чистолюбивый фрондёр под впечатлением великодушного приёма в Мюнхене и Берхтесгадене начал откровенно сомневаться в правоте своих леворадикальных убеждений, лапидарно назвал в своём дневнике искусителя Гитлера «гением», написав, что тот — «само собой разумеется, творящий инструмент божественной судьбы», и, наконец, обратился в его веру: «Я стою перед ним потрясённый. Вот таков он: как ребёнок — мил, добр, сердоболен. Как кошка — хитёр, умён и ловок, как лев — рычаще-величественен и огромен… Свой парень и муж… Он нянчится со мной, как с ребёнком. Добрый друг и учитель!»[106] Такие восторги не могли, однако, скрыть угрызений совести, мучивших поначалу этого изворотливого оппортуниста из-за его отхода от Штрассера, о котором в той же записи теперь говорилось так: «Пожалуй, он всё же не поспевает за разумом. За сердцем — да. Я его иной раз так люблю». И Гитлер уж позаботится о том, чтобы это отчуждение быстро возрастало.

Назначая Геббельса на этот пост, он наделил его особыми полномочиями, которые не только должны были укрепить позиции нового гауляйтера, но и одновременно создать почву для трений со Штрассером. Он безоговорочно подчинил Геббельсу отряды СА, которые во всех иных местах ревниво отстаивали свою независимость от гауляйтеров. Дабы смягчить Штрассера или хотя бы парализовать его энергию к сопротивлению, Гитлер назначает его руководителем пропаганды партии в масштабах страны, однако, чтобы сделать конфликт неизбежным и постоянным, тут же выводит Геббельса из подчинения Штрассеру. Прежние друзья и соратники будут в ответ на это обвинять нового берлинского гауляйтера в измене, однако измену такого рода рано или поздно совершат все фрондёры из лагеря левого национал-социализма, если не захотят, подобно братьям

Штрассерам, предпочесть этому отставку, позднее бегство, а то и смерть.

Со вступлением Геббельса в должность берлинского гауляйтера начался явный распад уже поколебленной власти левых в северогерманском регионе. Не разобравшись, что к чему, Штрассер поначалу даже способствует этому назначению своего мнимого соратника, против чьей кандидатуры выступали такие влиятельные мюнхенцы как Гесс и Розенберг, но Геббельс, кажется, намного лучше распознал тайные замыслы Гитлера. Во всяком случае, весьма скоро он перешёл к открытой борьбе не только с коммунистами, но и со своими вчерашними товарищами, организовывал потасовки, основал свой редкий по наглости бульварный листок «Ангрифф» в качестве конкурента газете братьев Штрассеров и даже распространял слухи, будто бы их предки были евреями, а сами они куплены крупным капиталом. Я был «безнадёжным идиотом высшего калибра», — жаловался потом Грегор, имея в виду своё отношение к Геббельсу[107]. Хладнокровный, циничный мастер казуистического, равно как и сентиментального убеждения, Геббельс открыл собой новую эру демагогии, современные возможности которой он осознал и максимально использовал, как никто другой. Чтобы о безвестной берлинской парторганизации повсюду заговорили, он устроил дикий разгул дубинок и постоянно организовывал драки, погромы, перестрелки, оставлявшие, как говорилось в полицейском отчёте в марте 1927 года, после кровавого побоища с коммунистами на вокзале Лихтерфель-де-Ост, «далеко позади все, что было раньше»[108]. И хотя, действуя таким образом, он шёл на риск, что НСДАП в Берлине будет запрещена, — что вскоре и произошло, — но одновременно он привил своему войску сознание мученичества и чувства повязанности одной верёвкой. Во всяком случае, скоро берлинская организация уже выходит из зоны своей ничтожности, и со временем ей удаются весьма серьёзные прорывы массовых фронтов так называемого «красного Берлина».

Одновременно с такого рода экспансивными устремлениями Гитлер использовал это время для постепенного, но неуклонного и последовательного развития внутрипартийного строительства. Его целью было создание единой командной структуры под знаком харизматического явления единственного в своём роде фюрера. В иерархии инстанций, в непререкаемом тоне всех извещений сверху, выдерживавшихся в духе приказов и распоряжений, а также во всё более распространявшемся ношении формы находит своё выражение парамилитаристский

характер партии, все руководство которой было отмечено отпечатком военного опыта и, как выразился как-то Геббельс, имело своей задачей подчиняться «в решающий момент во всех звеньях самому лёгкому нажиму»[109]. Ограничения и меры контроля, которым подвергалась партия со стороны властей, стимулируют такие планы ещё больше, да и вообще сознание нахождения во враждебном окружении в решающей степени служит как выработке дисциплинированности аппарата, так и тотальному вождизму Гитлера. Мюнхенский центр без труда распространяет своё влияние и на самые низшие инстанции. И убрав вскоре имевшиеся в первых изданиях «Майн кампф» даже незначительные демократические элементы и заменив «германскую демократию» «принципом безусловного авторитета фюрера», Гитлер предостерегает теперь от «слишком большого количества партсобраний в местных организациях», ибо это, считает он, является «только источником споров»[110].

Наряду с организацией партии возникла и заорганизованная, расчленённая по многочисленным сферам обязанностей и полномочий бюрократия, лишившая очень скоро НСДАП её прежнего, сохранявшегося даже на самом бурном этапе её развития в период путча характера провинциального союза-ферейна. Хотя Гитлер по своему личному поведению и по стилю работы представлял собой скорее тип неорганизованного человека, он был необыкновенно горд трехступенчатой системой регистрации членов партии и впадал прямо-таки в восторженный тон, когда докладывал о приобретении новых средств организации канцелярского труда, новых картотек и регистрационных папок. На место примитивной, фельдфебельской бюрократии ранних лет приходила разветвлённая сеть все новых отделов и подотделов, только в течение 1926 года были трижды расширены помещения, занимавшиеся мюнхенской штаб-квартирой. Конечно, аппарат НСДАП, превзошедший вскоре легендарную организацию СДПГ, был несоразмерно велик по сравнению с небольшим и весьма медленно растущим числом её членов, тем более, что сам Гитлер планировал построить такую партию как маленькое и твёрдое ядро обученных специалистов по пропаганде и насилию; он постоянно подчёркивал, что организация, куда входят десять миллионов человек, не может быть боевитой сама по себе, а может приводиться в движение только фанатично настроенным меньшинством[111]. Из 55 000 членов 1923 года НСДАП. сумела к концу 1925 года привлечь в свои ряды примерно половину, двумя годами позже их стало 100 000. Но для этой казавшейся раздутой системы Гитлер не только весьма расширил рамки, имея в виду

ожидаемый с прежней уверенностью обязательный прорыв к массовой партии, но и создал ей в то же время разнообразные возможности в плане патронажа и разделения чужой власти, благодаря чему он расширял и упрочивал власть свою собственную.

К тому же времени относятся и те начала формирования теневого государства, которые будут энергично развиваться и постоянно расширяться впоследствии. Ещё в «Майн кампф» Гитлер выдвинул в качестве предпосылки для планируемого переворота такое движение, которое не только «уже несёт в самом себе будущее государство», но и «уже может представить в распоряжение последнего законченную конструкцию своего собственного государства». В этом плане внутрипартийные учреждения служили и тому, чтобы от имени самого народа, якобы никак не представленного в институтах «веймарской безгосударственности», ставить под сомнение компетентность и законность последних. Службы теневого государства возникают в соответствии со всей министерской бюрократией, так, например, в НСДАП были внешнеполитический отдел, отдел правовой политики и отдел военной политики. Другие отделы занимались главными аспектами национал-социалистической политики, народным здравоохранением и вопросами расы, пропагандой, поселенческими делами, равно как и аграрной политикой, они подготавливали новое государство, вырабатывая порой по-дилетантски смелые проекты и планы законов. В лице национал-социалистических союзов врачей, блюстителей права, студентов, учителей, государственных служащих существуют, начиная с 1926 года, другие вспомогательные организации партии, в этом сплетении отделов и служб находят себе место даже садоводство и птицеводство. После того как в 1927 году бегло обсуждается вопрос о создании женских штурмовых отрядов (потом эта идея была отвергнута), год спустя возникает «красная свастика» (прообраз будущего Национал-социалистического союза женщин), которая должна была вербовать сторонниц из все возрастающего числа экзальтированно-политизированных женщин и дать им в этой по-прежнему сохранявшей свой гомоэротический характер партии уголок, где они и будут заниматься практической благотворительностью. И если даже дело не обстояло так, как заверял Геббельс в своём секретном заявлении в 1940 году, что национал-социализму, когда он пришёл к власти в 1933 году, нужно было «всего лишь перенести на государство свою организацию, свой опыт, принципы своего духа и своей души» и что он «был государством в государстве», «все подготовившим и все продумавшим», то все же было бы правильно считать, что

НСДАП подкрепила своё притязание на власть более действенно и более вызывающе, нежели какая-либо иная партия[112]. Рейхсляйтеры и гауляйтеры ещё задолго до 1933 года соперничали с министрами, СА просто без спроса присваивали себе полицейские функции при проведении публичных мероприятий, а Гитлер как фюрер «оппозиционного государства»[113] нередко направлял на международные конференции собственного наблюдателя. Та же полемическая идея лежала и в основе широко использовавшейся партийной символики: свастика все настойчивее выдаётся за государственный символ подлинной, сохранившей свою честь Германии, песня «Хорст Вессель» становится гимном теневого государства, а коричневая рубашка, ордена и значки, точно так же как и памятные даты из истории партии, порождают чувство принадлежности к некоему своему кругу, активно не приемлющему существующее государство. Вопреки всей бюрократической мании, которую национал-социализм развил в те годы и удовлетворил впоследствии в лабиринтах системы властных полномочий, его стиль руководства был тем не менее насквозь пронизан субъективными элементами. Они то и дело брали верх над деловым сочетанием норм и компетенций, чья надёжность на поверку оказывалась не очень высокой. И как положение в рамках партийной иерархии зависело не столько от чина, сколько от знаков благоволения, которые проявлялись к носителю данного чина, то точно также все нормы были настежь открыты произволу, а закон оказывался во власти сиюминутного каприза. Высоко надо всем стояла ничем не связанная и подвластная только своим импульсивным порывам «воля фюрера» — этакий высший и неоспоримый конституционный факт. Фюрер назначал и смещал всех нижестоящих руководителей и партслужащих, утверждал кандидатуры и избирательные списки, регулировал доходы партийных чиновников и контролировал даже их частную жизнь — вождистский принцип по самой своей сути не знал никаких барьеров. Когда гамбургский гауляйтер Альберт Кребс заявил в начале 1928 года в результате противоборства у себя в гау о своей отставке, Гитлер сначала отклонил его просьбу и продемонстрировал затем при помощи протокольного разбирательства, носившего необыкновенно обстоятельный характер, что не от доверия или недоверия членов партии, а от доверия или недоверия фюрера зависит сохранение или утрата позиций власти. Ибо он один волен хвалить за заслуги, наказывать за ошибки, улаживать конфликты, награждать и миловать. А потом он утвердил отставку[114].

Выступавшая во всё более доминирующей роли личность

Гитлера в значительной мере формировала и определяла такого рода средствами все структуры — сам аппарат отражал характерные черты его биографии. Уже эксцессивная бюрократическая страсть к обширным службам с запутанной сетью отделов и подотделов, равно как и культ титулов и ничего не говорящих полномочий, выдавали неистребимое наследие сына чиновника его императорского и королевского величества. Точно так же и господство субъективно-волюнтаристского элемента указывало на то, откуда вышел Гитлер, — на беззаконные и никому не подчинённые вооружённые формирования. Да и его старые, продиктованные манией величия наклонности легко просматриваются в безмерно утрированных количественных порядках, равно как и свойственная авантюристам страсть к представительству, наделявшая институты с пока ещё ничтожным весом самыми звучными названиями.

Правда, идея теневого государства, как и создание превышающей все разумные размеры партийной бюрократии были, помимо всего прочего, одновременно и нетерпеливыми попытками прорваться в будущее, попытками обогнать реальность. Параллельно нарастала и не знающая устали митинговая активность, только в 1925 году, согласно отчёту Гитлера, было проведено почти 2400 собраний, митингов и демонстраций. Однако общественность проявляла к ним весьма слабый интерес, и весь шум, все эти ожесточённые драки и бои ради сенсационных заголовков в печати принесли партии лишь скудные успехи. Иногда даже казалось, что в те годы укрепления республики, когда НСДАП, по выражению Геббельса, и у её противников-то уже не вызывала ненависти, Гитлер начинал сомневаться в успехе. Тогда он убегал от действительности в свои заоблачные высоты и находил утешение в вере в будущее: «Пусть пройдут ещё двадцать или сто лет, прежде чем победит наша идея. Пусть те, кто сегодня верит в идею, умрут, — что значит один человек в процессе развития народа, человечества?» — говорил он тогда. Будучи в ином настроении, он видел себя уже ведущим великую войну будущего. Как-то за обедом в кафе «Хек» он громко сказал капитану Стеннесу: «И вот тогда, Стеннес, когда мы победим, тогда мы построим аллею Победы, от Деберитца до Бранденбургских ворот, шириной в шестьдесят метров, а справа и слева будут стоять памятники победам, наши трофеи»[115].

А пока что центр жаловался, что несколько — около тридцати из примерно двухсот — местных организаций упустили возможность заказать плакаты, посвящённые назначенному на середину августа 1927 года партсъезду и что партии не по силам

организация массовых мероприятий. И не в последнюю очередь этим обстоятельством объясняется впервые пришедшая в голову Гитлера идея провести съезд на романтическом фоне Нюрнберга, одного из старейших городов страны, в котором, как и в соседнем Бамберге, ключевой фигурой местного масштаба был Юлиус Штрайхер. По сравнению с Веймаром на этот раз проявилась сильная режиссёрская рука Гитлера, сумевшая придать эффектное выражение сплочённости и боеготовности движения. Один из старых приверженцев назовёт его, имея в виду этот съезд, «иллюзионистом, захватывающим массы», и, действительно, в этом представлении уже были видны зачатки вылившейся позднее в помпезный ритуал механики проведения съездов. Изо всех областей страны, на специально заказанных поездах, со знамёнами, вымпелами и оркестрами прибыли сюда штурмовые отряды и партийные формирования, а также многочисленные зарубежные делегации, здесь же впервые показала себя созданная год назад молодёжная организация Гитлерюгенд. И если в Веймаре форма участников казалась ещё пёстрой и случайной, то теперь она была уже почти стопроцентно унифицирована, а сам Гитлер носил взятую когда-то Росбахом со складов охранных отрядов и введённую затем в качестве формы СА коричневую рубашку, которую он, правда, находил отвратительной. Большой митинг в Луитпольдхайне завершился торжественным освящением штандартов, после чего Гитлер, в открытом автомобиле и с застывшей вытянутой рукой, принял на центральной площади города парад своего войска. Национал-социалистическая пресса писала о тридцати, а «Фелькишер беобахтер» аж о ста тысячах участников, хотя более трезвые подсчёты называли цифру в пятнадцать тысяч человек, участвовавших в параде. Несколько женщин и девушек, явившихся в смелых коричневых костюмах, к параду перед Гитлером допущены не были. Партсъезд рекомендовал провести конгресс, посвящённый профсоюзным проблемам, (так, впрочем, никогда и не состоявшийся), принял решение о создании «кольца пожертвований» в целях преодоления бедственного финансового положения партии и выдвинул требование об основании научного общества, дабы иметь возможность оказывать пропагандистское воздействие на интеллектуальные круги[116]. Какое-то время спустя Гитлер выступит перед несколькими тысячами крестьян в Шлезвиг-Гольштейне — застой вынуждал партию искать себе сторонников в новых общественных слоях.

А в это время в государстве успешно продолжился процесс стабилизации, начавшийся в 1923-1924 годах. Новое соглашение

по репарациям, Локарнский договор и приём Германии в Лигу наций, а также пакт Келлога[117] и установившееся первоначально в личном плане взаимное уважение между Штреземаном и Брианом, вылившееся затем в поддержанное общественностью взаимопонимание с Францией, показывали, насколько сильна тенденция времени к разрядке напряжённости и международному равновесию. Крупные американские займы хоть и повлекли за собой немалую государственную задолженность страны, но в то же время дали возможность в значительной степени рационализировать и модернизировать немецкую экономику. Рост индексов в 1923-1928 годах почти во всех секторах не только превосходил показатели во всех других европейских государствах, но и, несмотря на уменьшение территории Германии, довоенные достижения страны. В 1928 году доходы населения превысили уровень 1913 года почти на двадцать процентов, значительно улучшилось социальное положение, а количество безработных сократилось примерно до 400 000 человек[118].

Было очевидно, что время противостояло радикализму национал-социалистов. Сам Гитлер жил уединённо в Оберзальцберге, не показываясь иной раз неделями, но этот его отход от дел все же свидетельствовал о том, что в конечном счёте он был уверен в прочности своих позиций. Лишь время от времени, с явно рассчитанными интервалами, он пускает в ход свой авторитет — даёт указания или раздаёт наказания. Иногда он предпринимает поездки ради поддержания контактов или нахождения спонсоров. 10 декабря 1926 года выходит второй том «Майн кампф», но и тут автор остаётся без ожидавшегося шумного успеха. Если первый том был продан в 1925 году в количестве почти десяти тысяч экземпляров, а год спустя к ним добавились ещё около семи тысяч, то в 1927 году оба тома находят только 5607 покупателей, а в 1928 году и того меньше — всего лишь 3015[119].

Но как бы то ни было, на полученные доходы он покупает усадьбу в Оберзальцберге. Фрау Бехштайн помогает ему при покупке мебели, а Вагнеры из Байрейта снабжают дом постельным бельём и посудой, позднее они пришлют комплект полного собрания сочинений маэстро и страницу оригинала партитуры «Лоэнгрина». Примерно в эту же пору Гитлер приобретает за двадцать тысяч марок шестиместный «мерседес-компрессор», как бы удовлетворяя тем самым свои технические и репрезентативные потребности. Его обнаруженные уже после войны налоговые документы свидетельствуют, что эта затрата значительно превосходила декларированные им доходы, что и не

ускользнуло от бдительного ока фининспекции. В письме властям, напоминающем по своей слезливой хитрости послание уклонявшегося от прохождения военной службы магистрату города Линца, он уверяет об отсутствии у него средств и о своём скромном образе жизни: «Имуществом или капиталами, которые я мог бы назвать собственными, я нигде не располагаю. Мои личные потребности ограничиваются самым необходимым, а именно в том смысле, что я полностью воздерживаюсь от употребления алкоголя и табака, питаюсь в самых скромных ресторанах и, помимо того, что плачу небольшую квартплату, не имею никаких расходов, за исключением издержек писателя-политика на рекламу… И автомобиль для меня это только подручное средство. Только с его помощью я могу осуществлять мой каждодневный труд»[120]. В сентябре 1926 года он заявлял, что не в состоянии платить причитающиеся налоги и не раз говорил о своей большой задолженности в банке. И ещё годы спустя он будет при случае вспоминать об этом периоде своих финансовых затруднений и скажет, что порой ему приходилось питаться одними яблоками. Его квартира на Тиршштрассе, которую он снимал у вдовы Райхерт, и впрямь была совершенно непритязательной — маленькая, скудно обставленная комната с полом, выложенным стёршимся линолеумом.

Чтобы увеличить свои доходы, Гитлер вместе с Германом Эссером и фотографом Генрихом Хофманом, которому он дал эксклюзивное право на свои фотографии, организует издание журнала «Иллюстриртер беобахтер», где регулярно публикует свои статьи в рубрике «Политика недели». Монотонность и бросающаяся в глаза стилистическая серость этих его комментариев отражают тематические затруднения того периода. Летом 1928 года — в пору, когда он живёт, ожидая, планируя и затаившись, — Гитлер приступает к написанию своей второй, так и оставшейся неопубликованной при его жизни книги, которая представляла собой его сформировавшуюся к тому времени внешнеполитическую концепцию во всех её взаимосвязях. Не без труда и лишь с помощью обращений-угроз удерживает он единство своей раздираемой противоположными силами партии, решительно отражая тем не менее все признаки недовольства курсом на легальность. Укрепление республики не побуждает его к поспешным выводам, как кое-кого из его сторонников, — инстинктивное чутьё на все слабое и прогнившее придаёт его чувству ненависти терпение. В противодействии и бесперспективности положения он черпал даже особую уверенность в успехе, что и выражено в таком примечательном пассаже: «Как раз в этом и заключается безусловная, я бы сказал,

математически высчитанная основа грядущей победы нашего движения, — ободряет он своих сторонников, — пока мы являемся радикальным движением, пока общественное мнение бойкотирует нас, пока нынешняя ситуация в государстве против нас, — мы будем продолжать собирать вокруг себя самый ценный материал — людей, даже в те времена, когда, как говорится, все доводы человеческого рассудка выступают против нас». А на рождественском празднике в одной из мюнхенских секций НСДАП он вселяет уверенность, сравнив, уже не в первый раз, положение партии, её преследования и беды с положением раннего христианства: национал-социализм, — проводит он эту параллель дальше, захваченный собственной смелой картиной и рождественской растроганностью собравшихся, — превратит идеалы Христа в дело. И дело, которое Христос начал, но не смог завершить, доведёт до конца он — Гитлер[121]. Сыгранный до того самодеятельный спектакль «Избавление» послужил прелюдией к нарисованной в его выступлении картине современной «нужды и рабства». «Звезда, взошедшая в рождественскую ночь, означала появление избавителя, — так трактовала газета „Фелькишер беобахтер“ ситуацию, — раздвигающийся ныне занавес явил нам нового избавителя, спасителя немецкого народа от позора и нужды — нашего фюрера Адольфа Гитлера».

В глазах внешнего мира такого рода откровения ещё больше укрепляли вызывавшую недоумение окружавшую его ауру. Как и в начале карьеры, его опережала репутация некоего скорее причудливого явления, которое едва ли воспринималось всерьёз и черты которого охотно объяснялись живописным своеобразием баварской политики… Да и тот стиль, что он поддерживал и преумножал, порождал во многом недоверчивое удивление; например, полотнище флага, развевавшееся над колонной путчистов у «Фельдхеррнхалле», он приказал почитать как «окроплённое кровью знамя», прикосновение к кисти которого — это имело место при каждом освящении штандартов — вызывало прилив мистических сил. Одно время члены партии получали письма, начинавшиеся обращением «Ваше немецкое благородие», — это должно было свидетельствовать об их безупречной родословной[122]. Но между тем были и другие инициативы, говорившие о неизменной серьёзности и амбициозности, с которой НСДАП преследовала свои цели. В конце 1926 года партия организовала школу ораторов, где слушателям давались технические навыки, общие знания и материал для выступлений и где к концу 1932 года, согласно данным самой школы, были подготовлены 6000 ораторов.

О вере во вновь завоёванную почву под ногами и умалении

роли НСДАП свидетельствовало принятое весной 1927 года правительствами Саксонии и Баварии решение об отмене запрета на выступления вождя партии. Гитлер со всей готовностью даёт обещание, которое от него потребовали, что ни в коем случае не будет преследовать противозаконные цели и применять противозаконные средства. Вскоре после этого появляются кричаще-красные плакаты, извещавшие, что 9 марта в 20 часов он впервые снова выступит в цирке «Кроне» перед мюнхенцами. О ходе этого вечера рельефно, как на модели, повествуется в следующем полицейском донесении:

> «Уже к четверти восьмого цирк заполнен намного больше, чем наполовину. Вниз со сцены свисает красное знамя со свастикой в белом кругу. Сцена зарезервирована для руководителей партии и оратора. Видимо, и ложи, поскольку их распределением занимаются люди в коричневых рубашках, также предназначены для видных партийцев. На трибуне пристроился оркестр. Других декораций не наблюдалось.
>
> Люди в зале возбуждены и преисполнены ожиданий. Говорят о Гитлере, о его прежних ораторских триумфах в цирке «Кроне». Женщины, которых собралось поразительно много, кажется, все ещё в восторге от него. Рассказывают о ранних днях всего этого… В горячем, сладковатом воздухе разлита жажда сенсации. Музыка играет звучные военные марши, в то время как появляются все новые толпы. Кругом разносят и предлагают «Фелькишер беобахтер». У кассы раздавали программу Национал-социалистической рабочей партии, а при входе суют в руки листовку с призывом не поддаваться ни на какие провокации и сохранять порядок. Продают флажки: «флажок для приветствия, цена — 10 пфеннигов». Они или черно-бело-красные, или целиком красные, с изображением свастики. Самые усердные покупатели — женщины.
>
> Ряды между тем заполняются. Слышны голоса: «Должно быть так, как прежде!» Манеж заполняется… Большинство принадлежит к слоям с низкими доходами, это рабочие, мелкие ремесленники, мелкие торговцы. Много молодёжи в штурмовках и гольфах. Представителей радикального рабочего класса немного, почти совсем нет. Люди хорошо одеты, некоторые мужчины даже во фраках. Количество людей в цирке, который уже почти полон, оценивается в семь тысяч

человек…

Так наступила половина девятого. И тут от входа слышатся нарастающие возгласы «хайль!» Строем входят люди в коричневых рубашках, играет музыка, цирк разражается бурной овацией, в коричневом плаще появляется Гитлер, быстро проходит в сопровождении своих ближайших соратников через весь цирк вверх на сцену. Люди радостно возбуждены, приветственно машут, скандируют «хайль!», вскакивают на скамейки, слышен грохот. И тут звучат фанфары. Моментальная тишина.

Под шквал приветствий зрителей теперь входят торжественным строем коричневорубашечники. Впереди две шеренги барабанщиков, за ними — знамя. Люди приветствуют их на фашистский манер вытянутой рукой. Публика им аплодирует. На сцене тем же манером поднял руку в приветствии Гитлер. Грохочет музыка. Череда знамён, сверкающие штандарты со свастикой в венке и с орлами по образцу древнеримских боевых флагов. Продефилировало, наверное, около двухсот человек. Они заполняют манеж и выстраиваются там, а знаменосцы и те, кто несёт штандарты, занимают место на сцене…

Гитлер быстрыми шагами выходит на авансцену. Он говорит свободно, сначала с медленным напором, потом слова начинают обгонять друг друга, в местах, произносимых с преувеличенным пафосом, у него перехватывает голос, и слова различать уже невозможно. Он жестикулирует руками и кистями рук, мечется в возбуждении туда и сюда и всё время старается захватить внимательно слушающую его многотысячную публику. Когда его прерывают аплодисменты, он театрально вытягивает вперёд руки. Слово «нет», которое все чаще слышится к концу его речи, звучит как-то по-актерски, да и сознательно выделяется им. В смысле ораторских достижений его речь… по мнению автора донесения, не представляла собой ничего выдающегося»[123].

Отвоёванная свобода выступлений не решала тех трудностей, с которыми сталкивалась НСДАП. Самому же Гитлеру, как теперь оказалось, запрет был скорее на пользу, ибо в пору весёлого равнодушия, когда даже он не смог бы привлечь полные залы, это предохраняло его имя от процесса девальвации. Поэтому он

вскоре сам решает не очень высовываться: если в 1927 году он публично выступил пятьдесят шесть раз, то два года спустя сократил количество своих выступлений до двадцати девяти. Кое-что говорит за то, что только к этому времени он осознал, какие преимущества давало ему состояние полубожественной отрешённости. В момент возвращения к массам он столкнулся с конкуренцией превосходящей силы неблагоприятных обстоятельств: и тут же начались неудачи, а вместе с ними послышалась и критика. Она была направлена как против его стиля руководства, так и против выдерживавшегося со всей строгостью курса на политику легальности. Даже Геббельс, преданный Гитлеру душой и телом и бывший одним из пророков-провозвестников культа фюрера, в своём памфлете 1927 года «Наци-соци» критикует безоговорочный курс на легальность и на вопрос, как вести себя партии, если её усилия по завоеванию на свою сторону большинства провалятся, строптиво заявляет: «Что тогда? Тогда мы стиснем зубы и приготовимся. Тогда мы выступим против этого государства, тогда мы решимся на последнее великое выступление ради Германии, и из революционеров слова будут тогда революционеры дела. Тогда мы устроим революцию!»

Критике подвергалось и личное поведение Гитлера, его пренебрежительное отношение к заслуженным товарищам, «столь прославляемая стена вокруг господина Гитлера», за существование которой порицал его один старый партиец, его невнимание к партийным делам, а также его комплекс ревности в отношении собственной племянницы. Когда в начале лета 1928 года он нечаянно застал Эмиля Мориса в комнате Гели Раубаль, то, по свидетельству последнего, набросился на него со своей плёткой, так что тому пришлось, чтобы спастись, выпрыгнуть из окна. И председатель комиссии по расследованию и улаживанию конфликтов Вальтер Бух вынужден в конечном итоге, «будучи без лести предан», все же довести до сведения своё впечатление, «что Вы, господин Гитлер, постепенно доходите до презрения к человеку, что наполняет меня горькой озабоченностью»[124].

Ввиду мятежных настроений в партии Гитлер отменяет запланированный на 1928 год съезд и созывает вместо него в Мюнхене совещание партийных руководителей. Он запрещает местным организациям проводить любого рода подготовительные собрания и, открывая 31 августа эту встречу, превозносит в своём возбуждённом выступлении послушание и дисциплину. Только безоговорочно преданные делу элитарные образования, говорит он, будучи «историческим меньшинством», в состоянии делать историю, НСДАП должна насчитывать максимум шестьсот-

восемьсот тысяч членов: «Это то количество, которое на что-то годится!» Всех же других следует считать просто сторонниками, собирать и использовать их в целях партии. «Маленькая группа фанатиков увлекает за собой массу, смотри пример России и Италии… Борьба за большинство удаётся только тогда, когда есть боеспособное меньшинство», — заявляет он[125]. С сарказмом отбрасывается им предложение насчёт создания ему в помощь некоего «сената» — он и без советчиков обойдётся. И Гитлер добивается вскоре исключения из партии автора этого предложения — тюрингского гауляйтера Динтера. В имевшей место до того переписке он уверяет, что как политик «отвечает за безошибочность», и заявляет, что «слепо верит в то, что будет принадлежать к тем, кто делает историю». Когда вскоре вслед за первым было созвано новое совещание, организованное по ставшей отныне уже обычной приказной форме, он сидит на нём во время дебатов молча, демонстративно изображая скуку на своём лице и распространяя тем самым постепенно столь давящее чувство ничтожности и ненужности этого мероприятия, в результате чего совещание заканчивается в атмосфере всеобщей подавленности. Один из его участников выскажет потом предположение, что Гитлер согласился на проведение этого мероприятия только ради того, чтобы таким вот образом полностью сорвать его[126].

Вождь неприметной, но строго организованной партии, Гитлер поджидает свой шанс. Он не видит причин для уныния, ибо уже добился своей независимости как внутри партии, так и вне её. Начиная с этого времени, она порой и официально выступает уже как «движение Гитлера». Не имея ни сколь-нибудь значительной поддержки, ни влиятельных покровителей, либо мощных институтов, это движение тем не менее доказывает, что обладает внутренней силой, которая обеспечит ему если и не победу, то уж наверняка выживание.

Когда 20 мая 1928 года состоялись новые выборы в рейхстаг, НСДАП, получив 2, 6 процента голосов, оказалась на девятом месте, среди избранных от неё двенадцати депутатов — Грегор Штрассер, Готфрид Федер, Геббельс, Фрик и Герман Геринг, вернувшийся к тому времени с богатой женой и широкими связями из Швеции. Сам Гитлер, будучи «лицом без гражданства», свою кандидатуру не выставлял. Однако с присущим ему умением подавать свои беды и неудачи как успехи он использовал эту помеху, чтобы и тут ещё раз увеличить дистанцию и — не делая никаких уступок презираемой им системе парламентаризма — усилить свою роль единоличного, стоящего высоко над всеми заботами, делами и соблазнами

текущего дня фюрера. Принятое после долгих колебаний решение об участии в выборах было не в последнюю очередь продиктовано соображением помочь партии путём использования привилегий, которые давались депутатскими мандатами, о чём и свидетельствовал Геббельс в статье, опубликованной через неделю после выборов и проливавшей свет на все заверения партии насчёт легальности: «Я — не член рейхстага. Я — ОИ. И ОБДБП. Обладатель иммунитета, обладатель билета для бесплатного проезда. Какое нам дело до рейхстага? Мы избраны как оппозиция рейхстагу, и мы будем осуществлять свой мандат в том смысле, как это нам поручено… ОИ разрешается называть кучу дерьма кучей дерьма, и ему не нужно завуалированно оправдываться перед государством». Это признание заканчивалось такими словами: «Теперь вы удивляетесь, а? Но не думайте, что нам уже конец… Вы ещё с нами попрыгаете. Пусть только начнётся представление»[127].

Оскорбительное нахальство такого рода высказываний не затушёвывало между тем их самоободряющего характера — ведь НСДАП оставалась маленькой партией с утрированной жестикуляцией. Но Гитлер — хладнокровно, будучи сам наготове и готовый ввести в бой свои кадры — ждал нового обострения ситуации, что должно было облегчить ему прорыв для превращения её в массовую партию. Несмотря на все своё рвение, несмотря на все свои организационные тревоги, он до сего времени оставался в тени старательно, хотя и без блеска функционировавшей республики. Его харизма, столь успешно сохранившаяся в патетических суматохах, в нормальных условиях грозила раствориться. Ведь порой казалось, что нация была вот-вот уже готова пойти, наконец, на мировую с республикой и невзрачной серостью обстановки, готова похоронить все эти надуманные реальности и героико-романтические воспоминания и примириться с буднями истории. Правда, выборы в рейхстаг продемонстрировали беззвучный процесс разложения буржуазной среды и появлением многочисленных осколочных партий возвестили о скрытом кризисе системы, да и число членов партии Гитлера дошло уже почти до 150 000. Но ещё в начале следующего года преподающий в Бонне социолог Йозеф А. Шумпетер говорит об «очень большой и, возможно, ещё возрастающей стабилизации наших социальных отношений» и заверяет: «Ни в каком смысле, ни в какой области и ни в каком направлении не представляются поэтому вероятными ни взлёты, ни катастрофы»[128].

Гитлер оценивает положение резче и зорче. Имея в виду психологию немцев во время этого короткого счастливого

периода в истории республики, он говорит в одной из своих речей: «У нас есть третья шкала оценок — боевой дух. Он жив, хотя и погребён под грудой чужих теорий и доктрин. Какая-то большая, мощная партия старается доказывать обратное, пока вдруг не приходит и не начинает играть самый обыкновенный военный оркестр, и тогда тот, кто плетётся позади, вырывается иной раз из своего сонного состояния, внезапно начинает ощущать себя частицей народа, который марширует и с которым идёт и он. Так и сегодня. Нужно только показать нашему народу это лучшее — и вы увидите: вот мы уже и маршируем»[129].

С этого момента он ждёт сигнала к бою. Вопрос заключался только в том, сможет ли партия сохранить в течение этого времени свою динамику, свои надежды, свои представления о цели и образ избранности фюрера — всю эту систему фикций и призрачной веры, на которой она стоит. В своём анализе итогов выборов в мае 1928 года Отто Штрассер жаловался, что «спасительная миссия национал-социализма» не нашла массового резонанса, неудачным, в частности, оказалось вторжение в пролетарские слои[130]. Действительно, приверженцами партии были преимущественно служащие, мелкие ремесленники, группы крестьян, а также охваченная романтическим протестом молодёжь — авангард тех слоёв, что были больше других восприимчивы к будящей музыке «самого обыкновенного военного оркестра». Но всего несколько месяцев спустя ситуация на сцене полностью изменилась.

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ
ВРЕМЯ БОРЬБЫ

Глава I
ПРОРЫВ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ

Мы снова начинаем борьбу своими испытанными методами и говорим: Атаковать! Атаковать! Атаковать снова и снова! Если кто-то скажет: — Ну, не могут же они ещё раз… то я говорю: Я могу не только ещё раз, я смогу ещё десять раз.

Адольф Гитлер

Переломный момент. — Гугенберг и имперский комитет против плана Юнга. — Гитлер-тактик. — Кампания. — Контакты. — «Коричневый дом». — Разрыв с Гугенбергом. — Проникновение в новые слои. — Чёрная пятница. — Тотальный кризис. — Прорыв к массовой партии. — Тихая гражданская война. — Адольф Гитлер пожирает Карла Маркса/» — Молодёжное движение собственного покроя. — Правительство Брюнинга. — Разрыв с Отто Штрассером. — Гитлеровский социализм. — Бунт Стеннеса. — Фюрер, как и папа римский, непогрешим. — Предвыборная борьба.

Свою первую массированную атаку на тогда как раз стабилизировавшуюся республиканскую систему Гитлер начал летом 1929 г., и ему сразу же удалось продвинуться далеко вперёд. До этого он долго был в поисках какого-то мобилизующего лозунга, но тут внешняя политика Штреземана дала ему материал для агитации. Он использовал все имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы в обстановке вновь разгоревшегося спора о репарациях освободить НСДАП из изоляции, снять с неё клеймо осколочной партии и вывести её на сцену большой политики. Благоприятным для него фактором была тесная временная и психологическая связь его прорыва с последующим мировым экономическим кризисом, так что он получил возможность как бы заранее опробовать свои средства, организации и тактические методы: споры вокруг репараций

стали прологом к тому затяжному кризису, который охватил республику и уже не отпускал её до самого конца. Гитлер же одновременно и клеймил этот кризис, и искусно его подстёгивал.

Строго говоря, поворотный пункт обозначился со смертью Густава Штреземана, последовавшей в начале октября 1929 г. Германский министр иностранных дел подорвал своё здоровье, пытаясь побороть сопротивление против сложной внешнеполитической концепции, которая, хоть и называлась «политикой выполнения» Версальского договора, на самом деле была направлена на его постепенную отмену. Почти до самого своего конца Штреземан, хоть и не без внутренних сомнений, выступал за принятие того проекта урегулирования вопроса о репарациях, который был предложен комитетом экспертов под руководством американского банкира Оуэна Д. Юнга. Этот проект предусматривал значительное улучшение существовавших условий. Более того, благодаря настойчивости и дипломатическому умению Штреземана он увязывался с планом досрочного вывода оккупационных войск союзников из Рейнской области.

Тем не менее, соглашение натолкнулось на ожесточённый отпор и во многих отношениях разочаровало даже тех, кто понимал зависимое положение страны. Было просто трудно согласиться с почти шестьюдесятью годами выплат по репарациям, если средств не было даже на взносы первых лет. Именно поэтому 220 известных представителей мира экономики, науки и политики в публичном заявлении выразили большую озабоченность. Среди них были Карл Дуйсберг, Адольф Гарнак, Макс Планк, Конрад Аденауэр и Ханс Лютер. Спустя 11 лет после окончания войны этот план, казалось, издевался над идеей «семьи наций», воплотившей в себе пафос эпохи, и беспощадно вскрывал противоречие между победителями и побеждёнными, так и не преодолённое, хоть и прикрываемое поверхностными жестами примирения. Тем более, что план этот в качестве основания для покрытия долгов, которые должны были выплачиваться вплоть до 1988 г., снова ставил в повестку дня проблематичную статью (186) 231 об ответственности за войну, а между тем эта статья однажды уже тяжело травмировала сознание нации. На основе далёкого от реальности плана радикально-националистические группы сумели сполна использовать в своих целях ядовитое действие формулы «Le boche payera tout»[131]. А то, что должно было стать дальнейшим шагом к постепенному преодолению последствий войны и тем самым помогать стабилизации республики, превратилось, наоборот, в «точку кристаллизации принципиальной оппозиции против

Веймарской „системы“[132].

9 июля 1929 года радикальные правые объединились в имперский комитет по проведению плебисцита против плана Юнга. В ходе яростной, шумной барабанной кампании, которая не утихала около девяти месяцев, вплоть до подписания соглашения, и в которую из крайне левых включились и коммунисты, правые свели сложную сеть причин и следствий к нескольким запоминающимся лозунгам и пытались путём бесконечного их повторения закрепить в психике людей ненависть к чётко очерченному образу врага. План Юнга был по их слова «смертным приговором тем, кто даже ещё не родился на свет», «Голгофой немецкого народа», который палач «с издевательским хохотом распинает на кресте». Одновременно «национальная оппозиция», выступившая здесь впервые общим фронтом, потребовала перечеркнуть статью об ответственности за войну, покончить со всеми репарациями, немедленно освободить оккупированные области и, наконец, привлечь к ответственности всех министров и представителей правительства, которые способствовали «закабалению» немецкого народа.

Во главе комитета стоял 63-летний тайный советник Альфред Гугенберг, недалёкий и бессовестный честолюбец. Он начинал свою карьеру комиссаром по заселению восточных земель, затем был членом директората фирмы Круппа, после чего создал широко разветвлённую империю прессы, которая помимо многочисленных газет контролировала также рекламное издательство, телеграфное агентство и, наконец, кинокомпанию УФА. Будучи доверенным лицом дельцов тяжёлой промышленности, он кроме всего прочего имел в своём распоряжении значительные денежные средства, и все это целенаправленно использовал для того, чтобы покончить с «республикой социалистов», разбить профсоюзы, а на классовую борьбу низов, как он выражался, ответить классовой борьбой высшего слоя общества. Этот приземистый, упитанный господин с густыми усами и ёжиком коротко подстриженных волос напоминал воинственного портье на пенсии, а не воплощение гордых и горьких принципов, как ему этого хотелось.

Осенью 1928 года Гугенберг негласно взял на себя руководство Немецкой национальной народной партией (ДНФП) и сразу же стал выразителем радикальных мстительных настроений. Едва было наметившееся сближение правых с республикой немедленно свелось на нет. Как в своих методах, так и в отношении отдельных программных положений ДНФП принялась тут же копировать гитлеровскую партию — правда, так и оставшись всего-навсего её буржуазной карикатурой. Но как бы

то ни было, в борьбе с ненавистной республикой Гугенберг не гнушался ничем. Во время обсуждения плана Юнга он в широко растиражированном письме предостерегал 3000 американских дельцов от предоставления кредитов стране, в которой как раз начинался кризис[133]. Под руководством своего нового председателя, ДНФП быстро потеряла почти половину своих членов, но Гугенберга это не смутило, он говорил, что предпочитает небольшой блок большой каше.

Организованный им плебисцит явился не только первой кульминацией нового радикального курса, но одновременно и попыткой собрать под своим руководством разъединённых правых, прежде всего «Стальной шлем», пангерманцев, земельный союз и национал-социалистов, и сорганизовать их для наступления, чтобы отвоевать старой верхушке хотя бы часть потерянного ею влияния. Вследствие упущений революции 1918 года этот слой все ещё располагал и влиянием, и властными позициями, и материальными средствами, но народ за ним не шёл. Со всем чванством «человека из общества», сверху вниз глядящего на предводителя хулиганской партии черни, Гугенберг считал, что нашёл в лице Гитлера одарённого агитатора, способного снова включить массы в дело консерваторов, замкнувшихся в чувстве своего социального превосходства. В нужный момент, полагал Гугенберг, он-то уж сумеет переиграть и укротить Гитлера.

Мысли самого Гитлера были далеко не так коварны. Услышав о союзе, депутат Хинрих Лозе встревожено сказал: «Надо надеяться, Гитлер-то уж знает, как провести Гугенберга»[134]. Гитлер, однако же, и не помышлял о каком-то обмане. Он с самого начала держался дерзко и почти не, скрывал своего презрительного мнения о буржуазном реакционере Гугенберге и всех этих «серых, изъеденных молью орлах», как их уничижительно именовал Геббельс. Под подозрительными взглядами «левых» внутри самой партии Гитлер категорически отклонил почти все уступки, которых от него требовали: он сам ставил условия, на которых позволял помогать себе. Сначала он предложил действовать раздельно, но, в конце концов, дал себя уговорить и склонить к союзу. Правда, он требовал полной независимости в пропаганде, а также значительной части предоставленных средств. К тому же, словно желая специально смутить или унизить своих новых союзников, он назначил самого известного антикапиталиста в своих рядах, Грегора Штрассера, своим заместителем в совместном комитете по финансированию.

Этот союз был первым успехом в примечательной цепочке тактических побед, немало способствовавших тому, что Гитлер

сначала выдвинулся на авансцену, а потом и достиг своей цели. Необычайная способность Гитлера правильно распознавать ситуацию, игру интересов, выискивать слабые места и заключать коалиции на данный момент, т. е. его тактическое чутьё, ещё усиленное его даром убеждения, помогли его восхождению не меньше, чем его ораторское мастерство, помощь со стороны рейхсвера, промышленности и судебных властей или террор коричневой гвардии. Односторонние ссылки на роль элементов магии, конспирации или грубой силы в истории восхождения Гитлера не только демонстрируют недопонимание сути тогдашних событий, но и фиксируются, несмотря на все опровержения, на ставшем уже роковым представлении о вожде НСДАП как «барабанщике» движения или его орудии. При этом упускается из вида, что Гитлер неплохо показал себя и на собственно политическом поприще.

Своей ловкой тактикой, первоначальной медлительностью, своей манерой ведения переговоров, то вызывающей, то сварливой, а также тем впечатлением искренности, честолюбия и энергичности, которое он сумел внушить людям, Гитлер, в конце концов, заставил своих противников поддерживать и финансировать его же восхождение, за которое им к тому же пришлось расплачиваться и в политическом отношении. Конечно, успех Гитлера был обусловлен и сопротивлением в собственных рядах, не позволявшем ему идти на какие-либо значительные уступки. Газеты штрассеровского «Кампфферлага» во время переговоров растиражировали его слова, напечатав их аршинными, буквами: Самая большая опасность для немецкого народа исходит не от марксизма, а от буржуазных партий[135]. Точно так же при оценке этого тактического триумфа нельзя закрывать глаза на слепую жажду власти консерватизма немецко-национального образца, пытавшегося паразитически присвоить себе силу и витальность нацистского движения и, объединившись с втайне презираемым, но одновременно и почитаемым выскочкой Гитлером, отсрочить давно назревшее прощание с историей. Тем не менее успех Гитлера остаётся примечательным фактом. Четыре с половиной года он выжидал, готовился, и — в соответствии с незабытым учением Карла Люгера — целенаправленно работал на союз с «мощными институтами», воплощавшими в себе политическое и общественное влияние. Когда же такой союз наконец был предложен, он постарался избежать впечатления рвущегося к власти честолюбца. Напротив, он реагировал на него холодно, самоуверенно и поставил свои условия, хотя именно на этом зиждилась вся его концепция завоевания власти. Только представив себе, что это означало для

его личного, да и политического самолюбия — годами стоять во главе незначительной, замалчиваемой или же высмеиваемой партии экстремистов, вполне понимаешь, какой соблазн заключался для него в том покровительстве, которое ему предлагал Гугенберг: оно освобождало его от имиджа дешёвого псевдореволюционера и путчиста и возвращало возможность предстать перед общественностью в окружении влиятельных буржуазных авторитетов, используя репутацию знати. Это был шанс, который ему однажды уже был дан и который он тогда упустил; теперь он выказывал решимость использовать его гораздо осмотрительнее.

Заключив союз, НСДАП прежде всего получила средства для развёртывания своего сильного пропагандистского аппарата, и она немедленно продемонстрировала общественности стиль своей пропаганды, беспримерный по радикальности и настырности. Как писал сам Гитлер в одном из писем того времени, ничего подобного в Германии ещё не бывало: «Мы перепахали наш народ, как этого не делала ни одна другая партия»[136]. Вся энергия, скопившаяся за годы ожидания, весь гнев его жаждавших действий последователей, казалось, вырвались наружу в натиске. Ни один из партнёров по союзу не мог равняться с НСДАП в безудержности, остроте и агитаторской ловкости. С самого начала она не оставляла сомнений в том, что план Юнга был только предлогом этой кампании, и превратила свою агитацию в шумный суд над «системой», якобы погрязшей в бездарности, предательстве и спекуляциях: «Время придёт», — восклицал Гитлер в конце ноября в своей речи в Херсбруке, — «и тогда у виновных в развале Германии пройдёт охота веселиться. Их охватит страх. Тогда они поймут, что возмездие грядёт». Словно зачарованные дикой демагогией национал-социалистов, смотрели Гугенберг и остальные консервативные союзники по коалиции на высвобожденную ими мощную волну. Они ободряли её, подгоняли снова и снова. Ослеплённые уверенностью в своей руководящей роли, они ещё верили, что волна выносит их к берегу, между тем как она давно их поглотила.

В этой ситуации Гитлера не особенно огорчало отсутствие видимого успеха кампании. Проект «Закона против закабаления немецкого народа» собрал в ходе плебисцита, хоть и с трудом, необходимую поддержку в 10 % голосов; но в рейхстаге к нему присоединилось всего 82 депутата из 318, а заключительный референдум от 22 декабря 1929 года окончился и вовсе поражением. Инициаторы проекта едва-едва набрали 14%, т. е. всего около четверти необходимых голосов; они почти на 5% голосов отстали даже от результатов, полученных НСДАП и

ДНФП на выборах в рейхстаг годом раньше.

И всё же для Гитлера это означало окончательный прорыв в большую политику. Благодаря поддержке со стороны многочисленных изданий концерна Гугенберга он сразу обрёл популярность, больше того: он заявил о себе как самой целеустремлённой силе в радах правых, охваченных разбродом и спорами. Сам он говорил о «большом переломе» в общественном мнении и называл «удивительным» то, «как здесь презрительное, высокомерное или глупое отрицание партии, всего пару лет тому назад бывшее само собой разумеющимся, превратилось в ожидание, полное надежды»[137]. После начала кампании, 3 и 4 августа 1929 года, он созвал в Нюрнберге съезд партии. Все говорит в пользу предположения, что этим он хотел продемонстрировать широту и ударную силу своего движения — прежде всего своим консервативным партнёрам. На этом съезде нацисты впервые превратили традиционное партийное мероприятие в массовую демонстрацию, спланированную по-военному чётко, по всем правилам зрелищных действ и зрительской психологии. Если верить цифрам, то 30 с лишним специальных поездов привезли почти 200 000 сторонников из всех частей Германии. Их форма, их знамёна и оркестры в течение нескольких дней навязчиво определяли атмосферу старинного имперского города. Большая часть тех 24 знамён, которые были торжественно освящены, прибыли в основном из Баварии, Австрии и Шлезвиг-Гольштейна. На большом заключительном митинге около 60 000 штурмовиков, уже одетых в одинаковую форму и оснащённых походным снаряжением, в течение трех с половиной часов проходили торжественным строем перед Гитлером. Некоторые части, охваченные эйфорией этих дней, угрожали насильственными акциями, и то же самое настроение определило предложение радикального крыла, согласно которому участие НСДАП в правительстве должно было быть «отныне и навсегда запрещено». Гитлер отклонил это предложение одним-единственным коротким, но характерным замечанием в том смысле, что оправдан любой шаг, который может «привести движение к политической власти». Тем не менее, курсу на законность угрожала теперь новая опасность — прежде всего самосознание быстро растущей партийной армии. К концу года численность отрядов штурмовиков сравнялась с численностью рейхсвера[138].

Союз с Гугенбергом сделал возможным и многочисленные связи с экономикой, которая в общем и целом раньше годами поддерживала внешнюю политику Штрземана, однако же решительно воспротивилась плану Юнга. До тех пор Гитлер, если

отвлечься от редких исключений вроде Фрица Тиссена, пользовался материальной поддержкой только у сравнительно мелких фабрикантов. Его антисоциалистическая позиция, его высказывания в защиту собственности, когда речь шла об экспроприации княжеской собственности, тоже не принесли ему материальных выгод. Но зато теперь ему открылся доступ к обильным источникам. Ещё раньше, во времена запрета публичных выступлений, он объездил страну. Чаще всего он бывал в Рурской области, где на закрытых совещаниях, иногда перед сотнями предпринимателей, в большинстве своём настроенных скептически, искоренял страх перед национальным социализмом, уверяя, что это учение активно защищает частную собственность. Верный своему убеждению, что успех — это признак аристократизма, он расхваливал крупного предпринимателя как тип высшей, ведущей расы и в общем создавал впечатление человека, который «не требует ничего из того, что было бы неприемлемо для работодателя»[139]. Кроме того, снова пригодились прежние связи с салонами Мюнхена, в которых он по-прежнему был желанным гостем. Эльза Брукман, которая, как она сама говорила, видела «смысл своей жизни» в «установлении связей между Гитлером и руководящим ядром тяжёлой промышленности», свела его в 1927 году с почтенным Эмилем Кирдорфом. Гитлер был совершенно покорён грубым стариком, всю свою жизнь оппонировавшим верхам и презиравшим низы, но и на Кирдорфа его собеседник произвёл сильное впечатление, так что он некоторое время был весьма ценным ходатаем Гитлера. Кирдорф побудил Гитлера изложить свои соображения в брошюре, издал её в частном порядке и раздавал промышленникам. В качестве почётного гостя он участвовал в работе партсъезда в Нюрнберге, после чего написал Гитлеру, что никогда не забудет того чувства торжества, которое переполняло его в те дни[140].

На местных выборах 1929 года все эти новые средства и источники помощи впервые принесли ощутимый успех. В Саксонии и Мекленбург-Шверине национал-социалисты весной с трудом, но добились пяти процентов голосов. Ещё более впечатляющими были их достижения на муниципальных выборах в Пруссии; в Кобурге пришёл к власти их бургомистр, а в Тюрингии из их рядов вышел премьер-министр, Вильгельм Фрик. О нём тотчас же заговорили, поскольку он ввёл в школах национал-социалистические речевки и тем развязал конфликт с имперским правительством, хотя в общем он старался доказать, что его партия — достойный член коалиции.

В полном соответствии со своей неуёмной жаждой представительства Гитлер сразу же начал выстраивать достойный фон для своего успеха, что, в свою очередь, должно было работать на дальнейшие успехи. Резиденция руководства партии с июня 1925 года находилась в простом, но удобном для работы доме на Шеллингштрассе. Теперь Гитлер, имея на руках деньги, пожертвованные Фрицем Тиссеном, и добровольные взносы членов партии, купил дворец Барлова на Бриеннерштрассе в Мюнхене и после некоторых переделок превратил его в «Коричневый дом». Словно возвращаясь к своей давней, заветной юношеской мечте о богатом собственном доме, он вместе с архитектором Паулем Людвигом Троостом постоянно занимался проектами внутренней отделки дома, рисовал мебель, двери, мозаичные панно. В его рабочий кабинет вела широкая наружная лестница, в самой же комнате были, кроме нескольких предметов тяжеловесной мебели, только портрет Фридриха Великого, бюст Муссолини и картина, изображавшая атаку полка Листа во Фландрии. Рядом находился так называемый сенаторский зал: вокруг огромного стола в форме подковы располагались 60 кресел, обтянутых красным сафьяном; на их спинках были изображения партийного орла. На бронзовых досках по обеим сторонам входа — имена жертв 9 ноября 1923 года, а в самом помещении — бюсты Бисмарка и Дитриха Эккарта, Впрочем, зал этот никогда не использовался по назначению, по всей вероятности, он был данью любви Гитлера к театральной пышности, т. к. сам он всегда решительно отклонял все предложения о создании сената. В столовой в подвале «Коричневого дома» для него было зарезервировано «место фюрера» под портретом Дитриха Эккарта. Там, в окружении адъютантов и преисполненных почтения шофёров он любил сидеть часами, предаваясь своей неодолимой болтливости завсегдатая кофеен и произнося длинные тирады.

Теперь, в более благоприятных финансовых обстоятельствах, которых сумела добиться партия, он соответственно изменил и стиль собственной жизни. В течение 1929 года из его бумаг внезапно исчезли упоминания о процентах по долгам и долговым обязательствам — а долги были немалые. В это же время он нанял великолепную квартиру из девяти комнат в доме номер 16 по Принцрегентенштрассе. Это был квартал зажиточных мюнхенских буржуа. Его бывшая квартирная хозяйка в доме на Тиршштрассе, фрау Райхерт, и фрау Анни Винтёр вели теперь его хозяйство, а сводная сестра фрау Раубаль по-прежнему заботилась о доме в Вахенфельде, на склоне Оберзальцберга. В бельэтаже дома на Принцрегентенштрассе вскоре поселилась и

его племянница Гели, которая внезапно открыла в себе свойственную и дяде любовь к театру и стала брать уроки пения и актёрского мастерства. Слухи о связи между родственниками вначале его несколько смущали, но, с другой стороны, ему импонировала атмосфера антибуржуазной свободы и великой роковой жизненной коллизии, окружавшая эту связь между племянницей и дядей.

Сразу же по окончании кампании против плана Юнга Гитлер подчеркнул своё вновь обретённое политическое самосознание рискованным, но чрезвычайно эффектным поступком: он демонстративно порвал со своими консервативными партнёрами из лагеря Гугенберга, обвинив их самих, их нерешительность и буржуазную слабость в провале плебисцита. Его замечательная в своём роде способность изменять бывшим союзникам, которой никогда не мешало чувство общих намерений и совместно проведённых схваток, снова пригодилась ему как тактическая уловка, ибо неожиданный этот поворот не только заставил замолчать тех беспокойных критиков в собственных рядах, которые упрекали его в союзе с «капиталистической свиньёй Гугенбергом»[141], но и укрепил его репутацию единственной энергичной силы в рядах правых антиреспубликанцев; к тому же этот поворот как бы сводил на нет тот факт, что в поражении, несомненно, была доля и его вины.

Такие дерзкие кульбиты импонировали тем более, что их позволяла себе партия, число членов которой всё ещё было невелико. Но Гитлер уже понял: теперь, когда интерес к движению был разбужен, его нужно во что бы то ни стало поддерживать и укреплять. В соответствии со своими новыми идеями, более агрессивными планами он решил реорганизовать партийное руководство. Грегор Штрассер стал начальником Первого Организационного отдела (Политическая организация), бывший же полковник Константин Хирль — начальником Второго Организационного отдела (Национал-социалистическое государство). Геббельс стал руководить пропагандой. В письме от 2 февраля 1930 года Гитлер предсказывал «с почти провидческой уверенностью», что «победа нашего движения придёт самое позднее через два с половиной — три года».

Без перерыва и почти с тем же, что и прежде, ожесточением он и после разрыва с Гугенбергом продолжил кампанию против республики, уже на свой страх и риск. Ещё годом раньше инструкция партийного центра, подписанная тогдашним уполномоченным по пропаганде, Генрихом Гиммлером, призывала к проведению так называемых пропагандистских акций, представлявших собой новое слово в тактике

политической вербовки. С небывалой интенсивностью, вплоть до самых дальних деревень, все области были подвергнуты тщательно подготовленным, похожим на атаки операциям, в рамках которых в течение недели все лучшие ораторы участвовали в сотнях мероприятий, в ходе которых они выкладывались «до крайней степени». Все города и веси в это время были переполнены плакатами, лозунгами и листовками, которые нередко отбирал сам Гитлер; организовывались «вербовочные вечера», на которых штурмовики под музыку своих оркестров должны были, как говорилось в инструкции, показать, «на что они способны собственными силами: спортивные представления, живые картины, театральные постановки, исполнение песен, доклады людей из штурмовых отрядов, показ фильма о партийном съезде»[142]. Перед выборами в саксонский ландтаг в июне 1930 года партия провела не менее 1300 подобных мероприятий.

Эта работа на местах сопровождалась целенаправленными усилиями по внедрению партии в определённые общественные группы, в особенности по привлечению части служащих, а также сельского населения. Целенаправленными, сильными прорывами партия завоевала ведущие позиции в кооперативах, союзах ремесленников или профессиональных объединениях. В сельских местностях ей удалось, оперируя ни к чему не обязывающим лозунгом «земельной реформы», использовать крайнюю нужду населения, недовольство которого нашло своё выражение, например, в марше протеста крестьян Шлезвиг-Гольштейна под чёрными знамёнами. В своих обвинениях партия опиралась и на подспудный антисемитизм крестьянства, который, как говорилось в одном из директивных писем, следовало «разжигать до бешенства»[143] Тем временем Вальтер Дарре, немец, живший за границей, с которым Гитлера познакомил Рудольф Гесс, разрабатывал аграрную программу. Она была опубликована в начале марта 1930 года и представляла собой обширные требования дотаций, сопровождавшиеся обильными комплиментами «самому благородному сословию народа». По отношению к служащим партия использовала всеобщее кризисное состояние душ, характерное для тех слоёв населения, по которым сильней всего ударили и исход войны, и миграция крестьян в города, и давление структурных перемен в обществе. Собственно промышленные рабочие поначалу были далеки от партии; однако же начавшийся с 1929 года приток служащих и сельскохозяйственных рабочих в партию до какой-то степени обосновал её претензии на роль «партии всех работающих» и привёл к образованию мелких ячеек и опорных пунктов по всей

стране; они-то и подготовили большой прорыв.

Между тем, успехи эти основывались не только на активности партии, неустанно подхлёстываемой Гитлером, и не только на его способности объединить и тактически укрепить запутанную и во многом чисто эмоциональную идеологию традиционно расколотых правых сил. Ему помог начавшийся тем временем мировой экономический кризис, признаки которого появились в Германии ещё в начале 1929 года, когда число безработных впервые перешагнуло за 3 миллиона. Весной тревожно возросло число банкротств, и, наконец, в одном только Берлине за первые пять дней ноября были зарегистрированы 55 заявлений о банкротстве; ежедневно в суде давались 500 — 700 показаний должников об их имущественном положении[144]. Эти цифры частично отражали экономические и психологические последствия дня 24 октября 1929 года, знаменитой «чёрной пятницы», окончившейся крахом на нью-йоркской бирже, а в Германии вызвавшей особенно сокрушительные последствия.

Дело в том, что преимущественно краткосрочные заграничные займы, сделавшие возможным экономический подъем страны и соблазнявшие прежде всего муниципалитеты нередко даже на непродуманные расходы, были немедленно отозваны обеспокоенными кредиторами. Одновременно резкое падение объёма мировой торговли свело на нет любую перспективу хотя бы частично компенсировать потери за счёт увеличения экспорта. Поскольку цены на мировом рынке падали, то и сельское хозяйство все больше втягивалось в кризис и вскоре уже еле могло кое-как существовать только за счёт дотаций, которые опять-таки усугубляли положение всего населения. Это была настоящая цепная реакция ударов судьбы. Вскоре и в Германии началось падение курса акций и, соответственно, стремительный рост безработицы, числа закрываемых или заложенных предприятий. В газетах целые колонки были заполнены объявлениями о принудительных продажах с аукциона. Политические последствия не заставили себя ждать. Со времени выборов 1928 года страной управляла «большая коалиция» во главе с социал-демократическим канцлером Германом Мюллером, которая изначально сохранялась только ценой значительных усилий. Теперь, когда налоговые поступления сократились и необходим был режим суровой экономии, между консервативным и левым флангами правительства разгорелся ожесточённый спор о том, кому в первую очередь надлежит нести всю тяжесть кризиса.

К этому времени уже стало ясно, что кризис не пощадит

никого. Самым примечательным свойством кризиса в Германии был его всеохватывающий характер. В Англии и особенно в Соединённых Штатах экономические и социальные последствия были, пожалуй, и не слабее, чем в Германии, но там они не доросли до степени повального кризиса сознания, который разрушал все политические, моральные и духовные нормы, и, далеко выходя за пределы своих основных причин, стал для населения кризисом доверия к существующему в мире порядку вещей. Поэтому результаты кризиса в Германии не могут быть с достаточной полнотой объяснены только объективными экономическими условиями; ибо кризис был прежде всего психологическим феноменом. Люди, ещё не преодолевшие усталости от постоянных бедствий, с ослабленной сопротивляемостью вследствие войны, поражения и инфляции, люди, которым надоела уже и прекраснодушная болтовня демократов с их постоянными призывами к разуму и трезвости мышления, теперь отпустили все душевные тормоза и находились в состоянии аффекта.

Правда, вначале они реагировали скорее аполитично, смирясь перед лицом фатальности и непредсказуемости катастрофы. Ими владели заботы повседневного существования: ежедневные походы на биржу труда, стояние в очередях перед продуктовыми магазинами или общественными благотворительными столовыми, мучения в жалких попытках как-то выжить; а наряду с этим — апатичное и отчаянное хождение по опустевшим пивнушкам, сидение на углах улиц или же в тёмных жилищах с чувством, что жизнь растрачена впустую. В сентябре 1930 года число безработных вновь превысило 3 миллиона, годом позже оно составляло четыре с половиной, а в сентябре 1932 года — уже более пяти миллионов, хотя статистика в начале года свидетельствовала о шести миллионах безработных, не считая временно или частично занятых. Это касалось почти каждой второй семьи, и 15-20 миллионов человек зависели от пособия, размера которого по подсчётам американского журналиста Г. Р. Никербокера в известном смысле хватало на жизнь, поскольку получатель мог на таком рационе умирать от голода целых 10 лет[145].

Чувство полного уныния и бессмысленности существования доминировало над всем. Одним из разительных побочных явлений кризиса является беспримерная волна самоубийств. Жертвами были сначала прежде всего разоряющиеся банкиры и деловые люди, а по мере продолжения кризиса — все чаще представители среднего сословия и мелкой буржуазии, мелкие лавочники, служащие, пенсионеры, Для которых острое

осознание своей социальной принадлежности к бедноте всегда было признаком не только лишений, но, в гораздо большей степени, унизительным показателем их социального падения. Нередко кончали с собой целые семьи. Рождаемость падала, а смертность росла, так что в двадцати крупных городах Германии отмечалось уменьшение численности жителей. Весь хаос, а также подчас гротесковая бесчеловечность вырождающегося в тисках кризиса капитализма создали почву для представлений о крушении целой эпохи. Как обычно в такой атмосфере зародились бессмысленные надежды и иррациональные устремления, связывавшиеся с радикальным преобразованием всего миропорядка. Это было великое время для шарлатанов, астрологов, ясновидящих, хиромантов и спиритов. Нужда и лишения учили если и не молитве, то хотя бы псевдорелигиозности и невольно направляли взгляды населения на людей, на которых, казалось, лежала печать благодати и которые занимались не только обычными людскими делами, но обещали большее, нежели просто нормальное существование, порядок и «политику» — а именно, открытие утерянного смысла жизни.

Как никто другой, Гитлер нутром чувствовал эти потребности и сумел сконцентрировать их на собственной персоне. Пробил во всех отношениях его час. Он моментально преодолел в себе некую тягу к флегме, к затворничеству, не раз проявлявшуюся в предыдущие годы. Долгое время не было поводов, которые оказались бы на высоте его пафоса. План Дауэса, придирки оккупантов или внешняя политика Штреземана — всё это было слишком мелко для его проклятий, и, вероятно, он чувствовал, что диссонанс между этими событиями и той экзальтацией, которую он пытался разжечь вокруг них, иногда производил нелепое впечатление. Но теперь он наконец видел достойный, пронизанный катастрофой фон, могущий придать его демагогическому авантюризму необходимое драматическое обрамление. В своей агитации он всё ещё фиксировал внимание на Версале и внешней политике Штреземана, парламентаризме и французской оккупации, на капитализме, марксизме и, прежде всего, на всемирном еврейском заговоре; но теперь любое из этих понятий можно было легко увязать с царящей потерянностью и нищетой, которую ощущали все.

Гитлер превосходил своих конкурентов хотя бы уже потому, что сумел личным устремлениям и чувству отчаяния масс придать характер политического выбора и подменить самые противоречивые ожидания собственными намерениями. Представители других партий выходили к народу скорее в

замешательстве, с успокаивающими речами: признаваясь в собственной беспомощности, они полагались на солидарность всех тех, кто был бессилен перед лицом катастрофы. Гитлер же выступал оптимистично, агрессивно, подчёркивая свою веру в будущее, и лелеял свою враждебность. «Никогда в жизни, — заявлял он, — я не чувствовал себя так хорошо и таким внутренне довольным собой, как в эти дни»[146]. В своих разнообразных призывах, звучавших словно сигнал боевой тревоги, он апеллировал к запутавшимся людям, которые ощущали на себе давление как справа, так и слева, и со стороны капитализма, и со стороны коммунизма, и были обижены на существующий строй, отказывавший им в поддержке. Его программа отбрасывала и то, и другое: она была антикапиталистической и антипролетарской, революционной и реставрационной, она рисовала холодные видения будущего и одновременно картины, исполненные тоски по доброму старому времени, и была тонко сориентирована на парадокс революционного возмущения, стремящегося к восстановлению прежних порядков. Эта программа сознательно ломала рамки всех традиционных фронтов. Но ставя себя решительно и радикально вне границ «системы», Гитлер одновременно настойчиво утверждал свою непричастность к царящим бедствиям и тем обосновывал свой приговор всему существующему.

Словно в подтверждение его слов, парламентские институты не выдержали даже первого испытания. Ещё до кульминации кризиса распалась весной 1930 года «большая коалиция». Её конец стал прологом к прощанию с республикой. На первый взгляд речь шла о давно тлевших, по сути, незначительных разногласиях между обеими партиями крайних флангов о распределении бремени расходов на пособия по безработице; на деле же правительство Германа Мюллера распалось вследствие бегства в оппозицию, вдруг усилившегося во всех лагерях, и население, перебегавшее к радикалам, всего-навсего повторяло, хоть и на другом уровне, то, что уже проделали социал-демократы и Немецкая народная партия. Это показало как непрочна на деле была опора республики и насколько ненадёжным оказался фундамент лояльности. Достижения республики за немногие годы её существования были немаловажными, однако само её усердие было окрашено в серые тона, и даже в свои лучшие годы она, по сути дела, наводила на людей скуку. Только Гитлер сумел мобилизовать те движущие силы, которые республиканские политики, поглощённые повседневностью, и не заметили, и не сумели использовать: тягу к утопии и сверхличностным целям, потребность в призывах к

великодушию и самоотверженности, элементарную тоску по вождям как воплощению ясности в таинственных вопросах власти, а также жажду героизации в истолковании современных бедствий.

Именно эти лозунги «третьих ценностей», а не туманные экономические обещания преодолели теперь своё неприятие массовой партии, и впервые оправдала себя гибкость широкой сети партийной организации. НСДАП, не сдерживаемая какими-либо программными какой-то единственный класс, легко втянула в свои ряды самые отдалённые от неё элементы. В ней находилось место людям любого происхождения и возраста, любым побудительным мотивам; её представление о членстве казалось удивительно аморфным и отвергало любые более или менее чётко очерченные классовые категории. Нельзя понять решающей причины подъёма гитлеровской партии, рассматривая её только с социально-экономической точки зрения, как движение отсталых буржуазных и крестьянских масс, и сводя её динамику преимущественно к материальным интересам этих её последователей.

Уже сама разноплановость противоречий между мелкими ремесленниками, крестьянами, крупными предпринимателями и потребителями, которые, хоть и по-разному, но все были необходимы партии, ограничивала возможность возникновения классового движения. Это был тот рубеж, на который до тех пор раньше или позже наталкивалась любая партия. Казалось он был непреодолим, тем более во времена тяжелейших экономических и социальных бедствий, к тому же просто с помощью тактики пустых обещаний всем — тактики, у которой было слишком много последователей и которая вскоре не могла обмануть уже никого. Те, кто полагался на материальные требования, вскоре упирались в дилемму: чтобы завоевать массы, нужно было обещать более высокую заработную плату и более низкие цены, больше дивидендов и меньше налогов, улучшение пенсионного обеспечения и повышение пошлин, а что касается аграрной продукции, то даже сулить её производителям повышение цен, а её потребителям — их понижение. Фокус же Гитлера как раз и заключался в том, чтобы замазывать экономические противоречия звучными призывами, а материальную заинтересованность использовать в первую очередь для того, чтобы эффектно дистанцироваться от своих противников: «Я не обещаю, подобно всем другим, счастья и процветания, — восклицал он, — я могу сказать лишь одно: будем же национал-социалистами, осознаем же, что мы не имеем права ощущать свою принадлежность к нации и орать „Германия, Германия превыше всего“, если

миллионы из нас вынуждены ходить на биржу труда и совсем обносились»[147]. Его преимущество основывалось не в последнюю очередь на понимании того, что люди в своём поведении исходят не из одних только экономических побуждений; он-то полагался скорее на их потребность в сверхличном мотиве существования и верил в силу «третьих ценностей», взрывающую классовые перегородки: в силу лозунгов о чести, величии, сплочённости и жертвенном духе нации, о бескорыстной самоотверженности: «И вы видите — мы уже на марше!»

Тем не менее, партия и теперь ещё находила отклик и новых сторонников прежде всего в тех средних слоях, которые больше других сохраняли в себе основу своих политических представлений и всегда были склонны к тому, чтобы при тяжёлом материальном положении искать прибежища в простом, но безусловном порядке. Существующие партии весьма приблизительно отражали их желания, обиды и интересы. Нелюбовь к республике отдалила их от политики, они брели бесцельно; но вот голод и страх заставили их искать «свою» партию. Встретив Гитлера, они дали себя увлечь не только мощной демагогией, но и, в неменьшей степени, завораживающей воображение общностью судьбы; он тоже был мелким буржуа, боящимся опуститься ниже своего класса и потерпевшим поражение в своих личных амбициях, пока не открыл для себя политику, которая его освободила и вынесла наверх. Того же волшебства ожидали от неё теперь и эти массы. Его судьба казалась им апофеозом их собственной.

Именно это «опускающееся среднее сословие» положило начало прорыву НСДАП в число массовых партий и в основном и определило её социологический облик тех лет. Было бы ошибкой думать, будто экономическая разруха непосредственным образом увеличила привлекательность лозунгов НСДАП. Ведь гитлеровская партия количественно выросла больше всего не в крупных городах и промышленных районах, где депрессия достигала сокрушительных масштабов, а в мелких городках и сельской местности. На фоне в общем-то ещё функционирующей системы вторжение нищеты там ощущалось как бедствие и катастрофа в гораздо большей степени, чем больших городах, всегда близко знавших нужду. Там же понятие хаоса стало просто синонимом коммунизма[148].

Тем не менее, по мере нарастания кризиса НСДАП добилась первых успехов и в рабочей среде. Правда, Грегор Штрассер предпринял попытку преодолеть «марксизм» с помощью НСБО, «Национал-социалистической организации производственных

ячеек» (Геббельс придумал по этому случаю стишок: «Ни завода, ни стройки без нашей партийной прослойки!»). Однако попытка Штрассера в общем и целом провалилась, в том числе потому, что Гитлер всегда весьма сдержанно относился к идее широкой национал-социалистической профсоюзной организации: по его мнению, пример СДПГ ясно показывал, как партия ради союза с профсоюзами вынуждена была отступиться от идеи мировой революции и, уйдя с головой в проблемы зарплаты, потеряла из вида перспективу освобождения рода человеческого. Тем не менее он практически не поддерживал ещё оставшиеся в НСДАП левые силы в их попытке предотвратить опасность сползания социал-революционной рабочей партии в болото «только антисемитской и мелкобуржуазной» организации: «Если мы привлечём к себе хотя бы одного рабочего — это несравненно полезнее, чем заявления о вступлении целой дюжины „их превосходительств“, вообще любых „высокопоставленных“ особ», — заявлял один из социал-революционеров[149]. И снова расчёт Гитлера оказался верным: то, чего НСДАП долго не удавалось добиться от классово сознательных рабочих, она достигла теперь среди растущих масс безработных. Своего рода идеальным отстойником оказались в первую очередь отряды штурмовиков. В Гамбурге из 4500 членов СА 2600 (почти 60%) были безработные. В Бреслау (ныне Вроцлав) один из отрядов СА в сильный мороз не смог провести смотр, т. к. у его членов не было обуви.

Перед отделениями биржи труда, где безработные должны были отмечаться дважды в неделю, организованные отряды вербовщиков раздавали пропагандистский листок «Безработный», точно ориентированный на заботы и нужды этой аудитории, и вовлекали стоящих в очереди людей в длительные дискуссии. Встречная активность коммунистов, видевших, что нацисты вытесняют их с их же собственной территории, привела к первым дракам и уличным потасовкам. Поскольку число их участников все росло, они постепенно переросли в ту «тихую гражданскую войну», за которой вплоть до января 1933 года так и тянулся узкий, но беспрерывно кровоточащий след и которая была сразу же задушена, как только одна из сторон захватила власть. Начало положила рукопашная схватка ещё в марте 1929 года в Дитмаршене; тогда двое штурмовиков, крестьянин Герман Шмидт и столяр Отто Штрайбель, были убиты, а тридцать человек ранены, причём некоторые из них — тяжело. К этому времени потасовки все заметнее перемещались в большие города; их рабочие кварталы и запутанные задние дворы и стали мрачными кулисами этой малой войны, опорные пункты которой

размещались в угловых кабачках и подвальных пивнушках, тех самых «штурмовых трактирах», которые один из современников с полным основанием назвал «укреплёнными позициями в зоне боев»[150]. Драки происходили, особенно в больших городах, между СА и Союзом красных фронтовиков, боевой организацией коммунистов. При этом нередко целые улицы превращались в место шумных, почти военных действий, кончавшихся подсчётом многочисленных раненых и убитых. Иногда только массированному вмешательству отрядов полиции на бронированных машинах удавалось положить конец таким боевым действиям.

Берлин вообще все больше превращался в средоточие стратегии национал-социалистов, конечной целью которой было завоевание власти. Этот традиционно революционный город, в котором марксистские партии раньше всегда намного опережали всех своих соперников, представлял собой не только бастион, захвата которого настоятельно требовала тактика «легальности»; там в лице Геббельса у НСДАП был человек, у которого хватило энергии и дерзости, чтобы с крохотной группкой последователей в самом центре власти коммунистов, там, где они чувствовали себя увереннее всего, вызывающе воскликнуть: «Адольф Гитлер пожрёт Карла Маркса!» Это был один из тех наглых лозунгов, которыми он открывал бой. Из буржуазных предместий, где НСДАП вела спокойную жизнь, омрачаемую разве что внутренними склоками, он направлял партию прямо в сердце нищих кварталов на севере и востоке города и впервые оспорил первенство левых на его улицах и предприятиях. Бледный, невыспавшийся, в чёрной двубортной кожаной куртке, он являл собой одну из типичных фигур того времени. О тревоге левых, слишком долго лишь болтавших разочарованным массам о мировой революции, говорит ставшая знаменитой формула, с помощью которой руководство Берлинской организации КПГ ещё в августе 1928 года отреагировало на геббельсовскую конкуренцию: «Гоните фашистов с предприятий! Бейте их, где только увидите!»

Следуя примеру Гитлера, и Геббельс перенял у противника его же методы: «говорящие хоры», шествия под звуки оркестра, вербовочную работу на рабочих местах или же систему уличных ячеек, массовые демонстрации, а также кропотливую работу у дверей квартир — всё это было заимствовано из практики социалистической агитации, но нацисты объединили эти методы с гитлеровским «большим мюнхенским стилем». Геббельс придал провинциальной физиономии партии известные черты стиля большого города и интеллектуальности, что привлекало к ней

новые силы. Он был остроумен, хитёр и циничен как раз в той мере, которая импонирует публике. Республиканский призыв «Сохраним республику!» он с издевательским еврейским акцентом произносил так, что получалось «Схороним республику!», а кличку «обер-бандит Берлина», данную ему агитацией противника, превратил в подобие почётного титула, которым гордился, словно мелкий жулик. Наконец, формулу революционных дней 1918 года, обещавшую жизнь, полную красоты и достоинства, он иронически переиначил в рубрике о самоубийствах, которую вёл в газете «Ангрифф» с нарочитой дотошностью и жестокостью. Так, он каждый раз предварял эту рубрику словами: «Счастья этой жизни, полной красоты и достоинства, не смогли больше выдержать… « После чего публиковались имена самоубийц[151].

Безграничная готовность к учёбе у противника, отсутствие в тактике борьбы за власть какого-либо высокомерия и мании всезнайства отличали национал-социалистов от консерваторов старой закалки и придавали их устремлённости в прошлое черты современности. Примечательно, что гораздо больше внимания они уделяли не буржуазной, а именно леворадикальной прессе и нередко перепечатывали в своих изданиях «достойные внимания» фрагменты коммунистической инструкции — для просвещения собственных сторонников[152]. Кроме того, они стремились, и тут подражая коммунистам, деморализовать противника грубостью и жестокостью, причём маскировали собственную слабость под простодушие и идеализм: «Герои с большим, детски-чистым сердцем», «Христо-социалисты», не стесняясь писал Геббельс, чтобы сделать из командира штурмового отряда Хорста Весселя мученика идеи, хотя тот — по крайней мере, таков был один из мотивов — был убит своим соперником-коммунистом из ревности в споре из-за проститутки. Один из его самых эффектных, вышибающих слезу приёмов заключался в том, чтобы около своей ораторской трибуны выставить на всеобщее обозрение перевязанных раненых на носилках — жертв уличных боев. В полицейском донесении о кровавом инциденте в Дитмаршене описывалось пропагандистское воздействие вида убитых и раненых, что утвердило гитлеровское движение в мысли о высокой действенности кровавых жертв как средства агитации. В донесении говорилось, что национал-социалисты увеличили свою численность на 30%, и далее сообщалось о таком наблюдении: «простые деревенские старухи» носят «на своих фартуках значок со свастикой. При разговоре с такими бабушками сразу чувствуешь, что они не имеют ни малейшего понятия о ближних или дальних целях национал-социалистической партии. Но они

уверены, что все честные люди в нынешней Германии эксплуатируются, что правительство у нас неспособное и… что только национал-социалисты могут спасти от этого якобы бедственного положения»[153].

Пожалуй, самым знаменательным был успех НСДАП у молодёжи. Как никакая другая политическая партия, она сумела воспользоваться и ожиданиями самого молодого поколения, и широко распространёнными надеждами на него. Понятно, что поколение 18 — 30-летних, чьё честолюбие и жажда деятельности не могли реализоваться в обстановке массовой безработицы, переживало кризис особенно болезненно. Будучи радикальными и в то же время склонными к бегству от действительности, эти молодые люди представляли собой огромный агрессивный потенциал. Они презирали своё окружение, родительский дом, учителей и признанные авторитеты, все ещё отчаянно тоскующие по старым буржуазным порядкам, из которых молодёжь давно уже выросла: «Нет больше веры в светлое вчера, но нет в нас и заразы отрицания», — читаем мы в одном из тогдашних стихотворений[154]. На интеллектуальном уровне то же настроение выразилось, например, в формуле, что Германия проиграла не только войну, но и революцию и теперь должна все это исправить. Молодёжь в большинстве своём презирала республику, которая славила собственное бессилие, а свою слабость и нерешительность рядила в одежды демократической готовности к компромиссу. Но молодёжь отвергала её пошлый материализм социального государства и её «Эпикурейские идеалы», в которых она не находила ничего из переполнявшего её самое трагического восприятия жизни.

Вместе с республикой молодёжь отвергала и традиционный тип партии, который не отвечал пробудившейся в молодёжном движении жажде «органического сообщества», якобы возникшего на фронтах войны. Недовольство «властью стариков» ещё более усиливалось при виде традиционных партийных центров, пребывающих в состоянии честной ограниченности. Ничто в этих широких, самодовольных физиономиях не отражало того беспокойства, того сознания «поворота времени», которое овладело буржуазной молодёжью. Довольно значительная её часть присоединилась к коммунистам, хотя узость классового мышления партии многим затрудняла вступление в её ряды; другая часть пыталась выразить свой весьма своеобразно понимаемый ригоризм в пёстром по составу национал-большевистском движении. Большинство же молодёжи, особенно студенты, перешло к национал-социалистам, НСДАП стала естественной альтернативой коммунистам. Из всего радужно-

пёстрого идеологического набора пропаганды национал-социалистов она расслышала прежде всего нечто революционное. Эти молодые люди искали дисциплины и жертвенности; кроме того, их привлекала к себе романтика движения, которое постоянно балансировало на грани законности, а тем, кто непременно этого хотел, позволяла и перешагнуть за эту грань. Это была для них не столько партия, сколько боевое сообщество, требовавшее пожертвовать всем и противопоставлявшее гнилому, распадающемуся миру пафос воинственного нового строя.

Вследствие большого притока представителей молодого поколения НСДАП, ещё не став массовой партией, приобрела характер прямо-таки своеобразного молодёжного движения. Например, в Гамбургском округе в 1925 году около двух третей членов партии были моложе тридцати лет, в Галле их было даже 86%, да и в остальных округах эти показатели если и отличались, то не намного. В 1931 году 70% берлинских штурмовиков составляли люди, не достигшие 30 лет, а во всей партии их было около 40 процентов, в то время как их доля в СДПГ была вдвое меньше. Если среди депутатов от СДПГ людей моложе 40 лет было около 10%, то среди национал-социалистов их доля составляла почти 60%. Стремление Гитлера заинтересовать молодых людей, стимулировать их, оказать им доверие оказалось весьма действенным методом. Геббельс стал гауляйтером в 28, Карл Кауфман — в 25 лет; Бальдуру фон Шираху было 26 лет, когда его назначили на пост рейхсюгендфюрера[155], а Гиммлеру при его выдвижении на пост рейхсфюрера СС всего на два года больше. Бескомпромиссность и ничем не ослабленная вера этих молодых руководителей, их «чисто физическая энергия и драчливость, — вспоминал впоследствии один из них, — придавали партии ту пробивную силу, которой прежде всего буржуазные партии чем дальше, тем меньше могли противопоставить что-либо равное по действенности»[156].

Всё это было характерно для состава партии, начиная с 1929 года, ещё до того, как наступило время широкого скачкообразного перехода в неё из других партий. Правда, с точки зрения социологии лицо её все ещё оставалось неясным, не без умысла завуалированным претенциозными лозунгами общего характера, за которыми Гитлер пытался укрыть тот факт, что вербовка политически сознательных рабочих не принесла заметных успехов и что состав НСДАП все ещё ограничивался теми слоями населения, которые вступали в неё с самого начала. Впервые стало ощутимым и сопротивление со стороны государства. Так, в Баварии 5 июня 1930 года нацистам было запрещено носить форму, неделей позже в Пруссии запретили

ношение коричневых рубашек, так что штурмовикам пришлось впредь выступать в белых рубашках, а ещё спустя две недели Пруссия запретила своим служащим членство в НСДАП и КПГ. Протест против этих запретов нашёл своё выражение в растущем числе судебных процессов: до 1933 года их было 40 тысяч, и в ходе их приговоры составили в общей сложности 14 тысяч лет лишения свободы и около полутора миллиона марок штрафов[157].

Все это, однако, не устранило впечатления слабости, которая считалась неотъемлемой чертой «системы». Ещё до бесславного конца «большой коалиции», даже в окружение президента страны фон Гинденбурга, до тех пор хоть и настроенного против конституции, однако формально исполнявшего свои обязанности в соответствии с ней, проникли мысли о том, что пора заменить бессильный парламентский режим авторитарным президентским правлением. Независимо от того, насколько президент уже тогда был согласен с подобными аргументами, он впервые энергично и решительно включился в переговоры об образовании нового правительства. Выбор Генриха Брюнинга также указывал на то, что Гинденбург и впредь намеревался вмешиваться в дела правительства, так как в личности нового канцлера лояльность, строгость характера и чувство долга соединялись в некую романтическую трезвость, всегда, казалось, готовую к тому немому самопожертвованию, которого Гинденбург постоянно требовал от своего окружения. С неподобающей поспешностью, ещё не исчерпав возможностей достижения компромисса, Брюнинг вскоре после занятия своего нового поста, в момент, когда безработица беспрерывно росла, а страх перед кризисом усиливался, рискнул пойти на сулившее верное поражение голосование в парламенте и затем распустил рейхстаг. Напрасно министр внутренних дел Вирт заклинал противников отступиться и не доводить парламентский кризис до кризиса системы; казалось, демократия устала от самой себя. На сентябрь были назначены новые выборы[158].

Немедленно разгорелась притихшая было пропаганда национал-социалистов. Она снова обрела тот пронзительный тон, который был характерен для кампании против плана Юнга. Снова во все концы были разосланы их вербовщики. Шумно и бурно они врывались в города и сельские местности, устраивая бесконечные концерты на площадях, спортивные праздники, звёздные заезды, вечерние сборы и совместные походы в церковь. Они казались гораздо более разумными, радикальными или воодушевлёнными и уж во всяком случае гораздо более «народными», чем агитаторы других партий. «Эй, сволочь, выходи! Сорвите у этих гадов маску

с рожи! Хватайте их за шкирку, бейте ногами в жирное брюхо, выметайте их с треском из храма!» — писал Геббельс, для которого эта избирательная кампания стала первым экзаменом со времени назначения на пост руководителя партийной пропаганды. Эрнст Блох неодобрительно относился к «глупой восторженности» национал-социалистов; однако именно в ней, в частности, и заключалось преимущество, потому что коммунисты, несмотря на всю свою высокопарную уверенность в собственной победе, несмотря ни на что, всегда действовали серо и угрюмо, словно их прерогативой была не история, а обыденщина. Кроме того, теперь были широко и целенаправленно пущены в ход две или три тысячи выпускников партийной школы ораторов. Доклады об идеологической мудрости партии, часто примитивные и явно затверженные наизусть, не очень-то прибавили партии сторонников, и всё же массовые выступления бесчисленных рядовых пропагандистов создавали впечатление неустанной, все одолевающей активности, и Гитлер полагался на действенность такого впечатления. Одновременно испытанные ораторы окружного (гау) и имперского масштаба выступали на щедро оформленных мероприятиях для населения. «Собрания с числом участников от одной до пяти тысяч, — говорилось в одной из докладных записок министерства внутренних дел Пруссии, — в больших городах стали обычным явлением; часто они вынуждены даже устраивать ещё одно или несколько параллельных собраний, поскольку первоначально предусмотренные помещения не могут вместить всех желающих»[159].

Во всех отношениях Гитлер сам стоял во главе кампании — как её вождь, «звезда» и организатор. Он открыл её крупным мероприятием в Веймаре и с того времени беспрерывно находился в дороге, ездил в машине и на поездах, летал самолётами. Где бы он ни появлялся, он неизменно приводил в движение массы, хотя у него не было ни плана, ни какой-либо теории кризиса и его преодоления. Но зато у него были ответы. Он знал, кто виноват: державы Антанты, продажные политики республиканской системы, марксисты и евреи. И он знал, что требовалось, чтобы покончить с нуждой: воля, самосознание и вновь обретённая власть. Его эмоциональные призывы никогда не выходили за рамки общих фраз. «Отстаньте от меня с вашими текущими делами!» — говорил он в своё оправдание; и так уж немецкий народ погиб, запутавшись в них: «Текущие дела придуманы специально для того, чтобы затуманить взгляд на великие свершения». Даже кризис парламентской системы он объяснял тем, что партии и их цели слишком зациклились на

«повседневных мелочах», ради которых «люди не склонны идти на жертвы»[160]. Он по-прежнему действовал по уже испытанному рецепту: сводить тысячи повседневных неудач и несчастий к немногим, но хорошо понятным причинам, придавать им широту и демоническую окраску, рисуя мрачную панораму мира, за кулисами которого плели свои интриги внушающие жуть заговорщики. Не меньше, чем своими ораторскими приёмами, он воздействовал на слушателей внушительным церемониалом и решительностью своего явления народу. Он постоянно стремился к тому, чтобы его рассуждения можно было свести к краткому девизу, чтобы из них выкристаллизовывались многочисленные яркие, запоминающиеся понятия, которые ещё долгое время продолжали самостоятельно действовать в подсознании слушателей. В те недели он приобрёл не только чрезвычайно большой организаторский опыт, но и ту психологическую изощрённость, которая пригодилась ему двумя годами позже, когда он развернул несравнимо более широкие и яростные кампании.

Отсутствие чёткой программы, составлявшее такой разительный контраст с энергичностью и громогласной напористостью национал-социалистической агитации, привело к затяжной недооценке НСДАП. Как раз для критически настроенных современников партия представляла собой феномен шумный, надоедливый и слегка сумасшедший в эти шумные и слегка сумасшедшие времена. Курт Тухольский дал Гитлеру необычайно меткое и одновременно на редкость ошибочное определение, отражавшее подобные неверные суждения: «Этого человека и нет-то вовсе; есть только шум, который он производит»[161]. Одна из памятных записок министерства внутренних дел Германии, показывавшая, что за формальными уверениями в приверженности к закону стоит почти не скрываемая антиконституционность партии, осталась без внимания. Вместо этого власти полагались на взрывную силу внутренних противоречий в быстро распухающей партии, на угрожавшие её целостности духовную посредственность, неотёсанность и честолюбие партийного руководства.

Эти ожидания подтверждались кризисами, которые летом 1930 года, казалось, основательно тряхнули НСДАП, на самом же деле, как показали позднейшие наблюдения, были акциями чистки, послужившими укреплению дисциплины и наступательности партии. Вознесённый на гребень волны растущим со всех сторон ликованием, Гитлер, учуявший в том катаклизме, угрожающий грохот которого становился все

оглушительнее, свой единственный шанс, и стал готовиться, очищая партию от её последних критиков и независимых оппозиционеров.

Для начала он навязал левым внутри партии, позиции которых на глазах становились все противоречивее, давно откладывавшееся выяснение отношений. Пока НСДАП была маргинальной партией и проявляла себя лишь в том шуме, который она устраивала, не имея возможности реализовать свои принципы в парламентах или правительствах, ей без труда удавалось скрывать идеологические разногласия в своих рядах. Однако успехи на местных выборах последнего времени постоянно заставляли её ответственно разъяснять свою позицию. Отто Штрассер и его сторонники, сгруппировавшиеся вокруг издательства «Кампфферлаг», упорно ставили под сомнение курс Гитлера на легальность и агрессивно отстаивали «тактику катастроф». Они разыгрывали роль неистовых антикапиталистов, требовали широкой национализации, союза с СССР или же, отступая от линии партии, поддерживали местные забастовочные движения. Естественно, что тем самым они не только подвергали риску едва наметившиеся связи партии с экономическими кругами, но своей бездумной тенденцией к обязательствам программного характера перечёркивали гитлеровскую тактику возможного отступления от собственных утверждений и открытости на все стороны. В январе вождь НСДАП потребовал у Отто Штрассера передачи издательства «Кампфферлаг». Двулично, перемежая лесть угрозами и попытками подкупа, а то и со слезами на глазах он предложил строптивому товарищу пост руководителя печати Мюнхенского центра, а за издательство обещал около 80 тысяч марок. Он заклинал его как старого солдата и национал-социалиста с многолетним стажем, но Штрассер, считавший себя лордом-хранителем национал-социалистической идеи в её подлинном виде, отклонил все предложения и не испугался угроз. 21 и 22 мая 1930 года в тогдашней берлинской штаб-квартире Гитлера — гостинице «Сан-Суси» по Линкштрассе — состоялся принципиальный разговор. В присутствии Макса Амана, Рудольфа Гесса и брата Отто Штрассера, Грегора, стороны в течение семи часов возбуждённо излагали свои аргументы.

Совершенно в стиле самоучек, который впоследствии приводил в немое отчаяние его товарищей по застольям, Гитлер начал собрание, о котором мы знаем из записей Штрассера, с поучающих рассуждений об искусстве (оно-де не знает революционных переломов, но существует лишь как «вечное искусство», да и вообще — все, что заслуживает имени искусства,

имеет греческо-нордические корни, остальное же — обман). Затем он долго распространялся о роли личности, проблемах расы, мирового хозяйства, итальянского фашизма, чтобы только потом вернуться к социализму, к «проблеме Пилата»[162], которая, между тем, уже невидимо витала на переговорах с самого начала. Он упрекнул Штрассера, что тот идею ставит выше вождя и вообще «хочет дать каждому члену партии право судить об идее, больше того — право решать, верен ли ещё вождь так называемой идее или уже нет. Это — демократия худшего пошиба, и именно у нас ей нет места, — воскликнул он возмущённо. — У нас вождь и идея едины, и каждый член партии должен делать то, что прикажет вождь, воплощающий в себе идею и „единственно знающий её конечную цель“. Он вовсе не намерен, продолжал Гитлер, „позволять нескольким литераторам, заболевшим манией величия“, разбить „партийную организацию, построенную на основе дисциплины её членов“.

Неспособность Гитлера рассматривать человеческие отношения в каком-либо другом аспекте, кроме иерархического, редко проявлялась так наглядно, как в ходе этих переговоров. Каждый аргумент, каждое возражение он парировал, словно это был интеллектуальный рефлекс, вопросом о власти: кто имеет право распоряжаться, кто здесь отдаёт приказы, а кто должен им подчиняться? Всё было безоглядно сведено к противопоставлению «господа — рабы»; есть сырая, необразованная масса — и есть великая личность, для которой эта масса является орудием и объектом манипуляции. Удовлетворение законных потребностей этой массы в защите и обеспечении — это и был, по мысли Гитлера, социализм. В ответ на упрёк Штрассера, что он пытался придушить революционный социализм партии ради своих новых связей с буржуазной реакцией, Гитлер резко возразил: «Я — социалист, в отличие, например, от влиятельного господина Ревентлова. Я начинал как простой рабочий. Я и сегодня ещё не могу терпеть, чтобы мой шофёр ел на обед не то, что и я. Но то, что вы понимаете под социализмом — это неприкрытый марксизм. Понимаете, основная масса рабочих не хочет ничего иного, кроме хлеба и зрелищ, она не думает ни о каких идеалах, и мы никогда не сможем рассчитывать на завоевание симпатий значительного числа рабочих. Нам нужна элита нового слоя господ, движимая не какой-то там моралью сострадания, но ясно осознающая, что она благодаря своей лучшей породе имеет право властвовать, и потому безоглядно поддерживающая и обеспечивающая это господство над широкими массами…. Вся Ваша система — это работа за письменным столом, не имеющая ничего общего с действительной жизнью». Обращаясь к своему

издателю, Гитлер спросил: «Г-н Аман, Вам понравилось бы, если бы в Ваши дела вдруг стали вмешиваться Ваши секретарши? Предприниматель, несущий ответственность за производство, создаёт и хлеб для рабочих. Именно для наших крупных предпринимателей самое важное — не накопление денег, не жизнь в богатстве и т. п., а ответственность и власть. Благодаря своему усердию они пробились наверх, и на основании этого отбора, который опять-таки свидетельствует только о лучшей породе, у них есть право вести массы за собой». Когда, после горячей дискуссии, Штрассер поставил принципиальный вопрос — останутся ли производственные отношения неизменными после захвата власти, Гитлер ответил: «Ну разумеется. Уж не думаете ли вы, что я настолько безрассуден, чтобы разрушить экономику? Только если кто-то будет действовать наперекор интересам нации, вмешается государство. Но для этого не требуется ни экспроприации, ни права рабочих на участие в управлении государством, „ Потому что, продолжал он, на самом-то деле всегда существует только одна система: «Ответственность перед верхами, авторитет по отношению к низам“, так это практикуется тысячелетиями и вообще не может быть иначе[163].

В интерпретации Гитлером социализма нет ни гуманного побудительного импульса, ни потребности в обновлении общественной структуры. Его социализм, говорил он, не имеет «ничего общего с „механической конструкцией“ хозяйственной жизни», он только дополнительное определение понятия «национализм»: он означает ответственность всей структуры в целом за индивидуума, тогда как «национализм» означает, что индивидуум всего себя отдаёт этому целому; в национал-социализме же, продолжал Гитлер, объединяются оба этих элемента. Такой приём воздавал должное всем интересам, а сами понятия низводил до роли игральных фишек: капитализм находил своё завершение только в гитлеровском социализме, а социализм, оказывается, был осуществим только в условиях капиталистической экономической системы. Эта идеология прикрывалась левыми этикетками только из соображений тактики захвата власти. Она требовала государства, сильного и внутри, и вне своих границ, требовала неоспоримого господства над «широкой безымянной массой», над «коллективом вечно несовершеннолетних»[164]. Какой бы ни была исходная точка истории НСДАП, в январе 1930 года она являлась, как утверждал Гитлер, партией «социалистической», чтобы использовать избирательный потенциал популярного слова, и «партией рабочих», чтобы заручиться поддержкой самой энергичной общественной силы. Как и обращенность к традиции, к

консервативным ценностям и представлениям или к христианству, социалистические лозунги были частью манипулятивного идеологического подполья, служившего для маскировки, введения в заблуждение и прикрываемого девизами, менявшимися вместе с конъюнктурой. Насколько цинично отбрасывались, по крайней мере, верхушкой, программные принципы, один из молодых энтузиастов-перебежчиков, вступивших в НСДАП, узнал из разговора с Геббельсом, в ответ на своё замечание о том, что положение Федера об уничтожении процентного рабства все же содержит в себе элемент социализма, он услышал в ответ: лучше уничтожить того, кто слушает этот вздор[165].

Та лёгкость, с которой Штрассер вскрывал нелепицы и жонглирование понятиями в аргументации своего собеседника, очень задела Гитлера. Он вернулся в Мюнхен расстроенным и, как обычно после таких дискуссий, несколько недель не подавал никаких вестей о себе, так что Штрассер оставался в полном неведении. И только когда он в памфлете, озаглавленном «Министерское кресло или революция?», описал ход дискуссии и обвинил вождя партии в предательстве по отношению к социалистическому ядру их общей идеологии, Гитлер нанёс ответный удар. В письме, стилистические огрехи которого выдают степень его озлобленности, он приказывает своему берлинскому гауляйтеру, не церемонясь, исключить Штрассера и его последователей из партии. Он писал:

> «В течение нескольких месяцев я как ответственный руководитель НСДАП наблюдаю за попытками внести разброд и смуту в ряды движения, подорвать его дисциплину. Под предлогом борьбы за социализм делаются попытки отстаивать политику, совершенно отвечающую политике наших еврейско-либерально-марксистских противников. То, чего требуют эти круги, совпадает с желаниями наших врагов… Теперь я считаю необходимым беспощадно, целиком и полностью вышвырнуть из партии эти деструктивные элементы. Сущее содержание нашего движения сформулировали и определили мы — люди, основавшие это движение, боровшиеся за него, томившиеся за его дело в тюрьмах и поднявшие его после краха к нынешним высотам. Те, кому это содержание, заложенное нами, в первую очередь мной, в основание движения, не подходит, не должны приходить в ряды движения — или же покинуть их. Пока я руковожу Национал-социалистической

> партией, она не станет дискуссионным клубом лишённых корней литераторов или салонных большевиков; она останется тем, чем является и сегодня: дисциплинированной организацией, созданной не для доктринёрских дурачеств и политических перелётных пташек, но для борьбы за такое будущее Германии, в котором классовые понятия будут сокрушены»[166].

После этого Геббельс 30 июня созвал окружное собрание членов партии. Оно состоялось в Хазенхайде под Берлином. «Кто не подчинится нашему порядку, будет изгнан из наших рядов!» — кричал он собравшимся. Отто Штрассера и его приверженцев, пришедших, чтобы изложить свою позицию, штурмовики силой изгнали из зала. После этого группа Штрассера заговорила о «сталинизме чистой воды» и о том, что партийное руководство занимается целенаправленным «преследованием социалистов», но она все заметнее отступала. Уже на следующий день Грегор Штрассер снял с себя обязанности издателя в «Кампфферлаг» и в резкой форме отмежевался от своего брата. Фон Ревентлов и другие видные деятели левого крыла тоже изменили бунтовщикам — многие, вероятно, по экономическим мотивам, поскольку Гитлер дал кому пост, кому приход или же мандат, но большинство все же несомненно из соображений той «почти противоестественной личной преданности», которую Гитлер сумел и внушить и в них сохранить, несмотря на все бесчисленные акты собственного вероломства. Геббельс уверенно заявил, что партия «извергнет из себя эту попытку саботажа»[167]. После чего газеты Отто Штрассера 4 июля возвестили: «Социалисты покидают НСДАП!» Но за ним почти никто не последовал; как оказалось, в партии фактически не было социалистов, да и вообще людей, способных теоретически маломальски обосновать собственную политическую позицию. Отто Штрассер основал новую партию, сначала она называлась «Революционные национал-социалисты», позже «Чёрный фронт», но ей так и не удалось избавиться от клейма группы литераторов-сектантов. Приверженцам Гитлера было запрещено читать газеты издательства «Кампфферлаг», но их излюбленная тематика и без того вскоре почти перестала кого-либо занимать: разоблачения из области интимной жизни руководящего аппарата выглядели мещанским педантизмом и вообще неуместными по отношению к партии, которая как раз, казалось, услышала зов истории и решительно поднялась на борьбу с мировой катастрофой. Теоретические же споры вокруг понятий никого не интересовали. Массы связывали свои надежды и ожидание спасения не с какой-

либо программой, а с Гитлером.

Выход Отто Штрассера из игры не только раз и навсегда покончил со спорами о социалистических принципах в НСДАП, но и означал ощутимую утрату власти для Грегора Штрассера. С этих пор у него уже не было ни власти внутри партии, ни газеты. Он ещё считался, правда, руководителем организационной работы в партии, имел резиденцию в Мюнхене и держал в руках ещё многие нити, но все больше отдалялся от членов партии и от общественности. Всего годом раньше журнал «Вельтбюне» предполагал, что Штрассер «в один не столь уж отдалённый день поставит своего господина и учителя Гитлера в угол» и сам захватит власть в партии[168]. Теперь же Штрассер её потерял и тем самым предопределил своё поражение двумя годами позже, когда он преодолел было свою покорность судьбе попыткой сопротивления, пока, наконец, уставший и сломленный, не покинул партию.

Последним отголоском штрассеровского кризиса были волнения берлинских отрядов СА под командованием заместителя высшего руководителя СА по Восточной Германии и бывшего капитана полиции Стеннеса. Недовольство партийного войска было связано не столько со спорами вокруг социализма, сколько с нараставшими в Политической организации признаками номенклатурности и непотизма, а также с низкой оплатой за трудную службу во время избирательной кампании. В то время как штурмовики, оборванные и истощённые, вечер за вечером вынуждены были «рисковать своими костями», Политическая организация возвела себе роскошный, великолепно отделанный дворец — таков был часто повторявшийся упрёк, а в ответ на довод, что она в виде «Коричневого дома» как раз и соорудила штурмовикам монумент из мрамора и бронзы, они возражали: это выглядит памятником на их могиле. И вообще в Политической организации, мол, распространено мнение, что «СА существует только для того, чтобы умирать», писал один оберфюрер СА. Не зная, что делать, Геббельс из Силезии стал просить помощи Гитлера и СС. Когда восставшие штурмовики несколькими днями позже напали на здание окружного бюро на Хедеманштрассе, произошло первое кровавое столкновение с гиммлеровской чёрной гвардией. Об авторитете Гитлера говорит тот факт, что стоило ему только появиться, как бунт моментально прекратился. Но примечательно, что сначала он всячески избегал объяснений с Стеннесом, а вместо этого старался непосредственно успокоить сами отряды. Переходя от одной угловой пивной к другой, он в сопровождении вооружённых эсэсовцев присаживался к постоянным столикам штурмовиков,

посещал их дежурки, заклинал отряды, иногда даже разражался слезами, говорил о предстоящих победах и высокой оплате, которая будет обеспечена им, солдатам революции. Пока же он гарантировал им правовую защиту и лучшие условия оплаты, для чего ввёл особый налог по 20 пфеннигов с каждого члена партии в пользу СА. В благодарность за службу СС получила девиз: «Твоя честь — это верность!»

Конец бунта означал выход из игры фон Пфеффера. Сначала внутренне сопротивляясь, но затем, смирившись, командующий СА наблюдал, как росла власть Политической организации, что, в свою очередь, заметно ослабляло влияние СА. Одна из причин такого перемещения центра тяжести заключалась явно в том все яснее проявлявшемся «византийском» стиле, который Гитлер усвоил по отношению к своему окружению. Он все увереннее ощущал на себе знак благодати, а повседневное ликование масс только укрепляло его в этом убеждении. У него развилась потребность в поклонении, а на него были способны скорее мелкобуржуазные функционеры ПО, чем руководители СА, проникнутые духом военного чинопочитания. Именно поэтому ПО оказывалась в предпочтительном положении и при распределении скудных денежных средств партии, и при составлении списков депутатов, и в других актах покровительства. Помимо всего прочего, за напряжёнными отношениями скрывалась полная несовместимость между полухудожником, представителем южнонемецкой богемы, с одной стороны, и более суровым, «прусским» типом — с другой, как бы мало от этого типа ни оставалось в фон Пфеффере или среди фигур более узкого круга его соратников. Раздражённо косясь на сословную спесь высшего руководителя СА, Гитлер говорил иногда, что вообще-то ему следовало бы носить фамилию не Пфеффер, а Кюммель[169][170].

Так же, как и позже, в 1938 и 1941 годах, в конфликтах с вермахтом, Гитлер в конце августа, сместив фон Пфеффера, сам занял пост высшего руководителя СА, а для повседневного руководства он вызвал из Боливии Эрнста Рема, работавшего там военным инструктором. Таким образом, он окончательно стал единственным повелителем движения. В его руках находились теперь и особые права СА, выхлопотанные и утверждённые ранее фон Пфеффером. Всего через несколько дней Гитлер заставил каждого командира штурмовиков принести ему лично «клятву в безусловной верности» и поручил им потребовать того же от всех членов СА. Дополнительное обязательство заключалось в обещании, даваемом при приёме: «исполнять все приказы безупречно и добросовестно, т. к. я знаю, что мои командиры не

потребуют от меня ничего противозаконного». Статья в «Фелькишер беобахтер», в которой Гитлер подводил итоги кризиса и обосновывал свою линию поведения, содержала местоимение «я» сто тридцать три раза[171].

Примечательно, что к тому времени безоговорочные претензии Гитлера уже и в самих штурмовых отрядах принимались практически без возражений: тем самым движение окончательно организовалось и как институт, и в психологическом плане, а Гитлеру удалось, так же, как и из конфликтов прошлого, и из этой атаки извлечь для себя укрепление собственного положения и престижа. Уже в июне он в Сенаторском зале недавно отстроенного «Коричневого дома» объявил нескольким отобранным партийным журналистам о своей единоличной власти в партии, чётко нарисовав картину иерархии и организации католической церкви. По её образу и подобию, заявил он, и партия тоже должна воздвигнуть свою руководящую пирамиду «на широком фундаменте находящихся среди народа… политических пастырей», которые «по ступеням, ведущим через крайсляйтеров и гауляйтеров, поднимаются к слою сенаторов, а потом к фюреру-папе». Как рассказывал один из участников разговора, Гитлер не постеснялся сравнить гауляйтеров с епископами, а будущих сенаторов с кардиналами и, ничтоже сумняшеся, проводил путаные параллели между понятиями авторитета, послушания и веры в светской и церковной сферах. Без малейшей иронии он закончил свою речь замечанием, что не собирается «оспаривать у Святого отца в Риме его права на душевную — или как это называется — духовную? — непогрешимость в вопросах веры. В этом я не очень разбираюсь. Но зато тем больше, как мне кажется, я разбираюсь в политике. Поэтому я надеюсь, что и Святой отец впредь не станет оспаривать моего права. Итак, я провозглашаю теперь для себя и моих последователей в руководстве Национал-социалистической рабочей партии Германии право на политическую непогрешимость. Я надеюсь, что мир привыкнет к этому так же быстро и без возражений, как он привык к праву Святого отца»[172].

Ещё поучительней, чем эти слова, была опять-таки реакция на них, в которой не заметно было ни удивления, ни тем более возражений и которая ясно показала успех того курса на внутреннее подчинение в партии, какой Гитлер проводил так упорно и с таким педантичным усердием. Многое сослужило ему тут службу. Движение всегда осознавало себя как харизматическое боевое сообщество, основанное на вождизме и слепой дисциплине, и именно в этом оно черпало свою

динамичную уверенность по отношению к традиционным партийным интересам и программам. В то же время у него была возможность опираться на прошлое и опыт именно «старых борцов». Почти все они принимали участие в первой мировой войне и прошли школу неукоснительного выполнения приказа. К тому же многие происходили из семей, чьи педагогические идеалы определялись жёсткой этикой кадетских училищ. Гитлер вообще использовал своеобразие авторитарной системы воспитания, и, конечно, не случайно, что по крайней мере двадцать из семидесяти трех гауляйтеров в своё время были учителями[173].

После обоих сравнительно легко преодолённых внутрипартийных кризисов лета 1930 года в НСДАП не осталось никакой власти или авторитета, кроме Гитлера. Опасность, исходившая от Отто Штрассера, Стеннеса или фон Пфеффера, была, может быть, и не так велика, но их имена теоретически означали альтернативу, ставившую предел претензии на абсолютную власть. Теперь же командующий. СА в Южной Германии Август Шнайдхубер заявил в одной из служебных записок, что возрастающее значение и притягательная сила движения — вовсе не заслуга его функционеров, они зиждутся «только на пароле „Гитлер“, объединяющем всех»[174]. Окружённый усердными и льстивыми пропагандистами, фюрер в атмосфере нарочитого смешения религиозной и светской сфер вырастал в одинокую монументальную фигуру-символ, недосягаемую для каких-либо оценок или критики и не зависящую от результатов внутрипартийного голосования. Одному из своих последователей, обратившихся к нему с жалобой на своего гауляйтера, он обидчиво ответил в письме, что он не «лакей» партии, а её основатель и вождь; каждая же жалоба свидетельствует о «глупости» либо «бесцеремонности», а также о «бессовестном намерении изобразить меня ещё большим слепцом, чем первый попавшийся партийный скандалист». Один из наблюдателей писал тогда, что печать НСДАП, по сути, вся заполнена восхвалением Гитлера и нападками на евреев[175].

Конечно, снова появились жалобы, что Гитлер удаляется от своих сторонников и слишком уж подчёркивает расстояние между собой и ними. Так, Шнайдхубер сетовал, что чувство отчуждения охватило «почти каждого штурмовика»: «СА борется с фюрером за его душу и до сих пор не обрела её. Но должна обрести». Далее он писал о том, что люди «взывают к фюреру», но что на зов этот отклика нет. Не случайно приветствие и боевой клич «Хайль Гитлер!», введённый Геббельсом в Берлине и употреблявшийся и

раньше, теперь проник повсюду. На афишах все реже упоминалось об ораторе «Адольфе Гитлере», зато все чаще на них стояло слово «фюрер» — безымянное и почти абстрактное понятие. Во время своих поездок по стране он очень не любил, когда в холлах отелей или в помещениях партии его окружали взволнованные партийцы — его угнетали их излишняя близость и сервильное усердие. Он разрешал, да и то очень неохотно, чтобы ему представляли только испытанных членов партии, и избегал всякого светского общения с незнакомыми людьми. Разумеется, он умел, особенно после того, как избавился от некоторых неуклюжих привычек, и показать себя: то это был галантный собеседник в дамском обществе, то свой брат-рабочий с простецкими манерами или же по-отечески добрый товарищ, в сердечном порыве склонявшийся к светловолосым детским головкам: «Что касается торжественных рукопожатий и исполненных значения взглядов, то тут ему нет равных», — заметил один из современников. Но ближайшее-то окружение не могло не видеть, сколько во всём этом было расчётливого актёрства. Он постоянно думал о том, какое произведёт впечатление на публику, и в своих расчётах делал ставку и на народность, и на трогательность или величие жеста. Никто не проявлял столько внимания к своему имиджу, никто так не ощущал необходимости во что бы то ни стало вызывать интерес. Точнее других он понял, что значил для того времени тип «звезды» и насколько политик подчинён тем же законам. Из-за слабого здоровья он уже довольно давно не курил, а со временем был вынужден отказаться и от алкоголя. Теперь он использовал оба эти обстоятельства, чтобы произвести впечатление аскета, далёкого от радостей жизни. Понимание им своей роли делает его, несомненно, самой современной фигурой немецкой политики тех лет. Во всяком случае, он гораздо лучше потрафлял потребностям демократического массового общества, чем антагонисты от Гугенберга до Брюнинга; они как раз не умели эффектно подать себя, что и доказывало, насколько они и по происхождению, по своим корням были феноменом прошлого.

Никто с этих пор не мог бы утверждать, что оказывает хоть какое-то заметное влияние на Гитлера; времена Дитриха Эккарта и даже такого человека как Альфред Розенберг давно прошли. «Я никогда не ошибаюсь! Любое моё слово принадлежит истории!» — воскликнул он в своём первом объяснении с Отто Штрассером. Его желание чему-либо учиться шло на убыль по мере того, как он все более претендовал на роль «фюрера-папы». Всегда окружённый только восторженными почитателями и далеко не интеллектуальной свитой, он и в духовном плане постепенно

попадал в растущую изоляцию. В его кумире Карле Люгере его восхищал когда-то пессимистический взгляд на людей, а теперь он и сам почти не скрывал пренебрежения как своими приверженцами, так в равной степени и противниками. Послушный своему консервативному инстинкту, он упрямо твердил, что человек зол и испорчен по природе, что люди — это «насекомые, расползшиеся по земле», как он выражался в одном из писем. И далее: «Широкие массы слепы и глупы, они не ведают, что творят»[176].

Он презирал людей и поэтому, использовав их, бросал без всякой жалости. Без конца он кого-то свергал, наказывал или выдвигал, менял людей и занимаемые ими должности, и это, конечно, было одной из предпосылок его успехов. Он уже знал по опыту, что последователи жаждут именно такой бесцеремонности и безмерной требовательности. Он беспощадно гнал своих агитаторов в предвыборные схватки. Основное ядро функционеров и помощников партии пришло из традиционно аполитичных слоёв населения, у них была нерастраченная энергия, и они, не задумываясь, окунулись в постоянную предвыборную борьбу, с радостью сделав её своей профессией. Их лихость эффектно отличалась от той рутинной вялости, с которой традиционные партии отделывались от своих обязанностей в ходе предвыборной борьбы. Только за последние два дня перед выборами национал-социалисты провели в Берлине двадцать четыре больших митинга; и снова их плакатами были оклеены все стены, все дома и заборы, они окрасили город в жёсткий красный цвет; партийные газеты, напечатанные гигантскими тиражами, по цене в один пфенниг передавались членам партии для раздачи по домам или предприятиям. Сам Гитлер за время между 3 августа и 13 сентября был главным оратором на более чем двадцати крупных митингах. Для него напряжённая агитационная работа его приверженцев была своего рода отборочным экзаменом: «Теперь мимо навозной кучи просто проносится магнит, а потом мы увидим, сколько железа было в этой навозной куче и сколько его притянул магнит»[177].

Выборы были назначены на 14 сентября 1930 года. Гитлер рассчитывал на пятьдесят, а в минуты хорошего настроения даже на шестьдесят-восемьдесят мандатов. Он полагался на избирателей распадающегося буржуазного центра, на молодёжь, впервые получившую право голоса, а также на людей, долгие годы не участвовавших в выборах; по всей политической логике они должны были голосовать за него — конечно, если вообще явятся на избирательные участки.

Глава II
ЛАВИНА

Подходящий момент требует и подходящих способов борьбы. Первый этап — это изучение противника, второй — подготовка, а третий — атака.

Адольф Гитлер

Выборы 14 сентября 1930 г. — Волна грядущего. — Обхаживание рейхсвера. — Издёвка над легальностью. — Возвращение Эрнста Рема. — Политическая уголовщина. — Агония многопартийного государства. — Курт фон Шляйхер. — Замашки, контакты, переговоры. — Гарцбург. — Гитлер и буржуазия. — Теория о заговоре монополистического капитала. — Перед Дюссельдорфским промышленным клубом. — Боксхаймские документы. — «Бедная система!»

День 14 сентября стал одним из поворотных пунктов в истории Веймарской республики: он знаменовал собой конец демократического многопартийного режима и возвестил о начавшейся агонии всего государства в целом. Когда около трех часов ночи стали известны результаты выборов, всё изменилось. Одним махом НСДАП пробилась в преддверие власти, а её руководитель — этот одними обожаемый, другими высмеиваемый барабанщик Адольф Гитлер — превратился в одну из ключевых фигур на политической сцене. Национал-социалистическая пресса ликовала: судьба республики решена, теперь начинается сражение в процессе преследования.

На зов НСДАП откликнулось не менее 18 процентов участников выборов. За те почти два года, что прошли со времени последних выборов, партии удалось увеличить число поданных за неё голосов с 810 тысяч до 6, 4 миллиона, а вместо 12 мандатов она получила даже не 50, на которые рассчитывал Гитлер, а целых 107. Это поставило её на второе место, сразу же за СДПГ. История партий не знает подобных прорывов. Что касается буржуазных партий, то одна лишь партия католического Центра

отстояла свои позиции, зато все другие понесли чувствительные потери. Четырём центристским партиям досталось всего 72 места в парламенте, а Немецкая национальная народная партия Гугенберга скатилась с 14, 3 до 7 процентов голосов — её связи с более радикальным партнёром оказались для партии самоубийственными. Поскольку ей досталось всего 41 место в рейхстаге, она была теперь не только внутренне, но и внешне подчинена НСДАП, в то время, как претензии Гитлера на руководство правыми силами нашли впечатляющее подтверждение. Социал-демократам также пришлось примириться со значительными потерями. Одни только коммунисты — наряду с НСДАП — получили прирост числа голосов, хотя гораздо более скромный: с 10, 6 до 13, 1 процента. Тем не менее, опьянённые слепой верой в историю и самодовольством, они сочли результаты выборов исключительно своим успехом и монотонно твердили: «Единственный победитель на сентябрьских выборах — это коммунистическая партия!»[178].

Современники в большинстве своём понимали историческое значение состоявшегося события. Акценты могли быть различными, но в основном его объясняли глубоким кризисом партий и их системы и считали выражением растущего неверия в жизнеспособность либерально-капиталистического строя и вместе с тем все большего стремления к радикальному изменению всех существующих отношений. «Большинство избирателей, благодаря которым крайние партий приобрели новые мандаты, вовсе не являются радикальными — эти люди просто не верят в старые порядки». Не меньше трети избирателей начисто отвергли существующий порядок, не зная, да и не спрашивая, что же будет потом. Некоторые говорят о «выборах ожесточения»[179].

Тут полезно вспомнить о тех тяжёлых обстоятельствах, а заодно и о той половинчатости, которые десятью годами раньше определили облик республики и сделали её, по сути дела «ничьим» государством. Теперь все это мстило за себя. Собственно, ей так и не удалось добиться от нации чего-либо большего, чем снисходительно-терпимого отношения, и в историческом сознании многих она была всего-навсего периодом междувластия: феноменом переходного периода, не создавшим «ничего впечатляющего», «ничего воодушевляющего», «ничего дерзко-смелого», «ни одного запоминающегося лозунга», «ни одного великого человека», как говорил один из романтически настроенных критиков республики[180]. Подобно ему, все более широкие слои и правых, и левых ждали, что государство вспомнит о своей функции и вернётся к своему традиционному

облику. Все до того подавляемые сомнения в партийно-демократическом режиме, все до поры до времени дремавшее пренебрежение к парламентаризму, «чуждому немцам», теперь, в атмосфере порождённого кризисом отчаяния, вырвалось наружу и обрело такую убедительность, с которой не могли справиться никакие логические доводы. Тезис Гитлера, повторенный тысячекратно, что это государство — не что иное как дань врагам и худшее из кабальных условий Версальского договора, не мог не вызвать резонанса в широких кругах.

Странно, но в подобном же тоне были выдержаны и многочисленные зарубежные отклики. Особенно английские и американские газеты расценивали результаты выборов как реакцию на абсурдную суровость мирного договора и двуличную практику держав-победительниц. Одна только Франция была в общем-то возмущена, хотя втайне надеялась, что правоэкстремистские тенденции дадут и повод, и оправдание для более жёсткой политики по отношению к её соседу за Рейном. Вместе с тем, из общего возбуждённого хора впервые выделился один из тех голосов, которые с этих пор в течение целого десятилетия сопровождали политику Гитлера и прикрывали его перегибы и аморализм, поскольку видели в нём орудие для достижения собственных целей. Лорд Ротермир писал в газете «Дейли мейл», что в победе этого человека не следует видеть одну лишь угрозу, надо понять, что в ней заключены и «некоторые преимущества»: «Поскольку он возводит усиленный заслон против большевизма, он устраняет великую опасность того, что поход Советов против европейской цивилизации достигнет Германии»[181].

Успех НСДАП в значительной степени объяснялся удавшейся мобилизацией молодёжи, а также аполитичных людей, прежде не голосовавших: по сравнению с 1928 г. число участвовавших в выборах возросло более чем на 4, 5 миллиона человек и поднялось до 80, 2 процента. На те же слои опирались, хотя и в меньшем объёме, и коммунисты; примечательно, что свою предвыборную кампанию они вели под подчёркнуто национальными лозунгами. О том, насколько сами национал-социалисты были ошеломлены своим успехом, говорит тот факт, что они выставили далеко не всех полагавшихся им 107 кандидатов, да их у них по всей вероятности сначала и не было[182]. Гитлер сам не выставлял свою кандидатуру, поскольку у него все ещё не было немецкого гражданства.

Результаты выборов часто называли «обвальными», но едва ли не ещё более роковыми были их последствия. В атмосфере замешательства, царившей в ночь после выборов, возникли дикие

слухи о планах национал-социалистического путча. Это привело к значительным изъятиям иностранного капитала и тем самым к дальнейшему обострению и без того катастрофически тяжёлого кредитного кризиса. В то же время общественность как бы в едином порыве внезапно с интересом и любопытством обернулась к новой партии. Конъюнктурщики, люди, просто озабоченные положением, и почуявшие шанс оппортунисты приспосабливались к новому соотношению сил; в особенности целая армия вечно бдительных журналистов спешно искала возможность подключиться к этой «волне будущего» и своими обильными репортажами компенсировала традиционную слабость нацистской печати. Для многих членство в НСДАП стало «модным». Ещё весной в неё вступил один из сыновей кайзера, принц Аугуст Вильгельм («Ауви»), заметив при этом: Туда, где руководит Гитлер, может спокойно вступать каждый; теперь же в партию пришёл Яльмар Шахт, один из соавторов плана Юнга, прежде защищавший этот план от критики со стороны национал-социалистов. Его примеру последовали многие другие. За два с половиной месяца, оставшихся до конца года, число членов НСДАП возросло почти на сто тысяч, до 389 тыс. Союзы по интересам, следуя явной тенденции, в свою очередь приспосабливались к новой расстановке сил, «и в руки НСДАП почти сами собой шли связи и позиции, которые значительно способствовали дальнейшему расширению и укреплению движения»[183].

«Как только к нам с криками „ура“ кинутся массы, мы пропали», — уверял Гитлер за два года до этого, в 1928 г. на Мюнхенском съезде командиров штурмовых отрядов, а теперь Геббельс презрительно говорил о «сентябрятах», добавляя: «Часто я с грустью и умилением вспоминаю о тех прекрасных временах, когда мы во всей стране были просто-напросто маленькой сектой, а в столице у национал-социалистов едва ли набиралась дюжина сторонников»[184].

Они побаивались того, что масса людей без мировоззрения затопит партию, подорвёт её революционную волю, а потом при первых же неудачах моментально разбежится, как это случилось с памятным «инфляционным притоком» в НСДАП в 1923 г. В одном из меморандумов, появившемся спустя пять дней после выборов, говорилось: «Мы не имеем права тащить на себе трупы отжившей своё буржуазии»[185]. Но сверх ожидания партии не составило особого труда свалить все новое пополнение, как писал Грегор Штрассер, «в большой котёл национал-социалистической идеи» и переплавить его в нём; и пока соперники движения всё ещё были заняты поисками успокоительных формул, оно стремительно

продвигалось вперёд. Верный своей психологической максиме, что наилучший момент для атаки наступает сразу же за победой, Гитлер, не мешкая, развернул после 14 сентября такую серию мероприятий, которая принесла партии новые успехи. На выборах в городской парламент Бремена 30 ноября ей удалось собрать почти вдвое больше голосов, чем на выборах в рейхстаг и завоевать свыше 25 процентов мандатов, тогда как все другие партии понесли потери. Сходные результаты были достигнуты в Данциге, Бадене и Мекленбурге. В опьянении этими победами Гитлеру иногда казалось, что режим теперь можно без всякой помощи со стороны «завыбирать до смерти».

13 октября в обстановке сумятицы и треволнений собрался рейхстаг. В знак протеста против все ещё действовавшего в Пруссии запрета на нацистскую форму депутаты от НСДАП, переодевшись в здании парламента, с криками и явно угрожающими жестами явились в зал заседаний в коричневых рубашках. В своей пламенной речи Грегор Штрассер объявил борьбу «системе бесстыдства, коррупции и преступности»: его партия, говорил он, не испугается и такого крайнего средства как гражданская война, и рейхстаг не сумеет этой партии помешать; все решает народ, а народ — на её стороне. Между тем на улицах провоцировались драки с коммунистами, а Геббельс впервые организовал погром еврейских магазинов и насилие по отношению к прохожим с еврейской внешностью. На вопрос об этом Гитлер ответил, что эксцессы — дело хулиганов, магазинных воришек и коммунистических провокаторов. Газета «Фелькишер беобахтер» добавила, что в «третьем рейхе» витрины еврейских магазинов будут защищены надёжнее, чем теперь, при марксистской полиции. Одновременно забастовали более 100 тыс. металлистов, причём их поддерживали и коммунисты, и национал-социалисты. Все это создавало картину всеобщего развала строя.

Гитлер сам, казалось, и теперь ни на миг не колебался в вопросах своей тактики: вдобавок к незабытым урокам 1923 г. он понял, что даже разлагающийся, распадающийся строй неизмеримо сильнее любой уличной атаки. Романтическим «р-р-революционерам» своей партии, не мыслившим себе революции без порохового дыма и сразу же после 14 сентября опять заговорившим о марше на Берлин, о революции и рукопашных схватках, он снова и снова противопоставлял свою концепцию легальности, хотя и не скрывал её чисто тактических мотивов. Так, в Мюнхене он заявил: «В принципе мы — не парламентская партия, ибо это противоречило бы всем нашим взглядам; мы были вынуждены стать парламентской партией, и принудила нас к

этому конституция… Победа, которую мы только что одержали, есть не что иное, как обретение нового оружия для нашей борьбы». Цинично, но, в сущности, в полном соответствии с этим Геринг говорил: «Мы боремся против этого государства и нынешней системы, т. е. хотим их уничтожить без остатка — но легальным путём. Пока не было закона о защите республики, мы говорили, что ненавидим это государство. С тех пор, как закон этот существует, мы говорим, что любим это государство. Однако же каждый знает, что мы имеем в виду»[186].

Строгий курс Гитлера на легальность не в последнюю очередь объяснялся тем, что он опасался рейхсвера; из-за него он, как признавался впоследствии, вынужден был отказаться от мысли о государственном перевороте[187]. Дело в том, что власть и влияние рейхсвера росли по мере того, как все более распадалось общественное устройство. Путч и запрет контактов с только что сформированными СА значительно ухудшили их взаимоотношения. Поэтому Гитлер ещё в марте 1929 г. сделал армии некое осторожное предложение. В одной из своих целенаправленных речей он отверг лозунг о «солдате вне политики», сформулированный в своё время генералом фон Сектом, и предсказывал офицерам, что после победы левых их ожидает будущее «палачей и политкомиссаров». Тем великолепнее казались на этом фоне его собственные планы, имеющие целью величие нации и честь её оружия[188]. Речь эта благодаря её точной психологической направленности, естественно, оказала влияние на офицеров, особенно молодых. Спустя несколько дней после сентябрьских выборов в имперском суде Лейпцига начался суд над тремя офицерами гарнизона г. Ульма, которые вопреки указу военного министерства установили перед тем связь с НСДАП и агитировали за неё в рядах рейхсвера. По предложению своего адвоката Ханса Франка Гитлер был вызван в качестве свидетеля. Суд, ставший сенсацией, дал ему возможность продолжить уже публично свои попытки сближения с рейхсвером и одновременно эффектно изложить свои политические цели. 25-го сентября, на третий день судебного процесса, он вошёл в зал заседаний суда как человек, уверенный в успехе, как руководитель партии, только что одержавшей победу.

Во время допроса Гитлер заявил, что его убеждения объясняются тремя причинами. Это, во-первых, отовсюду угрожающая опасность подрыва чистоты национального начала, опасность интернационализма; это, во-вторых, обесценивание личности и подъем демократического сознания; это, в-третьих, угроза отравления немецкого народа ядом пацифизма. Он ещё в

1918 году начал борьбу за то, чтобы противопоставить этим тревожным тенденциям партию фанатичного немецкого национального духа, абсолютного подчинения авторитету вождя и несгибаемой воли к борьбе; но никоим образом не выступает против вооружённых сил. Кто разлагает армию, тот враг народа, а что касается СА, то они задуманы вовсе не для того, чтобы нападать на государство или конкурировать с рейхсвером.

Будучи затем опрошен относительно легальности его борьбы, Гитлер самоуверенно ответил, что СА не нуждаются в применении силы: «Ещё пара-тройка выборов, и национал-социалистическое движение завоюет в парламенте большинство; тогда мы совершим национальную революцию». На вопрос, что он имеет в виду, Гитлер заявил:

> «Понятие „национальная революция“ всегда считают чисто внутриполитическим. Но для национал-социалистов это только оживление порабощённого немецкого национального духа. Германия закабалена мирным договором. Все немецкое законодательство в настоящий момент — не более, чем попытка укоренить мирные договоры в сознании немецкого народа. Для национал-социалистов же эти договоры — не закон, а нечто навязанное нам извне. Мы не признаем своей вины в развязывании войны и выступаем против того, чтобы отягощать этим ещё и будущие поколения, которые уж совсем ни в чём не повинны. Мы будем выступать против этих договоров, как дипломатическим путём, так и полностью игнорируя их. Если мы будем отвергать их любыми средствами, то это и будет путь революции».

В этом возражении, повернувшем понятие «революции» против внешнего мира, умышленно ничего не было сказано о планах внутри страны. На вопрос председателя, будет ли революция, направленная против внешнего мира, применять и нелегальные методы, Гитлер, не колеблясь, подтвердил: «Все средства, в том числе и те, которые с точки зрения других стран считаются нелегальными». Будучи спрошен о многочисленных угрозах в адрес так называемых внутренних предателей, Гитлер сказал:

> «Я здесь поклялся перед лицом всесильного Господа. И я говорю вам: если я приду к власти легально, то создам в законном правительстве государственные суды, которые по закону осудят людей, ответственных за несчастья нашего народа. Тогда, возможно, вполне

легально покатятся некоторые головы»[189].

Аплодисменты, которыми наградила его галёрка, были характерны для настроения, царившего в зале. Возражения министерства внутренних дел, представившего более чем достаточные доказательства антиконституционной деятельности НСДАП, не были услышаны. Без какой-либо видимой реакции суд воспринял заключительное заявление Гитлера о том, что он чувствует себя связанным конституцией только во время борьбы за власть, но став обладателем конституционных прав, эти права либо отменит, либо же заменит другими. И в самом деле, согласно тогдашним теориям устранение конституции легальными методами не противоречило собственно идее демократической конституции; суверенитет народа включал в себя также и отказ народа от суверенитета. Здесь-то и была та лазейка, через которую Гитлеру без особых помех удалось проникнуть, а затем парализовать всякое сопротивление, завоевать государство и подчинить его себе.

Но за формальными уверениями Гитлера в приверженности к конституции стояло не только издевательски-неприкрытое намерение не прибегать к силе всего лишь до тех пор, пока он не сможет набросить на неё мантию из параграфов; дело в том, что Гитлер явно стремился придать своим словам о верности принципу легальности тревожащую двусмысленность. Уверяя, что он «твёрдо, как гранит, стоит на почве легальности», он одновременно поощрял своих сторонников к диким, безудержным речам, в которых сила выражалась, правда, в основном в виде образов и устрашающих метафор: «Мы грядём как враги! Как волк врывается в овечье стадо, так грядём и мы». Строго говоря, легальными были только декларации верхушки партии, в то время как в низах, на задних дворах берлинского Веддинга, на ночных улицах Альтоны или Эссена, царили убийство, смертельные схватки и то пренебрежение законностью, свидетельства которого кое-кто, пожимая плечами, расценивал всего лишь как «эксцессы местных подразделений». Чисто риторический характер упоминавшихся заверений Геббельс раскрыл в разговоре с одним из молодых офицеров, которого в Лейпциге в конце концов все же осудили, — лейтенантом Шерингером. Ему-то Геббельс и сказал с ухмылкой: «Я считаю эту клятву (Гитлера) гениальным шахматным ходом. Что после неё эти братишки могут против нас сделать? А они-то только и ждали случая нас подловить. Но теперь мы — законные, просто-таки законные в законе»[190].

Именно неясность в том, что касается взглядов Гитлера,

постоянное чередование у него клятв в верности конституции с угрозами помогло его делу во многих отношениях, что и было его целью; ибо подобное поведение с одной стороны успокаивало широкую публику, а с другой — не избавляло её от того чувства тревоги, которое порождает столь большое число перебежчиков и ренегатов. В то же время в этом поведении люди, в руках которых находились подступы к власти, особенно Гинденбург и командование рейхсвера, разглядели предложение о союзе, но опять-таки и предупреждение о невозможности ставить движению определённые условия. И, наконец, Гитлер завладел воображением тех своих сторонников, кто все ещё ждал марша на Берлин, и, словно заговорщически подмигивая, давал им понять, что гениальный фюрер обведёт вокруг пальца любого противника. В этом смысле роль лейпцигской клятвы нельзя недооценивать. А в общем плане Гитлер обнаружил своей открытой в любую сторону тактикой не только хитроумный и точный расчёт, но и свой собственный характер, потому что эта тактика отражала его глубочайшую внутреннюю нерешительность. Правда, она одновременно была и очень рискованной, требовала высокого умения балансировать на канате, а это, в свою очередь, импонировало его любви к риску; если бы он потерпел неудачу, ему оставалось только либо пойти на опрометчивый и почти бесперспективный путч, либо уйти из политики.

Идея тактики Гитлера, а также и вся её рискованность и все её трудности самым наглядным образом воплощались в СА. Согласно запутанной концепции Гитлера его коричневая партийная армия должна была соединять в себе законность с романтикой политического воинства, отказ от оружия — с культом оружия. Именно на этом парадоксальном требовании, в частности, споткнулся фон Пфеффер. В начале 1931 г. его на посту начальника штаба сменил Эрнст Рем. Он сразу же стал вновь ориентировать СА в первую очередь на военный образец. Вся территория страны была разделена на пять обергрупп (корпусов) и 18 групп, штандартам (полкам) СА были присвоены номера бывших кайзеровских полков, а целая система специальных подразделений СА — лётных, морских, инженерных, медико-санитарных — ещё больше высвечивала армейскую структуру организации. Одновременно Рем приказал свести все многочисленные отдельные инструкции фон Пфеффера в единый «Устав СА». Словно подчиняясь какой-то механической воле, он всеми своими планами стремился превратить СА в армию гражданской войны. В отличие от 1925 года Гитлер предоставлял ему свободу действий, но не только потому, что теперь больше уверовал в свой авторитет. Дело было в том, что концепция Рема

поддерживала его собственный неоднозначный курс. Если посмотреть в целом на реформы в СА, начатые после снятия фон Пфеффера, то нельзя не заметить в них все признаки фиктивных гитлеровских реформ: решение основных вопросов подменялось сменой некоторых руководящих деятелей, клятвами верности и созданием конкурирующей структуры[191]. Ибо под давлением не прекращавшихся трудностей в отношениях с СА Гитлер исподволь, все более независимо от Рема начал расширять СС, которые до этого хоть и были элитой, ударным кулаком и «внутренней охранкой» партии, прозябали на задворках и к началу 1929 года насчитывали всего 280 человек. Позднейшее окончание этой реформы походило на окончание всех остальных: тенденции, непреодолимо ведущие к конфликту, нашли своё разрешение в диком, кровавом и внезапно нанесённом ударе. Под руководством Рема СА впервые превращались в ту массовую армию, которая благодаря необычайному организаторскому дару нового начштаба к концу 1932 года насчитывала в своих рядах уже более полумиллиона человек. Привлечённые общежитиями и кухнями СА, в коричневые отряды потянулись бесчисленные безработные. Их ненависть к обществу и подспудные обиды активистов-авантюристов на то же общество слились в агрессивный потенциал беспримерной силы. Сам Рем немедленно занялся основательной чисткой командного состава от офицеров фон Пфеффера, а на место убранных поставил своих друзей-гомосексуалистов. За ними потянулась целая банда тёмных личностей, и вскоре уже заговорили о том, что Рем, дескать, создаёт свою «личную армию внутри личной армии». Ярую оппозицию этому Гитлер приструнил своим знаменитым приказом, в котором он «решительно, со всей строгостью и принципиальностью» отклонял донесения об уголовных делишках высшего командования СА. Эта организация, говорилось в приказе, является «объединением людей ради политических целей, …а не институтом благородных девиц»; главное в ней — насколько каждый из её членов выполняет свой долг. «Частная же жизнь может быть предметом рассмотрения только в том случае, если она противоречит основополагающим принципам национал-социалистического мировоззрения»[192].

Эта охранная грамота окончательно утвердила господство беззакония внутри СА. Наперекор всем клятвам в любви к легальности гитлеровская армия вскоре распространила атмосферу неслыханного, парализующего страха, который в свою очередь служил обоснованием для непрерывных требований диктатуры. По сведениям полиции на оружейных складах СА можно было найти все типичные виды оружия преступного мира:

кистени, кастеты, резиновые шланги, а пистолеты в случаях угрозы разоблачения носили «девочки»-оруженосцы, совсем как в преступных шайках. Жаргон этих людей также выдавал их родство с преступным миром. Так, в мюнхенских отрядах пистолеты называли «зажигалками», а резиновые дубинки «ластиками для стирания». Берлинские штурмовики с извращённой гордостью, достойной обитателей социального дна, заводили себе клички, которые разоблачали все пропагандистские уверения о якобы революционных устремлениях этих «боевых сообществ». Один из штурмов СА (соответствует роте) в Веддинге так и назывался — «Разбойный штурм»; отряд в центре Берлина именовал себя «Танцевальной гильдией», один из его членов носил кличку «Пивной король», другой — «Мюллер-выстрел», а третий — «Револьверная рожа»[193]. «Песня берлинских штурмовиков» точно отражает всю эту характерную смесь пролетарского чванства, культа силы и жалкой идеологии: «Пот на рабочих лбах, желудок же пустой — винтовку держим чёрной, мозолистой рукой; так мы стоим в колоннах, готовые к борьбе, и только с кровью евреев свобода придёт и к тебе».

Но эта страшная оборотная сторона картины проступала только на краткие мгновения. Зато фасад — это были стройно марширующие колонны, униформа штурмовиков и зычные команды, являвшиеся для нации близким и привычным символом порядка. Впоследствии Гитлер говорил, что Германия в те годы хаоса жаждала порядка и готова была заплатить за его восстановление любую цену[194]. Все чаще на странно пустынных улицах появлялись коричневые колонны, шагающие, словно на параде, с развёрнутыми знамёнами под музыку собственных духовых оркестров. Их организованность и дисциплина разительно отличала их от бесцветных маршей нищеты, устраиваемых коммунистами, когда они под раздражающе визгливые звуки волынок беспорядочной толпой тянулись по улице и, подняв сжатые кулаки, выкрикивали: «Голод!». Это был, однако, лишь патетический образ, вызывающий в сознании картину лишений бедняков, но не указывающий никакого выхода. О том, сколько в подобных стычках все стороны проявили в те годы и самоотверженности, и отчаянного бескорыстия, свидетельствует письмо одного 34-х летнего штандартенфюрера СА Грегору Штрассеру:

> «…Во время своей работы в пользу НСДАП я больше 30 раз был судим и восемь раз осуждён за нанесение телесных повреждений, оказание сопротивления

полиции и прочие проступки, сами собой разумеющиеся для любого наци. До сегодняшнего дня я всё ещё выплачиваю наложенные на меня денежные штрафы, а тем временем против меня возбуждено ещё несколько дел. Кроме того, не меньше двадцати раз я был более или менее тяжело ранен. На затылке, левом плече, на нижней губе и правом предплечье у меня множество шрамов от ножевых ран. Я ни разу не просил и не получал ни пфеннига из партийных денег, но зато сам жертвовал своим временем в пользу нашего движения, часто в ущерб своему процветающему магазину, завещанному мне отцом. Сейчас я буквально на пороге разорения…»[195]

Против подобной решимости у республики средств не было, как, впрочем, после прорыва гитлеровского движения не было у неё и сил на то, чтобы проводить курс энергичного противодействия, не опасаясь разбудить призрак гражданской войны. Защитники республики цеплялись за надежду, что натиск иррационализма удастся сломить силой разумной аргументации, и полагались на воспитывающее влияние демократических институтов, на необратимое развитие по пути к более гуманным общественным порядкам. Но к этому времени уже стало ясно, что такие представления, в которых прослеживались ещё следы старой веры в прогресс, ошибочны, т. к. они предполагали присутствие разума и остроту зрения там, где уже безраздельно царила неразбериха из страха, паники и агрессивности. Недостаточная компетентность гитлеровских пропагандистов, их малоубедительные ответы на ужасы кризиса, их назойливый антисемитизм мало кого смущали, и, несмотря на самоуверенные контраргументы специалистов, национал-социалисты по-прежнему были на подъёме. Напротив того, Брюнинг, предпринявший весной 1931 года поездку по Восточной Пруссии и самым нищим областям Силезии, повсюду наталкивался на прохладный, даже враждебный приём. Толпа встречала его транспарантами со словами «диктатор голода» и нередко освистывала.

Между тем национал-социалисты все виртуознее играли в рейхстаге свою двойную роль разрушителей и судей «системы». В отличие от прежних времён теперь они, будучи сильной фракцией, были в состоянии парализовать деятельность парламента и своими криками и беспардонностью ещё и подчеркнуть его репутацию «говорильни». Но зато они

противились любым попыткам стабилизировать положение, ссылаясь на то, что улучшение условий в конечном итоге служит только политике выполнения договоров и что любая жертва, которой требует правительство от народа, — это акт измены родине. Вместе с тем они использовали технические средства обструкции: шум, бесконечные дискуссии о порядке ведения, или же они все до одного покидали зал, как только слово получал «марксист». Яркий свет на агрессивность фракции, презирающей все условности, бросает то обстоятельство, что, как явствует из доклада парламентского комитета по надзору за соблюдением процедуры, против 107 депутатов НСДАП было внесено 400 жалоб. Когда в феврале 1931 года был принят закон, ограничивавший возможности злоупотреблений депутатским иммунитетом, национал-социалисты, сопровождаемые депутатами от ДНФП, а также пока ещё и коммунистами, вообще ушли из рейхстага. Теперь национал-социалисты ещё интенсивнее развернули работу на улицах и в залах собраний, где они — не без основания — надеялись эффективнее укрепить свою репутацию и пополнить собственные ряды. Оставшихся в парламенте Геббельс издевательски обозвал «партиями чугунных задниц» и похвалялся, что четырьмя днями позже он будет выступать не перед бессильным парламентом, а перед более чем пятидесятитысячной аудиторией[196]. Правда, от демагогической затеи создать в Веймаре с помощью тюрингского министра внутренних дел Фрика антипарламент национальной оппозиции пришлось отказаться, поскольку государство пригрозило Тюрингии репрессиями.

Исход национал-социалистов из парламента был однако же решением, не лишённым последовательности. Хотя и правда, что сами же национал-социалисты сделали всё возможное, чтобы парализовать рейхстаг и лишить его всякого престижа, но он и без того перестал быть центром принятия политических решений. Ещё до сентябрьских выборов 1930 года Брюнинг, воспользовавшись статьёй 48-й веймарской конституции о праве президента страны на введение чрезвычайного положения, правил через голову рейхстага, погрязшего в дрязгах. А с тех пор, как пути нормального формирования парламентского большинства были блокированы, он вообще пользовался только методами чрезвычайного президентского правления, как бы упражняясь в применении форм полудиктатуры. Но тот, кто видит в этом «смертный час Веймарской республики»[197], должен все же принять во внимание следующее. Это перемещение центра тяжести власти стало возможным только потому, что отвечало стремлению практически всех партий уклониться от

политической ответственности. Некоторые исследователи все ещё склонны возлагать ответственность за поворот событий к авторитаризму на «аполитичные массы». Но если «командные государственные структуры» как-то и проявляли себя, то именно в той смирёной поспешности, с какой и левые, и правые партии в момент кризиса свалили ответственность на презираемого «эрзац-кайзера», чтобы только о них не подумали, будто они как-то связаны с предстоящими непопулярными решениями. Покинув рейхстаг, национал-социалисты только проявили большую последовательность, чем остальные партии.

Недовольство многопартийным государством — по сути, уже и не являвшимся таковым — усиливалось ещё явными неудачами правительства, как во внутренней, так и во внешней политике. Политика суровой экономии, которую Брюнинг проводил с дальним прицелом и уверенностью, дорого стоившей ему самому, не устранила ни финансовых трудностей, ни кризиса сбыта; не уменьшила она и бесчисленную армию безработных, так же как не принесла плодов в вопросе репараций и разоружения. В первую очередь Франция, встревоженная результатами сентябрьских выборов, противилась любым уступкам и предавалась истерическим настроениям.

В начале 1931 года застопорились и наметившиеся было попытки покончить с всеобщей экономической войной всех против всех путём заключения торгового соглашения и устранения таможенных границ. Когда же Германия и Австрия, уже по собственной инициативе, заключили двустороннее таможенное соглашение, не затрагивавшее самостоятельности обоих партнёров в области экономической политики и открытое для присоединения к нему других стран, Франция вновь увидела в этом попытку сорвать Версальский договор на решающем участке и даже заявила, как позже писал один высокопоставленный дипломат страны, что «мир на нашем древнем континенте снова находится под угрозой»[198] Французские банки немедленно предъявили к оплате свои краткосрочные векселя в Германии и Австрии и втянули обе эти страны «в гигантское банкротство», заставившее их на унизительных условиях той же осенью отказаться от своего намерения. Австрии пришлось пойти на значительные экономические уступки, зато в Германии Гитлер и радикальные правые буйно веселились, видя, как упал престиж правительства, и публично издевались над его вынужденными усилиями все же достичь какого-то взаимопонимания. Когда американский президент Гувер 20 июня предложил отсрочку репарационных платежей на год, во французской палате депутатов воцарилось

«настроение, словно при начале войны»[199]. Поэтому Франция, которой этот план нанёс особенно болезненный удар, оттягивала переговоры о нём до тех пор, пока целая цепь банкротств в Германии не обострила кризис до немыслимой степени. И в Берлине, как писал один из тогдашних наблюдателей, обстановка была похожа на канун войны, но сравнение это порождали в нём скорее вид безлюдных улиц и чрезвычайно напряжённая атмосфера в притихшем городе[200]. По-прежнему в конце каждой рабочей недели происходили острые столкновения и уличные драки. На исходе 1931 года Гитлер, очень завысив цифру, объявил, что потери партии за прошедший год составили 50 убитых и 4000 раненых.

Так же, как в жизни, теперь и в теории все более явно происходил отход от демократической многопартийной системы. Парламент махнул на себя рукой, будучи бессилен перед лицом кризиса, государственный авторитет отступал перед активностью уличной толпы. Все это с неизбежностью оживляло дискуссии о возможных новых проектах конституции. В многочисленных планах реформ пренебрежительное отношение к ослабевшей парламентской демократии сочеталось с опасениями перед тоталитарными концепциями правых и левых экстремистов. Угарная смесь идей, особенно у консервативных публицистов с их теориями «нового государства» или же «диктатуры правового государства», имела своей целью противопоставить радикальной альтернативе Гитлера свою собственную промежуточную альтернативу.

Те же намерения лежали в основе концепций возрождения конституции в авторитарном варианте. Они обсуждались в окружении президента страны в связи с растущей усталостью демократии. Самыми представительными защитниками таких планов, имевших своей целью путём постепенного возрождения монархии примирить демократический режим с традицией и тоской населения по прошлому, были сам Брюнинг, министр рейхсвера Гренер, а также его доверенное лицо в политике, начальник канцелярии министра генерал Курт фон Шляйхер, который к этому времени благодаря своей близости к Гинденбургу выдвинулся в качестве главной закулисной фигуры в политической игре.

Ко времени назначения Брюнинга канцлером Шляйхер уже занимал заметное место и благодаря своей ловкости, проницательности и хитроумию настолько расширил своё влияние, что с тех пор без его согласия не назначался и не отзывался ни один канцлер, ни один министр. Его тяготение к сумеречной среде, в которой смазываются контуры политического

характера, а тонкие сети интриг становятся невидимы, принесло ему вскоре репутацию «серого кардинала в военной форме». Он был циничен, как бывают циничны впечатлительные натуры, импульсивен, свободен от предрассудков и обладал темпераментом танцора на канате: ему повсюду мерещились опасности. Силами контрразведки он устанавливал слежку даже за друзьями и соседями. Своеобразное сочетание легкомыслия, чувства ответственности и страсти к интриганству делало его одной из самых спорных фигур последней фазы существования республики.

Шляйхер исходил из того, что такое широкое народное движение, какое удалось мобилизовать Гитлеру, невозможно одолеть средствами государственной власти. Шоковый урок революции, в которой против офицерского корпуса внезапно выступила серая, бунтующая, страшная масса, заставил как раз наиболее разумных представителей командования рейхсвером осознать: никогда более нельзя допускать противостояния армии и народа. Даже и не принимая всерьёз вождя НСДАП, которого он насмешливо называл «провидцем и кумиром глупцов», Шляйхер все же понимал побудительные причины, обеспечившие Гитлеру гигантский приток новых членов, и считался с ними. Он отнюдь не заблуждался относительно сомнительных сторон движения, той комбинации беззакония, обид и идеологического фанатизма, которую один из его сослуживцев-офицеров назвал «русским характером» партии[201]. Но как раз эти качества и побуждали его ускорить осуществление своих планов. Пока ещё был жив Гинденбург, а рейхсвер в общем и целом свободен от явлений разложения, Шляйхер верил, что у него есть шанс «воспитать» Гитлера и сковать его цепью политической ответственности; тогда массовая армия его последователей в обстановке ограничений, налагаемых Версальским договором, могла бы быть использована для усиления «воли к сопротивлению». Шляйхер осторожно приступил к поискам контакта с Гитлером, используя для этой цели посредничество Рема и Грегора Штрассера.

Теми же мотивами руководствовался Альфред Гугенберг, что свидетельствовало об общем стремлении консервативных сил вернуть себе утраченную власть над неотёсанным хозяином арен и залов для собраний и подчинить его своему педагогическому влиянию. Когда летом 1931 года Гинденбург пожаловался ему на «этих молодых подстрекателей» Гитлера и заявил, что не считает НСДАП «надёжной национальной партией», Гугенберг самоуверенно ответил, что именно потому-то необходим союз с ними, а кроме того он, Гугенберг, думает, что уже внёс свою лепту в политическое воспитание национал-социалистов[202].

Теперь и он желал выправить испорченные отношения с Гитлером — вопреки всему неудачному опыту прошлых лет.

Усилия разных сторон по сближению с Гитлером совпали с подобными же попытками самого вождя НСДАП. Он был в недоумении — его успех в сентябре до сих пор не принёс никаких результатов. Исход выборов, правда, сделал его одним из главных актёров на политической сцене, но пока оставаясь в изоляции, он в известном смысле играл «роль без слов». Один из наблюдателей писал: «Гитлер потерял многие месяцы, он бездеятельно растранжирил время, которое ему теперь не вернёт и сама вечность. Никакая власть на свете не вернёт ему это 15-е сентября, эту дрожь побеждённых и растерянность властей. Тогда пробил час немецкого дуче — законно ли, нет ли, кого это заботило? Но этот немецкий дуче оказался трусливым, изнеженным пижамным существом, слишком быстро зажиревшим мелкобуржуазным мятежником, предающимся житейским радостям и с трудом соображающим, что судьба опускает его вместе с его лаврами в едкий уксус. Этот барабанщик бьёт по телячьей коже только в тылу… Брут спит»[203].

Поскольку приверженцы Гитлера были связаны между собой не столько политическими убеждениями, сколько неустойчивыми эмоциями, меняющимися в зависимости от момента, он действительно больше других нуждался в новых, притом ощутимых успехах. Надо сказать, что победное шествие партии продолжается и в 1931 году. Так, на выборах в ландтаг в Шаумбург-Липпе в начале мая она собрала 26, 5 процентов голосов, а спустя две недели в Ольденбурге — даже 37, 2 процента, став, таким образом, впервые самой сильной фракцией в одном из ландтагов. Но по сути, эти успехи были бледным слепком того, чего партии в сентябре удалось достичь в более широких масштабах. К власти они её не приблизили, и если её сторонники на площадях и узких улочках оглушительно скандировали: «Гитлер стоит у ворот!», то это звучало так, словно они ещё только собирались расчистить ему дорогу к этим воротам. Да и в самих земельных парламентах, где она применяла тактику паралича, НСДАП не могла похвастаться особыми успехами. Оставалось только на глазах выдыхающееся, все более судорожное ликование по поводу роста рядов партии, рекордного числа участников митингов или все новых мучеников идеи — тут уже был уместен тон торжественно-елейный. Весной подспудное недовольство затянувшимся застоем и нетерпение выплеснулись в бунте опять-таки берлинских СА под руководством Вальтера Стеннеса. Руководитель штурмовиков собирался осуществить отделение своих отрядов от партии и

перетянуть на свою сторону колеблющегося Геббельса, но Гитлер его опередил, прислав распоряжение о снятии Стеннеса, и недовольство заговорщиков растворилось в новых заверениях и клятвах верности.

Вопреки своим обещаниям побороть «систему», нанося ей поражение за поражением в предвыборных битвах, Гитлер, начиная с весны, явно стремился посредством какой-то широкой акции завоевать доверие и поддержку влиятельных сил. Яснее, чем когда-либо, он осознавал, что, опираясь только на успех в массах, никогда не достигнет правительственной власти. Статья 48-я, сосредоточившая власть в руках президента и его ближайшего окружения, снизила вместе с властью парламента и значение побед на выборах: основанием для притязания на пост канцлера было теперь не число собранных голосов, а воля президента. Поэтому завоевать Гинденбурга было в известном смысле важнее, чем получить большинство голосов.

Как обычно, Гитлер стал действовать на разных уровнях одновременно. Его лейпцигская клятва верности закону и легальности уже содержала в себе скрытое обещание благопристойного поведения и намёк на возможность союза. В начале года он получил знак от фон Шляйхера: национал-социалистам было разрешено служить в пограничных войсках. В качестве ответного шага Гитлер своим указом от 20 февраля запретил штурмовикам участие в уличных схватках, и их подразделение в Касселе, вооружившееся вопреки приказу, просто распустил. В это же время Рему в апрельском циркуляре пришлось даже заявить, что, если Гитлер станет канцлером, отряды СА будут «возможно, излишними». Гренер в эти же дни писал одному из своих друзей: «Прекрасный Адольф весь сочится лояльностью» и вообще перестал кого-либо тревожить[204]. Когда католические епископы в остро сформулированном заявлении заявили об опасности, исходящей от Гитлера, он немедленно послал своего связного Германа Геринга как человека, внушающего доверие, с посреднической миссией в Рим. В интервью, данном им газете «Дейли экспресс», Гитлер высказался за интенсивное сотрудничество немцев и англичан в борьбе за отмену репараций, показал себя человеком рассудительным и зрелым и всячески подчёркивал объединяющие моменты. Вильгельм Пик, депутат рейхстага от Коммунистической партии, сказал, что Красная армия готова поспешить на помощь революционным освободительным силам внутри страны. Гитлер использовал эти слова, чтобы заявить одной из американских газет, что НСДАП — это плотина на пути надвигающегося мирового большевизма. У одного из современников мы читаем:

«Теперь он бранится гораздо меньше, уже не ест на завтрак евреев» и вообще старается «больше не походить на человека, который весь во власти одной мании»[205]. Его забота о добропорядочной репутации распространялась и на чисто внешние моменты. Так, он отказался от маленькой, скромной гостиницы «Сан-Суси», где раньше останавливался при наездах в Берлин, и впредь — не без вызова — снимал номер в респектабельном «Кайзерхофе» на Вильгельмсплац, почти напротив имперской канцелярии. Представители правых сил, уже подготовившие рецепт укрощения строптивого фюрера, уверяли друг друга, что Гитлер наконец-то стоит на пути сотрудничества с государством.

Не оставил он и своих притязаний на благосклонность предпринимательских кругов, которые в общем и целом все ещё проявляли сдержанность. В лице г-жи фон Дирксен, устраивавшей регулярные приёмы в «Кайзерхофе» и обладавшей большими связями, он снова обрёл одну из тех немолодых покровительниц, энергичности которых он был так многим обязан. Г-жа Бехштайн тоже по-прежнему хлопотала в его пользу. Другие контакты налаживались через Геринга, у которого был открытый дом, и журналиста Вальтера Функа, специалиста по экономическим вопросам. Кроме того, Вильгельм Кепплер, мелкий делец, пострадавший от кризиса, сводил с движением симпатизировавших ему промышленников и основал «Кружок друзей экономики»; правда, впоследствии этот «кружок» из-за связей с Гиммлером получил чудовищную репутацию. Отто Дитрих, располагавший обширными семейными связями в промышленных кругах и с августа 1931 года заведовавший отделом печати НСДАП, заметил: «Летом 1931 года фюрер в Мюнхене внезапно принял решение о систематической обработке влиятельных хозяйственников, составляющих ядро сопротивления, и поддерживаемых ими партий центра». На собственном «мерседесе-компрессоре» Гитлер предпринял длительную поездку по всей Германии, чтобы провести доверительные переговоры. Секретности ради некоторые из них проводились «на уединённых лесных опушках, на лоне матери-природы». В имении Кирдорфа «Штрайтхоф» он провёл переговоры с более чем тридцатью ведущими представителями тяжёлой промышленности[206]. Грегора Штрассера и Готфрида Федера, которые в подтверждение уже отброшенных социалистических целей потребовали в рейхстаге экспроприации «банковских и биржевых воротил», Гитлер демонстративно заставил снять их предложение, а когда коммунистическая фракция со своей стороны доставила себе удовольствие внести

это предложение, не изменив в нём ни слова, он принудил депутатов голосовать против. С тех пор Гитлер говорил о своих экономических планах только неясными намёками. Одновременно он отмежевался от упрямца Федера и иногда просто запрещал ему публичные выступления.

Наконец, в первые дни июля Гитлер в Берлине встретился с Гугенбергом, а вскоре — с представителями «Стального шлема» Зельдте и Дюстербергом, которые опять склоняли его к союзу. Затем состоялась встреча Гитлера с фон Шляйхером и начальником главного управления сухопутных войск, генералом фон Хаммерштайном-Эквордом. Совещался он и с Брюнингом, Тренером и снова со Шляйхером и Брюнингом. Целью переговоров было взаимное выяснение намерений и сближение — с тем, чтобы включить Гитлера в систему, против самого принципа которой он боролся, поймать его в сеть тактических союзов и, как считал генерал Гренер, «теперь уже вдвойне, даже втройне привязать его к столпу легальности»[207]. Но никто из участников переговоров даже не подозревал, насколько твёрд и непримирим был Гитлер, и все они поддались на его притворство. Результат же заключался в том, что вождю НСДАП удалось вырваться из изоляции и обрести статус партнёра: все эти переговоры вдохновили приверженцев, запутали противников и впечатлили избирателей. О том, как страстно он ждал такого поворота событий, свидетельствует его реакция, которую он не сумел скрыть, когда его пригласили в Берлин на переговоры с Брюнингом. У него были Гесс, Розенберг, когда пришла телеграмма из Мюнхена. Мгновенно пробежав её глазами, он взволнованно воскликнул: «Теперь они у меня в кармане! Они признали меня как партнёра для переговоров». Следующее высказывание Тренера показывает, какой имидж создал себе Гитлер: «Намерения и цели его хороши, но сам он — мечтатель, горячий, разбрасывающийся. Производит приятное впечатление, скромный, приличный человек, а в общем и целом — честолюбивый самоучка». Характерно, что в своём тесном кругу главные действующие лица называли его теперь просто «Адольф», хоть и не без доли пренебрежительной иронии[208]

Дебют удался. Неудачно окончился лишь разговор с Гинденбургом, состоявшийся 10 октября при посредничестве Шляйхера. Во дворце президента и в самом деле существовало решительное предубеждение против Гитлера, и сын Гинденбурга, Оскар, услышав о том, что Гитлер просит его принять, ядовито заметил: «Должно быть, надеется выпить на дармовщинку». В ходе разговора Гитлер, прибывший вместе с Герингом, нервничал, а на совет президента поддержать правительство в тяжёлое для

страны время невпопад ответил пространным изложением целей своей партии. Так же многословно он отреагировал и на упрёки в связи с ростом актов насилия, но эти заверения не убедили его собеседника. Позже из окружения Гинденбурга просочилось известие о том, что президент, может быть, назначит этого «богемского ефрейтора» министром почт, но уж никак не канцлером[209].

Сразу же после беседы у Гинденбурга Гитлер отправился в Бад-Гарцбург, где днём позже «национальная оппозиция» собиралась на гигантском митинге отпраздновать своё объединение, после чего она намеревалась начать подготовку к генеральному наступлению на «систему». Гугенберг снова собрал на боевой смотр всех правых деятелей, обладавших властью, деньгами или престижем. Здесь были представители высшего руководства национал-социалистов и Немецкой национальной партии, включая фракции в рейхстаге и прусском ландтаге, посланцы Немецкой народной партии, Экономической партии, «Стального шлема» и Имперского земельного союза; кроме того, многочисленные именитые покровители, члены бывших правящих семей во главе с двумя принцами из дома Гогенцоллернов, советник юстиции Класс с руководством Пангерманского союза, отставные генералы, как, например, фон Лютвиц и фон Сект, а также многие знаменитости финансово-промышленных кругов, в том числе Яльмар Шахт, Эрнст Пенсген из Имперского объединения сталепромышленности, Луи Равене из Союза оптовой торговли железом, Блом из Гамбурга и банкиры фон Штаусс, Регенданц и Зогемейер. За исключением коммунистов тут были представлены, словно на параде, все противники республики — пёстрая армия недовольных, объединённая не столько общей целью, сколько общей ненавистью.

Гитлер сам казался страшно расстроенным. Его и так еле уговорили хотя бы присутствовать, а неудачный визит к Гинденбургу только усугубил его дурное настроение. Так же, как во времена союза против плана Юнга, ему снова приходилось ждать критики из собственных рядов, да и самому ему этот «роман» с буржуазией внушал беспокойство. Поэтому незадолго до митинга он созвал свою свиту на закрытое совещание, где Фрик по его подсказке постарался оправдать союз с «буржуазным сбродом» чисто тактическими соображениями. И Муссолини, говорил Фрик, ради завоевания власти пришлось пойти на общенациональную коалицию. Не успел ещё Фрик закончить, как Гитлер вместе со своим личным сопровождением в присущем ему стиле, внезапно и эффектно, появился в зале и заставил участников торжественно поклясться ему в верности. Между тем

«Национальный единый фронт» ожидал его появления в курзале.

Для Гугенберга, который ещё во время подготовки митинга пошёл на многие уступки вождю НСДАП, это было далеко не последнее унижение в ходе мероприятия. В вызывающей манере, не считаясь с чувствами своих влиятельных партнёров, Гитлер перечеркнул гугенберговский план союза. Накануне он не пришёл на заседание совместной редакционной комиссии, заявив, что её работа — чистая трата времени. Когда на заключительном параде, который должен был стать вдохновляющей кульминацией всего мероприятия, отрады СА уже отмаршировали, а на подходе были колонны «Стального шлема», Гитлер демонстративно покинул трибуну. Не участвовал он и в совместном банкете, велев сказать, что он не может себе этого позволить, пока тысячи его приверженцев несут «службу на голодный желудок». Гугенберг был разочарован. «Только во избежание нежелательных для всех участников публикаций в печати», жаловался он, был предотвращён «разрыв на открытой сцене»[210].

Дурное настроение Гитлера в Гарцбурге было не тактической уловкой и не капризом примадонны, только подогревающим обожание поклонников. Нет, встреча эта острее прежнего поставила перед ним вопрос о власти. Разговоры Гугенберга о единении не могли скрыть его претензий на руководящую роль, на которую он делал заявку как устроитель празднества. Как человек, видящий возможные последствия, Гитлер понял, что любое объединение чревато опасностью подчинения или же приведёт к абсурдной ситуации, в которой у Германии появляется целых два «избавителя». Чтобы загладить впечатление от гарцбургского митинга, он всего неделю спустя устроил мощную демонстрацию на «Францевом поле» в Брауншвейге. Туда специальными поездами прибыло свыше 100 тыс. штурмовиков. Во время парада, продолжавшегося шесть часов, над полем кружили самолёты, тянувшие за собой гигантские флаги со свастикой. При освящении знамён Гитлер заявил, что это происходит в последний раз перед захватом власти: движение находится «в метре от цели». Чтобы уж окончательно заглушить все сомнения, газета «Ангрифф» писала в номере от 21-го октября: «Гарцбург был тактической, промежуточной целью, а Брауншвайг — провозглашением неизменной конечной цели. О месте назначения надо судить не по Гарцбургу, а по Брауншвайгу».

Впрочем, на резком поведении Гитлера в Гарцбурге сказалось и его раздражение против буржуазного мира, которое он так и не научился скрывать. Уже один только вид цилиндров, сюртуков и накрахмаленных манишек злил его не меньше, чем титулы и

ордена, подчёркивающие сословную спесь. Это был мир, веривший в то, что его будущее господство коренится в самой идее нравственности, и охотно говоривший о своей «роли, предписанной самой историей». Но у Гитлера было безошибочное чутьё на слабость и гниль, и за всей показной основательностью и волевыми повадками он угадывал распад и ненавистное прошлое, которому принадлежала эта куча мумий с манерами среднего сословия.

Это был тот же буржуазный мир, к которому так жадно стремился молодой, одетый с дешёвым шиком завсегдатай кофеен, промотавшийся горе-художник. И хотя его изгоняли и выталкивали из этого мира, Гитлер некритично воспринял его социальные, идеологические и эстетические ценности и долго с ними не расставался. Однако, хотя с тех пор этот мир принёс ему свою присягу, в отличие от его представителей Гитлер этого не забыл. В Гугенберге он словно заново встретил хитрого, надменного и слабовольного г-на фон Кара, навсегда ставшего для него воплощением прослойки буржуазной знати: группы с претензиями господ и характером лакеев. Одна мысль об этом с тех пор вызывала в нём почти рефлекторное желание унизить их хотя бы эпитетом; особенно он любил прилагательные «трусливый», «глупый», «идиотский» и «прогнивший». Часто он подчёркивал: «В политике нет слоя глупее так называемой буржуазии», а однажды добавил, что долгое время он крикливой пропагандой и дурными манерами сознательно держал её подальше от партии. В мае 1931 года его посетил Рихард Брайтинг, главный редактор газеты «Лейпцигер нойесте нахрихтен». Гитлер начал разговор со следующего замечания: «Вы — представитель буржуазии, против которой мы боремся». Затем он заявил, что его задача отнюдь не спасение умирающей буржуазии, наоборот, он исключит её из политической жизни и во всяком случае расправится с ней быстрее, чем с марксизмом[211]. В то время он охотно, хотя и не без некоторого насилия над логикой, подчёркивал свой отход от буржуазной культуры, под знаком которой он когда-то начинал: «Если сегодня какой-нибудь пролетарий меня грубо одёрнет, у меня появляется надежда, что однажды эта грубость обратится на внешних врагов. Если же какой-нибудь буржуа, потерянный в мечтах, болтает только о культуре, цивилизации и эстетическом удовлетворении мира, я говорю ему: „Ты потерян для нации! Твоё место — в западных кварталах Берлина. Иди туда и дрыгайся там в своих негритянских танцах, пока не подохнешь!“[212] Иногда он даже называл себя «пролетарием», но при этом ему никогда не удавалось избежать впечатления, что говорит он не столько о

своей социальной принадлежности, сколько о социальном отмежевании: «Никогда меня не понять с буржуазной точки зрения», — уверял он. Даже в его надежде на рабочих, о которой он не раз говорил, и восхищении этим «подлинным дворянством» выражалась, пожалуй, не столько симпатия по отношению к трудовому люду, сколько так и не преодолённая ненависть к другому, отвергнувшему его классу: ненависть его к буржуазии была не совсем свободна от примеси инцеста. Снова и снова в ней находили выход разочарования начинающего буржуа по натуре, которого сначала оттолкнули, а потом обманули. Эти комплексы сказывались и на том излюбленном типе сообщника, который преобладал в его ближайшем личном окружении, на всей этой грубой, примитивной «шоферне» типа Шауба, Шрека, Графа или Мориса; только немногим на время удавалось пробить его скорлупу — например, Эрнсту Ханфштенглю или Альберту Шпееру. Комиссару Лиги наций в Данциге, Карлу Якобу Буркхардту, Гитлер сказал «печально» в 1939 году: «Они выходцы из мира, мне чуждого»[213].

Контакта с этим чуждым миром не было. Как показала встреча в Гарцбурге, не удалось установить с ним и более или менее прочных связей, основанных хотя бы на тактических соображениях. Не получилось там ни общей идеи оппозиции, ни теневого кабинета, уже не раз обсуждённого ранее, ни договорённости об общем кандидате на предстоящих выборах президента страны, а те представления о боевом сообществе, которые так окрыляли буржуазный лагерь при виде коричневых отрядов СА, вызывали у уверенных в себе гитлеровцев только насмешки. Гугснберг надеялся установить в Гарцбурге союз между НСДАП, остальными правыми группировками и кругами, обладающими и капиталом, и престижем, он затеял закулисные манёвры и, действуя с лисьей хитростью, уже видел себя в роли великого дирижёра общенациональной оппозиции. Вместо этого, однако, вышло так, что Гитлер поставил его перед дилеммой: либо подчиниться ему, либо вообще отказаться от идеи «Национального единого фронта». Подобно всем предыдущим «пробным бракам»[214] между национал-социалистами и буржуазными правыми, и этот окончился неудачно, и встреча в Гарцбурге знаменовала собой скорее конец, чем начало. Для Гугенберга, во всяком случае, она означала прощание с иллюзиями о собственной руководящей роли, а заодно и с тем образом Гитлера как барабанщика, агитатора пивнушек и художника-мазилы, который был создан господским высокомерием дойч-националов. Но всё же это ещё не было прощанием с самой идеей союза. Протест Гугенберга выразился

единственно в таких словах: «Мы вовсе не чувствуем себя „сбродом“ и не собираемся позволять использовать нас в качестве добавочных пристяжных, которых потом отпихнут пинком ноги». Но его дальнейший курс противоречил его же намерениям.

Таким образом, часто упоминаемый «Гарцбургский фронт» — это скорее понятие из области политической мифологии, чем факт действительной истории. Он считается одним из главных доказательств той теории заговора, которая в предыстории «третьего рейха» видит цепь тёмных махинаций, а при всём том даёт ослепить себя блеском орденских звёзд, сюртуками и сословными претензиями, презиравшимися Гитлером с гораздо большим на то правом; но прежде всего этот «фронт» считается саморазоблачением заговора между Гитлером и крупным капиталом.

206. Несомненно, между вождём НСДАП и некоторыми влиятельными предпринимателями существовал целый клубок связей. Верно и то, что партия извлекала из этих связей и материальную выгоду, и увеличение престижа. Но все это прежде доставалось — столь же долго и даже в гораздо больших масштабах — и разваливавшимся партиям центра. Ни прирост числа голосов у НСДАП, ни потери голосов другими партиями не объяснить одним только богатым покровительством. Не раз Гитлер жаловался на сдержанность предпринимателей и говорил, что Муссолини «его борьба доставалась легче, поскольку на его стороне была итальянская промышленность… А что делает немецкая индустрия для возрождения немецкого народа? Ничего!»[215] Ещё в апреле 1932 года он был поражён тем, что таявшая на глазах Немецкая народная партия получала от промышленников более крупные суммы, чем его собственная, и когда Вальтер Функ к концу года предпринял поездку по Рурской области с целью выклянчивания средств, то только однажды получил взнос в 20 — 30 тысяч марок. Надо сказать, что объём такой помощи вообще часто преувеличивается. Если считать реальной сумму около 6 миллионов, полученную за период между 1930 г. и 30 января 1933 г., то никто даже за сумму вдвое большую не сумел бы финансировать партийную организацию с почти 10 тысячами местных групп и разветвлённым руководящим аппаратом, с почти полумиллионной частной армией и двенадцатью щедро оплаченными предвыборными кампаниями 1932 года: как установил Конрад Хайден, годовой бюджет НСДАП составлял в то время 70-90 миллионов марок, и именно цифры такого порядка позволяли Гитлеру время от времени не без иронии называть себя одним из крупнейших руководителей немецкой экономики[216].

Не случайно теория заговора даже в своих серьёзных свидетельствах тяготеет к понятиям широким и неточным, сводя «весь» капитал с НСДАП, в то время как на уровне псевдонаучной полемики в Гитлере всерьёз видят «с трудом поднятого из низов и дорого обошедшегося политического кандидата» некоей закулисной капиталистической «нацистской клики», её «человека по связям с общественностью»[217]. На деле же интересы отдельных предпринимателей и отраслей явно не совпадали между собой. Как крупные экспортёры, биржевые круги и владельцы больших универмагов, так и химическая промышленность и старинные семейные фирмы Круппа, Хеша, Боша или Клекнера по крайней мере до 1933 г. относились к гитлеровской партии с весьма заметным предубеждением, обусловленным главным образом экономическими мотивами. Я уж не говорю о большом количестве предприятий, принадлежавших евреям. Отто Дитрих, способствовавший установлению части контактов между Гитлером и крупной рейнско-вестфальской индустрией, жаловался в одном из документов тех лет на нежелание хозяев экономики «в эти времена труднейшей борьбы… поверить в Гитлера». Ещё в начале 1932 года, писал он, явно ощущались «сильные очаги экономического сопротивления», и знаменитая речь Гитлера в дюссельдорфском Клубе промышленников 26-го января 1932 года как раз имела своей целью преодолеть это сопротивление[218]. Финансовые средства, сразу после того переданные партии, помогли, правда, устранить самые насущные заботы, но объём их не оправдал ожиданий. Безрезультатной осталась даже петиция к Гинденбургу, написанная в конце 1932 года Шахтом, банкиром фон Шрёдером и Альбертом Феглером и предлагавшая Гитлера на пост канцлера; большинство предпринимателей отказалось её подписать. Тяжёлая промышленность, сетовал Шахт в письме Гитлеру, называется так не без оснований, потому как тяжело принимает решения[219].

Теория о тесном инструментальном союзе Гитлера с крупным капиталом не в состоянии обосновать и того факта, почему миллионы голосов избирателей были собраны задолго до миллионов промышленности. Когда Гитлер произносил речь в Дюссельдорфе, его партия располагала свыше 800 тыс. членов и, примерно более 10 миллионами голосовавших за неё избирателей. Именно они были его базой, и «великий антикапиталистический гнев», владевший ими, определял поведение Гитлера в гораздо большей степени, чем своевольные и строптивые предприниматели. Промышленникам он принёс в жертву одного только резонёра Отто Штрассера, которого к тому

же и сам ненавидел, а участие своих последователей в стачке берлинских металлистов без околичностей обосновал, сказав им, что лучше уж бастующие национал-социалисты, чем бастующие марксисты[220]. Но меньше всего тезис о гитлеровской партии как наёмнице капитала способен прояснить вопрос, на который этот тезис якобы отвечает: почему такое необычное массовое движение, возникшее из ничего, так легко смогло опередить немецких левых с их богатыми традициями и превосходной организацией. Поэтому тезис этот основан либо на вере в демонов, либо на ортодоксальном марксизме, но в любом случае он означает утрату левыми рационализма, своего рода «антисемитизм левых»[221].

Но одно дело говорить о тесном переплетении и сговоре «всех» промышленников с национал-социализмом, и совсем другое — указать на ту атмосферу «благосклонности» и даже симпатии, которая окружала национал-социализм. Значительные силы в промышленности не скрывали своей — правда, пока пассивной — заинтересованности в том, чтобы Гитлер стал канцлером, и многие из тех, кто отнюдь не собирался поддерживать его материально, не так уж возражали против его программы. Они не связывали с ней каких-то конкретных экономических ожиданий и так до конца и не избавились от недоверия к социалистическим антибуржуазным настроениям внутри НСДАП. Небольшая группа симпатизирующих партии промышленников летом 1932 года даже создала специальный рабочий орган для противодействия экономическому радикализму левого партийного крыла. По сути же предприниматели так и не приняли буржуазную демократию с её последствиями, с требованиями и правами масс, и за все годы своего существования республика так и не стала их государством. Тот порядок в стране, который обещал установить Гитлер, многим из них представлялся в виде автономии предпринимательства, налоговых льгот и конца власти профсоюзов. За лозунгом «Спасёмся от этой системы!», сформулированным одним из экспонентов промышленных кругов, на заднем плане всегда маячили проекты авторитарного строя[222]. Едва ли в каких-либо других общественных структурах Германии ещё жила такая допотопная вера в сильную государственную власть, как в предпринимательстве, где современная технология сочеталась с прямо-таки докапиталистическими социальными взглядами. Главная ответственность «всего» капитала за взлёт НСДАП заключается не в общих с ней целях и уж, конечно, не в мрачном заговоре, а в антидемократическом климате, созданном им и направленным на

одоление «системы». Правда, представители капитала неверно оценили Гитлера. Они видели только его манию порядка и насаждаемый им жёсткий культ авторитета, только его ностальгию по прошлому, но за этим не разглядели одновременно присущей ему своеобразной ауры будущего.

В уже упоминавшейся речи в дюссельдорфском Клубе промышленников, одном из наиболее впечатляющих образчиков его ораторского искусства, Гитлер необычайно тонко уловил и сконцентрировал на себе авторитарные представления предпринимателей о государстве силы и порядка. Одетый в тёмный двубортный костюм, демонстрируя известную светскость и корректные манеры, он изложил перед крупными промышленниками, проявлявшими сначала заметную сдержанность, идеологические основы своей политики. Каждое слово его доклада, продолжавшегося два с половиной часа, весь подход, вся тональность и акцентировка были тщательно рассчитаны именно на эту аудиторию.

В самом начале Гитлер подчеркнул свой тезис о примате внутренней политики и решительно отверг точку зрения, почти доктрину Брюнинга, утверждавшую, что судьба Германии зависит главным образом от её внешнеполитических связей. Внешняя политика, заявил он, наоборот, «определяется внутренним состоянием» любого народа, а все иное — это путь сдачи своих позиций, своей национальной идентичности или же уловки плохих правительств. В Германии, продолжал Гитлер, внутреннее состояние нации подорвано нивелирующим влиянием демократии: «Если способные умы какой-либо нации, и без того всегда редкие, по стоимости уравниваются со всеми остальными, то медленно, но верно наступает обесценивание гения, обесценивание способностей и ценности человеческой личности, и тогда это называют властью народа. Это неверно, ибо на деле это совсем не власть народа, а власть глупости, посредственности, половинчатости, трусости, слабости, бездарности. При подлинном народовластии народом во всех областях жизни должны руководить и управлять самые способные, именно для этого рождённые редкие личности, …а не большинство, по натуре своей неизбежно чуждое любой из этих областей».

Но принцип демократического равенства, продолжал Гитлер, — это отнюдь не безобидная, лишь теоретически значимая идея, так как рано или поздно он проникает во все сферы жизни и способен медленно отравить народ. Частная собственность, втолковывал Гитлер предпринимателям, по сути, своей несовместима с демократическим принципом, ибо её

логическое и моральное оправдание покоится на убеждении, что люди и их свершения рознятся между собой. Затем он перешёл к главному пункту своей атаки:

> «Признавая это, было бы, однако, безумием утверждать: в экономической области обязательно присутствуют ценностные различия, а в политической — нет! Это противоестественно — в хозяйственном плане строить жизнь на идее успеха, личностной ценности, т. е., по сути, на авторитете личности, а в политическом плане отвергать этот авторитет личности и подменять его законом больших чисел, демократией. Так с необходимостью возникает разлад между экономической и политической концепциями, и будут предприняты попытки преодолеть его путём приспособления экономики к политическим нуждам… Но аналогом политической демократии в экономической области является коммунизм. Мы переживаем сейчас период, когда эти два основных принципа во всех пограничных зонах борются между собой…
>
> В государстве существует такая организация, а именно армия, которая вообще не может быть как-то демократизирована, ибо в противном случае она перестаёт быть сама собой… Армия может существовать только при сохранении абсолютно антидемократического принципа полного авторитета верхов и полного подчинения им низов. А результат таков, что в государстве, где вся политическая жизнь, начиная с общины и кончая рейхстагом, построена на идее демократии, армия постепенно, но неизбежно становится чужеродным телом».

Гитлер привёл ещё много примеров подобного структурного противоречия, а затем указал на опасное распространение, которое якобы нашло в Германии демократическое, а следовательно и коммунистическое мышление. Он старательно раздувал страх перед большевизмом — это «не только банда, бесчинствующая на некоторых улицах немецких городов», нет, речь идёт о «мировоззрении, которое вот-вот подчинит себе весь азиатский континент; …постепенно оно расшатает весь мир и разрушит его». Затем он продолжал:

> «Если не остановить большевизм, он точно так же коренным образом изменит мир, как когда-то его изменило христианство… Поскольку речь идёт о

мировоззрении, то 30 или 50 лет тут не имеют значения. Христианство начало медленно пронизывать весь юг Европы лишь 300 лет спустя после Христа».

В Германии, продолжал Гитлер, коммунизм в силу особых духовных блужданий и внутреннего разложения уже распространился шире, чем в других странах. Миллионы людей подведены к мысли о том, что коммунизм — это «мировоззренческое дополнение их реальной, практической экономической ситуации». Поэтому неверно искать причины царящей нищеты во внешних обстоятельствах и бороться с ней внешними средствами; экономические меры или «20 чрезвычайных законов», говорил Гитлер далее, не сдержат распад нации. Причины упадка имеют политический характер, поэтому они требуют и политической решимости, а именно «принципиального решения»:

> «Оно основывается на понимании того, что всегда сначала распадается государство, а уж за ним экономика, а не наоборот; что не может быть процветающей экономики, если её не защищает и за ней не стоит могучее процветающее государство; что Карфаген не имел бы своей экономики без своего флота».

Но мощь и благополучие государств — это следствие их внутренней организации, «крепости общих взглядов на некоторые принципиальные вопросы». Германия, продолжал Гитлер, находится ныне в состоянии великой внутренней разорванности, почти половина народа настроена в широком смысле по-большевистски, а другая — в национальном духе; одни признают частную собственность, другие же считают её чем-то вроде кражи, одни считают измену родине преступлением, а другие — своим долгом. И вот, чтобы преодолеть эту разорванность и бессилие Германии, он создал и движение, и мировоззрение:

> «Вы видите здесь перед собой организацию, которая… исполнена чувства теснейшей связи с нацией, построена на идее абсолютного авторитета руководства в любой области, на любом уровне — единственную партию, без остатка преодолевшую в себе не только интернационалистскую, но и демократическую идею, знающую, что такое приказ и повиновение и тем самым впервые вводящую в политическую жизнь Германии миллионную структуру, которая построена на принципе

ответственности „каждый за каждого“. Это организация, вселяющая в своих сторонников неукротимый боевой дух, впервые такая организация, которая, слыша от политического противника: „Ваше выступление означает для нас провокацию“, вовсе не собирается сразу же отступать, а жёстко добивается своего и вызывающе отвечает на это: Мы боремся сегодня! И будем бороться завтра! А если вы сегодня считаете наше собрание провокацией, то на следующей неделе мы соберёмся снова… И если вы говорите: „Вы не смеете выходить на улицы“, — мы все равно выйдем на улицы! И если вы говорите нам: „Тогда мы вас побьём!“, — то сколько бы жертв нам ни пришлось принести, эта молодая Германия будет маршировать всегда… А если нам ставят в упрёк нашу нетерпимость, то мы гордо признаемся — да, мы нетерпимы, мы приняли неумолимое решение искоренить марксизм в Германии до последнего корешка. Мы приняли это решение вовсе не из любви к дракам, и я вполне могу себе представить жизнь поспокойнее, чем эти вечные метания по всей Германии…

(Но) сегодня мы переживаем поворотный момент немецкой судьбы. Если теперешнее развитие событий продолжится, то Германия неизбежно погрязнет в большевистском хаосе; если же такое развитие событий будет остановлено, то нашему народу придётся пройти школу железной дисциплины… Либо удастся снова переплавить весь этот конгломерат партий, союзов, объединений, мировоззрений, сословного чванства и классового безумия в единый стальной народный организм — либо Германия, не добившись такой внутренней консолидации, погибнет окончательно…

Мне часто говорят: «Вы всего лишь барабанщик национальной Германии!» Ну и что, если я только бью в барабан?! Сегодня вбить в этот немецкий народ новую веру было бы большей заслугой государственного масштаба, чем постепенно проматывать существующую… (Одобрительный шум в зале). Я очень хорошо знаю, господа: если национал-социалисты маршируют по улице, а вечером внезапно начинается суматоха и скандал, то обыватель, выглядывая из-за занавески в окно, говорит: «Опять они нарушают мой ночной покой и мешают мне уснуть»… Но не забывайте, что это немалая жертва для многих сотен тысяч членов СА и СС из

национал-социалистического движения, если они вынуждены день за днём садиться в грузовики, охранять собрания, маршировать, проводить ночи без сна и возвращаться на рассвете — либо снова в мастерские и на заводы, либо на биржу труда, чтобы получить там нищенское пособие по безработице… Если бы сегодня вся нация прониклась такой же верой в своё предназначение, как эти сотни тысяч, если бы вся нация разделяла этот идеализм, то мир увидел бы ныне другую Германию! (Оживление, аплодисменты.)»[223]

Несмотря на все аплодисменты, прерывавшие речь Гитлера в защиту мощного имперского государства и предпринимательских привилегий во имя «авторитета личности», в конце мероприятия к возгласу Фрица Тиссена «Хайль, г-н Гитлер!» присоединилось всего около трети участников. Материальная польза от этого выступления не оправдала ожиданий, но основной выигрыш заключался в том, что Гитлер наконец-то преодолел прежнюю изоляцию. Тем заметнее становилась теперь изоляция государства. Растущая армия противников со всех сторон осаждала расшатанные позиции республики. В Пруссии, где все ещё правила коалиции под руководством социал-демократов, «Стальной шлем», Немецкая национальная народная партия, НСДАП, Немецкая народная партия и даже коммунисты предприняли совместную попытку изменить соотношение сил во властных структурах и путём референдума добиться роспуска ландтага. Все вместе они собрали не больше 37 процентов голосов, но впечатление, что существует широкий фронт сил, желающих убрать эту власть, осталось.

Ожесточённые схватки прежде всего между полувоенными боевыми отрядами коммунистов и национал-социалистов, а также и тех и других с полицией, беспорядки на улицах, кровавые эксцессы в конце каждой рабочей недели тоже были симптомом подорванного авторитета государства. В день еврейского Нового года берлинские СА под руководством графа Хельдорфа во многих местах учинили беспорядки, в университетах студенты устраивали шумные сходки против непопулярных профессоров, а во время судебных процессов против членов НСДАП случались беспримерные выходки. Да, пока ещё гражданской войны не было. Но в ушах нации все ещё громко звучали слова Гитлера о том, что скоро покатятся головы. Быстро ширилось убеждение, что на улицах происходит нечто большее, чем (иногда кровавые) драки партий, конкурирующих между собой в борьбе за симпатии избирателей и места в парламентах. «Буржуазные партии видят

свою цель не в уничтожении (противника), а всего лишь в победе на выборах», — говорил Гитлер несколько раньше. К этому он добавил: «Мы совершенно ясно осознаем, что будем уничтожены, если победит марксизм; но если победим мы, будет уничтожен марксизм, и уничтожен без остатка; мы тоже не признаем никакой терпимости. Мы не успокоимся, пока не будет уничтожена последняя газета, ликвидирована последняя организация, устранён последний просветительный центр и обращён в нашу веру или истреблён последний марксист. Среднего пути тут нет»[224]. То, что происходило на улицах, было репетицией такой гражданской войны, которая навёрстывала упущенный в 1919 году шанс расправы с прерванной революцией и была доведена до конца лишь весной 1933 года, в «подвалах для героев» и концлагерях СА.

В этой чрезвычайно напряжённой ситуации поведение противников Гитлера определялось нежеланием доводить его до крайности. В конце ноября 1931 года, спустя десять дней после выборов в ландтаг земли Гессен, на которых НСДАП, получив 38,5 процентов всех мандатов, стала сильнейшей фракцией, некий перебежчик из НСДАП передал начальнику полиции Франкфурта план действий национал-социалистов Гессена на случай попытки восстания под руководством коммунистов. Этот «боксхаймский документ», названный так по имению вблизи Вормса, которое было прибежищем гитлеровцев во время их заговорщических сходок, предусматривал захват власти штурмовиками и родственными им организациями, «беспощадные меры» с целью добиться «самой суровой дисциплины» населения, а при любом акте сопротивления или просто неповиновения — смертную казнь, которая при определённых условиях должна была осуществляться «без суда, на месте». Имелось в виду также отменить на некоторое время частную собственность и все выплаты процентов по долгам, ввести общественное питание населения и трудовую повинность; правда, для евреев не было запланировано ни питания, ни трудовой повинности[225].

По реакции Гитлера на факт публикации документа было ясно, что в своих тактических замыслах он все более осознанно учитывал и опасения своих конкурентов, и страхи общественности. Как бы то ни было, он, в отличие от своей практики при нарушении принципа легальности полугодовой давности, на этот раз не принял никаких дисциплинарных мер против авторов этой программы действий и ограничился тем, что снял с себя ответственность за неё. Возможно, что программа эта в мелочах отличалась от его замыслов и, прежде всего, в каких-то полусоциалистических элементах противоречила его новому

курсу. Тем не менее, она необыкновенно точно учитывала ту идеальную исходную ситуацию для захвата власти, к которой он всегда стремился: точно так же, как и эта концепция, он исходил из представлений о попытке коммунистического восстания, которое заставит государственную власть взывать о помощи; и тогда на арену выйдет он со своими штурмовиками и сможет действовать силой от имени права и с подобием права. Такой просьбы о помощи он безуспешно добивался в ночь с 8-го на 9-е ноября 1923 года от г-на фон Кара. Никогда он не стремился добиться власти, чтобы уподобиться бесчисленным другим политикам. Он желал предстать перед нацией её избавителем от железной хватки коммунизма и, окружённый спасительным воинством, достичь господства. Эта исходная позиция соответствовала его драматическому и одновременно эсхатологическому темпераменту, поскольку он всегда считал себя участником всемирной борьбы с силами тьмы. Тут играли роль туманные и полуосознанные вагнеровские мотивы — образ белоснежного рыцаря, Лоэнгрина[226], чаши святого Грааля[227] и белокурой дамы, которой грозит опасность. Когда впоследствии обстоятельства не сложились именно таким желаемым образом и коммунистическая попытка путча, как писал Геббельс, «не разгорелась», Гитлер попытался выстроить её сам, пусть даже приблизительно.

Раскрытие боксхаймских планов не имело никаких последствий. Тот факт, что бюрократия и судебные власти явно затягивали рассмотрение серьёзнейшего дела об измене родине, а политические структуры, пожимая плечами, просто махнули на него рукой и тем упустили возможность использовать его для решительных мер в последний час, бросает яркий свет на быстрый и повсеместный упадок лояльности. Вместо того, чтобы арестовать Гитлера, — а улик против него вполне хватало — и поставить его перед судом, они по-прежнему проявляли готовность к переговорам. Более того, обеспокоенные его угрозами, они старались пуще прежнего. Теперь-то стало ясно, насколько было важно, что он успел добиться приёма у Шляйхера и Гинденбурга, что влиятельные политики, предприниматели и представители знати согласились видеть в нём партнёра, короче — что он снова приблизился к окружению «господина президента». Впрочем, к этому времени представлялось уже сомнительным, могли ли полицейские или правовые меры ещё как-то обуздать национал-социалистическое движение и не получилось ли бы в результате в высшей степени нежелательного психологического эффекта. Во всяком случае, прусский министр внутренних дел Зеверинг в декабре 1931 г. отказался от плана,

заключавшегося в том, чтобы силами полиции арестовать Гитлера прямо на одной из его пресс-конференций в отеле «Кайзерхоф» и выслать из Пруссии. А генерал фон Шляйхер в ответ на требование энергичных мер против национал-социалистов, прозвучавшее в ходе одного из совещаний, сказал: «Для этого у нас уже нет достаточных сил. Если мы попытаемся это сделать, нас просто сметут!»[228]

Самонадеянное мнение, что гитлеровская партия — это всего-навсего кучка мелкобуржуазных отбросов и демагогов-шарлатанов, неожиданно стало превращаться в свою противоположность. В редких случаях, но совершенно однозначно возникало чувство парализующей апатии, словно перед лицом стихийного бедствия. «Это движение молодых, и остановить его невозможно» — так резюмировал британский военный атташе настроения, овладевшие немецким офицерским корпусом. Исследуемая нами здесь история восхождения НСДАП — это одновременно и история истощения и упадка республики. Для сопротивления ей не хватало не только сил, но и впечатляющей картины будущего, в то время как Гитлер рисовал её в риторическом экстазе. Только немногие ещё верили, что республика выживет.

«Бедная система!», — иронически записал в своём дневнике Геббельс[229].

Глава III
ПЕРЕД ВРАТАМИ ВЛАСТИ

На выборы, на выборы! Ближе к народу! Мы все очень счастливы.

Йозеф Геббельс

Предвыборные бои. — Ход Брюнинга и дилемма, вставшая перед Гитлером. — Решение принято. — Победа Гинденбурга. — «Гитлер над Германией». — Смерть Гели Раубаль. — Гипнотизирующие речи. — Демагогический ритуал. — Отключение мышления. — Самоослепление. — Причины массового притока. — Лозунги и формулы. — Результаты выборов. — Интриги. — Падение Брюнинга. — Франц фон Папен. — Антипрусский государственный заговор. — Отказ президента. — Размышления о жестокости.

Восхождение Гитлера — это результат не только его виртуозной демагогии, ловкости и пыла радикала; казалось, что путь ему расчищали сами силы иррационального. В течение 1932 года пять крупных избирательных кампаний позволили ему, главным образом из-за случайного совпадения сроков, эффектно показать своё превосходство в области, наиболее ему близкой, — в агитации.

Весной истекал срок полномочий президента страны. Чтобы избежать риска и последствий радикализации, Брюнинг заблаговременно разработал план, согласно которому поправкой к конституции Гинденбургу должно было быть обеспечено пожизненное правление. Все его намерения имели одну цель — выиграть время. Зима принесла новое, невообразимое обострение кризиса. В феврале 1932 года число безработных превысило 6 миллионов. Но как трезвый специалист, уверенный в том, что его принципы гораздо выше любого низменного приспособленчества политика, Брюнинг жёстко держался своего курса: он надеялся на окончательную отмену репараций, успех конференции по разоружению, достижение Германией равноправного положения, а также в значительной мере на весну и свою концепцию суровой экономии вплоть до голода.

Но люди не разделяли ни его суровости, ни его надежд. Они страдали от голода, холода и всех унизительных условий существования. Они ненавидели бесконечные чрезвычайные постановления с их шаблонными призывами к готовности приносить жертвы: многие упрекали правительство в том, что оно только управляет нищетой, вместо того, чтобы её устранить[230]. Но если проповедуемая Брюнингом политика неумолимой бережливости была проблематичной с точки зрения экономики, то в политическом отношении она оказалась просто недейственной и не находила отклика у отчаявшихся людей. В холодной деловитости Брюнинга не было того патетического жертвенного обертона, который даже из крови, пота и слез способен сделать восторженно встречаемый цирковой номер. Никто не склонен так легко согласиться с тем, что нищета — это просто нищета, и больше ничего. Растущее неприятие республики происходило и от её неспособности придать бедственному положению и постоянным призывам к жертвенности какой-либо высший смысл.

Политика Брюнинга, направленная на выигрыш времени, зависела от того, насколько его поддерживает президент. Однако Гинденбург совершенно неожиданно воспротивился планам продления своих полномочий. Ему уже исполнилось 84 года, он устал от своих обязанностей, а кроме того, боялся, что связанная с его персоной дискуссия вокруг этого плана неизбежно вызовет новые нападки на него со стороны его и без того разочарованных друзей справа[231]. И только когда речь зашла о продлении его полномочий всего на два года, он, наконец, согласился, правда, после долгих уговоров со всех сторон и, что примечательно, после ссылки на пример Вильгельма I, который в своё время на девяносто втором году жизни заявил, что у него нет времени на усталость. Но при этом Гинденбург потерял доверие к Брюнингу, которого он с полным основанием считал движущей силой всей этой мучительной для него осады: добившись своего, канцлер, по сути, потерял то, на что он рассчитывал.

Переговоры Брюнинга с партиями с неизбежностью превратили Гитлера в центральную и очень для всех важную фигуру, так как любое изменение конституции предполагало его согласие. Но одновременно они поставили его перед чрезвычайно опасной дилеммой: ему предстояло либо действовать заодно со «столпами системы» и тем самым укреплять позиции Брюнинга и отказаться от собственного радикализма — либо вести предвыборную борьбу против престарелого, окружённого общим благоговением президента, верного слуги и «эрзац-кайзера» нации. Но такая предвыборная борьба могла серьёзно поколебать

легенду об обречённости его движения на успех и, помимо всего прочего, вскрыть его противоречия с Гинденбургом. А это в связи с решающими полномочиями президента в том, что касается доступа к власти, неизбежно повлекло бы за собой непредсказуемые последствия. Грегор Штрассер советовал Гитлеру принять предложение Брюнинга. Рем и особенно Геббельс, напротив, категорически возражали. В своём дневнике Геббельс записал: «Речь идёт здесь о рейхспрезиденте; дело в том, что г-ну Брюнингу хотелось бы надолго упрочить свои собственные позиции и позиции своего кабинета. Фюрер попросил времени на размышление. Ситуацию нужно исследовать со всех сторон… Шахматная партия за обладание властью начинается. Она, возможно, продлится весь этот год. Эту партию следует играть в темпе, умно, а в чём-то и изощрённо. Главное для нас — оставаться сильными и не идти ни на какие компромиссы»[232].

Загнанный ходом Брюнинга в чрезвычайно неудобную позицию, Гитлер долго не знал, что предпринять. Если Гугенберг сразу и грубо отклонил предложение Брюнинга, то Гитлер ещё колебался, и ответ, который он в конце концов дал, отражал не только его сомнения, но и его осторожность. Оба эти ответа вскрывали всю разницу между Гутенбергом как весьма недалёким тактиком, постоянно пытавшимся догнать своего радикального партнёра и даже, хоть и задыхаясь, перегнать его, — и самим Гитлером, который пользовался своим радикализмом как орудием и комбинировал его с элементами лукавого рационализма. Во всяком случае, он обставил своё несогласие таким количеством оговорок, что оно кое в чём очень походило на приглашение к дальнейшим переговорам. Главное же для него было расширить хоть немного наметившуюся трещину в отношениях между Гинденбургом и канцлером, которую Гитлер инстинктивно, но совершенно точно уловил. Прибегая к казуистическим доводам, он выставлял себя ярым защитником конституции и в длиннейших речах, посвящённых якобы заботе о соблюдении президентом клятвы верности, приводил множество юридических возражений против плана канцлера.

Хотя Гитлер тем самым уже решился выставить свою кандидатуру в противовес Гинденбургу, он ещё несколько недель медлил и не обнародовал своего решения. Дело в том, что его жизненная концепция всегда предусматривала «благосклонность» г-на президента, а не противопоставление ему. К тому же он яснее своих сателлитов осознавал, насколько рискованно было соперничать с легендарным Гинденбургом. Поэтому напрасно Геббельс и прочие осаждали его советами объявить о своей

кандидатуре. Тем не менее он всё же согласился с предложением прибегнуть к помощи брауншвейгского министра внутренних дел Клаггеса, члена НСДАП, чтобы обеспечить ему немецкое гражданство, необходимое для выставления кандидатуры[233]. На примере этого эпизода особенно хорошо видны его так часто упоминаемая нерешительность, боязнь решающего шага и — как странный контраст с образом действующего с уверенностью лунатика фюрера — его склонность оттягивать какое-либо решение до последнего момента, пока все не решат обстоятельства, на которые он фаталистически полагался. Ведь, строго говоря, решение было давно принято. Дневник Геббельса шаг за шагом прослеживает мучительную, почти несуразную нерешительность Гитлера:

> «9 января 1932 года. Всеобщее смятение. Все гадают: что же сделает фюрер? Вот кое-кто удивится! — 19 января 1932 года. Обговорил с фюрером вопрос о выдвижении его кандидатуры на пост рейхспрезидента. Доложил о своих переговорах. Решение ещё не принято. Я очень настойчиво выступаю за его собственную кандидатуру. Если говорить серьёзно, теперь, пожалуй, и нет других вариантов. Мы просчитали все с цифрами в руках. — 21 января. В этой ситуации нам не остаётся ничего иного, как выставить собственного кандидата. Борьба тяжёлая и напряжённая, но нужно пройти и через неё. — 25 января. Вся партия дрожит от боевого нетерпения — 27 января. За или против Гинденбурга — такая предвыборная формула теперь, очевидно, неизбежна. Мы должны, наконец, открыто назвать своего кандидата. — 29 января. Заседает комитет Гинденбурга. Нам придётся выложить карты на стол. — 31 января. Фюрер примет решение в среду. Каким оно будет, сомневаться не приходится. — 2 февраля. Аргументы в пользу кандидатуры фюрера настолько убедительны, что ни о чём другом больше и речи быть не может… Днём долго совещался с фюрером. Он излагает свой взгляд на президентские выборы. Он решился выставить свою кандидатуру. Но сначала нужно выяснить, что происходит на противоположной стороне. Тут решающее значение имеет СДПГ. Затем о нашем решении будет оповещена общественность. Чрезвычайно тягостная борьба, но через это надо пройти. Фюрер делает свои ходы в этой партии без всякой спешки и с ясной головой. — 3 февраля. Гауляйтеры ждут опубликования

решения о кандидатуре на пост президента. Ждут напрасно. Тут идёт игра в шахматы, а в этих случаях никто не говорит, каким будет его следующий ход… Партия вся — сплошное беспокойство и напряжённое ожидание, тем не менее, пока царит молчание… Фюрер в часы досуга занимается планами строительства нового партийного дома и гигантской перестройки имперской столицы. Проекты у него совершенно готовы, и не устаёшь удивляться, в каком количестве вопросов он разбирается как специалист. Ночью ко мне зашли многие верные, старые товарищи по партии. Они подавлены, так как все ещё ничего не знают о решении. Их беспокоит, что фюрер слишком долго тянет. — 9 февраля. По-прежнему неопределённость. — 10 февраля. На улице трескучий мороз. В ясном воздухе носятся ясные решения. Ждать их остаётся уже недолго. — 12 февраля. Просчитал вместе с фюрером в „Кайзерхоф“ ещё раз все цифры. Риск есть, но на него надо идти. Итак, решение принято… Фюрер снова в Мюнхене. Опубликование решения откладывается на несколько дней. — 13 февраля. На этой неделе должно быть публично объявлено о решении по вопросу о президентских выборах. — 15 февраля. Теперь нам уже нет нужды скрывать решение. — 16 февраля. Работаю так, словно предвыборная борьба уже идёт. Это создаёт известные затруднения, так как фюрер официально ещё не назван кандидатом. — 19 февраля. У фюрера в „Кайзерхофе“. Долгий разговор с глазу на глаз. Решение принято. — 21 февраля. Вечное ожидание почти изматывает».

На следующий вечер Геббельс назначил общее собрание в берлинском Дворце спорта. Это была его первое появление с тех пор, как 25 января был снят запрет на публичные выступления. Между тем срок выборов приблизился на целых три недели, а Гитлер все медлил. Днём Геббельс отправился в «Кайзерхоф», чтобы изложить основные тезисы своей предстоящей речи. Заговорив о проблеме кандидатуры, он вдруг услышал долгожданное разрешение объявить о том, что Гитлер принял решение. «Слава Богу!» — записывает Геббельс в дневнике и продолжает:

«Дворец спорта переполнен. Общее собрание членов партии Западного, Восточного и Северного районов. Бурная овация сразу же в начале собрания. Когда я после часовой вступительной речи открыто объявляю о

кандидатуре фюрера, на целых 10 минут разражается буря воодушевления и восторга. Люди встают, ликуют и выкрикивают приветствия фюреру. Кажется, вот-вот обрушится потолок. Грандиозная картина. Это действительно движение, которое не может не победить. В зале — неописуемая атмосфера упоения и экстаза. Поздно вечером фюрер ещё раз позвонил мне. Я доложил ему обо всём, и он ещё зашёл к нам домой. Он рад, что объявление о его кандидатуре произвело такой эффект. Он был и остаётся все же нашим фюрером»[234].

Последнее предложение выдаёт сомнения, которые Геббельс совершенно очевидно испытывал в течение последних недель, видя слабость Гитлера как руководителя. Но если этот эпизод — одно из ярчайших свидетельств флегматичности и нерешительности Гитлера, то не менее характерна и та внезапная, можно сказать, с места в карьер начатая бурная, энергичная деятельность, которую он, приняв решение, развил в предвыборной кампании. 26 февраля на церемонии в отеле «Кайзерхоф» он позволил назначить себя на неделю регирунгсратом Брауншвейга и тем самым получил немецкое гражданство. Днём позже он восклицал во дворце спорта, обращаясь к своим противникам: «Я знаю ваш девиз! Вы говорите: „Мы останемся у власти любой ценой“, а я говорю вам: мы свергнем вас в любом случае!.. Я счастлив, что сейчас могу биться рядом с моими товарищами — в прямом и переносном смысле слова». Потом он ответил на слова берлинского полицай-президента Гжезински, который ещё раньше пригрозил выгнать его арапником из Германии: «Вы сколько угодно можете грозить мне собачьей плёткой. Мы ещё посмотрим, будет ли она у Вас в руках, когда эта борьба закончится». Одновременно он попытался как-то уклониться от противостояния с Гинденбургом, навязанного ему Брюнингом, и заговорил о том, что чувствует себя обязанным сказать генерал-фельдмаршалу, чьё «имя останется для немецкого народа именем вождя великой борьбы»: «Старик, мы слишком чтим тебя, чтобы позволить людям, которых мы стремимся уничтожить, говорить от твоего лица. И как бы мы ни сожалели — но ты должен отойти в сторону, ибо они хотят борьбы, и мы тоже её желаем»[235]. Вне себя от счастья, Геббельс записал в дневнике: фюрер «снова на высоте положения».

Все это показало, насколько Гитлер и национал-социалисты уже захватили политическую сцену. Настоящая предвыборная борьба началась только теперь, хотя уже давно трое конкурентов

противостояли друг другу: Гинденбург, кандидат коммунистов Эрнст Тельман и кандидат радикальных буржуазных правых Теодор Дюстерберг. И опять национал-социалисты не стеснялись применять грубую, все опрокидывающую силу. Внезапно развернувшаяся деятельность по организации собраний свидетельствовала не только о более полной партийной кассе, но и о все более густой сети агитаторских опорных пунктов. Ещё в феврале Геббельс перевёл руководство партийной пропагандой в Берлин и предсказал предвыборную борьбу, «какой ещё не знал мир». Мобилизована была вся ораторская элита партии. Гитлер сам с 1-го по 11 марта объездил на автомобиле всю Германию и, как утверждалось, выступил в общей сложности перед 500 тысячами слушателей. Этому «демагогу крупнейшего масштаба» помогала, как он и требовал, «армия подстрекателей, которая разжигала страсти и без того измученного народа»[236]. Изощрённость и изобретательность этих людей, впервые применивших и современные технические средства, снова дали им громадное преимущество над соперниками. Так, рассылалась пластинка, изготовленная в 50 тыс. экземплярах, снимались озвученные ролики, которые навязывались владельцам кинотеатров в качестве вступления к основным фильмам. Был издан специальный иллюстрированный журнал, началась, как выражался Геббельс, война плакатов и знамён, так что целые города или кварталы за одну ночь окрашивались в кричащий, кровавый цвет. Целыми днями по улицам разъезжали грузовики, часто колоннами, под развевающимися знамёнами стояли, опустив ремни касок под подбородок, подразделения СА, пели или кричали «Германия, пробудись!» Этот грохочущий пропагандистский поход вскоре создал внутри партии — как следствие самовнушения — настолько победное настроение, что Гиммлер вынужден был издать предписание, ограничивающее употребление алкоголя во время победных празднеств СС[237].

По другую сторону стоял, по сути дела, только Брюнинг; одиночество его производило странное впечатление. Глубоко почитая президента, он ради него взвалил на себя тяжесть этой изнурительной предвыборной борьбы; потому что позиция социал-демократов слишком ясно показывала: они поддерживали Гинденбурга, только чтобы добиться поражения Гитлера. Двойственность их положения разделял и сам Гинденбург. В своей единственной за всю предвыборную кампанию речи по радио он решительно отверг упрёки в том, что будто бы являлся кандидатом «черно-красной коалиции». Но так или иначе, а выбор, перемешавший все фронты и устранивший любую лояльность, существовал только между Гиндснбургом и

Гитлером. Вечером накануне 13-го марта берлинская газета «Ангрифф» самоуверенно заявила: «Завтра Гитлер станет рейхспрезидентом».

По контрасту с этими радужными надеждами тем тяжелее был шок, когда стали известны результаты. Гинденбург одержал внушительную победу, собрав 49, 6 процента голосов и оставив Гитлера (30,1 процента) далеко позади. Торжествующий Отто Штрассер приказал расклеить на улицах плакаты, изображавшие Гитлера в роли Наполеона, отступающего из Москвы. Подпись гласила: «Великая армия уничтожена, его величество император изволят чувствовать себя хорошо». Отброшенный далеко назад (6,8 процента голосов), окончил свою карьеру Дюстерберг; но его поражение все же раз и навсегда решило соперничество внутри лагеря националов в пользу Гитлера. За Тельмана проголосовали 13,2 процента избирателей. Кое-где национал-социалисты приспустили свои флаги со свастикой.

Но Гинденбург все же чуть-чуть не дотянул до предписанного абсолютного большинства, и предстоял новый тур выборов. Реакция Гитлера на ситуацию была опять-таки примечательной. В партии распространялась нежелательная депрессия, кое-кто уже подумывал об отказе от второго, явно бесперспективного тура выборов. Гитлер же, не предаваясь эмоциям, уже вечером 13-го марта призывал в своих обращениях к партии, СА, СС, Гитлерюнгенду и национал-социалистическому корпусу шофёров к новой, удесятерённой активности. «Первый этап борьбы на выборах окончен, второй начался сегодня. Я и его буду вести с полной самоотдачей», провозгласил он и, как восторженно писал Геббельс, «этой симфонией наступательного духа» снова поднял и распрямил партию. Однако же один из его сопровождающих застал его поздно ночью в тёмной комнате, погруженного в задумчивость и безучастного — «фигура разочарованного, потерявшего мужество игрока, поставившего на карту больше, чем он мог заплатить»[238].

Тем временем Альфред Розенберг взбадривал приунывших приверженцев в «Фелькишер беобахтер»: «Теперь мы пойдём дальше — с ожесточением и безоглядностью, которых Германия ещё не знала… Основа нашего борения — это ненависть против всего, что нам противостоит. Теперь никакой пощады не будет». Всего через несколько дней в специальном обращении в поддержку Гитлера выступили около 50 известных лиц — представители знати, генералы, гамбургские патриции и профессора. Выборы были назначены на 10 апреля. Чтобы хоть как-то сдержать подстрекательскую агитацию правых и левых радикалов, окрашенную ненавистью, обидами и лозунгами

гражданской войны, правительство со ссылкой на предстоящие пасхальные праздники объявило «гражданский мир», ограничивший предвыборную борьбу приблизительно одной неделей. Но как всегда в ситуациях, когда его загоняли в угол, Гитлер, вдохновлённый именно этой помехой, придумал особенно эффектный пропагандистский трюк. Чтобы как можно действеннее использовать свой ораторский потенциал и лично охватить как можно большее число людей, он нанял самолёт для себя и своего ближайшего окружения: Шрека, Шауба, Брюкнера, Ханфштенгля, Отто Дитриха и Генриха Хофмана. 3 апреля он предпринял первый из тех ставших знаменитыми полётов по Германии, в ходе которых он посетил 21 город, где день за днём выступал на четырех-пяти манифестациях, организованных в стиле операций генерального штаба. Конечно, партийная пропаганда сплела немало легенд вокруг этого мероприятия. Однако нельзя не признать, что полёты создавали впечатление богатства идей, дерзкого новшества, воинственности и жутковатой вездесущности. «Гитлер над Германией!» — таков был эффектный лозунг, в своей двусмысленности отражавший и ожидания, и страх миллионов людей. В своей самовлюблённости Гитлер, видя окружавшее его ликование, говорил, что ему кажется, будто он орудие в руках Бога и призван освободить Германию[239].

Как и ожидалось, Гинденбург, за которого проголосовали почти 20 миллионов избирателей, собрал 53 процента голосов и без труда обеспечил себе необходимое абсолютное большинство. И всё же Гитлер, за которого проголосовали 13, 5 миллионов человек, сумел добиться гораздо большего прироста голосов: всего за него было подано 36, 7 процента. Дюстерберг на этот раз не баллотировался, а Тельман получил всего немногим более 10 процентов голосов.

В тот же день, в атмосфере усталости, спешки и упоения успехом, Гитлер отдал распоряжения, касающиеся выборов в ландтаг, которые через две недели должны были состояться в Пруссии, Ангальте, Вюртемберге, Баварии и Гамбурге. В них втягивалась опять почти вся страна — четыре пятых её населения. Геббельс записал: «Мы не останавливаемся ни на мгновение и сразу же принимаем решения»[240]. Гитлер снова отправился в полет по Германии и за восемь дней выступил в 25 городах. Его окружение хвастливо говорило о том, что будет поставлен «мировой рекорд» личных встреч. Но этого как раз и не получилось. В лихорадочной активности Гитлер утратил индивидуальные черты, казалось, что вместо него действовал некий динамический принцип: «Вся наша жизнь сейчас — это

изнурительная погоня за успехом и властью».

Теперь личность этого человека, и без того трудноуловимая, на долгие отрезки как бы растворяется и не поддаётся истолкованиям биографов. Напрасно окружение Гитлера силилось придать его образу яркость, своеобразие, человеческое обаяние. Даже его могучая пропаганда, владевшая практически любым трюком, перед лицом этой задачи оказалась вскоре у предела своих возможностей. Красноречивое свидетельство тому — дневники и описания событий, вышедшие из-под пера Геббельса или Отто Дитриха. Бесконечные истории о Гитлере-друге детей, уверенном навигаторе, чутьём выводящем заплутавший самолёт на верный маршрут, «абсолютном» стрелке из пистолета или находчивом полемисте среди «красной черни» всегда казались вымученными и только усиливали впечатление о Гитлере как человеке, далёком от жизни, — а между тем задача подобных историй была как раз обратной. Только кое-какие внешние атрибуты, за которые он упорно держался, придавали ему некоторую индивидуальность: плащ-дождевик, фетровая шляпа или кожаный шлем, стек, которым он постоянно пощёлкивал, характерные чёрные усики и неподражаемая чёлка. Но поскольку последние не менялись, они одновременно как бы и лишали его личностных черт. Геббельс наглядно описал всю ту лихорадочную, поглощавшую любую индивидуальность суету, которая тогда изнуряла всех руководящих деятелей партии:

> «Снова начинается неистовство. Работать приходится, не глядя на то, идёшь, едешь или летишь. Самые важные переговоры ведутся на лестницах, в подъездах домов, у дверей, по дороге на вокзал. Просто не успеваешь опомниться. Тебя несёт по всей Германии поездом, машиной, самолётом. Приезжаешь в какой-нибудь город за полчаса до начала, иногда и позже, сразу же поднимаешься на трибуну и говоришь… Когда речь окончена, ты в таком состоянии, словно тебя только что во всей одежде вытащили из горячей ванны. Потом снова — в машину, двухчасовой переезд…»[241].

За эти последние полтора года, ещё до того, как такой неустанный бег приведёт Гитлера к успеху, обстоятельства только пару раз вырвали его из этой безликой суеты и на мгновение бросили свет на его личный характер.

Ещё в середине сентября предыдущего года, как раз в начале гонки через всю Германию, Гитлер, только что выехавший из Нюрнберга и направлявшийся на предвыборное собрание в

Гамбург, получил известие, что его племянница Гели Раубаль покончила с собой в их совместной квартире на Принцрегентенштрассе. Гитлер был потрясён, по словам очевидцев — испуган и растерян. Он немедленно повернул назад. Многое говорит в пользу предположения, что, пожалуй, ни одно событие личной жизни ни до, ни после этого не переживалось им так болезненно. Несколько недель он был на грани нервного срыва, твердил, что хочет уйти из политики, а в моменты помрачения не раз намекал, что намерен покончить счёты с жизнью: это опять было то эмоциональное состояние — броситься в бездну, отбросить все, — которым сопровождалась каждая полоса неудач в его жизни. Оно заново приоткрывало завесу над тем, под каким высоким напряжением проходило все его существование, скольких постоянных усилий воли стоило ему его стремление быть тем человеком, которым он хотел казаться. Энергия, которую он излучал, была отнюдь не эманацией могучего характера, а скорее актом насилия невротика над собственной натурой. В полном соответствии со своей максимой о том, что величие не знает чувств, он на несколько дней уединился от всех в доме на Тегернзее. Как утверждают люди из его близкого окружения, он и позже говорил о своей племяннице нередко со слезами на глазах; но по исписанному правилу никто не смел напоминать о ней. Верный своей склонности к патетике, включавшей в себя и любовь к смерти, он и память о племяннице превратил в предмет преувеличенного культа. В её комнате в «Бергхофе» все осталось так, как было при её жизни, а в помещении, где её обнаружили лежащей на полу, был установлен её бюст, и много лет Гитлер в годовщину смерти Гели запирался там на несколько часов для размышлений[242].

Это преувеличенное, экзальтированное обожание, странное на фоне обычной для Гитлера отчуждённости и холодности в отношениях с людьми, тем не менее характерно для его реакции на смерть племянницы. Кое-что заставляет думать, что поведение его определялось не только склонностью к театральщине и жалостью к самому себе. Вероятно, в этом эпизоде следует видеть одно из ключевых событий его личной жизни, навсегда наложившее отпечаток на его отношение к противоположному полу, и без того перегруженное комплексами.

Со времени смерти матери женщины, если верить имеющимся свидетельствам, играли в его жизни только побочную роль — или роль заменителя. Мужское общежитие случайные знакомства в мюнхенских пивных подвалах, ночлежки, казармы и партия, дух которой определялся военной формой и мужскими компаниями — таков был мир Гитлера, а дополнение к этому

миру — бордель, хоть и презираемый им, фривольные мимолётные связи, с которыми он при его тяжёлом угрюмом характере мирился, очевидно, не так-то легко. Его отношение к женщинам выразилось ещё в его эмоционально странно обеднённой симпатии к его юношескому кумиру Стефании. Среди фронтовых товарищей он считался «женоненавистником»[243]. И хотя он постоянно сохранял тесные общественные связи, постоянно был окружён множеством людей, биография его прямо-таки пугающе безлюдна — в ней нет отдельных, индивидуальных связей. Характерный для него страх раствориться в другом человеке включал в себя, по наблюдению одного из членов его окружения, и постоянную боязнь «стать из-за женщины предметом пересудов».

Только с появлением Гели Раубаль, питавшей к «дяде Альфу» мечтательную, поначалу, вероятно, полудетскую склонность, Гитлер как будто начал освобождаться от своих комплексов. Может быть, страх перед непринуждённым, не стилизованным поведением, перед вынужденным отказом от позы государственного человека, перед психологическим самообнажением все же смягчался родственными отношениями; не исключено, однако, и то, что его чувства к Гели были более сомнительного происхождения: склонность его отца к шестнадцатилетней девочке, которую он взял в свой дом и сделал своей возлюбленной ещё до того, как она стала матерью Адольфа Гитлера, была не лишена элементов инцеста. Ни одна из женщин в жизни Гитлера — ни Женни Хауг, сестра его шофёра, ни Хелена Ханфштенгль или Юнити Митфорд, ни все те, кого он в стиле австрийского «интима» (в том числе и в разговоре с другими) называл «моя принцессочка», «моя графинечка», «телёночек» или «плутовочка», ни даже Ева Браун — так и не заменили ему Гели Раубаль. Она была его единственной и, как бы неуместно ни звучало это слово, большой любовью, к которой примешивались и ощущение запретности этого чувства, и настроения Тристана, и трагическая сентиментальность.

Тем более поразительно, что он при всём своём несомненном психологическом чутьё, очевидно, не понимал двусмысленного положения этой неуравновешенной, импульсивной девушки. Никто так и не знает, была ли она действительно его любовницей, хотя некоторые исследователи это утверждают и истолковывают её самоубийство как отчаянную попытку найти выход из запутанных отношений с дядей, ставших для неё невыносимым грузом. Другие пишут даже, что девушку довели до этого некие противоестественные требования предрасположенного к извращённости Гитлера. В третьей же

версии вообще оспаривается какая-либо сексуальная связь между Гитлером и его племянницей, но зато подчёркивается, что племянница была не слишком разборчива и строга по отношению к военизированному персоналу Гитлера[244]. Во всяком случае, достаточно достоверно, что она наслаждалась славой своего дяди и наивно верила, что отблеск этой славы падает и на неё.

Однако, несмотря на многолетние общие мечты, походы в оперу и радости пикников на природе и совместных сидений в кафе, связь эта мало-помалу, вероятно, приобретала тягостный характер. Теневая сторона характера Гитлера — его мучительная ревность, его завышенные требования — а он, например, посылал свою весьма средне одарённую и к тому же почти лишённую честолюбия молоденькую племянницу к знаменитым учителям пения, чтобы они сделали из неё вагнеровскую героиню, — как и вообще его бесконечное вмешательство в её жизнь все больше ограничивали возможности личного самовыражения девушки. В окружении Гитлера знали, что перед самым его отъездом в Гамбург между ними произошло бурное, проходившее на повышенных тонах объяснение из-за того, что Гели хотелось на некоторое время переехать в Вену. Скорей всего, именно эти запутанные и в общем действительно безвыходные обстоятельства в конце концов и толкнули её на роковой шаг. Политические противники Гитлера распространяли самые нелепые слухи, которые именно поэтому мгновенно подхватывались публикой. Так, они утверждали, что девушка застрелилась, т. к. была якобы беременна от Гитлера, обвиняли самого Гитлера в убийстве или же заявляли, что с ней расправился «фемегерихт»[245] СС, чтобы она не отвлекала своего дядю от исторической миссии. Гитлер жаловался временами, что эта «ужасная грязь» убивает его, и мрачно угрожал, что не забудет своим противникам злословие тех недель[246].

Как только он пришёл в себя от потрясения, он всё же поехал в Гамбург и там под ликование тысяч собравшихся граждан произнёс одну из тех будоражащих речей, которые доводили публику до коллективного исступления. Она жадно ждала мгновения раскрепощения, острого наслаждения, разрешающегося в визгливых криках. Аналогия слишком прозрачна, чтобы быть обойдённой и позволяет истолковывать ораторские триумфы Гитлера как феномен сексуальности, направленной в пустоту. Очевидно, не без причины Гитлер сравнивал толпу как понятие с «воплощением женского начала». Достаточно перелистать соответствующие страницы его книги «Майн кампф», достаточно одного взгляда на тот эротический

пыл, который пробуждали в нём идея массы, его представления о ней и который позволял ему добиваться все же примечательной стилистической свободы выражения, чтобы понять, чего искал и что находил этот неконтактный, одинокий человек, стоя на высокой трибуне над послушной массой во время этих коллективных бдений, которые со временем стали для него почти наркотиком: однажды он, если верить источнику, в порыве саморазоблачения назвал массу своей «единственной невестой»[247]. Неотразимость его подсознательных самоизвержений была не в последнюю очередь обусловлена именно тем, что всё это было обращено к массе, измученной долгой нуждой, вынужденной ограничиваться элементарными потребностями и реагирующей поэтому «подсознательно», т. е. настроенной на ту же волну, что и Гитлер. Магнитофонные записи того времени ясно передают своеобразную атмосферу непристойного массового совокупления, царившую на тех мероприятиях: затаённое дыхание в начале речи, резкие короткие вскрики, нарастающее напряжение и первые освобождающие вздохи удовлетворения, наконец, опьянение, новый подъем, а затем экстатический восторг как следствие наконец-то наступившего речевого оргазма, не сдерживаемого уже ничем. Поэт Рене Шиккеле как-то сравнил речи Гитлера с «сексуальным убийством», да и многие другие современники пытались описать наэлектризованную, чувственную атмосферу этих митингов, по сути дела, подобным же образом, в выражениях, больше подходящих к Вальпургиевой ночи и шабашу на Блоксберге[248].

И всё же было бы ошибкой видеть в этом рассчитанном разгуле, этом сексуальном суррогате весь секрет ораторских успехов Гитлера. Скорее, и здесь дело было опять-таки в странной, но для него столь характерной смеси беспамятства и расчёта. Стоя в свете прожекторов, бледный, жестикулирующий, громко и хрипло бросающий в зал брань, слова обвинения и ненависти, Гитлер все же постоянно очень точно контролировал свои эмоции, и вся его иступленность не мешала ему точно отмеривать долю инстинктивного в своих речах. Снова мы имеем здесь дело с двойственностью, пронизывавшей все его поведение и составлявшей одну из основ его натуры: это накладывало свой отпечаток и на его ораторскую тактику не меньше, чем на тактику «легальности», а впоследствии на методы завоевания власти или внешнеполитические манёвры. Даже самый режим, который он создал, воспринял эту его черту и был однажды прямо так и назван «двойным государством»[249].

Триумфы этого периода отличались от побед прежних лет как раз явно растущей долей обдуманной рациональности в искусстве

овладения аудиторией и расширенным применением хорошо отработанных приёмов. Успех Гитлера по-прежнему основывался на том, что он всякий раз доходил до крайней точки, только теперь он стал радикальнее не только в эмоциях, но и в рациональном расчёте. Ещё в одной из речей в августе 1920 г. он сказал, что его задача — исходя из трезвой оценки, «будить, будоражить и разжигать инстинктивное начало»[250]. Это позволяет понять, в чём он видел секрет своих тогдашних массовых успехов. Но только теперь, в неизмеримо более острой обстановке мирового экономического кризиса, это трезвое понимание позволило ему найти и применить в своей агитации смелые стилевые методы для достижения той психологической «капитуляции», которую он называл целью любой пропаганды. При планировании гитлеровских кампаний для случайностей места не оставалось, всякая деталь, как выражался Геббельс, «была заорганизована до конца»: маршрут, наращивание числа людей, обслуживающих мероприятие, численность участников каждого собрания, точно определяемое соотношение добровольцев и публики как таковой или, для усиления эффекта ожидания, намеренное затягивание момента появления самого Гитлера с помощью режиссёрских мизансцен вроде выноса знамён, звуков маршей и экстатических криков «Хайль Гитлер!», — а затем внезапное появление оратора в свете вспыхивающих прожекторов перед толпой, уже искусно подогретой, жаждущей зрелища и внутренне готовой к вихрю восторга. Когда-то, на заре существования партии, Гитлер устроил митинг в первой половине дня и не сумел установить никакой связи, «ни малейшего контакта» со слушателями, «что повергло его в глубочайшее уныние». С тех пор он назначал все мероприятия только на вечерние часы и придерживался этого правила по возможности даже во время полётов по Германии, хотя из-за наращивания числа выступлений приходилось ужимать и без того сжатые сроки проведения митингов до нескольких часов, что доставляло немало трудностей. Ему случалось и запаздывать к назначенному часу, как, например, при полёте в Штральзунд, куда он прибыл на митинг около половины третьего ночи. Но 40-тысячная толпа прождала его почти семь часов, и когда он окончил свою речь, уже занималось утро. Такое же значение, как времени, он придавал и месту. «Таинственная магия» затемнённого байрёйтского фестивального театра во время представления «Парсифаля» или же «искусственно созданный и всё же таинственный полумрак католических церквей» были, как он сам признавал, почти непревзойдёнными моделями психогенных помещений, которые уже заранее

подготавливают аудиторию к работе пропагандиста «по ограничению свободы воли людей»[251].

«Ибо истинно говорю вам, — возвестил Гитлер в обычном для него проповедническом тоне, — каждое собрание — это противоборство двух противоположных сил»; в его понимании природы таких противоборств агитатору были дозволены любые средства. Каждое из его рассуждений должно было служить «отключению мышления», «суггестивному параличу», созданию «состояния готовности к фанатическому самопожертвованию». Массовое собрание и само было в не меньшей степени, чем помещение, время, маршевая музыка и световые эффекты, оружием психотехнического ведения борьбы. Когда человек, пояснял Гитлер, «со своего места работы или с большого завода, где он кажется себе совсем маленьким, впервые приходит на массовое собрание и видит вокруг себя многие тысячи единомышленников; когда он, этот ищущий индивид, подпадает под мощное, пьянящее воздействие суггестивного воодушевления трех-четырех тысяч человек; когда видимый успех и согласие тысяч подтверждают в нём сомнение в правильности его прежних убеждений — тогда он подпадает под волшебное влияние того, что мы называем внушением. Желания и устремления, но также и сила тысяч людей накапливаются в каждом из них. Человек, пришедший на такое собрание полным сомнений и колебаний, покидает его, будучи внутренне гораздо более сильным: он стал членом некоего сообщества»[252].

Гитлер считал, что его режиссёрские находки и демагогические фразы, в которых, как он хвастливо заявлял, «учтены все человеческие слабости», прямо-таки с «математической точностью» обречены на успех. Во время своего первого полёта по Германии он после речи в Герлице случайно открыл для себя, какое магическое воздействие на десятки тысяч напряжённо всматривающихся людей оказывает зрелище освещённого самолёта на фоне ночного неба[253]; он снова и снова стал прибегать уже намеренно к этому приёму, чтобы вызвать в людях то настроение жертвенности и жажды вождя, которому он потакал, предлагая себя в качестве идола и кумира. Он, не таясь, публично возносил хвалу всевышнему за то, что тот дал движению людей, проливавших кровь, и мучеников. После первого поражения на президентских выборах Гитлер упрекал партийную печать в том, что она «скучна, монотонна, лишена самостоятельности мысли и всякого подобия темперамента», и сердито спрашивал, как она пропагандистски использовала смерть многих штурмовиков. Один из очевидцев вспоминал слова Гитлера о том, что наших мёртвых товарищей «похоронили под

звуки барабанов и флейт, а партийные газетёнки написали об этом напыщенно, жалобно и нудно. Почему в витринах редакций партийных газет не показали народу покойников, их раздроблённые черепа, их исполосованные ножами окровавленные рубахи? Почему сами газеты не воззвали к народу у гробов, не призвали его к мятежу, к восстанию против убийц и их закулисных покровителей, вместо того, чтобы публиковать прописные истины, жалкие и политически половинчатые? Для матросов броненосца „Потёмкин“ достаточно было скверной жратвы, чтобы совершить революцию, а нас и смерть наших товарищей не подвигает на национальную борьбу за освобождение»[254].

Однако снова и снова все его мысли, вся его любовь к психологии обращаются к массовым митингам, которые «воспламеняли в жалком, маленьком человеке гордое сознание того, что пусть он и червь, однако он — часть большого дракона, от огненного дыхания которого однажды погибнет в пламени ненавистный буржуазный мир»[255]. Ход мероприятия основывался на неизменном тактическом и литургическом ритуале, который по мысли Гитлера должен был все больше подчёркивать значимость и эффектность его появления перед публикой. Пока знамёна, маршевые ритмы и крики ожидания погружали массы в состояние предпраздничной суматохи, сам он, нервничая, сидел в гостинице или каком-либо партийном помещении, беспрерывно пил минеральную воду и выслушивал частые донесения о настроении в зале. Нередко он давал ещё несколько полезных указаний или подсказывал особо тщательно сформулированные сообщения для передачи в зал. Только когда нетерпение масс грозило снизиться, а искусственно подогреваемая лихорадочная жажда слияния схлынуть, он отправлялся в путь.

Он предпочитал длинные коридоры, переход по которым ещё увеличивал напряжение, и всегда входил в зал не через сцену, а через проход для публики. В «Баденвайлерском марше» у него была своя, только для него предназначенная выходная тема, и её приближающиеся издалека звуки заставляли утихнуть шум в зале и в едином порыве срывали людей с мест. Застыв с поднятыми для приветствия руками, они исходили криком, доведённые всеми этими манипуляциями до состояния полного блаженства: ОН пришёл. Многие фильмы того времени донесли до нас эту картину: в свете следующих за ним прожекторов он шествует между беснующимися, рыдающими живыми шпалерами, в первых рядах которых часто стояли женщины. «Via triumphalis… из живых людских тел», как высокопарно писал Геббельс[256].

И на этом фоне сам Гитлер, замкнутый, как бы недоступный для этой жажды психологического изнасилования. Он не терпел ничьих вступительных речей или зачитывания приветствий, все это только отвлекало внимание от его собственной персоны. На несколько мгновений он задерживался у сцены, машинально пожимал чьи-то руки, молча, с отсутствующим видом и беспокойным взглядом, но в то же время готовый, как медиум, впитать в себя силу, исходящую от кричащей толпы, чтобы вознестись над ней же.

Первые слова негромко, как бы ища опоры, падали в бездыханную тишину, часто им предшествовала минутная пауза, нужная ему для концентрации и делавшая ожидание слушателей невыносимым. Начало было монотонным, обычным, чаще всего связанным с легендой его восхождения: «Когда я, безымянный фронтовик, в 1918 году… „ Таким формализованным началом он не только ещё и ещё подстёгивал ожидание уже во время самой речи, но и получал возможность почувствовать атмосферу зала и настроиться на неё. Какой-нибудь выкрик из зала мог его внезапно вдохновить на ответ или острое замечание, и тогда вспыхивали долгожданные первые аплодисменты. Они давали ему чувство контакта, ощущение восторга, и „четверть часа спустя“, замечал один из современников, «наступает то, что можно описать только примитивной старинной формулой: в него вселяется дух“[257]. Тогда Гитлер, беспорядочно, импульсивно жестикулируя, поднимая голос, приобретающий металлический тембр, до немыслимых нот, извергал из себя слова. Нередко в пылу заклинаний он закрывал себе лицо сжатыми кулаками и закрывал глаза, весь во власти своей замещённой сексуальности.

Его речи были тщательно подготовлены и произносились строго по записям, всегда находившимся у него под рукой, но как феномен они рождались все же в тесном общении, в обратной связи с аудиторией. Одному из его временных попутчиков казалось, что Гитлер ощущения своих слушателей просто впитывает в себя с воздухом, и именно эта присущая ему необыкновенная чуткость к реакции публики, распространявшая вокруг него ни с чем не сравнимую женственную ауру, создавала возможность того оргиастического соединения с публикой, в котором она «познавала его» в библейском смысле этого слова. Ни психологическое чутьё, ни расчётливая режиссура его митингов сами по себе не дали бы ему такой колдовской власти, если бы он не разделял с массой самые потаённые движения её души и не сосредоточил бы в себе самым наглядным образом все её извращённые реакции. Стоя перед его ораторской трибуной, она видела в нём себя, становилась объектом обожания и

поклонения; это был взаимный обмен патологическими реакциями, соединение индивидуальных и коллективных комплексов внутреннего кризиса в опьяняющем празднике вытеснения этих комплексов.

Поэтому постоянный рефрен, что Гитлер, мол, говорил каждому собранию только то, что оно хотело слышать, лишь весьма поверхностно отражает суть дела. Он отнюдь не был краснобаем-оппортунистом, льстящим толпе, но выражал чувства тысяч и тысяч людей — их потрясение, их страх и ненависть, объединяя их и превращая в динамичный фактор политики. После одного из массовых митингов в Мюнхене американский журналист Х. Р. Никербокер сделал такую запись: «Гитлер выступал в цирке. Он был евангелистом, несущим своё слово собравшимся на митинг, был Билли Сэнди немецкой политики. Его новообращённые послушно следовали за его мыслью, смеялись вместе с ним, разделяли все его чувства. Вместе с ним они издевались над французами. Вместе с ним они ошикивали республику»; в ходе таких контактов ему «удавалось ощутить собственный невроз как некую универсальную истину, а коллективный невроз превратить в резонатор собственной одержимости»[258]. Именно по этой причине он так зависел от производимого им впечатления, ему необходимы были аплодисменты, чтобы полностью раскрыть свой ораторский дар. Малейшее несогласие в зале выбивало его из колеи, и штурмовики, с самых первых выступлений постоянно его окружавшие, нужны ему были не столько как служба порядка, сколько для того, чтобы подавлять любое возражение, любой намёк на сопротивление и угрозами доводить ликование до нужной точки. Многие свидетельствуют, что Гитлер в неприязненной аудитории вдруг терял нить, прерывал выступление и немедленно покидал помещение.

Но ликование толпы было ему нужно и чисто физиологически, так как когда-то оно пробудило его к жизни, а теперь поддерживало в нём тонус и несло все дальше вперёд. Впрочем, он и сам говорил, что в обстановке ликования и восторга чувствует себя «совсем другим человеком». Историк Карл фон Мюллер, слышавший ранние упражнения участника своего семинара по ораторскому искусству, говорил, что у него было такое чувство, будто Гитлер заражает слушателей возбуждением, которое потом передаётся ему самому и заставляет крепнуть его голос. Конечно же, он был выдающимся тактиком, способным организатором в делах власти, недюжинным психологом и, несмотря на все срывы, случавшиеся холостые ходы и низменные черты характера, одним из

необычнейших явлений общественной жизни тех лет. Но ту гениальность, которая казалась неодолимой и далеко уносила его от тёмных сторон жизни, он обретал только перед лицом большого скопления людей. Тогда изрекаемые им банальности обретали звучание мощного пророчества, и он, казалось, в самом деле превращался в того вождя, изображать которого в повседневности ему было не так просто. Основным его душевным состоянием была апатия в сочетании с типично австрийской «утомлённостью», и ему постоянно приходилось бороться с искушением удовольствоваться хождением по кино, в оперетту на «Весёлую вдову», шоколадными пирожными в Карлтонских кафе или бесконечными разговорами об архитектуре. И только лихорадочная суета, поднимавшаяся вокруг его выступлений, подвигала его к тому постоянному волевому усилию, которое придавало ему не только энергию, настойчивость и самоуверенную агрессивность, но и психологическую стойкость во время необыкновенно изнурительных кампаний и полётов по Германии. Это был наркотик, необходимый ему в этом судорожном существовании. Во время своей первой частной встречи с Брюнингом в начале октября 1931 года он, по свидетельству канцлера, произнёс часовой монолог, в ходе которого прямо-таки на глазах становился все резче и круче — его воодушевляли колонны штурмовиков, которые по его приказанию через равные промежутки времени с песнями маршировали под окнами. Очевидно, это делалось как для устрашения Брюнинга, так и для «подзарядки» самого Гитлера[259].

Именно глубинная связь с массами позволила Гитлеру подняться над образом уверенного в своих приёмах демагога, и, например, обеспечила ему несравненно больший успех, чем Геббельсу, хотя тот и действовал более тонко и хитроумно. Мысль о том, чтобы нанять для своих предвыборных путешествий самолёт, именно в этом контексте обретает черты гениальности, так как придаёт его выступлениям налёт мессианства. Словно избавитель, Гитлер спускался с небес к бурлящим толпам, покорно ждущим его час за часом, и стряхивал с них отупение и отчаяние, чтобы пробудить их к «подгоняющей вперёд истерии», как он сам это охарактеризовал. Геббельс как-то назвал эти митинги «литургиями нашей политической работы», а одна гамбургская учительница в апреле 1932 года писала после предвыборного митинга, собравшего 120 тыс. человек, о картинах «трогающей душу веры» в Гитлера как «опору и спасителя, как избавителя от великих бед». Нечто похожее высказывала и Элизабет Ферстер-Ницше, сестра философа, после одной из

поездок Гитлера в Веймар: как она писала, он «производил впечатление фигуры скорее религиозной, чем политической»[260].

Вот эти-то метафизические элементы в гораздо большей степени, чем идеологические, и привлекли к нему стольких людей и обеспечили триумфальный подъем на том этапе. Массовый успех Гитлера был прежде всего феноменом религиозно-психологического свойства, который выявлял не столько политические убеждения, сколько душевное состояние людей в каждый данный момент. Разумеется, Гитлер в этом смысле отталкивался от обширной системы традиционных норм поведения и реагирования на те или иные жизненные ситуации: от предрасположенности немцев к авторитарному порядку и иррациональному типу мышления, от глубоко укоренённой потребности следовать за каким-то авторитетом или неадекватного отношения к политике. Но такими достаточно общими точками соприкосновения совпадение это в основном и исчерпывалось. Так, особый резонанс гитлеровских призывов к ненависти объясняется не каким-то чрезмерным антисемитизмом немцев, а эффектным возвращением к старому, испытанному приёму создания видимого образа врага. И не в том дело, что он мобилизовал якобы единственную в своём роде воинственность немцев, но он апеллировал к чувствам самоуважения и национального своенравия, которые так долго игнорировались другими. Массы шли за ним вовсе не потому, что картинами украинских равнин он разжигал безудержную империалистическую жадность нации, а потому, что они стосковались по гордому сознанию своей новой причастности к формированию истории. Поразительно малое число людей, читавших «Майн кампф», хотя по тиражу книга побила все рекорды, до известной степени объясняет то духовное равнодушие, с которым они всегда относились к конкретным программам Гитлера.

Вопреки более поздним утверждениям, подъем и усиление НСДАП не были большим заговором немцев против всего мира во имя империалистических и антисемитских целей. В речах Гитлера в годы массового притока людей в его партию удивительно мало говорится о конкретных намерениях и почти ничего даже о его идеологических «пунктиках» — антисемитизме и жизненном пространстве. Наоборот, бросается в глаза зыбкая, очень общая тематика этих речей и обилие в них ни к чему не обязывающих мировоззренческих метафор. Что же касается наглядного определения целей, то тут они далеко отстают от откровенной книги «Майн кампф». Всего за несколько месяцев до начала второй мировой войны Гитлер в разгар одного из

спровоцированных им кризисов признался в том, что годами придерживался «тактики невинности» и что обстоятельства заставляли его носить маску миротворца[261].

По мере того, как он проникался сознанием своего ораторского таланта, в его речах оставалось все меньше содержательности и конкретности. Он полагался на своё формальное мастерство. Его длительный успех наглядно показывает, что национал-социализм был не столько идеологическим, сколько харизматическим движением и ориентировался не на какую-либо программу, а на вождя. Только фигура вождя придавала той расплывчатой смеси идей, которая была на поверхности, некий контур и стержень, только вождь вообще делал возможным рождение этого движения из его первоначально туманного, призрачного состояния. У Гитлера была интонация, увлекавшая людей за собой, гипнотический голос, и сколько бы ни говорилось о том, что Гитлер ловко использовал чужие несбывшиеся мечты и притязания на гегемонию, все же большинство людей, встречавших его с восторгом на ораторской трибуне, хотели просто забыть хоть на время о своей крайней усталости и панике и вовсе не думали о Минске или Киеве, не говоря уж об Освенциме. Они хотели прежде всего перемен. Их политические взгляды вряд ли выходили за рамки слепого отрицания существующего положения вещей.

Гитлер лучше всех своих конкурентов и справа, и слева понял, какие возможности таил в себе этот комплекс отрицания. Его агитаторская тактика заключалась, собственно, всего-навсего в сочетании клеветы и провидческих картин, исходящих ненавистью обвинений в адрес настоящего и обещаний великого будущего; это были бесконечные вариации на тему восхваления сильного государства, возвеличивания нации, требования национально-расового возрождения и свободы действий в политике. Особенно он любил апеллировать к немецкой жажде единения, негодовал по поводу «самоубийственного внутреннего разброда» в недрах самой нации, называл классовую борьбу «религией людей с комплексом неполноценности», расхваливал своё движение как попытку «навести мосты» между её отдельными слоями или же запугивал предсказанием того, что немцы могут стать «удобрением для культуры» других наций мира.

Но постоянным его лейтмотивом, средством и самовозбуждения, и возбуждения масс были нападки на настоящее: «разрушение рейха», ослепление нации, угроза марксизма, «противоестественность многопартийного

государства», «трагедия мелких вкладчиков», голод, безработица, самоубийства. Нарочито общие формулировки в описаниях бедственного положения не только давали ему возможность найти наиболее общий знаменатель для масс своих последователей; Гитлер к тому времени уже понял: внутренние раздоры в партиях всегда являются следствием слишком конкретных обещаний, а неясность целей, наоборот, увеличивает силу любого движения. Массы, а в конечном итоге и власть должны будут достаться тому, кто сумеет сочетать самое радикальное отрицание настоящего с самыми неопределёнными обещаниями в отношении будущего. Так, прибегая к одной из таких типичных, бесконечно варьируемых комбинаций картины и антикартины, проклятья и утопии, он говорил: «Разве это по-немецки, это дробление нашего народа на тридцать партий, из которых ни одна не ладит с другими? А я говорю всем этим горе-политикам: „Германия станет одной единственной партией, единой партией великого народа-героя!“[262].

Одновременно по-агитаторски резкое отрицание действительности давало ему возможность для той простоты изложения, в которой он сам видел одну из причин своего успеха и, больше того, блестящее подтверждение собственного пропагандистского кредо: «Любая пропаганда должна быть народной и в своём интеллектуальном уровне равняться на восприятие самых ограниченных слушателей». Примером может служить отрывок из одного выступления в марте 1932 года, в котором Гитлер упрекал режим в том, что ему было дано долгих тринадцать лет, чтобы проявить свои возможности, а он вместо того привёл только к «серии катастроф»:

> «С самого первого дня революции и вплоть до эпохи подчинения и порабощения, вплоть до времени договоров и чрезвычайных законов мы видим только ошибку за ошибкой, крах за крахом, бедствие за бедствием; робость, летаргия, безнадёжность — вот постоянные вехи этих катастроф… Крестьянство сегодня в упадке, ремесло вот-вот рухнет, миллионы людей потеряли свои с трудом накопленные гроши, миллионы других остались без работы. Все, что было раньше, опрокинуто, все, что раньше казалось великим, свергнуто. Единственное, что нам осталось — это те люди и те партии, которые повинны в наших несчастьях. Они все ещё у руля»[263].

Вот такими тысячекратно повторяемыми и варьируемыми, очень убедительно звучащими обвинениями, будоражащими

призывами к возмущению, туманными рецептами и советами, касающимися Отечества, чести, величия, мощи и мести, он и мобилизовал массы. Ему было важно, взвинчивая своих слушателей, ещё больше усилить хаос, против которого он так сурово и яростно выступал. Гитлер рассчитывал на все то, что разлагало и расшатывало существующие отношения, ибо динамика событий подтачивала систему и в итоге играла ему на руку. Никто другой так убедительно, решительно и эффективно не формулировал уже невыносимое стремление к переменам. Люди настолько отчаялись, писал Харольд Николсон в дневнике во время пребывания в Берлине в начале 1932 года, что «примут все, что хотя бы немного напоминает собой альтернативу»[264].

Агитация Гитлера, будучи неопределённой по содержанию и направленной единственно на развязывание реактивных сил общества, именно в силу этих обстоятельств позволяла ему не касаться социальных конфликтов и топить противоречия в многословных тирадах. Геббельс писал в дневнике об одной из речей Гитлера, которую он произнёс в полночь в берлинском районе Фридрихсхайн: «Там сплошь совсем маленькие люди. Речь фюрера их очень растрогала». Но такое же действие его речи оказывали и на очень больших людей, как и на группы, находящиеся между обоими этими полюсами. Некий профессор Бурмайстер рекомендовал его как «кандидата немецких деятелей искусства» и хвалил «его ораторское искусство, своей сердечностью согревающее душу». После двухчасового выступления Гитлера перед руководителями аграрного союза[265] и представителями дворянства Бранденбурга один из крупных аграриев попросил «от имени всех присутствующих» разрешение не открывать дискуссию: конечно, речь шла о кризисах, интересах и социальных конфликтах, но «не следует нарушать чем бы то ни было святости только что пережитого». Со скептиками, говорил Гитлер в оправдание своего постоянного требования верить ему безоглядно, «невозможно, разумеется, завоевать мир, с ними нельзя штурмовать ни небеса, ни государство»[266]. Из пёстрой смеси его лозунгов, философской эклектики и тонко продуманной аффектации каждый мог выбрать то, что сам в них вкладывал: для перепуганного бюргерства это было обещание порядка и возвращение его социальной значимости, для революционно настроенной молодёжи — проект нового, окрашенного в романтические тона общества, для деморализованных рабочих — социальная защищённость и хлеб, для военнослужащих стотысячной армии — надежда на карьеру и ордена, для интеллектуалов, наконец, — смелый, живительный ответ на модные настроения, в основе которых лежали презрение

к разуму и языческое обожествление жизни. Вся эта многозначность основывалась не столько на лжи и обмане всех и вся, сколько на способности уловить основной тон аполитичного типа поведения. Подобно Наполеону, он мог сказать о себе, что каждый сам стремился попасть в его сети и что к моменту его прихода к власти не было ни одной группы, которая не возлагала бы на него каких-то надежд[267].

1932 год был в целом, несомненно, временем величайших ораторских триумфов Гитлера. Судя по некоторым отдельным свидетельствам его ближайшего окружения, он в прежние годы говорил ярче и убедительнее, а позже, на великолепно ритуализованных массовых мероприятиях в годы своего канцлерства, собирал гораздо большую, поистине уже неисчислимую аудиторию, но никогда ни до, ни после того он не достигал такого «алхимического» слияния всех мотивов: тоски по избавлению, личного сознания своей харизматической проповеднической силы и исключительной устремлённости на одну-единственную цель и веры в собственное избранничество — и все это на драматическом фоне бедственного положения страны. Для самого Гитлера тот отрезок времени стал тем глубинным переживанием, которое наложило на него неизгладимую печать и, в качестве прецедента, долго ещё определяло его решения. Это ощущение сохранилось в мифе о «времени борьбы», прославлявшемся как «героический эпос», «преодолённый ад» или «борьба титанических характеров»[268].

Точно просчитанному ритуалу открытия митинга соответствовала и его заключительная часть. В шум и восторженные крики врывалась музыка оркестра, исполнявшего «Германскую песнь» или один из партийных гимнов. Это должно было не только закрепить впечатление, сплочённости и заговорщического единства, но и просто задержать собравшихся, пока Гитлер, ещё не пришедший в себя, весь мокрый от пережитого напряжения, не покидал помещение и не садился в ожидавший его автомобиль. Иногда он ещё несколько минут стоял, приветствуя присутствующих и машинально улыбаясь, рядом с шофёром, в то время как толпа старалась придвинуться к нему как можно ближе, или пока штурмовики и эсэсовцы строились в широкие колонны для факельного шествия. Сам же он, усталый, без сил, растративший всего себя, отправлялся в гостиничный номер, и это странное состояние опьянения и отупения, наступавшее после его речей, должным образом завершает картину вакханалий, какими являлись его выходы на большую публику. Одному из современников, встретившему его в такие мгновения, когда он выходил, притихший, с остекленевшим

взглядом, адъютант Брюкнер преградил дорогу со словами: «Оставьте же его в покое, он только что кончил!» А один из гауляйтеров нашёл Гитлера уже наутро после одной из речей в самой задней комнате анфилады, которую он занимал со своей свитой. Там он «с усталым и унылым видом сидел в одиночестве, сгорбившись, за круглым столом и медленно, с неохотой ел свой обычный овощной суп»[269].

Но одно только возбуждение, вызываемое агитацией Гитлера, конечно, никогда не привело бы его к власти. Правда, выборы в ландтаг Пруссии принесли НСДАП 36, 3 процента голосов, в результате чего с перевесом прежней коалиции социал-демократов и партий центра было покончено. Желанного абсолютного большинства однако же не получилось — так же как и тремя месяцами позже, на выборах в рейхстаг 31-го июля. Тем не менее, НСДАП, получив в парламенте 230 мест (больше чем вдвое по сравнению с прошлыми выборами), далеко опередила все другие партии. Однако все указывало на то, что Гитлер в этом смысле достиг предела своих возможностей. Он переманил к себе множество членов буржуазных партий центра и правых, а некоторые из них просто поглотил, но прорыв на главном участке, в Социал-демократическую и Коммунистическую партии, ему не удался. Весь гигантский агитационный аппарат, все эти беспрерывные массовые мероприятия, шествия, акции по распространению плакатов и листовок, речи партийных ораторов, выступавших до полного изнеможения, и, наконец, третий полет Гитлера по Германии, в ходе которого он за 15 дней выступил в 50 городах, принесли партии прирост всего около одного процента голосов по сравнению с выборами в прусский ландтаг. Уже тогда Геббельс так прокомментировал этот результат: «Теперь должно что-то произойти. Мы должны прийти к власти в обозримом будущем. Иначе мы напобеждаемся на выборах до собственной гибели»[270].

Для подобных ожиданий вскоре появились и первые основания. Перейдя к системе безусловного чрезвычайного положения, Гинденбург, особенно после своего вторичного избрания, все чаще интерпретировал свою власть как личную и все своевольнее и упрямее отождествлял свои желания с благом государства. В этом его поддерживала небольшая группа безответственных советчиков, среди которых не только его сын Оскар не был, как тогда острили, «предусмотрен конституцией». Сюда относились прежде всего статс-секретарь Майснер и генерал Шляйхер, молодой консервативный депутат д-р Тереке, а кроме того, сосед Гинденбурга по имению фон Ольденбург-Янушау,

обожавший ещё со времён кайзера разыгрывать из себя «реакционного грубияна» и потрясший общественность, например, заявлением, что следует всегда иметь возможность с помощью одного лейтенанта и десяти солдат распустить парламент. К этой группе относились, далее, некоторые другие юнкера с восточного берега Эльбы; позже к ней присоединился и Франц фон Папен. Последующие месяцы были временем их активной закулисной деятельности. Гитлер возвышался над политическим ландшафтом, словно одинокая, дерзко торчащая скала, и они намеревались интегрировать его, привязать к своим интересам, а по возможности и использовать для запугивания левых сил. Это была внушённая иллюзией высокомерного превосходства последняя попытка старой Германии вернуть себе утраченную ею историческую роль.

По иронии судьбы первой жертвой этой попытки стал Брюнинг. Полагаясь на поддержку президента, канцлер настроил против себя некоторых из тех «могущественных», заручиться благоволением которых его противник Гитлер так настойчиво — и небезуспешно — старался. Отказ считаться с определёнными требованиями промышленников заставил их ещё более отойти от правительства, а теперь от него отвернулись и крупные аграрии, группировавшиеся вокруг Гинденбурга. Особенно их возмутило намерение Брюнинга поставить размер материальной помощи хозяйствам, испытывавшим трудности, в зависимость от их рентабельности, а владения, безнадёжно увязшие в долгах, предоставить переселенцам в ходе задуманной широкомасштабной акции по смягчению последствий безработицы. Немедленно начались нападки на канцлера со стороны затронутых групп, и дело дошло до того, что его стали упрекать в большевистских наклонностях. Теперь уже невозможно доказательно утверждать, какая именно мотивировка подействовала на старого и уже плохо ориентирующегося президента, подвергнутого массированному давлению, однако не подлежит сомнению, что это сыграло свою роль в его решении расстаться с Брюнингом. Помимо прочего, для Гинденбурга канцлер оставался человеком, приведшим его перед переизбранием не на ту сторону фронта, и он — опять-таки не без влияния своего окружения — не захотел простить Брюнингу того глубокого личного конфликта, в который он из-за него попал. Конец Брюнинга наступил, когда он в довершение ко всему вышел из доверия и у Шляйхера, утверждавшего, что он говорит от имени рейхсвера.

Прологом к этому стало событие, выглядевшее как энергичный шаг правительства, на деле же обострившее скрытые

противоречия внутри руководства страны и тем самым приблизившее агонию республики. Речь идёт о запрете СА и СС. Со времени обнаружения боксхаймских документов снова появились основания полагать, что национал-социалисты по-прежнему не исключали из своих планов возможность насильственного переворота. Армия партии становилась все нетерпеливее и самоувереннее, а составной частью гитлеровской тактики «легальности» являлись его тревожные раздумья на публике о том, как долго ему ещё удастся держать в узде коричневые отряды штурмовиков. Людендорф в сердцах как-то назвал Германию «оккупационной зоной СА». За два дня до первых президентских выборов Геббельс писал в дневнике: «Обсудил с руководством СА и СС меры сдерживания на ближайшие дни. Повсюду царит ужасное возбуждение. Слово „путч“ у всех на устах»[271]. А в самый день выборов Рем привёл свои соединения в состояние полной боевой готовности и приказал коричневорубашечникам окружить Берлин. Когда прусская полиция обнаружила несколько организационных центров штурмовиков, она наткнулась на бумаги, которые хоть и не содержали широкого плана переворота, но всё же предписывали подробно перечисленные меры по боевой готовности и применению силы на случай победы Гитлера на выборах и называли тайный пароль для начала путча: «Бабушка умерла»[272]. Кроме того, были найдены приказы, в которых штурмовикам восточных областей предписывалось в случае нападения со стороны Польши отказываться от какого-то бы ни было участия в обороне страны. Эта находка поразила особенно Гинденбурга. Итак, решение о запрете, состоявшееся не в последнюю очередь по ультимативному настоянию правительств некоторых земель было принято единодушно, положив конец долгим раздумьям и проволочкам.

Однако за несколько дней до опубликования запрета события приняли драматический оборот. Шляйхер, сначала согласившийся с этим планом и даже хвалившийся своим авторством, «вдруг» изменил все свои взгляды и, не найдя немедленного согласия, развил бурную деятельность против запрета. Он втянул в неё и Гинденбурга, внушив ему опасение, что запрет ещё увеличит враждебность его и без того разочарованных сторонников в стане правых. Шляйхер исходил из соображения, что предпочтительней было бы сначала распустить вместе с СА все вооружённые формирования вроде «Стального шлема» или сохраняющего верность республике «Рейхсбаннера», а затем объединить их в широкий милицейский или военно-спортивный союз, подчинённый рейхсверу. Кроме

того, его характеру интригана не соответствовало такое грубое средство как запрет; ему были по душе тонкие ходы и хитросплетения. Характерно, что его контрпредложение предусматривало целый ряд ультимативных требований к Гитлеру о демилитаризации СА. Требования были совершенно невыполнимы, но их отклонение было бы незаконным.

Не без угрызений совести и с тревожной думой о «старых боевых товарищах», состоящих в СА и СС, Гинденбург в конце концов подписал запрет, и 14-го апреля в ходе обширной полицейской акции частная армия Гитлера была распущена. Полицейские заняли её штаб-квартиры, общежития, школы и арсеналы. Это был самый энергичный удар государственной власти по национал-социализму с ноября 1923 года. Официальное обоснование, в котором в качестве причины запрета назывались не отдельные происшествия, но само существование частной армии, прежде всего снова демонстрировало стремление государства к самоутверждению: «Содержание организованных военных формирований является прерогативой государства. Если такая сила организуется в частном порядке, а государство это допускает, то возникает угроза порядку и спокойствию… Не подлежит сомнению, что в правовом государстве военная сила может быть организована только конституционными органами самого государства. Поэтому ни одна частная организация, основанная на силе, по сути своей не может быть легальным институтом… Мера по роспуску служит поддержанию самого государства»[273].

Рем, опиравшийся на агрессивность и мощь своих 400 000 человек, в первый момент, казалось, был настроен на пробу сил; но Гитлер на это не пошёл. Он без промедления включил СА в Политическую организацию и тем самым сохранил отряды штурмовиков в целости. Снова оказалось, что фашистские движения при первом же сопротивлении государства отступают без боя. Так, Габриеле д'Аннунцио в 1920 году очистил город Фиуме после одного-единственного пушечного выстрела, а теперь Гитлер в специальном призыве к легальности предписал строгое соблюдение мер запрета не из страха, а потому, что выстрел здесь означал больше, чем просто выстрел, а запрет — нечто большее, чем ограниченную защитную меру. Он означал аннулирование «фашистской конъюнктуры», союза консервативной власти с революционным народным движением.

Возможно, что уступчивость далась Гитлеру сравнительно легко, поскольку он через Шляйхера получил информацию о разногласиях внутри правительства. На этом он и строил свою дальнейшую тактику. Он держался уверенно. Вечером того самого

дня, который должен был положить начало процессу одоления гитлеровского движения, Геббельс после разговора с Гитлером в «Кайзерхофе» записал в дневнике: «Мы обсуждали кадровые вопросы в связи с приходом к власти, как если бы мы уже были в правительстве. Мне думается, ни одно оппозиционное движение не было так уверено в успехе, как наше!»[274].

Уже на следующий день Гренер получил холодное письмо от Гинденбурга, послужившее началом обширной интриги. Она сопровождалась безудержной кампанией в правой прессе, к которой присоединился хор известных представителей национального лагеря. По мнению наследного принца было «просто непонятно», что именно министр рейхсвера помогает в разгроме «великолепного человеческого материала, объединённого в рядах СС и СА и получающего там ценное воспитание». Шляйхер сам посоветовал своему начальнику-министру, который всё ещё видел в генерале своего «протеже», уйти в отставку и распространял злостные слухи (или, во всяком случае, не препятствовал их распространению) о том, что Гренер болен, что он пацифист, что он опозорил армию преждевременным рождением ребёнка от второй жены. Президенту же Шляйхер рассказывал, что в рейхсвере ребёнка называют «Нурми» — по имени финского бегуна, известного своим феноменальным спуртом[275].

Одновременно Шляйхер сообщил руководству НСДАП, что он лично не согласен с запретом СА. Он по-прежнему считал, что надо допустить национал-социалистов к участию во власти, лишив их тем самым главного козыря, и дать им в виде кабинета влиятельных специалистов нужное «обрамление» — таково было новое волшебное слово, хотя пример Муссолини должен был бы показать, что это волшебство не действует на народных трибунов, имеющих к тому же собственную армию. В конце апреля Шляйхер встретился с Гитлером для первой беседы. Геббельс писал в дневнике: «Разговор прошёл хорошо», а вскоре, после второй встречи, в которой участвовали Майснер и Оскар фон Гинденбург и в ходе которой обсуждалось уже свержение не только Тренера, но и всего кабинета Брюнинга, Геббельс отмечал: «Все идёт хорошо… Блаженное ощущение: ещё никто не подозревает, и меньше всех — сам Брюнинг».

После почти месяца непрерывной подрывной работы ситуация, наконец, разрешилась. 10-го мая Гренер защищал в рейхстаге запрет СА от яростных атак справа. Но протест Тренера, который к тому же был неважным оратором, против национал-социалистического «государства в государстве», «государства против государства» потонул в диком шуме, поднятом национал-

социалистами, так что вместе с министром, который был ошеломлён, беспомощен и, вероятно, сломлен, потерпело поражение и дело, которое он отстаивал. Во всяком случае к нему вскоре подошли Шляйхер и генерал фон Хаммерштайн, начальник управления сухопутных войск, и холодно сообщили, что он потерял доверие рейхсвера и должен уйти в отставку. Два дня спустя Гренер после безуспешного обращения к Гинденбургу подал прошение об отставке.

Однако по замыслу камарильи это было только прологом, и вслед за плащом вскоре появился и герцог. 12-го мая Гинденбург отправился недели на две в Нойдек, и когда Брюнинг выразил желание побеседовать с ним, он недовольно отмахнулся. Президент в это время испытывал давление своих собратьев по сословию, которые приготовились к атаке на качающееся кресло канцлера. Каковы бы ни были аргументы, они наверняка приводились «крупными землевладельцами и кадровыми офицерами с присущей им тяжеловесностью и без оглядки на честность и верность принципам». Поэтому Гинденбург, вернувшись в Берлин в конце месяца; был полон решимости расстаться со своим канцлером. Брюнинг сам в это время считал, что стоит на пороге внешнеполитических успехов. Ещё утром 30-го мая, отправляясь к Гинденбургу, он получил информацию, сулившую решающий поворот в вопросе разоружения. Но хитроумно задуманная протокольная процедура лишила его шанса уведомить об этом президента хотя бы в последние минуты. Годом раньше Гинденбург заверял его, что Брюнинг — его последний канцлер и он никогда с ним не расстанется. Теперь же его в несколько минут оскорбительно-бесцеремонно выставили за дверь, так как Гинденбургу не хотелось опаздывать на церемониал по случаю годовщины битвы у пролива Скагеррак[276]. Военные воспоминания и желание полюбоваться второстепенным военным зрелищем оказались сильнее аргумента, имевшего решающее значение для судеб республики[277].

В качестве преемника Брюнинга генерал фон Шляйхер убедил президента назначить человека, чья политическая карьера не случайно долго не выходила за рамки дилетантских попыток. Это был Франц фон Папен, отпрыск старинного дворянского рода из Вестфалии. Когда-то он служил в привилегированном кавалерийском полку и впервые обрёл некую, причём сразу же специфическую известность, когда его в 1916 году, во время первой мировой войны, выслали из Соединённых Штатов, где он служил военным атташе, за шпионскую деятельность; но плывя в

Европу, он по легкомыслию допустил, чтобы важные бумаги, свидетельствовавшие об этой его деятельности тайного агента, попали в руки британских властей. Благодаря женитьбе на дочери крупного саарского промышленника он приобрёл значительное состояние и прекрасные связи в промышленных кругах. Кроме того, будучи дворянином-католиком, он был связан и с церковными сановниками, а как бывший офицер генерального штаба поддерживал разного рода контакты с рейхсвером. Вероятно, именно тот факт, что Папен находился в центре пересечения столь многих интересов, и привлёк внимание Шляйхера. Папен производил впечатление до гротеска старорежимного человека, и его журавлиная походка, чванство и высокомерная манера говорить в нос делали его похожим на собственную карикатуру, на фигуру из «Алисы в стране чудес», как остроумно заметил один из современников. При всём при том у него была репутация человека легкомысленного и опрометчивого; никто не принимал его всерьёз: «Если ему что-то удаётся, он весел и доволен, а если не удаётся, то и это его не печалит»[278].

Но, по-видимому, именно эта бесшабашная лёгкость и беззаботность «наездника»-Папена особенно привлекала Шляйхера, так как могла помочь ему в проталкивании все более конкретных планов устранения скомпрометированной парламентской системы в рамках концепции «умеренной» диктатуры. Помимо этого, очевидно, сыграло роль и предположение, что тщеславие неопытного и поверхностного Папена удовлетворится самим фактом предоставления ему поста канцлера и связанными с ним представительскими функциями, а в остальном он будет послушным орудием. Именно это соображение соответствовало характеру Шляйхера, одновременно честолюбивого и предпочитавшего действовать за кулисами. Удивлённые друзья говорили ему, что Папен — это не голова, на что генерал возражал: «Этого от него никто и не ждёт, зато он — шляпа на голове».

Но если Шляйхер думал, что Папен со своими обширными связями сумеет создать коалицию или хотя бы обеспечить терпимость всех партий, стоящих справа от социал-демократии, то вскоре ему пришлось убедиться в собственной ошибке. У нового канцлера не было никакой политической опоры. Партия католического Центра, ожесточённая предательством по отношению к Брюнингу, ушла в жёсткую оппозицию, да и Гугенберг не скрывал своего возмущения, тем более, что его опять обошли, не считаясь с его амбициями. Общественность тоже оказала Папену враждебный приём. Даже когда он в самом

начале пребывания на новом посту пожал успех, подготовленный Брюнингом, и добился на конференции в Лозанне закрытия вопроса о репарациях, это не дало ожидаемого эффекта. Его кабинет действительно никак не мог считаться ни демократическим, ни правительством специалистов. Это все были люди состоятельные и из старинных дворянских родов, которые не смогли отказать Гинденбургу, когда тот обратился к ним от имени Отечества, и теперь «окружали его как офицеры своего генерала»[279]: семеро дворян, двое директоров концернов, с ними покровитель Гитлера ещё с мюнхенских дней Франц Гюртнер и ещё один генерал. Не было ни одного представителя от средних слоёв или рабочих. Казалось, тени прошлого возвращаются. Тот факт, что массовое возмущение, насмешки и протесты населения не дали никаких результатов, продемонстрировал, насколько старые руководящие слои оторвались от действительности. «Кабинет баронов», как вскоре окрестили это правительство, опирался только на авторитет Гинденбурга и силу рейхсвера.

Крайняя непопулярность правительства вынуждала и Гитлера к сдержанности и осторожности. На переговорах со Шляйхером он обещал терпимо относиться к правительству, если будут назначены новые выборы и отменены запреты против СА, а самой НСДАП будет предоставлена свобода агитации. Всего за несколько часов до отставки Брюнинга, во второй половине дня 30-го мая, он ответил «да» на вопрос президента, согласен ли он с назначением Папена. И хотя канцлер уже 4 июня открыл целую серию уступок роспуском парламента и одновременно пообещал скорую отмену запрета СА, национал-социалисты постепенно от него отступались. Геббельс писал в дневнике: «Мы как можно скорее должны дистанцироваться от буржуазного переходного кабинета; все это вопросы, требующие тонкого чутья нюансов». И несколькими днями позже: «Наша задача — как можно быстрее избежать компрометирующего нас соседства с этими буржуазными слабаками. Иначе мы погибли. Я предпринял в „Ангрифф“ новую атаку на кабинет Папена». Когда, вопреки ожиданиям, запрет на СА не был отменён в первые же дни, он в один из вечеров «вместе с 40-50 командирами штурмовых отрядов, облачёнными наперекор запрету в полную форму, с провокационной целью заявился в большое кафе на Потсдамерплац. У нас было только одно заветное желание — быть арестованными полицией… В полночь мы не торопясь прошлись по Потсдамерплац и Потсдамерштрассе. Но ни одна собака даже не забеспокоилась. Полицейские только удивлённо глазели на нас, а потом сконфуженно отводили глаза»[280].

Два дня спустя, 16-го июня, запрет был, наконец, отменён, но

все предшествовавшие проволочки уже создали впечатление, что «государство, потеряв уважение, буквально пало на колени перед надвигавшейся новой властью»[281]. Прозрачная попытка Папена в последний момент выторговать у национал-социалистов в обмен на свою уступчивость согласие на будущее участие в правительстве в тактическом плане запоздала, поскольку Шляйхер и сам не дремал, а кроме того обнаружилось просто гротескное непонимание того, насколько яростно Гитлер рвался к власти. Поэтому Папену пришлось удовольствоваться обещанием партнёра вернуться к его требованиям после выборов в рейхстаг, причём дано оно было холодным и непререкаемым тоном.

Сразу же возобновились столкновения на улицах, похожие уже на гражданскую войну. Теперь они достигли своего апогея. За пять недель, предшествовавших 20-му июля, только в Пруссии произошло почти 500 столкновений, в которых 99 человек были убиты и 1125 ранены; 10-го июля во всей территории государства насчитывалось 17 убитых; во многих местах в ожесточённые уличные драки вынуждены были вмешаться солдаты рейхсвера. Эрнст Тельман был прав, говоря, что отмен запрета СА был прямым подстрекательством к убийствам; однако он умолчал о том, имело ли его замечание ввиду активную или пассивную роль его собственных боевых отрядов. 17-го июля в гамбургском районе Альтона произошёл самый кровавый конфликт этого лета. В ответ на провокационное шествие семи тысяч национал-социалистов по улицам красного рабочего района коммунисты открыли огонь с крыш и из окон домов, что, в свою очередь, вызвало яростную реакцию. За этим последовало ожесточённое побоище у срочно сооружённых баррикад. В результате 17 человек были убиты, многие тяжело ранены. Из 68 человек, погибших в июле 1932 года в политических схватках, 30 были сторонниками коммунистов, а 38 — национал-социалистов. «Дело дошло до драк и стрельбы, — писал Геббельс, — это последний выход режима на сцену»[282].

Не понимая того, что именно уступки укрепляли национал-социалистов в сознании своей силы, Папен пошёл ещё на один шаг. Надеясь укрепить престиж своего почти полностью изолированного правительства грандиозным авторитарным жестом и одновременно несколько успокоить Гитлера и его окружение, он утром 20-го июля приказал троим членам тогдашнего прусского правительства явиться в имперскую канцелярию и в резкой форме сообщил им, что на основании Чрезвычайного закона смещает премьер-министра Брауна и министра внутренних дел Зеверинга и будет сам в качестве имперского комиссара исполнять обязанности премьер-министра

земли. Зеверинг заявил, что покорится только силе, на что Папен, «кавалер с ног до головы даже при совершении государственного переворота», спросил, может ли он узнать, что тот имеет в виду. Министр заверил, что покинет свой служебный кабинет только под давлением. Так было заключено впоследствии много раз цитировавшееся устное соглашение о том, что сила тем же вечером будет применена в форме одностороннего действия полиции. На основании подготовленного второго Чрезвычайного закона Папен тем временем ввёл военное положение в Берлине и Брандснбурге и таким образом сконцентрировал в своих руках силы полиции. Вечером в министерство внутренних дел к Зеверингу явились три полицейских чина и попросили его очистить помещение, и он со словами — теперь он-де уступает силе — покинул кабинет и отправился в свою квартиру, находившуюся рядом. Уже во второй половине следующего дня точно так же, без малейшего сопротивления, была повержена вся верхушка прусской полиции, которая раньше внушала такой страх. Когда берлинского полицай-президента Гжезински, его заместителя Вайса и полицейского офицера Хаймансберга вели через двор полицай-президиума, чтобы на короткое время поместить их в арестантские камеры, то, как рассказывают, некоторые служащие полиции прощались со своим начальником, выкрикивая ему вслед лозунг «Рейхсбаннера». Они кричали: «Свобода!», и правильно было сказано, что это было прощание с давно уже ослабевшей, никому не нужной, а теперь и без сопротивления преданной свободой Веймарской республики[283].

Естественно, в полиции думали о возможности широкого сопротивления. По свидетельству одного из современников, Гжезински и Хаймансберг вместе с министериальдиректором Клаузенером будто бы настойчиво требовали у Зеверинга «проведения борьбы всеми средствами», в частности, «немедленной и беспощадной акции берлинской полиции, объявления всеобщей забастовки, немедленного ареста имперского правительства и президента, а также объявления его недееспособным»; но это предложение было отклонено[284]. Отпор не вышел за рамки бессильных протестов в публицистике и обращений к высшему государственному суду. И это при том, что в распоряжении прусского правительства были превосходно обученные силы полиции численностью в 90 тыс. человек, кроме того, «Рейхсбаннер», приверженцы республиканских партий и профсоюзы; к тому же оно занимало все ключевые позиции. Но боязнь гражданской войны, благоговение перед конституцией, сомнения в действенности всеобщей забастовки в условиях царившей безработицы и многие другие подобные соображения в

конечном итоге заблокировали все планы сопротивления. Папен сумел без помех, сопровождаемый лишь взглядами своих смирившихся противников, захватить власть в «сильнейшем бастионе республики». Мотивы прусских политиков были, конечно, весомы и внушали уважение, а если взвесить все обстоятельства, то приходишь к выводу, что их решение, вероятно, было все же разумным. Но перед лицом истории эта разумность мало что значит. Там не возникло и мысли о каком-то проявлении сопротивления вопреки всему, и ни на одном из этапов событий Зеверинг и его ослабленные, морально сломленные соратники даже и не подумали о том, чтобы хотя бы почётным концом заставить забыть свою половинчатость и упущения прошедших тринадцати лет и дать импульс обновлению демократического самосознания. Подлинная суть дня 20-го июля 1932 года, которую нельзя недооценивать, заключается как раз в психологических последствиях: этот день лишил мужества одних и одновременно показал другим, что особого отпора со стороны республики можно не опасаться.

Потому событие это только подогрело нетерпение национал-социалистов. Теперь в борьбе за власть противостояли друг другу три резко очерченных лагеря: национал-авторитарная группа вокруг Папена, представлявшая в парламенте едва 10 процентов избирателей, но зато располагавшая прикрытием в лице Гинденбурга и рейхсвера; далее отыгравшие своё демократические группы, которые, правда, все ещё могли рассчитывать на значительную опору в общественности; наконец, их тоталитарные противники национал-социалистической и коммунистической ориентации, вместе имевшие негативное большинство в 53 процента. Так же как эти две группы, остальные тоже блокировали и парализовали друг друга. Лето и осень 1932 года прошли под знаком беспрерывных попыток взломать застывшие друг против друга фронты все новыми тактическими манёврами[285].

5-го августа Гитлер встретился с Шляйхером в Фюрстенберге под Берлином и впервые потребовал всю полноту власти: пост канцлера для себя, кроме того, министерства внутренних дел, юстиции, сельского хозяйства и воздушного сообщения, создания специального министерства пропаганды, а также, исходя из событий 20-го июля, посты прусского премьер-министра и министра внутренних дел; заодно предоставления его правительству права на введение закона о чрезвычайных полномочиях, включая неограниченные полномочия управлять страной посредством специальных указов. Ибо, как заметил

Геббельс, «если уж мы придём к власти, то никогда больше её не отдадим — разве что наши трупы вынесут из служебных кабинетов».

Гитлер расстался с Шляйхером в полном убеждении, что стоит непосредственно перед обретением власти. При прощании он был в прекрасном настроении и даже предложил в память об их встрече установить на доме в Фюрстенберге мемориальную доску. Для подкрепления своих требований и одновременно успокоения волнующихся штурмовиков, часть из которых уже бросили работу и готовились к дню победы, к его празднествам, эксцессам и обещанным «тёплым местечкам», Гитлер приказал им сосредоточиться и развернуться вокруг Берлина, так что город оказался в кольце, и кольцо это постепенно сжималось. Казалось, что он в последний момент, как когда-то, в 1923 году, в пивной «Бюргерброй», снова вот-вот вытащит пистолет. Кровавые столкновения ширились по всей стране, особенно в Силезии и Восточной Пруссии. В результате 9-го августа появился указ, направленный против политического террора и угрожавший смертной казнью каждому, кто «в пылу политической борьбы из чувства гнева или ненависти предпримет нападение на своего противника со смертельным исходом». Уже на следующую ночь одетые в форму штурмовики в верхне-силезской деревне Потемпа ворвались в жилище рабочего-коммуниста, вытащили его из постели и на глазах у матери буквально затоптали до смерти.

Ещё не выяснено, насколько эти происшествия стали одним из моментов, вызвавших поворот событий, который перечеркнул на время мечты национал-социалистов о власти. Возможно, Шляйхер сам отказался от своей концепции приручения гитлеровцев; во всяком случае, его план, заключавшийся в том, чтобы, сделав Гитлера канцлером правой коалиции, связать его определёнными обязательствами и тем подорвать его популярность, впервые натолкнулся на энергичное сопротивление президента, которому к тому времени уже полюбились лихость и фривольный шарм Папена, словно старому отцу шалости сына, и который не собирался менять его на «богемского» фанатика и псевдомессию Гитлера претендовавшего к тому же на то, чтобы лишить Гинденбурга любимой роли «эрзацкайзера». 13-го августа он провёл длительные переговоры с руководством национал-социалистов и вместе с Папеном отклонил все претензии Гитлера на власть, а вместо этого предложил ему войти в существующий кабинет в качестве вице-канцлера. Взбешённый, в том настроении «все или ничего», в котором он прибывал все эти дни, Гитлер отверг это унизительное для него предложение и не изменил своей позиции и тогда, когда Папен под честное слово пообещал

передать ему пост канцлера позже, после некоторого времени «доверительного и плодотворного сотрудничества». Можно с уверенностью утверждать, что Гитлер уже заранее представлял себе пышное театральное действо: вот он демонстрирует удручённому, распадающемуся в прах миру зрелище своего призвания на власть. По дороге в Берлин в придорожном трактире у озера Химзее, «откусывая большие куски омлета», он рисовал своим командирам картину кровавой бани, которую они учинят марксистам. А его между тем просто одурачили. И как обычно в полосу неудач в его жизни за разочарованием последовал эффектный жест отчаяния. Когда его во второй половине того же дня пригласили к Гинденбургу, он сначала было склонился к отказу, и только заверения, поступившие к нему из президентского дворца, что ещё ничего не решено, внушили ему новые надежды. Однако Гинденбург ограничился лаконичным вопросом, готов ли Гитлер поддержать существующее правительство. Гитлер сказал, что нет. Апелляция к патриотическим чувствам, с помощью которой старец любил добиваться назначения нужных ему лиц, на Гитлера тоже не произвела впечатления. Дело кончилось увещеваниями и «ледяным прощанием». Идя по коридору, все ещё возбуждённый, Гитлер пророчил президенту скорое падение[286].

Он ещё более ожесточился, когда прочитал вслед за этим опубликованное официальное сообщение. Его снова переиграли. В документе говорилось, что Гинденбург «решительно» отклонил требования Гитлера, «обосновав это тем, что не сможет отвечать перед собственной совестью и своим долгом перед Отечеством, если передаст всю правительственную власть исключительно национал-социалистическому движению, которое намерено использовать эту власть односторонне». Было выражено также официальное сожаление по поводу того, что Гитлер — вопреки прежним обещаниям — не видит для себя возможности поддержать созданное президентом национальное правительство, которому он доверяет. Это был намёк, даже упрёк, хоть и выраженный казённым языком, в нарушении данного слова, что вызвало в памяти фигуры из прошлого — Зайссера и ненавистного г-на фон Кара. Однако не прошло и нескольких месяцев, как все эти благоразумные соображения были забыты.

Национал-социалисты немедленно заняли положение жёсткой оппозиции и показали Папену, насколько необдуманной и напрасной была его политика постоянных авансов. Когда 22-го августа на основании указа против политического террора убийцы, действовавшие в Потемпе, были приговорены к смертной казни, в зале суда, битком набитом национал-социалистами,

разыгрались дикие сцены. Эдмунд Хайнес, командир силезских СА, заявившийся в суд в полной форме, громогласно угрожал суду возмездием, а Гитлер отправил осуждённым телеграмму, в которой он заверял своих «товарищей перед лицом этого чудовищного кровавого приговора» в своей «безоговорочной преданности» и обещал им быстрое освобождение. Однозначная решимость, с которой он сбросил маску бюргерской благопристойности тщательно сохранявшуюся в последние два года, и снова открыто, как в старые, неистовые времена солидаризовался с убийцами, показывает всю меру его возмущения, хотя, вероятно, при этом сыграли свою роль и волнения, охватившие его приверженцев. Опять-таки самое глубокое разочарование испытывали штурмовики. СА являлись самой многочисленной боевой организацией страны, обладали безмерной самоуверенностью и презирали фрачных буржуа с Вильгельмштрассе[287]: им было непонятно, как мог Гитлер проглатывать беспрерывные унижения, вместо того, чтобы, наконец, открыть своим вернейшим борцам путь к тому кровавому карнавалу, на который они по их мнению имели полное право.

Как бы то ни было, Гитлер ввёл СА в игру, и теперь это была гораздо большая угроза, чем когда-либо прежде. И вот 2-го сентября, после их почти беспрерывной десятидневной кампании, Папен действительно дрогнул и пожертвовал последними остатками своего престижа: он рекомендовал президенту заменить смертную казнь пожизненным заключением. Всего несколько месяцев спустя осуждённые были выпущены на свободу и вернулись со славой, как заслуженные борцы. Даже речь, произнесённая Гитлером 4-го сентября, все ещё выдавала гнев и возмущение человека, которого обвели вокруг пальца:

> «Я знаю, что у этих господ на уме: им хотелось бы дать нам кое-какие посты и тем заткнуть нам рот. Но долго им в этой древней карете не кататься… Нет, господа, я основал эту партию не для торгов, не для продажи или спекуляции! Партия — это не львиная шкура, которую может натянуть на себя какая-нибудь овца. Партия — это партия, и этим все сказано!.. Неужели вы и вправду верите, что можете поймать меня на приманку пары министерских кресел? Да я совсем не желаю быть в вашем обществе! Насколько мне наплевать на всё это, вы, господа, и представить не можете. Если бы Бог захотел, чтобы всё было так, как есть, тогда и мы родились бы с моноклем в глазу. Да зачем нам это?

Можете сами занимать эти посты, все равно они вам не принадлежат!»[288]

Гитлер чувствовал себя настолько униженным тем, как обошлись с ним Гинденбург и Папен, что, кажется, впервые почувствовал искушение распрощаться с курсом на легальность и захватить власть посредством кровавого восстания. Дело в том, что этот афронт не только отбросил его назад в политике, но и оскорбил в его желании принадлежать к буржуазной среде. Чаще, чем когда-либо раньше, гремела на митингах угроза: «Час расплаты близится!» Он затеял переговоры с партией центра, надеясь свергнуть правительство Папена, и как-то даже всплыло авантюрное предложение сместить Гинденбурга с помощью разочаровавшихся левых, для чего использовать решение рейхстага и сразу же за ним — референдум. Или же, охваченный жаждой мести, Гитлер в те недели рисовал своему окружению обстоятельства и шансы революционного захвата ключевых позиций, опять-таки подробно останавливаясь на деталях насильственного устранения противников-марксистов. Надо заметить, что путь легальности, которым он старательно шёл годами, отвечал лишь холодно-рассудочной стороне его инстинкта искать поддержки; но одновременно свойственная ему агрессивность, его воспалённая фантазия и убеждённость в том, что историческое величие немыслимо без кровопролития, восставали против его же собственной осторожности.

Именно это внутреннее противоречие занимало все его помыслы, когда в Оберзальцберге его посетил Герман Раушнинг, национал-социалист, президент сената в Данциге. Он был поражён мелкобуржуазным стилем жизни могущественного народного трибуна: ситцевые занавесочки на окнах, так называемая рустикальная мебель, попискивающие птицы в занавешенной клетке, а также общество перезрелых дам.

Гитлер в резких выражениях обрушился на Папена, а национальную буржуазию назвал «подлинным врагом Германии». Под свой протест против приговора убийцам из Потемпы он подвёл грандиозное педагогическое обоснование: «Мы вынуждены быть жестокими. Мы должны вернуть себе способность к совершению жестокости с чистой совестью. Только так мы сможем освободить наш народ от слабоволия и сентиментального филистерства, от этой любви к „уюту“ и к блаженному сидению за вечерней кружкой пива. У нас больше нет времени на прекраснодушие. Мы должны заставить свой народ стать великим, поскольку ему выпало на долю исполнить свою историческую миссию».

Вдоволь наговорившись о том, как он понимает вызов истории, и сравнив себя с Бисмарком, он вдруг спросил, существует ли между Данцигом и Германией договор о выдаче преступников. Раушнинг не сразу понял вопрос, и Гитлер пояснил, что ему, может быть, понадобится убежище[289].

Потом, снова предавшись своим настроениям, он продемонстрировал уверенность в будущем. Легкомыслие, наивность и уступчивость Папена, равно как и доброжелательное, но неустойчивое отношение президента страны ко всем национальным силам, да и его возраст, вызывающий у него, Гитлера, просто смех, как он и публично уже заявлял, — все это укрепляло его стойкость и упорство. Через несколько дней после того, как он назвал убийц из Потемпы «товарищами», ему передали послание Яльмара Шахта. В нём Шахт заверял «дорогого г-на Гитлера» в своей «неизменной симпатии», высказывал уверенность, что в один прекрасный день он так или иначе все равно придёт к власти, советовал пока не выдвигать никакой определённой экономической программы и заканчивал словами: «Куда бы мне ни пришлось в ближайшее время поехать по делам, и даже если Вы однажды увидите меня внутри крепости, Вы всегда можете рассчитывать на меня как на Вашего надёжного помощника».

В эти дни представитель американского агентства «Ассошиейтед пресс» спросил Гитлера, не собирается ли он теперь, по примеру Муссолини, предпринять марш на Берлин. На что Гитлер двусмысленно ответил: «Зачем мне маршировать на Берлин? Я и без того уже там!»[290].

Глава IV
У ЦЕЛИ

Ты видишь: республика, сенат и достоинство — ничего этого не было ни в одном из нас.

Из обращения Цицерона к своему брату Квинту

Вновь предвыборная борьба. — Берлинская забастовка на транспорте. — Поражение 6 ноября. — Папеновская концепция диктатуры. — Сопротивление и канцлерство Шляйхера. — Большие планы Шляйхера. — Кризис ИСДАП. — «Если партия развалится…» — Бессилие соперников. — Интрига Папена. — Беседа в Кёльне. — Всякая политика имеет свой конец — Концепция обрамления. — Гинденбург меняет позицию. — Последние трудности. — «С Богом за работу!» — Факельное шествие. — Победа или интрига? — Монолог в рейхсканцелярии.

Прямо по канонам классической драмы события осени 1932 г. приняли оборот, не без основания вызвавший надежду на преодоление кризиса: предпосылки, обеспечившие подъем национал-социалистов, перепутались так, словно режиссёром спектакля была сама фантазия. На какой-то миг иронии игра, казалось, перевернулась на всех уровнях и обнажила всю преувеличенность претензий Гитлера на власть, прежде чем сцена внезапно рухнула.

После 13 августа Папен, очевидно, решил больше не идти Гитлеру навстречу. Хотя мотивы, которыми он при этом руководствовался, сложно понять из-за неубедительности его собственных заявлений, можно все же исходить из того, что двуличный, обманный курс национал-социалистов, позже метко названный Геббельсом «(терпимостью понарошку»[291], в решающей степени, хоть и с опозданием, помог Папену понять суть происходящего. Критическая ситуация, в которой оказалась партия с её маниакальной жаждой успеха, ясно показала, сколько возможностей все ещё скрывала в себе тактика её

последовательного неприятия. Невысокий авторитет правительства, правда, вынудил канцлера отменить приговор над виновными из Потемпы, но в конце концов перенервничавший Гитлер сам себя разоблачил телеграммой, посланной убийцам. Вскоре он допустил ещё одну тяжелейшую ошибку.

На первом же рабочем заседании рейхстага, созванном Папеном 12-го сентября, Гитлер не устоял и поддержал роспуск парламента, хотя ему это не сулило ничего, кроме тяжкого тактического урона. Однако все опасения победило желание отомстить Папену. С помощью Германа Геринга, избранного председателем парламента, он действительно нанёс канцлеру тяжелейшее поражение в истории немецкого парламентаризма (42 против 512). Зато Папен в качестве ответного хода предъявил рейхстагу знаменитую красную папку, содержавшую указ о его роспуске, принятый ещё до заседания. Это был и впрямь беспримерный ход, резко высвечивавший тот факт, насколько были уже подорваны и сами парламентские процедуры, и уважение к ним. После почти часового заседания только что избранный парламент был распущен. Новые выборы должны были состояться 6-го ноября.

Судя по всему, Гитлер хотел избежать такого поворота событий, т. к. он явно противоречил его интересам. Геббельс писал в дневнике: «Все до сих пор ещё в шоке; никто не верил, что мы осмелимся на такое решение. Радуемся только мы одни». Но эйфория победной борьбы улетучилась очень быстро, впервые за много лет уступив место непривычному унынию. Гитлер прекрасно понимал, что как раз у избирателей, голосовавших под влиянием настроения момента, — а именно им партия была обязана своим ростом — только нимб неотразимости делал его неотразимым. Он ясно видел, что скандал 13-го августа, новый уход в оппозицию, дело Потемпы и конфликт с Гинденбургом подточили веру в его избранность и исключительность его роли. Но если бы полоса успехов кончилась, то по внутренним законам развития партии была бы утрачена и её притягательная сила, а это означало бы и утрату почвы под ногами.

Гитлера беспокоили и те последствия, которые стратегия Папена на истощение имела для самой партии. Дело в том, что после дорогостоящих кампаний предыдущего года движение впервые стояло на грани финансового краха, настолько были исчерпаны его средства. «Наши противники рассчитывают на то, — фиксировал верный паладин Гитлера в своих записях, выдававших нарастающую удручённость и подавленность, — что в этой борьбе у нас сдадут нервы, и мы растеряемся». Четырьмя неделями позже он говорил о трениях между сторонниками, о

спорах за деньги и мандаты, считая, что «организация после многочисленных предвыборных боев, естественно, стала очень нервозной. Она перенапряглась, словно рота, слишком долго находившаяся в окопах».

Ему не без труда удавалось сохранять оптимизм: «Наши шансы улучшаются со дня на день. Хотя перспективы ещё довольно сомнительны, но во всяком случае их не сравнить с нашими безнадёжными делами всего несколько недель тому назад»[292].

Только Гитлер казался опять уверенным и свободным от всяческих настроений момента — как всегда после принятия какого-то решения. В первой половине октября он предпринял свой четвёртый полет по Германии и снова, покорный своей мании больших чисел, увеличил число выступлений и налетанных километров. При встрече с Куртом Людекке, который посетил его незадолго до полётов и сопровождал на съезд национал-социалистической молодёжи в Потсдаме, куда он ехал, окружённый целым сонмом «мерседесов» и вооружённых до зубов «марсиан», Гитлер развил мысли, в которых надежды и действительность перемешивались самым причудливым образом, а сам он уже выступал как бы в роли канцлера. Однако и он уже был, казалось, на пределе. Во время автомобильной поездки спутнику пришлось рассказывать ему об Америке, чтобы Гитлер не заснул, ибо Америка была страной, известной ему по романам Карла Мая, и истории о Виннету и Олд-Шаттерхенде, по его словам, по-прежнему его волновали. Каждый раз, когда у Гитлера слипались глаза, он вздрагивал и бормотал: «Дальше, дальше, мне нельзя засыпать!» Через два дня, после впечатляющего пропагандистского представления с участием семидесяти тысяч членов «Гитлерюгенд» и многочасовых парадов, Людекке, прощаясь с Гитлером на вокзале, увидел его забившимся в угол купе, совершенно изможденного. Единственное, на что он был способен — вялые бессильные жесты[293].

Гитлер держался только благодаря экзальтации борьбы, надежде на власть, театральной лихорадке своих выступлений, поклонению и коллективной горячке умов. На съезде командиров отрядов СА в Мюнхене он спустя всего три дня был «в великолепной форме», как отметил Геббельс, и «набросал великолепные контуры развития и состояния нашей борьбы на дальнюю перспективу. Он и в самом деле выше всех нас. Он умеет вызволить партию из любого отчаяния». Трудности партии между тем действительно росли на глазах, казалось даже, что они уже переросли политический вес партии. Её деятельность парализовала прежде всего нехватка денег. Фронтальное

противостояние Папену и его «кабинету реакции» с неизбежностью противопоставило НСДАП и капиталистическим кругам национальной оппозиции, их взносы стали ещё скупее: «Достать деньги чрезвычайно сложно. Господа, „обладающие капиталом и образованием“, все стоят на стороне правительства»[294].

Предвыборная борьба велась тоже преимущественно против «аристократической клики», «буржуазных слабаков» и «прогнившего режима „Клуба господ“[295]. Одна из пропагандистских инструкций предписывала распространение устных лозунгов с целью «непосредственно сеять панику относительно Папена и его кабинета»[296]. Грегору Штрассеру и его последователям, число которых заметно таяло, было дано ещё раз пережить время больших, хоть и обманчивых надежд. «Против реакции!» — таков был официальный, сформулированный Гитлером предвыборный лозунг. Своё конкретное выражение он нашёл в яростных нападках на экономическую политику правительства, благоприятствующую предпринимателям, в разгоне собраний дойч-националов и организованных нападениях на вождей «Стального шлема». Социализм НСДАП по-прежнему не имел программы и определялся только на уровне заклинаний образного языка донаучного сознания: это были «принцип исполнения долга прусским офицером и неподкупным немецким служащим, стены города, ратуша, собор и больница свободного имперского города, все это вместе»; это было также «превращение класса рабочих в общность рабочих»; но именно эта неприкрытая многозначность и делала его популярным в народе. «Честный заработок за честную работу» — это воспринималось легче, чем уверенность в спасении души, приобретённая в вечерней школе. «Если распределительный аппарат нынешней системы мировой экономики не умеет правильно распределить природные богатства, значит, эта система неправильна, и её нужно заменить»: это было созвучно основному внутреннему ощущению, что всё должно быть изменено. Характерно, что отнюдь не коммунистам, а Грегору Штрассеру удалось придумать самую популярную, тотчас же ставшую девизом формулу, выразившую это широко распространённое настроение того времени, сбитого с толку всякими теоретическими концепциями. В одной из своих речей Штрассер упомянул о «жажде антикапитализма», охватившей общественность и ставшей доказательством великого перелома эпохи[297].

Всего за несколько дней до выборов, когда предвыборная борьба, ведущаяся с явной натугой и на пределе сил, уже близилась к концу, партии представилась возможность

продемонстрировать серьёзность своих левых лозунгов. В начале ноября в Берлине началась забастовка на общественном транспорте. Она была организована коммунистами вопреки сопротивлению профсоюзов, и сверх всяких ожиданий к ней немедленно примкнули и национал-социалисты. Штурмовики и «ротфронтовцы» на пять дней парализовали общественный транспорт, выкапывали трамвайные рельсы, выставляли пикеты, избивали штрейкбрехеров и силой останавливали запасные машины, которые властям удавалось вывести на линию. Единство действий всегда считалось доказательством фатального сходства левого и правого радикализма. Но независимо от этого у НСДАП в тот момент, по сути, не было другого выхода, хотя её буржуазные избиратели были в ужасе, а финансовые поступления почти совсем прекратились. «Вся печать злобно нас ругает, — записывал Геббельс. — Она называет это большевизмом; но нам, собственно, не оставалось ничего иного. Если бы мы стояли в стороне от этой забастовки, в которой речь идёт о самых элементарных жизненных правах трамвайщиков, это поколебало бы наши твёрдые позиции среди трудового народа. В данном же случае нам до выборов ещё раз даётся прекрасная возможность показать общественности, что наш антиреакционный курс действительно идёт изнутри и является нашим искренним намерением». А вот запись от 5 ноября, всего несколькими днями позже: «Последний штурм. Отчаянное сопротивление партии против поражения… В последнюю минуту нам удалось раздобыть 10 тысяч рейхсмарок, и мы их во второй половине субботнего дня целиком всадили в пропаганду. Всё, что можно было сделать, мы сделали. Теперь пусть решает судьба»[298].

Судьба впервые с 1930 года посрамила претензии национал-социалистов на власть: они потеряли два миллиона голосов и 34 мандата. СДПГ тоже потеряла несколько мест в парламенте, в то время как дойч-националы получили дополнительно 11, а коммунисты — 14 мандатов. В целом распад буржуазных центристских партий, продолжавшийся уже несколько лет, казалось, приостановился. В случае с НСДАП бросалось в глаза, что откат избирателей наступил везде почти равномерно. Дело было, следовательно, не в спаде региональной активности; это было отражением общей усталости. НСДАП потеряла большое количество голосов даже в таких преимущественно сельскохозяйственных районах как Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония или Померания, хотя на предыдущих выборах они составляли самое многочисленное и надёжное ядро избирателей и заставили пересмотреть представление о НСДАП как о исходно

городской партии мелкой буржуазии[299]. Хотя её функционеры клялись, что будут «работать и бороться, пока эта брешь не будет закрыта», на местных выборах в последующие недели волна продолжала откатываться. Казалось, что победное шествие партии окончено навсегда, и если её ещё можно было считать крупной, то легендарной она уже не была. Но вопрос заключался как раз в том, могла ли она существовать как обычная крупная партия — или только как легенда.

Доволен исходом выборов был прежде всего Папен. Считая, что одержал большую личную победу, он обратился к Гитлеру с предложением забыть старые споры и снова попытаться объединить все национальные силы. Но Гитлер, которому самоуверенный тон канцлера лишний раз напомнил о его собственной слабости, целыми днями не появлялся в Берлине и скрывал своё местонахождение. Ещё вечером в день выборов он в обращении к партии отверг любую мысль о каком-либо соглашении с правительством и провозгласил «дальнейшую беспощадную борьбу до поражения этих частично явных, частично замаскировавшихся противников», чья реакционная политика загоняет-де страну в объятия большевизма. И только когда Папен обратился к нему повторно, уже с официальным письмом, он после хорошо обдуманной паузы в несколько дней дал отрицательный ответ, опять-таки присовокупив к нему целый ряд невыполнимых условий. Резкие отказы канцлер получил и от других партий.

Сопровождаемое выражениями недовольства почти всей страны, правительство неуклонно приближалось к единственной оставшейся альтернативе: либо снова распустить рейхстаг и таким рискованным и дорогостоящим методом выиграть время и простор для политических манёвров — либо наконец открыто предпринять давно обсуждаемый неприкрытый шаг против конституции и, опираясь на президентскую власть и армию, запретить сначала НСДАП, КПГ и, возможно, другие партии, а затем резко ограничить права парламента, ввести новое избирательное право и поставить Гинденбурга как своего рода высший авторитет во главе созванных им представителей старых руководящих слоёв. После потерпевшего явный крах парламентско-демократического «господства неполноценных» некое «Новое государство», концепция которого созрела в окружении Папена, должно было обеспечить «господство лучших» и тем самым перекрыть дорогу неуёмным национал-социалистическим планам диктатуры. Даже если некоторые подробности такого решения вопроса, на которое Папен намекнул в отдельных пассажах своей речи 12-го октября, и были пока

неясными и представляли собой лишь заявление о намерениях, в целом они все же далеко выходили за рамки ни к чему не обязывающей игры мысли. Старик Ольденбург-Янушау, сосед и доверенное лицо Гинденбурга, с присущей ему прямотой махрового реакционера сказал в этой связи, что скоро он и его друзья «выжгут на теле немецкого народа такую конституцию, от которой ему не поздоровится»[300].

Папен провозгласил планы создания мощной государственной власти, «которую политические и общественные силы уже не смогут гонять в разные стороны, словно футбольный мяч, ибо она неколебимо будет стоять над ними»[301]. Однако неожиданно он натолкнулся на сопротивление Шляйхера. Как известно, кандидатура Папена пришла генералу в голову, так как он надеялся, что Папен будет его послушным и действенным орудием при укрощении гитлеровской партии путём включения её в широкую национальную коалицию. Вместо этого Папен не только ввязался в бесплодный личный спор с Гитлером, но и, опираясь на растущее доверие к нему Гинденбурга, утерял ту управляемость, которая, собственно, и привлекла к нему генерала, не любившего действовать на глазах общественности. «Ну, что вы на это скажете, — насмешливо спросил он как-то одного из своих посетителей, — крошка Франц вдруг решил, что он что-то значит»[302]. В отличие от Папена он рассматривал проблемы сотрясаемого кризисом индустриального государства, каким оно было в 1932 году, отнюдь не с «великосветской» точки зрения и был не настолько ограничен, чтобы считать, будто государству не требуется ничего, кроме силы. Поэтому его раздражали авантюристические планы реформы канцлера, и он ни при каких обстоятельствах не согласился бы предоставить для них рейхсвер. А планы Папена неизбежно втянули бы войска в борьбу против национал-социалистов и коммунистов; это уже походило бы скорее на гражданскую войну, так как вместе обе партии вели за собой почти 18 миллионов избирателей, да ещё имели в своём распоряжении насчитывавший свыше миллиона воинственный эскорт. Но всё же решающим для отхода Шляйхера было, вероятно, другое: по его мнению, появился серьёзный шанс, создав новую группировку сил, осуществить задуманный план по укрощению НСДАП и постепенному сведению её на нет.

Поэтому он не без задней мысли посоветовал Папену формально уйти в отставку и предоставить самому Гинденбургу ведение переговоров с руководством партий о создании «кабинета национальной концентрации». Папен 17-го ноября последовал этому совету, втайне все же надеясь, что после провала переговоров его позовут снова. Два дня спустя Гитлер,

окружённый наскоро собранными ликующими толпами, проехал те немногие метры, которые отделяли «Кайзерхоф» от дворца президента. Однако ни этот разговор, ни вторая встреча не дали никаких результатов. Гитлер упорно требовал создания президентского правительства[303] с особыми полномочиями, в то время как Гинденбург, направляемый из-за кулис Папеном, как раз в этом не желал уступать. Если страна и дальше будет управляться с помощью чрезвычайных законов, говорил он, то не имеет смысла отстранять Папена; Гитлер может стать канцлером только правительства, имеющего парламентское большинство. Поскольку руководитель НСДАП на это был явно не способен, то статс-секретарь Гинденбурга Майснер сообщил ему в заключительном письме от 24-го ноября:

> «Господин рейхспрезидент благодарит Вас, глубокоуважаемый господин Гитлер, за Вашу готовность стать во главе президентского правительства. Однако он придерживается того мнения, что не может взять на себя ответственность перед немецким народом и доверить свои президентские полномочия руководителю партии, многократно подчёркивавшей свою исключительность и настроенной в основном отрицательно как против него лично, так и против тех политических и экономических мер, которые он считает необходимыми. В этих условиях господин рейхспрезидент опасается, что возглавляемый Вами президентский кабинет неизбежно превратился бы в партийную диктатуру со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть чрезвычайным обострением противоречий в немецком народе, а за это он не хотел бы нести ответственность ни перед данной им присягой, ни перед своей совестью»[304].

Это был ещё один афронт, к тому же очень обидный, и Геббельс зло писал: «Революция снова стоит перед закрытыми дверями». Все же Гитлеру на этот раз удалось публицистически замаскировать своё поражение. В подробном послании он не без проницательности анализировал внутреннюю противоречивость выдвинутых Гинденбургом требований, впервые обрисовав при этом основные черты решения, принятого 30-го января. В президентском дворце было особенно отмечено его предложение заменить предусмотренную в статье 48 правительственную процедуру изданным в соответствии с конституцией законом о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству, который освободил бы Гинденбурга от повседневной политической суеты, сняв с него часть невыносимо тяжёлой

ответственности. Значение этой инициативы для дальнейшего хода событий трудно переоценить, она определённо в большой степени способствовала тому, что президент, представший в письме Майснера таким неуступчивым, в конечном итоге капитулировал перед притязаниями на власть со стороны человека, которому он ещё незадолго до того готов был в лучшем случае предоставить министерство почты.

Если Папен рассчитывал на возвращение в кресло канцлера после провала всех переговоров, то ему пришлось разочароваться. Ибо Шляйхер тем временем через Грегора Штрассера установил контакты с НСДАП и просчитал возможности участия национал-социалистов в правительстве, которое он сам бы возглавил. Его коварный план исходил из того, что великодушное предложение участвовать в правительстве вызовет в стане гитлеровцев конфликт взрывной силы. Дело в том, что Штрассер, учитывая недавние неудачи партии, неоднократно высказывался за более гибкую тактику, тогда как прежде всего Геббельс и Геринг жёстко выступали против любой «половинчатости» и настаивали на требовании безраздельной власти.

Ещё во время своих попыток зондажа Шляйхер вечером 1-го декабря был вместе с Папеном вызван в президентский дворец. Гинденбург попросил Папена изложить свою точку зрения, и тот обрисовал ему свой план реформы конституции, мало чем отличавшийся от государственного переворота. После многомесячных открытых обсуждений предполагалось, очевидно, что достаточно будет чисто формального согласия президента. Но тут Шляйхер опередил его драматическим возражением. Он назвал намерения Папена излишними и опасными, одновременно подчеркнул опасность возникновения гражданской войны и изложил собственную концепцию: отколоть штрассеровское крыло от НСДАП и объединить все конструктивные силы, начиная со «Стального шлема» и профсоюзов и вплоть до социал-демократии, в надпартийном кабинете под его, Шляйхера, руководством. Однако, не вдаваясь в причины, Гинденбург упрямо отклонил это предложение. Шляйхер подчеркнул, что его план освобождает президента от необходимости нарушать данную им присягу, но даже это не поколебало симпатии старого ворчуна к своему любимцу-канцлеру, давно переросшие все конституционные рамки.

Шляйхер, однако же, не сдавался. Когда Папен после беседы пожелал удостовериться, готов ли рейхсвер к выступлению в пользу насильственного осуществления конституционной реформы, Шляйхер откровенно сказал «нет». И тогда, и на заседании правительства, состоявшемся на следующий день, он

указал на проведённое его министерством исследование, которое подвело итоги трехдневных войсковых манёвров. Как выяснилось, армия была бы не в состоянии успешно противостоять совместному выступлению национал-социалистов и коммунистов, которое, по его словам, после забастовки на берлинском общественном транспорте нельзя было исключить, тем более, если учитывать возможность всеобщей забастовки и одновременно провокаций со стороны Польши на восточной границе. Кроме того, Шляйхер дал понять, что сомневается в надобности использовать такой надпартийный инструмент как рейхсвер для поддержки канцлера, имеющего за собой ничтожное меньшинство, и его безумно дерзких планов реставрации. Аргументы Шляйхера произвели на членов кабинета сильное впечатление, поэтому возмущённому Папену, чувствовавшему себя преданным и посрамлённым, не оставалось ничего другого, как немедленно пойти к президенту и проинформировать его о новом положении дел. Папен, казалось, в какой-то момент было решил потребовать увольнения Шляйхера, чтобы все же протолкнуть свои планы уже с новым министром рейхсвера. Но теперь воспротивился и Гинденбург. Папен сам не без наглядности описал последовавшую за этим трогательную сцену:

> «Голосом, в котором звучала почти мука, …он обратился ко мне: „Дорогой Папен, вы сами сочтёте меня подлецом, если я теперь изменю своё мнение. Но я слишком стар, чтобы в конце жизни ещё взять на себя ответственность за развязывание гражданской войны. Значит, мы с Божьей помощью должны дать шанс г-ну фон Шляйхеру“.

Две большие слезы скатились по его щекам, когда этот большой сильный человек протянул мне на прощанье обе руки. Наше сотрудничество закончилось. Насколько наши с ним души были родственны, …пожалуй, увидит даже посторонний, прочитав слова, написанные фельдмаршалом под фотографией, которую он несколькими часами позже передал мне в знак прощанья: «У меня был боевой товарищ!»[305] [306] Однако для Папена, который ухитрился завоевать сердце президента так же быстро, как и «утратить последние шансы на разумное преодоление политического кризиса»[307], это был уход не окончательный. Его обида на неожиданное падение смягчалась уверенностью в том, что Шляйхеру теперь придётся выйти из тени, из-за кулис, в которых он до тех пор прятался, и в беспощадном свете рампы выступить на авансцену, в то время как он сам подобно своему преемнику мог играть при президенте

почти всемогущую роль «серого кардинала». Не менее важным, чем «родство душ» с Гинденбургом, было то обстоятельство, что Папен, не сомневавшийся в том, что может распоряжаться государством, как своим поместьем, и после отставки с правительственного поста продолжал занимать служебную квартиру, из которой садовая дорожка вела к расположенной рядом жилой резиденции Гинденбурга. Эта почти семейная компания — Папен, Гинденбург, а с ними Оскар фон Гинденбург и Майснер — обиженно и холодно следила за стараниями изворотливого генерала, противодействовала ему и в конце концов привела его к фиаско, хоть и дорогой ценой.

По сути дела момент для планов Шляйхера был необычайно благоприятным: кризис, переживаемый Гитлером, достиг своей кульминации, он был тяжелее любой другой из его прежних неудач. В кругах его сторонников широко выражались нетерпение и обманутые надежды, к тому же моментами казалось, что партия вот-вот рухнет под тяжестью долгов. К этому времени прекратились поступления от богатых покровителей, и теперь забеспокоились кредиторы: люди, печатавшие партийные билеты, шившие форму, поставлявшие оружие, предоставлявшие помещения для работы партии, а также бесчисленные держатели векселей. Позже Гитлер с некоей легкомысленной логикой признавал, что подписывал в те времена бесчисленные долговые обязательства без малейшего беспокойства, так как победа сделала бы их оплату лёгкой, а поражение — излишним[308]. Повсюду на перекрёстках улиц часами стояли штурмовики, протягивавшие прохожим опечатанные кружки для сбора пожертвований, «словно отставные солдаты, которым их полководец вместо пенсии дал разрешение на сбор подаяния»; при этом они насмешливо кричали: «Для злых наци!» Конрад Хайден рассказывает, что многие отчаявшиеся младшие командиры СА переходили на сторону партий-противниц НСДАП и враждебных ей газет и за деньги выдавали им разные «тайны». Одним из признаков распада было и то, что пёстрая армия оппортунистов, шумно и беспорядочно сопровождавшая движение, пока оно было на подъёме, теперь постепенно разбегалась и, хоть пока и неуверенно, начала примыкать к другому лагерю. На выборах в ландтаг Тюрингии, бывшей до тех пор одним из оплотов Гитлера, НСДАП потерпела крупнейшее поражение. 6-го декабря Геббельс записывает в дневник: «Положение в стране катастрофическое. В Тюрингии мы по сравнению с 31-м июля потеряли почти 40 процентов голосов»[309]. Впоследствии он публично признавал, что в то

время его иногда одолевали сомнения — не погибнет ли движение окончательно. В многочисленных бюро Грегора Штрассера росло число заявлений о выходе из партии.

Скептицизм со всей очевидностью был обращён против концепции Гитлера. Много раз тот неуклонно отвергал половинную власть, однако же полноты власти так и не сумел завоевать. Назначение Шляйхера означало, что его максималистские требования, предусматривавшие либо победу, либо гибель, снова были отклонены. Конечно, в том, что он оставался верен этой дилемме, несмотря на все временные неудачи, разочарования и кризисы, была последовательность, которая может импонировать. И всё же хочется вместе с одним из его современников спросить, не превратилась ли непреклонность Гитлера в глупость[310]. Во всяком случае, значительная группа его сторонников во главе со Штрассером, Фриком и Федером считала, что самый благоприятный момент для прихода к «власти» был почти безвозвратно упущен. Правда, экономический кризис, которому партия была так многим обязана, всё ещё был далёк от преодоления, общее число безработных, включая и их «невидимые» части, в октябре 1932 года составляло по официальным данным 8750 тыс. человек, и страна шла навстречу новой голодной и холодной зиме со всеми её непредсказуемыми деморализующими и радикализирующими последствиями. Но по мнению экспертов впервые появились несколько обнадёживающие признаки перелома, да и во внешней политике затянувшийся процесс достижения компромисса сдвинулся с мёртвой точки. Девиз Гитлера «Все или ничего» был, как правильно указывала группа Штрассера, по сути революционным и потому противоречил тактике легальности. Конкретно опасения касались, в частности, возможности того, что Шляйхер опять распустит парламент и назначит выборы. А к ним партия не была готова ни материально, ни психологически.

Теперь уже с точностью не установить, каким числом приверженцев располагал Штрассер и, прежде всего, насколько они были готовы следовать за возглавлявшим оргработу в партии даже вопреки воле своего фюрера[311]. По одной из версий Гитлер будто бы сначала уступил и хотел уже согласиться с вхождением Штрассера в кабинет, так как подобное решение проблемы ему по крайней мере помогло бы остаться при своих жёстких принципах и в то же время привело бы партию к власти; но, согласно этой версии, Геринг и Геббельс заставили Гитлера вернуться к его прежней неуступчивости, и этого курса он, по свидетельству уже других источников, придерживался «категорически и недвусмысленно». Не выяснено далее, действительно ли Шляйхер

на переговорах об образовании своего «кабинета жажды антикапитализма»[312] предложил Штрассеру пост вице-канцлера и министра труда, потребовав взамен обещание раскола партии. Неизвестно даже, хотел ли Штрассер вообще переиграть Гитлера или же вступил в переговоры, опираясь на своё положение второго человека в партии — может быть, подобно Герингу, который, опять-таки по другой версии, будто бы предложил Шляйхеру свою кандидатуру на пост министра воздушных сообщений. От всех этих запутанных секретных сговоров, едва обозначенных обещаний и воображаемых успехов не осталось, пожалуй, ни одного достоверного документа[313]. Единственное, что подтверждается документально, — это сеть интриг, заговоров, подозрений и ожесточённого соперничества. Такова уж была оборотная сторона этой идеологически столь мобильной, построенной на принципах верности и вождизма партии, что перевешивали всегда не деловые, а чисто личные мотивы, а руководящее ядро вокруг Гитлера до самого конца оставалось скопищем враждующих приспешников, в котором каждый в какой-то момент противостоял каждому.

5-го декабря, после принёсших НСДАП чувствительные потери выборов в Тюрингии, на совещании у Гитлера в отеле «Кайзерхоф» произошёл крупный спор, в ходе которого Штрассер понял, что Фрик от него уже откололся, а подавляющее красноречие Гитлера окончательно его изолировало. Два дня спустя он там же снова стоял перед Гитлером, осыпаемый упрёками и обвиняемый в коварстве, предательстве и вероломстве. Возможно, что сама реакция собравшихся на обвинения Гитлера и на его собственные гневные возражения убедила Штрассера в бесперспективности его стремлений. Во всяком случае, когда разразился дикий скандал, он собрал свои вещи и молча, ни с кем не попрощавшись, ушёл. Придя в свой номер, он написал Гитлеру большое письмо, подводившее итог их долголетних отношений. Он критиковал авантюрную политику партии, находившейся под губительным влиянием Геббельса и Геринга, а также непостоянство Гитлера, которому он предсказывал, что он кончит курсом на «применение силы и грудой развалин на немецкой земле»[314]. Затем, полный разочарования и отвращения, он заявлял об отставке со всех партийных постов.

Письмо повергло партию в отчаяние и уныние, тем более, что в нём ничего не говорилось о дальнейших планах Штрассера. Какого-то знака от него ожидали не только такие его ближайшие приверженцы, как Эрих Кох, Кубе, Кауфман, граф Ревентлов, Федер, Фрик или Штер. Сам Гитлер, казалось, нервничал и был

готов к тому, чтобы уладить разногласия в открытом объяснении. Беспокойство усилилось, поскольку Штрассер нигде не показывался. «Вечером фюрер был у нас дома, — писал Геббельс. — Настроение никак не улучшалось. Мы все весьма подавлены, прежде всего потому, что есть опасность развала всей партии; тогда вся наша работа была впустую. Мы стоим перед решающим испытанием». Позже, уже в своём гостиничном номере, Гитлер внезапно прервал молчание словами: «Если партия когда-нибудь развалится, я тремя минутами позже пущу себе пулю в лоб»[315].

Между тем Штрассер, которого искали и которого боялись, тот Штрассер, который в какой-то исторический момент, казалось, держал в своих руках судьбу движения, провёл вторую половину дня за кружкой пива в обществе одного из друзей. С разочарованием, но и облегчением он излил всю злость, копившуюся в нём годами, ругался, вздыхал и пил, а вечером сел в поезд и уехал, чтобы отдохнуть от изнурительной близости Гитлера. Своё окружение он оставил в состоянии недоумения и беспомощности. Если кто-то захочет найти причины этого срыва, то их следует искать прежде всего в разлагающем влиянии долголетней безусловной преданности: Грегор Штрассер слишком долго хранил верность, чтобы сохранить ещё и самостоятельность. На следующий день, как только уход Штрассера стал известен, Гитлер принялся за разрушение его аппарата. Молниеносно, с какой-то лихорадочной уверенностью, он издал целый ряд указов и призывов. В соответствии с моделью разрешения кризиса в СА, он сам возглавил организационный отдел партии и назначил Роберта Лея, который ещё в ганноверские годы доказал свою слепую преданность, начальником своего штаба. Затем повысил в должности своего личного секретаря Рудольфа Гесса, сделав его руководителем политического Центрального секретариата, задуманного, вероятно, как противовес возможным притязаниям на власть со стороны третьих лиц. Кроме того, самостоятельность получили отделы сельского хозяйства и народного образования. Их начальниками стали соответственно Дарре и Геббельс.

Затем Гитлер собрал функционеров и депутатов от НСДАП во дворце председателя рейхстага — служебной резиденции Германа Геринга, и там прошла волнующая церемония изъявления верности. Он упомянул о том, насколько он всегда хранил верность Штрассеру и насколько тот всегда был вероломен, а вот теперь, на пороге победы, привёл партию и вовсе на край пропасти. Сегодня уже не установить, действительно ли Гитлер, рыдая, опустил голову на стол и разыграл комедию отчаяния; во

всяком случае для Геббельса речь была «наполнена таким искренним чувством, что у меня стало горячо на сердце… У старых партийцев, много лет несгибаемо боровшихся и работавших в движении, в глазах стояли слезы ярости, боли и стыда. Этот вечер — огромный успех для единства движения». Гитлер не упустил из-под влияния своего патетического триумфа ни одного из соратников Штрассера, потребовав от них всех акта публичного подчинения его воле: «Все пожали ему руку и пообещали бороться плечом к плечу рядом с ним, что бы ни случилось, и не отступаться от нашего дела, даже если ради этого придётся пожертвовать жизнью. Штрассер совершенно изолирован. Политический труп».

Так Гитлер преодолел один из значительных кризисов в своей карьере и опять-таки доказал удивительную способность превращать разброд и развал в импульс для дальнейшей закалки своих приверженцев. Да, конечно, Штрассер, не навязавший ему ни борьбы, ни компромисса, облегчил ему этот успех и стал очень удобным козлом отпущения, на которого теперь можно было свалить все неудачи прошлых месяцев. Но в истории возвышения Гитлера всякий раз случалось так, что его соперники не умели бороться и, видя его ожесточение, пожимали плечами и отказывались от борьбы. Едва почувствовав немилость Гинденбурга, Брюнинг капитулировал так же быстро, как Зеверинг или Гжезински 20 июля. Теперь пришёл черёд Штрассера и его сторонников, потом Гугенберга и других: при виде его ярости все они отступались и уходили. От Гитлера их отличало то, что у них не было такой страстной жажды власти. Для них какой-либо кризис означал поражение, для него же — исходную точку для борьбы и обретения новой уверенности. Сам Гитлер описал тип своего буржуазного соперника с проницательной презрительностью: «Не будем обманываться — нам вовсе не собираются сопротивляться. Каждое слово, произносимое в том лагере в наш адрес, выдаёт стремление к соглашательству… Это все не те люди, которые жаждут власти или испытывают наслаждение от обладания властью. Они способны только рассуждать о долге и ответственности и были бы просто счастливы, если бы могли спокойно ухаживать за цветами в своём саду, в привычный час ходить на рыбалку, а в остальном проводить жизнь в благочестивом созерцании»[316]. Декабрьский кризис 1932 года подтвердил эту высокомерную характеристику; вплоть до военных лет она оставалась стимулирующим примером того, как из поражений и неудач черпать новую уверенность в победе. Сам Гитлер любил, вспоминая прошлое, взбадривать самого себя словами, что ему «приходилось преодолевать ещё и

не такие пропасти и не раз стоять перед альтернативой — быть или не быть».

Однако окончание дела Штрассера ещё не означало конца политического кризиса в НСДАП. Дневник Геббельса и в последующие недели изобилует свидетельствами подавленности; упоминается также, что было «очень много склок и недоразумений». Верхушка партии, особенно Гитлер, Геринг, Геббельс и Лей, в конце каждой недели объезжала области, чтобы поднять настроение и повысить доверие своих сторонников. Как во времена крупных кампаний, Гитлер выступал до четырех раз в день, часто в весьма отдалённых друг от друга городах. Не прекращались и финансовые трудности. В берлинской гау пришлось урезать оклады партийных чиновников, а фракция НСДАП в прусском ландтаге даже не смогла выдать парламентским служкам традиционные рождественские чаевые. 23-го декабря Геббельс записывает: «Меня охватывает ужасное одиночество, схожее с тупой безысходностью!» Под новый год «Франкфуртер цайтунг» уже радовалась «развенчанию легенды о НСДАП», а Харолд Ласки, один из ведущих интеллектуалов английских левых сил, уверял: «День, когда национал-социалисты представляли собой смертельную опасность, прошёл… Если отвлечься от случайностей, то не так уж невероятно, что Гитлер окончит свою карьеру стариком в какой-нибудь баварской деревушке, рассказывающим своим друзьям по вечерам в пивной, как он однажды чуть было не устроил переворот в Германском рейхе»[317]. Словно продолжая эту мысль, Геббельс недовольно писал: «Год 1932-й был сплошной чередой неудач. Его надо разбить вдребезги… Не осталось никаких перспектив, никаких надежд».

Именно в этот момент неожиданно для всех произошёл быстрый поворот событий. Потому что как ни умно Шляйхер в качестве канцлера начинал свою шахматную партию, он скоро увидел, что ему приходится усаживаться даже не на двух, а сразу на всех стульях. Хоть он и представился в своём правительственном заявлении как «социально ориентированный генерал», его уступки трудящимся не привлекли к нему социал-демократов и в то же время обозлили предпринимателей. Крестьяне были недовольны тем, что им предпочитают рабочих, а крупные землевладельцы выступили против объявленной программы «поселений»[318], сплочённые тем же кастовым духом, который в своё время стал роковым для Брюнинга. К тому же старания генерала по объединению сил явились большой неожиданностью, и генерал, известный своим интриганством, не

вызывал доверия в качестве поборника единства. Провозглашённые им идеи плановой экономики, его попытки сближения с профсоюзами, его намерения восстановить парламентские порядки — все это, может быть, было искренне, но натолкнулось на недоверие и сопротивление. Тем не менее Шляйхер не терял оптимизма, считая, что разные его противники не в состоянии объединиться ради борьбы против него. Да, интрига, задуманная им вокруг Грегора Штрассера, пока провалилась; и всё же дело это нанесло тяжёлый ущерб сплочённости глубоко деморализованной, погрязшей в долгах НСДАП и привело к тому, что Гитлер, без участия которого антиправительственный фронт терял ударную силу, перестал считаться политиком, с которым можно заключать союзы.

Не кто иной как Франц фон Папен перепутал все расчёты Шляйхера и неожиданно помог НСДАП обрести новый шанс. В нём соперничающие между собой противники Шляйхера усмотрели наконец фигуру «общего защитника»[319].

Всего две недели спустя после вступления генерала на пост главы правительства Папен высказал кёльнскому банкиру Курту фон Шрёдеру свою заинтересованность во встрече с вождём НСДАП. Случилось так, что контакты совпали по времени с уходом Грегора Штрассера, а это могло быть истолковано кругами покровителей-промышленников в том смысле, что революционные, антикапиталистические настроения в партии если и не преодолены, то во всяком случае лишились своего главного выразителя. Да и постоянный рост голосов, подаваемых за коммунистическую партию, что снова подтвердилось на ноябрьских выборах в рейхстаг, способствовал преодолению предубеждения предпринимателей против Гитлера, тем более что пропаганда НСДАП работала под лозунгом: Если завтра партия распадётся, то послезавтра в Германии прибавится 10 миллионов коммунистов. Будучи главой кёльнского «клуба господ», Шрёдер обладал широкими связями с представителями рейнской тяжёлой промышленности. Он и раньше не раз активно выступал в поддержку Гитлера, набрасывал планы экономической политики национал-социалистов, а в ноябре 1932 года подписал составленную Яльмаром Шахтом петицию, содержавшую неприкрытую поддержку претензий Гитлера на власть. Тогда Папен в резком заявлении отверг это выступление как недопустимое, теперь же он обрадовался и согласился, когда Шрёдер пригласил его на встречу с Гитлером, назначенную на 4-е января.

Разговор, состоявшийся в обстановке строжайшей секретности, начался с горького, полного упрёков монолога

Гитлера, вращавшегося в основном вокруг его унижения 13-го августа. Только некоторое время спустя Папену удалось установить согласие, свалив на Шляйхера всю вину за отказ президента назначить Гитлера канцлером. Затем он предложил создать коалицию между дойч-националами и национал-социалистами во главе с неким подобием дуумвирата, состоящего из него самого и Гитлера. В ответ Гитлер снова произнёс «длинную речь», как фон Шрёдер показал на Нюрнбергском процессе, «в которой он утверждал, что будучи назначен канцлером, не сможет отказаться от своего намерения самому в одиночку возглавлять правительство. Но люди Папена, продолжал Гитлер, все же могли бы войти в его правительство в качестве министров, если выкажут готовность участвовать в политике, которая изменит многое. К числу упомянутых им изменений относились удаление социал-демократов, коммунистов и евреев с ключевых позиций в Германии и восстановление порядка в общественной жизни. В принципе Папен и Гитлер пришли к согласию»[320]. В ходе дальнейших переговоров Гитлер получил ценную для него информацию о том, что у Шляйхера нет полномочий на роспуск парламента и что НСДАП, следовательно, может не опасаться новых выборов.

Встреча эта с полным на то основанием была названа «часом рождения третьего рейха»[321], ибо от неё идёт прямая причинная связь к тому, что произошло 30-го января под знаком коалиции, впервые наметившейся в Кёльне. Одновременно переговоры снова бросали свет на те предпринимательские круги, которые поддерживали гитлеровские амбиции. Пока, правда, все ещё не выяснено, не коснулся ли разговор в конце и катастрофического финансового положения партии и обсуждались ли конкретные меры по уплате её долгов. Однако уже сами переговоры как таковые без сомнения укрепили кредитоспособность партии и вообще вернули ей статус участника политической жизни. Ещё 2-го января консультант НСДАП по налоговым делам заявил в одном из финансовых учреждений Берлина официально, для занесения в протокол, что партия сможет заплатить налоги только ценой своей независимости; а теперь Геббельс отметил в дневнике, что у партии «снова высокая котировка». Хотя он и не указывал, как часто утверждается, на «внезапное улучшение» её материального положения, но всё же писал, что у него «нет охоты заботиться о скверном финансовом положении организации. Если мы на этот раз добьёмся своего, все это перестанет играть какую-либо роль»[322].

В той же мере, в какой кёльнская встреча восстановила веру национал-социалистов в собственные силы и близкую победу, она

нанесла, пожалуй, решающий удар по Шляйхеру и его правительству. Сознавая надвигающуюся опасность, канцлер немедленно информировал прессу, а затем попросил аудиенции у Гинденбурга. Но на просьбу о том, чтобы президент принимал впредь Папена только в его, Шляйхера, присутствии, он получил уклончивый ответ, показавший ему всю слабость своей позиции: Гинденбург больше не собирался предпочитать государственные институты и принципы корректного выполнения служебных обязанностей своему «юному другу» Папену, обладавшему столь лихим шармом и так прекрасно умевшему рассказывать анекдоты.

Окончательно ясно это стало в разговоре, который Папен в свою очередь провёл с Гинденбургом. Вопреки истине он сообщил президенту, что Гитлер наконец-то стал уступчивее и отказался от требования единоличной правительственной власти. Но вместо того, чтобы пожурить Папена за своеволие, Гинденбург ограничился словами, что и сам «сразу же подумал, что это (шляйхеровское) изложение ситуации не может соответствовать действительности», и даже поручил Папену оставаться в контакте с Гитлером лично и строго секретно. Наконец он попросил своего статс-секретаря Майснера ничего не говорить Шляйхеру о поручении, данном Папену. Тем самым президент сам включился в заговор против своего же канцлера[323].

Формирующийся фронт Папен-Гитлер получил вскоре ощутимое подкрепление. Пока Шляйхер — с нарастающим чувством безнадёжности — старался завоевать расположение Штрассера, профсоюзов и партий, в президентский дворец 11-го января пришла делегация Имперского аграрного союза, энергично жаловавшаяся на бездействие правительства, особенно в области правительственных пошлин. За этим стояли опасения аграриев, что будет осуществлена задуманная ещё Брюнингом переселенческая программа, а также, очевидно, страх, что парламент станет проверять, куда ушла «восточная помощь»[324]. А многие собратья Гинденбурга по сословию использовали её не только для неправедного обогащения, но и для того, чтобы эксплуататорскими мерами лишний раз доказать свою принципиальную непримиримость к ненавистной республике. В присутствии приглашённых членов кабинета Гинденбург тотчас же принял сторону представителей интересов крупных аграриев. Поскольку Шляйхер не собирался тут же брать на себя какие-либо обязательства, владелец имения в Нойдеке, по свидетельству одного из очевидцев, грохнул кулаком по столу и в ультимативном тоне заявил: «Я прошу вас, господин рейхсканцлер фон Шляйхер — а как старый солдат вы наверняка

знаете, что просьба — это только вежливая форма приказа, — чтобы сегодня же ночью кабинет собрался, принял бы законы в том направлении, о котором здесь говорилось, и положил их мне завтра утром на стол на подпись»[325]. Сначала Шляйхер, казалось, готов был уступить нажиму президента. Но всего несколько часов спустя стала известна демагогическая резолюция имперского земельного союза, вынудившая его принять вызов и сразу же прервать переговоры. Когда он двумя днями позже ещё и отказался предоставить реакционеру Гутенбергу пост министра экономики и недвусмысленно подтвердил свою социально-политическую аргументацию, все пошатнулось; теперь против него выступили и правые. Социал-демократия и раньше отказала «дьявольскому генералу» в какой-либо поддержке и даже запретила профсоюзному лидеру Ляйпарту переговоры со Шляйхером. В оценке Гитлера социал-демократы стали пленниками собственных одномерных представлений, самодовольно приукрашенных идеологическими стереотипами и недомыслием. Подобно консервативным деятелям с их особым сознанием, будто они «уполномочены самой историей», социал-демократы в своём самодовольстве, под которое они подводили историко-философскую базу, полагались на автоматическое действие прогресса; поэтому в Гитлере они видели всего лишь отклонение от прямого пути, драматическое обострение ситуации перед окончательным прорывом к свободному общественному строю. Шляйхер, конечно, своими бесчисленными интригами и незаконными махинациями сам почти полностью подорвал доверие к себе, но этого ещё было недостаточно, чтобы не доверять ему больше, чем Гитлеру. В том равнодушии, с каким социал-демократическое руководство позволило свалить генерала, сказалась в известной мере традиционная насторожённость по отношению к самому этому государству, которое никогда полностью не соответствовало их представлениям. Как бы то ни было, во всех этих оговорках, диссонансах и возражениях потерялось понимание того факта, что Шляйхер был последней остававшейся альтернативой Гитлеру, в нетерпении стоявшему перед вратами власти. В годы после краха «большой коалиции» СДПГ не проявила, пожалуй, ни одной значительной инициативы; теперь она снова собралась было с силами — но только для того, чтобы уничтожить последний малый шанс республики на спасение[326].

Хитроумный канцлер быстрее, чем ожидали, оказался таким образом в безвыходной ситуации: как личность он не дорос до своей же собственной по сути правильной концепции. Его

программа создания рабочих мест настроила против него предпринимателей, его переселенческая программа обозлила аграриев, его происхождение — социал-демократов, а его предложения Штрассеру — национал-социалистов. Реформа конституции оказалась настолько же неосуществимой, как правление с парламентом, без парламента или захват власти: казалось, что политика на нём вообще кончилась. Если Шляйхер и оставался какое-то время в своём ведомстве, то только потому, что заговорщики пока не пришли к согласию относительно состава нового кабинета. Именно эти вопросы стали теперь предметом лихорадочной закулисной деятельности.

Что касается Гитлера, то он, чтобы укрепить свои позиции на переговорах и придать большую основательность претензиям НСДАП на власть, сконцентрировал все силы на выборах в ландтаг крохотной земли Липпе, назначенные на 15 января. В ходе этой чрезвычайно дорогостоящей предвыборной борьбы он снова собрал всех известных партийных ораторов в замке барона фон Ойенхаузена, и вечер за вечером они наводняли собой эту землю. В первый день, писал Геббельс, «я выступил трижды, частично в совсем маленьких деревушках»; сам Гитлер за несколько дней выступил на восемнадцати митингах. То точное психологическое чутьё, которое многими так и не было понято или высокомерно презиралось, помогло ему распознать шанс, даваемый этими выборами. С самого начала вся агитация была направлена на то, чтобы представить результаты выборов как решающую репетицию в борьбе за господство, и действительно — общественность поддалась этому внушению: она ожидала результатов этого второстепенного события, голосования каких-то ста тысяч избирателей, так, словно это было нечто вроде суда Божия, определявшего «политическое будущее 68-миллионного народа»[327].

Благодаря предпринятым усилиям Гитлер 15-го января достиг первого успеха со времени июльских выборов. Правда, партия собрала 39, 5 процента голосов, а это было меньше, чем в том же Липпе ранее, к тому же демократические партии, особенно СДПГ, в целом завоевали большее количество голосов, чем гитлеровская партия. Однако общественность во главе с президентской верхушкой увидела в этом успехе не результат непропорционально больших усилий и не совпадение благоприятных обстоятельств, позволивших истощённой и не способной на крупную кампанию НСДАП использовать малые выборы; исход выборов был воспринят как доказательство восстановления нимба неотразимости, окружавшего гитлеровское движение.

Поэтому встретившись 18-го января в Берлине-Далеме у недавно примкнувшего к нему виноторговца Иоахима фон Риббентропа с Францем фон Папеном, Гитлер ещё самоувереннее потребовал для себя пост канцлера. Папен возразил, что для этого его собственного влияния на президента недостаточно, и переговоры грозили окончательно зайти в тупик. Только несколькими днями позже в строжайшей тайне была осуществлена идея подключить Гинденбурга-сына, что позволило продвинуться на переговорах. Гитлер и сопровождавшие его лица под покровом темноты вошли в дом Риббентропа со стороны сада, а в это время Оскар фон Гинденбург и статс-секретарь Майснер демонстративно показались в опере, прежде чем сразу же после антракта тайно покинуть ложу. Что касается Папена, то шофёр привёз его в машине Риббентропа.

Как только все были в сборе, Гитлер попросил сына президента выйти с ним в соседнюю комнату, так что Оскар фон Гинденбург, специально настоявший на участии Майснера, оказался внезапно изолированным. Предмет этого разговора с глазу на глаз, продолжавшегося около двух часов, до сих пор достоверно неизвестен. В соответствии со своими тактическими методами Гитлер, вероятно, попытался обеспечить себе поддержку президентского сына с помощью испытанной комбинации угроз и лести. К угрозам могло относиться обвинение Гинденбурга в попытке совершить государственный переворот в Пруссии, которое национал-социалисты не раз собирались предъявить. Не исключено также, что Гитлер оказал на Оскара нажим, намекнув, что НСДАП разоблачит скандальную неуплату налога семьёй Гинденбургов при передаче прав собственности на имение Нойдек[328]. Конечно, и присущая Гитлеру сила внушения не могла не произвести впечатления на президентского сына, и без того склонного к оппортунизму. Как бы то ни было, Оскар, пришедший в дом Риббентропа с большим предубеждением против Гитлера, на обратном пути сказал Майснеру, что теперь уже нет другой возможности, кроме как сделать Гитлера канцлером, тем более что и Папен между тем якобы согласился на вице-канцлерство[329].

К тому времени и Шляйхер впервые, пожалуй, осознал всю опасность ситуации. 23-го января он посетил Гинденбурга и откровенно признал, что его план — расколоть НСДАП и придать кабинету парламентскую основу — провалился.

Но когда вслед за этим он испросил у президента полномочий на роспуск рейхстага, объявление чрезвычайного положения и указ об одновременном запрещении НСДАП и КПГ, Гинденбург напомнил ему о споре, состоявшемся 2-го декабря.

Тогда Папен предлагал похожее решение вопроса, но вынужден был отступить, натолкнувшись на возражения Шляйхера. Канцлер указал на изменившиеся обстоятельства, но на старика это не возымело действия, и после консультации с Майснером он отклонил предложение Шляйхера.

Как и следовало ожидать, камарилья немедленно известила общественность о намерениях Шляйхера. Все стороны немедленно выразили категорический протест. Национал-социалисты с наигранным возмущением жаловались на планы государственного переворота по типу «Примо де Шляйхерос»[330]; понятно, что возмущены были и коммунисты, а у демократических центристских партий канцлер растерял последние остатки своего престижа. Такая дружная реакция возымела своё действие на Гинденбурга и, вероятно, побудила его более благосклонно отнестись к планам создать кабинет Гитлера. Кроме того, 27-го января Геринг посетил в президентском дворце Майснера и попросил передать «почтеннейшему генерал-фельдмаршалу», что в отличие от Шляйхера Гитлер не намерен отягощать совесть президента, заставляя его нарушать право, и будет неуклонно соблюдать конституцию[331].

А между тем неутомимый Папен действовал, не покладая рук. На этот раз он старался сделать запланированный кабинет более приемлемым для Гинденбурга путём включения в него дойч-националов и близких к президенту руководителей «Стального шлема». Если Дюстерберг решительно возражал против якобы «настоятельной необходимости» кабинета Гитлера, то Зельдте и Гугенберг были согласны с планами Папена. Ничему не научившись на опыте прошлых лет, Гугенберг заявлял, «что ничего ведь не может случиться», поскольку Гинденбург останется президентом и верховным главнокомандующим рейхсвера, Папен станет вице-канцлером, он сам возьмёт на себя всю экономику, а Зельдте — министерство труда: «Следовательно, мы создадим для Гитлера определённое обрамление»[332].

Сам же Гинденбург, уставший, запутавшийся и способный только моментами как-то разбираться во всех этих хитросплетениях, вероятно, все ещё думал о кабинете фон Папена, в котором Гитлер был бы вице-канцлером. Когда генерал фон Хаммерштайн, начальник управления сухопутных войск, утром 26-го января высказал ему свои сомнения по поводу развития политических событий, Гинденбург «чрезвычайно обидчиво» запретил «оказывать на него какое-либо политическое влияние, но потом — наверное, чтобы меня успокоить, — сказал что „и не подумает сделать австрийского ефрейтора министром

обороны или рейхсканцлером“[333]. Однако уже на следующий день у президента появился Папен, заявивший, что в настоящий момент создать кабинет фон Папена не представляется возможным. Теперь Гинденбург остался в одиночестве и один возражал против назначения Гитлера.

Какие именно обстоятельства привели к перелому в ходе следующего дня, сегодня трудно сказать. Конечно, не остались без последствий массированные попытки камарильи повлиять на президента, так же, как и угрозы со стороны НСДАП или вмешательство представителей групп интересов крупных аграриев или дойч-националов. Определённую роль сыграло и то, что Шляйхер уже ни для кого не был подходящей альтернативой; наконец, не могло не повлиять на президента и то обстоятельство, что обещанное избалованным молодцом-Папеном новое правительство должно было состоять исключительно из представителей правых. Дело в том, что уже при отставке Брюнинга одним из решающих мотивов было соображение того рода, что правительству нужно, наконец, поправеть и покончить с порядками, которые усталый дух Гинденбурга понимал как «господство профсоюзных бонз»; теперь тот же мотив обернулся против Шляйхера. Руководители партий, снова привлечённые Гинденбургом для консультации, тоже выступили против канцлера-генерала, но отклонили и возможный новый эксперимент с Папеном. Больше того, они дали понять, что пришло, наконец, время позвать Гитлера, обеспечив себе возможную подстраховку, и связать ему руки возложенной на него ответственностью, чтобы подвергнуть его тому же процессу морального износа, которому сами они так долго платили дань. Республика действительно была при последнем издыхании.

Утром 28-го января Шляйхер предпринял последнюю попытку удержать игру в своих руках, заявив, что будет просить Гинденбурга о полномочиях на роспуск рейхстага — или же откажется от своего поста. Ближе к полудню он отправился в президентский дворец, и тут окончательно выяснилось, до какой степени он потерял влияние, поскольку его вплоть до этого времени явно никто не информировал о планируемом канцлерстве Гитлера. Наоборот, он, кажется, до последнего момента верил, что Гинденбург останется на его стороне и выполнит своё обещание в любое время дать ему полномочия на роспуск парламента[334]. Поэтому когда президент просто отклонил его повторные требования, Шляйхер, вероятно, почувствовав себя ещё и лично оскорблённым, насколько известно, в резком тоне заявил: «Я признаю за вами, г-н рейхспрезидент, право быть недовольным тем, как я исполняю

свои обязанности, хоть вы всего четыре недели назад и уверяли меня в обратном. Я признаю за вами также право сместить меня. Но права на то, чтобы за спиной вами же призванного канцлера сговариваться с кем-то другим, я за вами не признаю. Это вероломство». Гинденбург возразил, что и так уж одной ногой стоит в могиле и не уверен, не придётся ли ему на небесах раскаиваться в своём решении, на что Шляйхер холодно и возмущённо ответил: «После того, как вы не оправдали оказанного вам доверия, я не уверен, ваше превосходительство, что вы попадёте на небеса»[335].

Сразу же после ухода Шляйхера Папен вместе с Оскаром фон Гинденбургом и Майснером снова стали уговаривать президента назначить Гитлера канцлером. Все ещё колеблясь и медля, Гинденбург предпринял последнюю попытку уйти от тяжёлого решения. Вопреки обычаям он не сам поручил Гитлеру сформировать новое правительство, а сделал Папена своим homo regius (правой рукой), дав ему поручение «путём переговоров с партиями выяснить политическую обстановку и реальные возможности».

Уже во второй половине того же дня Папену удалось привлечь на свою сторону Гугенберга, пообещав ему два места в кабинете. Затем он послал за вождём НСДАП. На долгих предварительных переговорах уже было достигнуто согласие в том, что люди Гитлера помимо должности канцлера получат министерство внутренних дел, а для Геринга будет специально создано министерство гражданской авиации. Но теперь Гитлер потребовал дополнительно имперский комиссариат по делам Пруссии, а также прусское министерство внутренних дел, которое обеспечило бы ему контроль над прусской полицией. Кроме того, он потребовал проведения новых выборов.

И снова все пошатнулось… Услышав о дополнительных требованиях Гитлера, Гинденбург, казалось, снова охваченный дурными предчувствиями, успокоился только тогда, когда ему передали — правда, двусмысленное — заверение Гитлера, «что это будут последние выборы». Теперь, наконец, он предоставил события их собственному ходу. Все требования Гитлера были выполнены (за исключением предназначавшегося Папену имперского комиссариата по делам Пруссии). Жребий был брошен.

Принятие решения было ускорено ещё и тем, что во второй половине дня 29-го января распространился слух, будто Шляйхер вкупе с Хаммерштайном поднял по тревоге гарнизон Потсдама, чтобы арестовать президента, объявить «государство в опасности» и с помощью рейхсвера захватить власть. Жена Оскара фон

Гинденбурга ещё несколько дней спустя возмущённо рассказывала о том, что престарелого президента якобы собирались отвезти в Нойдек в «пломбированном вагоне для скота». Гитлер, узнавший об этом слухе в квартире Геббельса на Рейхсканцлерплац, отреагировал дерзким демагогическим шагом: он не только сразу же поднял по тревоге берлинских штурмовиков, но и приказал — в патетическом предвосхищении ожидаемой власти — держать в боевой готовности шесть ещё даже не существующих полицейских батальонов на случай захвата Вильгельмштрассе[336].

В отличие от автора этого слуха, так до сих пор и не установленного, фигура того, кому он был выгоден, абсолютно ясна. Не кто иной, как Папен воспользовался грозным призраком военной диктатуры, чтобы продвинуть свои планы. Он вызвал из Женевы генерала фон Бломберга и добился того, чтобы генерал рано утром 30-го января, ещё до всего остального кабинета, был приведён к присяге в качестве министра рейхсвера — очевидно, чтобы предотвратить возможную отчаянную попытку Шляйхера, который между тем установил связь с Гитлером. Одновременно это был нажим на Гугенберга, упрямо отклонявшего требуемые Гитлером новые выборы. Не в последнюю очередь для того, чтобы лишить его всякой возможности выяснить источник таинственных слухов о путче, Папен вызвал Гугенберга к себе в 7 часов утра, чтобы в «сильнейшем волнении» попробовать его переубедить; он воскликнул: «Если до 11 часов не будет сформировано новое правительство, то выступит рейхсвер!» Но Гугенберг лучше Папена разглядел тактику Гитлера, определяемую стремлением к власти, понял, что тот путём мобилизации государственных и неограниченных материальных средств заранее хотел обеспечить себе лучшие шансы, чем на выборах 6-го ноября. Поэтому Гугенберг остался при своём отказе.

Это, казалось, снова поставило все на карту, когда Папен без четверти десять утра повёл членов предполагаемого правительства через заснеженный сад министерства к президенту, и в кабинете Майснера торжественно приветствовал Гитлера как нового рейхсканцлера. Гитлер, поблагодарив, не преминул заявить, что «теперь немецкий народ путём всеобщих выборов должен подтвердить свершившееся образование кабинета». Но тут и он столкнулся с решительным противодействием Гугенберга. В последовавшей за этим резкой перепалке Гитлер в конце концов подошёл к своему противнику и «торжественно дал ему честное слово», что новые выборы ничего не изменят в персональном составе кабинета, что он «никогда не расстанется ни с одним из здесь присутствующих». Озабоченный Папен в свою очередь

подал реплику: «Господин тайный советник, неужели вы захотите подвергнуть риску согласие, достигнутое с таким трудом? Вы же не можете сомневаться в торжественно данном честном слове немца!»[337]

Так высокомерные планы «обрамления» и укрощения при первом же испытании обнаружили всю свою слабость. С чисто арифметической точки зрения, конечно, удалось завлечь Гитлера в меньшинство: трём национал-социалистам противостояли восемь министров-консерваторов, и почти все ключевые посты в государстве оказались в руках группы, тесно связанной и в социальном, и в идеологическом плане. Жаль только, что этими «укротителями» оказались именно Папен, Нойрат, Зельдте или Шверин фон Крозиг, так как у них не было ни осознания ценности института государства, ни достаточной энергии, чтобы суметь его защитить. Они понимали дело так, что призваны к сохранению только унаследованных ими привилегий. Тот факт, что Гитлер так легко пошёл на численно невыгодное для него соотношение, свидетельствует как о его уверенности в собственных силах, так и о безграничном презрении к консервативным противникам. В одной из оконных ниш кабинета его укротители теперь дружно наседали на сопротивляющегося Гугенберга, а в это время в соседней комнате президент нетерпеливо допрашивал вызванного статс-секретаря о том, что означает это промедление. Майснер вернулся к спорящим «с часами в руках»: «Господа, приведение к присяге у г-на рейхспрезидента было назначено на 11 часов. Сейчас 11 часов 15 минут. Вы не можете долее задерживать господина рейхспрезидента». И то, чего не смогли сделать ни красноречие Гитлера, ни заклинания Папена, ещё раз — в последний раз в жизни и умирании республики — удалось сделать легендарному имени президента-фельдмаршала. Гугенберг с нескрываемой гордостью и не без оснований много раз называл себя «упрямым козлом»; ещё в августе он заявил Гинденбургу, что «не обнаружил у Гитлера особой верности договорам». Но теперь и Гугенберг уступил, хотя хорошо знал, что было поставлено на карту — уступил из глубочайшего уважения к расписанию Гинденбурга. Через несколько минут кабинет был приведён к присяге[338].

Действительно, Папен и сам верил, что ему удался политический шедевр: он отомстил Шляйхеру и одновременно осуществил его же концепцию укрощения, он удовлетворил своё тщеславие, непомерно раздутое со времени его нечаянного канцлерства, вернувшись в правительство, но повязав и Гитлера ответственностью и в то же время не выдав ему государство. Ведь вождь НСДАП не стал даже канцлером президентского кабинета,

а должен был заручиться поддержкой парламентского большинства; доверие Гинденбурга было попрежнему не на его стороне, а на стороне Франца фон Папена, который к самым крупным успехам своих переговоров причислял и оговорённое право участвовать во всех беседах Гитлера с президентом. Наконец, он стал вице-канцлером и хозяином Пруссии; наци достались в правительстве только министерство внутренних дел, которому полиция земель не подчинялась, и ещё одно министерство, создаваемое не для конкретного дела, а только чтобы потешить тщеславие Геринга. Правда, Геринг назначался одновременно прусским министром внутренних дел, но тут уж он сам, Франц фон Папен, собирался решительно стать у него на пути. В довершение всего в самом кабинете внешняя политика, финансы, экономика, вопрос труда и сельское хозяйство находились в испытанных руках консерваторов, а рейхсвером распоряжался господин президент. Действительно остроумная, просто превосходная комбинация, к тому же позволяющая использовать не очень приятного г-на Гитлера в интересах не только предпринимателей и крупных землевладельцев, но и, собственных планов Папена, касавшихся авторитарного Нового государства. Из своего эпизодического и неудачного канцлерства Папен, пожалуй, все же извлёк тот урок, что современной, промышленно развитой нацией, находящейся в состоянии кризисных потрясений, все же не могли открыто управлять уходящие представители уходящей эпохи. С помощью слегка одиозной фигуры этого укротителя масс старая проблема руководства без народа, казалось, вот-вот будет решена. Именно в этом смысле, Папен самоуверенно отвечал на жаргоне политического импрессарио на всевозможные предупреждения об опасности: «Вы ошибаетесь, мы его просто наняли»[339].

Гитлер, без сомнения, с самого начала разгадал эти замыслы, и его требование новых выборов было не чем иным, как тактическим ходом против них: беспримерный триумф на этих выборах должен был помочь ему сломать сколоченные Папеном рамки и с помощью плебисцита, забыв ничего ему не стоившее «честное слово», избавиться от навязанной ему роли фиктивного канцлера. «Кабинет национальной концентрации» представлял собой средоточие самых противоречивых тайных устремлений, когда Гинденбург простился с ним, сказав: «А теперь, господа, — с Богом за работу!»[340]

Между тем Вильгельмштрассе не без активного содействия Геббельса заполнилась молчаливой толпой. Напротив, в отеле «Кайзерхоф», ждали приверженцы Гитлера, «обуреваемые сомнениями и надеждами, счастливыми предчувствиями и

малодушием». Эрнст Рем в бинокль неотступно наблюдал за входом в имперскую канцелярию. Первым вышел Геринг и громко объявил новость ожидающим; сразу же за этим из ворот выехала машина Гитлера. Он стоя принимал приветствия толпы. Несколько минут спустя он вошёл в «Кайзерхоф» к своим. Как писал один из участников этих событий, на глазах у него были слезы. Незадолго перед тем он публично заявил, что больше он с божьей помощью не позволит отторгнуть себя от власти, и во второй половине того же 30-го января он подкрепил эти слова соответствующим шагом. На немедленно созванном заседании кабинета он несмотря на сопротивление Гугенберга (теперь уж совершенно недейственное) по всей форме принял решение о роспуске рейхстага и назначении новых выборов. Последние опасения Гинденбурга преодолел сам Папен, с тонким психологическим расчётом объявив возражения Гугенберга ненавистными президенту «партийно-тактическими мотивами»; после чего Гинденбург подписал решение[341].

Вечером национал-социалисты в честь этого дня устроили грандиозное факельное шествие. Ограничение на массовые мероприятия в правительственном квартале было снято, на тротуарах толпились взволнованные, шумные зрители («в Берлине в эту ночь царит чисто карнавальная атмосфера»[342]), а между ними похаживали, важные от сознания собственной значимости представители службы порядка. С 7-ми часов вечера до полуночи через Бранденбургские ворота в направлении имперской канцелярии продефилировали 25 тыс. одетых в форму гитлеровцев и членов «Стального шлема». Это была патриотическая огненная лента, бросавшая тревожные отблески на лица и стены домов. В одном из освещённых окон видна была нервно пританцовывающая фигура Гитлера. Время от времени он пружинисто перегибался через подоконник и приветствовал толпу поднятой рукой; рядом с ним были Геринг, Геббельс и Гесс. Несколькими окнами дальше Гинденбург задумчиво созерцал марширующие колонны, рассеянно отбивая тростью в такт маршам духовых оркестров. Вопреки протесту руководителей радио Геббельс добился трансляции митинга; лишь радио Мюнхена отказалось это сделать — к большому неудовольствию Гитлера. Только в полночь последние колонны прошли через правительственный квартал, и после того, как Геббельс простился со все ещё не расходившейся толпой криком «Хайль!» в честь Гинденбурга и Гитлера, «эта ночь великого чуда закончилась… в бессмысленной суматохе торжеств».

Именно как «чудо» и «сказку» национал-социалисты сразу же принялись восхвалять так называемый захват власти.

Специалисты по пропаганде обожали слова из области магии, с их помощью они пытались придать событию ореол сверхъестественности и святости. Сам Гитлер 30-го января доверительно сообщил одному из своих последователей, что спасся только благодаря божественному промыслу, «когда я, уже видя пристань, почти тонул, задушенный интригами, финансовыми затруднениями и тяжестью 12 миллионов людей, колебавшихся то в одну, то в другую сторону». Такие формулировки могли рассчитывать на ответную реакцию с тем большим успехом, что событие это и впрямь несло на себе печать эксцентричности и невероятности: на политическом уровне — как внезапный шаг от кризиса, почти взорвавшего партию, до приёмной президента, а в личном плане — как прыжок от жалкого начала, от летаргии и маргинального образа жизни к власти. Поистине: «Черты сказочного в нём заметны, хоть и искажены»[343].

Мысль о чуде, введённая в оборот ещё Геббельсом, и до сегодняшнего дня присутствует в интерпретации события. Она сказывается во всех попытках придать Гитлеру черты демонической личности, объяснить его успех действиями неизвестных закулисных сил или придать интриге мстительного кавалера фон Папена гигантский вес исторического перелома. В этой мысли — по-разному в зависимости от вариантов — так или иначе присутствует представление о том, что захват власти был исторической случайностью.

Разумеется, существовали возможности преградить Гитлеру путь, даже, пожалуй, вплоть до последнего момента. По причинам, коренящимся в случайностях, легкомыслии или неудачном стечении обстоятельств, они были упущены. Но это ещё не повод считать, что историю и её ход перехитрили. Целый ряд мощных исторических и политических тенденций неумолимо вёл к 30-му января, и настоящим чудом была бы решимость к сопротивлению. Тот, кто хоть раз ясно себе представил, что самое позднее со времени отставки Брюнинга между республикой и Гитлером уже не было никаких преград, кроме колеблющейся воли угасающего старца, интриг Шляйхера и слепой ненависти Франца фон Папена, уже не может придавать сколько-нибудь серьёзного значения махинациям закулисных сил, вмешательству групп определённых интересов и диктаторским замашкам интригана. Они всего-навсего повлияли на обстоятельства, в которых республика пала, но не были подлинной причиной её краха.

Это, разумеется не означает, что Гитлер преуспел бы и при более решительных противниках. Редко когда в современной

истории перелом в государстве со столь необозримыми последствиями в такой степени определялся бы личными факторами, настроениями, предрассудками и аффектами крохотного меньшинства, и редко когда государственные институты в решающий момент были настолько незаметны. Без президентской камарильи канцлерство Гитлера действительно едва ли бы состоялось, и как бы ни был мал шаг, отделявший его с лета 1932 года от власти, он всё же был слишком велик для его собственных сил. Именно его противники дали ему все карты в руки: изоляцию партий и парламента, серию избирательных кампаний, привычку к нарушению конституции. Стоило одному из них решиться на сопротивление, как немедленно появлялся другой, чтобы сорвать планы первого. Вместе взятые силы противников до самого последнего времени были несомненно больше, чем у Гитлера; но ополчаясь друг против друга, они друг друга обессиливали. Было нетрудно понять, что национал-социализм являлся врагом для всех: буржуа, коммунистов и марксистов, евреев, республиканцев. Но только очень немногим слабость и слепота не помешали сделать вывод, что, следовательно, все должны быть врагами национал-социалистов[344].

В апологетических работах непосредственных участников событий все ещё всплывает аргумент, что назначение Гитлера канцлером стало неизбежным, поскольку НСДАП выросла в сильнейшую партию. Но в этом аргументе не учитывается, что социал-демократия во все времена существования республики, за исключением нескольких месяцев до 30-го января 1933 года, обладала таким же численным перевесом — и всё же не участвовала в большинстве правительств. Не учитывается и то, что Гитлер показал себя завзятым врагом той конституции, на которую ссылаются сторонники подобного взгляда. Коммунисты могли бы собрать гораздо больше голосов, чем национал-социалисты — и всё же натолкнулись бы на сильнейшее сопротивление. На деле консервативные пособники Гитлера считали, что он хоть и вульгарно, но действенно отстаивает их планы. Слишком поздно они разглядели, что он противостоял им и тому миру, который они надеялись сохранить, не менее радикально, чем Тельман, хоть и по-другому. Безымянный баварский секретарь уголовной полиции, побывавший летом 1921 года на митинге НСДАП и доложивший своему управлению, что Гитлер «не что иное, …как предводитель второй Красной Армии», глубже понял его суть, чем коррумпированные нотабли года 1933[345].

Но если существовало так много удачно для Гитлера

сложившихся факторов и обстоятельств, то в чём, собственно, заключалась особая заслуга Гитлера в те недели? Действительно, в период, непосредственно предшествующий 30 января 1933 года, его основные способности почти не проявлялись. Подлинная его заслуга была пассивного рода: несмотря на все своё нетерпение, он умел ждать, умел усмирять своих строптивых приверженцев и сохранять собранность и в поражении; даже в последний момент, в приёмной президента, он с холодным расчётом игрока высокого класса пошёл на риск и сумел выиграть партию. Оглядываясь назад, на годы, прошедшие со времён плебисцита против плана Юнга, видишь, насколько он перерос фазу уличных беспорядков и пропаганды и созрел как политик. Вместе с тем опыт тех недель снова показал, что по своей натуре это был азартный игрок: самое удивительное в его жизни, говорил он в эти дни, заключается в том, что спасение всякий раз приходит к нему тогда, когда он сам уже махнул на себя рукой[346].

В ту ночь Гитлер, после того как замолкло ликование и отзвучали музыка и эхо марширующих колонн, до самого утра оставался в маленькой комнате, примыкавшей к приёмной канцлера. Глубоко взволнованный, он по свидетельству одного из присутствующих затеял один из своих бесконечных монологов: вспоминал утреннюю сцену приведения к присяге, в упоении перечислял свои успехи, подчеркнул оцепенение «красного» противника и вернулся затем к своим пропагандистским максимам; ещё ни одной предвыборной борьбе он не радовался так, как этой, уверял он. Некоторые полагают, продолжал он, что теперь начнётся война; его деятельность — это пролог к заключительной борьбе белого человека, арийца, за господство над всей землёй. Не-арийцы, цветные, монголы уже на марше, говорил он, чтобы под руководством большевизма захватить господство, но этот день является началом «германской расовой революции, величайшей в мировой истории». Эсхатологические видения перемежались с архитектурными проектами: для начала, считал он, нужно перестроить имперскую канцелярию, потому что она похожа на «вульгарную коробку из-под сигар»[347]. Только к утру он через потайную дверь в стене покинул здание и отправился к себе в отель.

Ошеломляющие переживания этого дня, все удовлетворение, все вознаграждение за прошлое, которые он ему принёс, ещё не были самой целью. Они были лишь этапом на пути к ней. Возможно, что откровения его затяжного монолога той ночью переданы не с полной достоверностью, но намерения были ясны: все усилия направлены на столь многократно провозглашавшуюся революцию, и видов на её осуществление было больше, чем когда-

либо раньше. Как каждый настоящий путчист, он считал, что с его приходом начинается новый день истории.

Характерно, что эту мысль он выразил в форме отрицания, заявив в те дни: «Мы — последние в ряду тех, кто делает историю Германии»[348].

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАССУЖДЕНИЕ II: НЕМЕЦКАЯ КАТАСТРОФА ИЛИ ЛОГИКА НЕМЕЦКОГО ПУТИ?

Идея не настолько бессильна, чтобы породить только идею

Г. В. Ф. Гегель

Мысль предшествует действию, как молния — грому. Правда, немецкий гром — тоже немец и не очень-то подвижен; он приближается без спешки; но он разразится, и если вы однажды услышите грохот, какого ещё не слыхивала немецкая история, то знайте: немецкий гром наконец-то достиг цели.

Генрих Гейне, 1834 г.

Переломное настроение. — Заблуждение историков. — Теория предрасположенности немцев к национал-социализму. — Теория эпох. — Национальные элементы. — Отрыв от реальности. — Упущенная революция. — Потребность в аполитичной политике. — Аффект аполитичности. — Спасение через искусство. — Эстетизация политики. — Романтизм и от ношение к миру. — Реализованные фикции. — Риск.

Театральная церемония с факельными шествиями, массовыми маршами и построениями, сопровождавшая приход Гитлера на пост канцлера, нисколько не соответствовала чисто конституционному значению события. Потому что, строго говоря, 30 января 1933 года не принесло с собой ничего, кроме смены правительства. И всё же общественность чувствовала, что

назначение Гитлера канцлером было не сравнимо с формированием кабинетов прошлых лет. Вопреки всем хвастливым уверениям партнёров по коалиции из рядов дойч-националов, что они «будут держать австрийского художника-неудачника на поводке»[349], национал-социалисты с самого начала не скрывали своей решимости захватить всю полноту власти. Их целеустремлённая тактика и волна воодушевления, направленная умелой рукой режиссёра, создали притягательную силу нового начала, и это течение в короткое время захватило консервативные сферы и смыло их. Все потуги Папена и его окружения, тоже желавших вставить словечко, участвовать в торжествах и в управлении, были всего-навсего попыткой задыхающегося бегуна догнать ушедшего вперёд соперника. Ни численный перевес в кабинете, ни влияние на рейхспрезидента, на экономику, армию и чиновничество не могли скрыть того обстоятельства, что наступило время их соперника.

Словно по тайному паролю после 30-го января начались массовые перебежки в стан национал-социалистов. Конечно, здесь снова подтвердилось, что в революционные времена убеждения — товар дешёвый и что в такие часы бал правят предательство, расчёт и страх. Однако в массовом политическом повороте на 180 градусов сказались не только бесхарактерность и угодничество, но нередко и спонтанно проявлявшееся желание отбросить старые предрассудки, идеологии и общественные условности, чтобы вместе начать новый разбег. «Мы не все были оппортунистами»[350], написал позже Готфрид Бенн, один из бесчисленного множества тех, кого подхватил бурлящий поток людей, верящих в пробуждение страны. Мощные партии с богатыми традициями ломались под этим напором и предоставляли своих последователей самим себе — ещё до принудительного роспуска и запрета. Прошлое с его республикой, разорванностью сознания и бессилием кончилось. Быстро таявшее меньшинство тех, кто не дал затянуть себя в общий водоворот лихорадочного обращения в новую веру, на глазах отступало в изоляцию и уже было исключено из победных демонстраций чувства общности — с массовыми клятвами в огнях прожекторов, образующих «сияющие соборы», речами фюрера, ночными кострами на возвышениях и тысячеголосыми хоралами. Даже первые признаки террора не смогли приглушить ликования, скорее наоборот, так как общественное сознание воспринимало их как выражение бьющей через край энергии, которой ему так долго не хватало. И очень скоро нарастающий шум заглушил крики, раздававшиеся в «подвалах для героев» при караульных постах штабов СА.

Именно этот энтузиазм, сопровождавший захват Гитлером власти, вызывает тревогу и недоумение. Ибо он перечёркивает все тезисы, выдающие этот захват власти за несчастный случай в истории, комедию интриг или мрачный заговор. С явным раздражением истолкование событий тех лет снова и снова ставило в тупик перед вопросом: как же удалось национал-социализму в таком древнем народе с великой культурой и богатейшим духовным и душевным опытом так быстро и легко захватить власть, но и привлечь на свою сторону большинство, более того, — погрузить его в своеобразное истерическое состояние, помесь восторга, легковерия и самопожертвования? Как случилось, что политические, общественные и моральные сдерживающие моменты, присущие стране, причисленной к «аристократии наций»[351], так скандально отказали? Один из современников описал ещё до прихода Гитлера к власти, какие неизбежные последствия это должно было повлечь за собой: «Диктатура, ликвидация парламента, удушение всех духовных свобод, инфляция, террор, гражданская война; ибо оппозицию было бы не так просто убрать; следствием этого была бы всеобщая стачка. Профсоюзы стали бы стержнем самого отчаянного сопротивления; кроме того, выступили бы „Рейхсбаннер“ и все силы, озабоченные будущим. И даже если Гитлер перетянул бы на свою сторону рейхсвер и заставил заговорить пушки — все равно нашлись бы миллионы решительных людей»[352]. Но этих решительных миллионов не было, а следовательно, дело и не дошло до кровавых столкновений. Гитлер пришёл отнюдь не как разбойник ночи. В отличие от всех других политиков он, болтливый, словно ярмарочный фокусник, годами говорил о том, к чему неизменно, не отвергая ни кружных путей, ни тактических манёвров, стремился: это были диктатура, антисемитизм, завоевание «жизненного пространства».

Эйфория в связи с приходом к власти понятным образом вызвала у многих наблюдателей чувство, что Германия тех недель вернулась к своей сути. Конституция и правила игры республики оставались пока в силе, но казались странно обветшавшими и отброшенными как нечто чуждое. Именно такой образ нации, которая, казалось, ликуя отвернулась от европейских традиций разума и прогресса и тем самым снова стала самой собой, определил на десятилетия вперёд понимание событий тех лет.

Ещё в 30-е годы появились первые попытки объяснить успех национал-социалистов какой-то особенностью немцев, коренящейся в их истории и менталитете: некоей трудно

уловимой сутью, в которой было полно оборотных сторон и которая своё отступление от цивилизации и морали не без строптивой гордости стилизовала под «отчуждённость от мира», свойственную избранной культурной нации. С помощью головоломных генеалогических построений, ведущих от Бисмарка и Фридриха Великого к Лютеру или к средневековью, а иногда тревоживших даже дух предводителя германцев Арминия, который в 9 году нашей эры битвой в Тевтобургском лесу якобы помешал проникновению латинян в области, населённые немцами, они конструировали традицию подспудного гитлеризма, будто бы существовавшего задолго до Гитлера. Эта концепция нашла наиболее яркое выражение в некоторых трудах германиста Эдмона Вермейля и ещё довольно долго оказывала влияние на многих англосаксонских исследователей. На его исследования опирался и Уильям Л. Ширер в работе о «третьем рейхе», которая во всём мире создала определённый образ Германии. Вермейль писал: «На разных стадиях своей истории немцы с отчаянной уверенностью, происходившей то ли от внутренней разорванности и слабости, то ли наоборот, от представления о своей непревзойдённой, непобедимой силе, верили, что им предстоит выполнить божественную миссию и что Германия избрана провидением»[353]. Узурпация Римской империи, Ганза, Реформация, немецкая мистика, подъем Пруссии или романтизм — все это являло собой более или менее скрытые формы проявления подобной мессианской устремлённости, которая, начиная с бисмарковской политики «железа и крови» и имперского стремления к мировому господству, все отчётливее принимала черты политики насилия. Строго говоря, в немецкой истории не было «невинных» явлений, и даже в идиллии нельзя было не узнать призраков послушания, милитаризма, жажды экспансии, а немецкая тоска по бесконечному являлась не чем иным, как попыткой господствовать в царстве духов, когда для подобного господства в реальности ещё недоставало средств: в конечном итоге все развитие стремилось к Гитлеру, он был отнюдь не «немецкой катастрофой», как утверждал заголовок одной известной книги[354], но логическим следствием немецкого пути.

В национал-социализме, без сомнения, были неповторимо немецкие черты, но другого, более сложного свойства, чем думали Вермейль или Ширер. Ни генеалогия зла, ни какое-либо единственное объяснение ещё не раскрывают природы этого феномена, так же как ошибочно было бы прослеживать его происхождение только по явлениям, катастрофичную тенденцию которых нельзя не видеть, как невозможно не заметить молнию в

тёмной туче. Успеху национал-социализма способствовали многие наивные или как минимум сохранявшиеся на протяжении поколений позиции и взгляды, больше того — даже некоторые добродетели и ценностные представления. Один из уроков эпохи состоит как раз в том, что тоталитарная система власти не может быть построена на одних только извращённых или даже преступных склонностях какого-то народа и что ни один народ не может — в отличие от Ричарда III — вдруг решить стать злодеем. Во многих странах существовали исторические, психологические, да и социальные условия, сходные с тем, что было в Германии, и часто всего-навсего узкий перешеек отделял народ от фашистского правления. Национальное самосознание, развившееся с таким опозданием как немецкое и не сумевшее действительно и действенно связать себя с демократическими тенденциями, не было исключительно немецкой чертой, также как и непреодолимое расстояние между либеральными и социальными силами, между буржуазией и рабочими. Представляется также сомнительным, были ли реваншистские устремления, воинствующие идеологии или мечты о великодержавности в Германии более весомыми, чем у некоторых соседних европейских наций. Даже антисемитизм, несмотря на решающее его влияние на мышление Гитлера, конечно, не был специфически немецким явлением, среди немцев он был скорее менее развит, чем во многих других странах. Во всяком случае не расовый аффект привёл массы на сторону национал-социализма, и риторические маскировочные усилия Гитлера на конечной стадии борьбы за власть показали, что он прекрасно это понимал[355]. Именно в ту эпоху к власти пришли многочисленные фашистские или фашистоидные режимы — в Италии, Турции, Польше, Австрии или Испании. Как раз взгляд на сравнимые системы в этих и других странах помогает понять, что конкретно в национал-социализме было неповторимо немецким: он стал самой радикальной и абсолютной формой проявления фашизма.

Эта принципиальная заострённость, выявившаяся как на интеллектуальном уровне, так и на уровне исполнительной власти, была основным вкладом Гитлера в суть национал-социализма. Он был истинным немцем в своём пристрастии к тому, чтобы резко противопоставить какую-нибудь идею действительности и признать за этой идеей большую власть, чем за действительностью. Именно политик-неудачник местного масштаба набрасывал, ещё снимая угол на Тиршштрассе, триумфальные арки и сводчатые залы своей будущей славы; он был канцлером, который невзирая на все издёвки, вёл счёт не на

поколения людей, а на тысячелетия и который хотел стереть память не о Версале и бессилии Германии, но, по сути, о результатах великого переселения народов. Если Муссолини считал своей целью восстановление исторического величия, Моррас мечтал о «старом режиме» и пытался вызвать к жизни «la gloire de la Deesse France»[356], да и все другие виды фашизма не сумели избежать соблазна тоски по былому, правда, просветлённому воспоминаниями, то Гитлер думал об осуществлении цели искусственной, созданной в воображении и не имеющей какого-то реального подобия: о мировой империи от Атлантики до Урала и от Нарвика до Суэца, созданной единственно волей к расовому самоутверждению. Государства противились этому? Он их подавит. Народы селились вопреки его планам? Он их расселит по-другому. Расы не соответствовали его представлениям? Он произведёт селекцию, облагородит их или уничтожит, пока действительность не будет, наконец, соответствовать его представлениям. Он мыслил о немыслимом, в его высказываниях всегда прорывался на поверхность элемент дерзкого бесстрашия перед действительностью, что не было лишено признаков маниакальности: «Я противостою всему с чудовищной, ледяной свободой от всех предрассудков»[357], — заявлял он. Только в крайнем радикализме он казался тем, кем он был. В этом смысле национал-социализм без него немыслим.

К неповторимо национальным чертам, отличавшим национал-социализм от фашистских движений других стран, относится и то, что для своего эксцентричного радикализма Гитлер всегда находил самых послушных исполнителей. Ни одно гуманное чувство не разгладило на физиономии режима то выражение концентрированной жёсткости и исполнительности, которое сделало его единственным в своём роде. Часто его пугающие черты приписывались планомерно использованной жестокости убийц и садистов, и такие однозначно преступные элементы до сих пор определяют популярное представление. До сего дня они поставляют литературе или театру шаржированных персонажей с плёткой в руках, олицетворяющих собой национал-социализм.

Сам режим, однако, не считал, что его типологически олицетворяют подобные явления. Хоть он, особенно на начальном этапе, и использовал их, не стесняясь, но вскоре понял, что длительное господство не могло быть основано на высвобождении преступных инстинктов. У радикальности, являющей собой глубинную суть национал-социализма, и впрямь мало общего с возбуждением аффектов и обещанием возможности без стеснений удовлетворить инстинкты, она

является проблемой не преступной, а извращённой моральной энергии.

К кому апеллировал национал-социализм? Прежде всего к людям с ярко выраженным, но не направленным стремлением к морали. Привлечь такой тип людей, организовать его в элитарный строй он старался в первую очередь через СС. Кодекс «внутренних ценностей», беспрерывно проповедовавшийся для членов этого ордена и находивший своё романтическое подкрепление в ночных празднествах при свете факелов, охватывал по мнению Генриха Гиммлера верность, честность, послушание, твёрдость, добропорядочность, бедность и храбрость; все это не было связано с какой-либо широкой системой соотносительных понятий, но зато полностью ориентировано на цели режима. Под влиянием таких императивов был воспитан тип бесчувственного экзекутора, требующего от самого себя «холодного, даже каменного поведения», как написал один из них, и «переставшего ощущать человеческие чувства»[358]. Жёсткость по отношению к себе давала ему внутреннее оправдание быть жёстким и с другими, а буквально требуемой способности шагать по трупам предшествовало умерщвление собственного «я». Вот эта-то неподвижная, автоматическая последовательность производит на наблюдателя странным образом впечатление гораздо большей радикальности, чем криминальный аффект, сладострастная брутальность которого все же содержит в себе захватывающее социальное, интеллектуальное или человеческое чувство обиды, в известных случаях вызывающее даже сочувствие.

Моральные притязания дополнялись и достраивались представлением об особой миссии: ощущением бытия в средоточии апокалипсического противостояния, необходимости подчинения «высшему закону», существования в качестве проводника некоей идеи — или другими образами и лозунгами по сути метафизической убеждённости. Именно она особым образом освящала неумолимую твёрдость, и в полном соответствии с этим Гитлер называл тех, кто препятствовал его миссии, «врагами народа»[359]. В таком ригоризме, непоколебимо опиравшемся на своё более глубокое, чем у других, понимание и своё высшее предназначение, отражалась не только традиционная немецкая аполитичность, но и нечто гораздо более широкое — своеобразно искажённое отношение нации к реальности как таковой. Действительность, в которой идеи принимают очертания и становятся частью жизни людей, а мысли реализуются в отчаянии, страхе, ненависти, ужасе — эта действительность просто не существовала. Вместо неё была программа, а в ходе её

осуществления, как Гитлер однажды заметил, только положительная или отрицательная активность[360]. Недостаток человечного воображения, обнаружившийся, начиная с Нюрнбергских процессов, в ходе всех судов над действующими лицами тех лет, был не чем иным, как выражением этой утраты чувства реальности, Она и была собственно неповторимым, типично немецким элементом в национал-социализме, и кое-что заставляет думать, что некоторые нити связывают его с древней историей немцев.

Согласно одному парадоксальному замечанию событием новейшей немецкой истории, повлекшим за собой самые значительные последствия, стала «несостоявшаяся революция»[361]. Это придало стране характер своеобразной затхлой идиллии и погрузило её в состояние постоянной отсталости от политического характера каждой последующей эпохи. Нередко в этой неспособности к революции видели отражение особенно склонного к подчинению характера, и фигура добродушного, невоинственного, мечтательного немца долгое время была предметом насмешек для более самоуверенных соседей. На деле же глубокая подозрительность по отношению к любой революции представляла собой реакцию народа, исторический опыт которого был почти целиком отмечен ощущением угрозы. На основе его срединного географического положения у него рано развились комплексы окруженности и необходимости обороны, и они самым ужасным образом подтвердились в так никогда и не преодолённом страшном опыте тридцатилетней войны, превратившей страну в почти безлюдную пустыню. Самым значительным наследием войны были травмирующее чувство незащищённости и глубоко запрятанный страх перед хаосом любого рода. Оба эти ощущения в течение жизни целых поколений поддерживались и эксплуатировались как своими, так и иноземными правителями. Спокойствие, считавшееся первейшим долгом гражданина, так же как и требование защитить страну от страха и нужды, а протестантское понимание сути власти подвело под это представление и идеологическую базу. Даже Просвещение, во всей Европе понимавшееся как вызов существующим авторитетам, в Германии во многих случаях щадило княжеские дома, а иногда их даже восхваляло — так глубоко сидели страхи, оставленные прошлым. В этом незабытом историческом опыте и берут своё начало такие для немецкого сознания необыкновенно содержательные категории как порядок, дисциплина и строгая самодисциплина, поклонение государству как неоспоримому институту и

«сдерживателю зла», или вера в фюрера. Стоящая за этим потребность в защите — вот что Гитлер сумел ухватить и с помощью лёгкой стилизации использовать для своих претензий на господство — в виде культа верности фюреру, идеологизировавшего его требование полного подчинения, или в геометрии парадных шествий, наглядно свидетельствовавших об укоренившемся инстинкте защиты от любых хаотических проявлений.

Однако остроумное замечание о несостоявшейся немецкой революции — это только половина правды. Ибо нация, память которой не знает ни казнённых королей, ни победоносных народных восстаний, больше любой другой способствовала революционной мобилизации мира. Она дал так называемому веку революций самые провокационные озарения, самые острые революционные лозунги и, как высокопарно выражался Фихте, разметала скалы мыслей, из которых следующие века возвели себе жилища. Интеллектуальный радикализм Германии не знает себе подобных, и именно эта неповторимость придала немецкому духу величие и характерный блеск. Но что касается действительности, то тут имела место полная неспособность к прагматическому типу поведения, в котором примирились бы друг с другом мышление и жизнь, а разум стал бы разумным. Немецкий дух мало заботился об этом. Он был в буквальном смысле слова асоциален и никогда не стоял ни слева, ни справа, но преимущественно в прославляемом противоречии с жизнью: дух безоговорочный и концентрированный, всегда в позиции «не могу иначе», с почти апокалипсической «тягой к интеллектуальной пропасти»[362], на краю которой виделась не столько банальная действительность людей, сколько погибали целые эпохи в грозе, губившей миры. Господи, Бог мой — что этому духу было до жизни!

И всё же это типичное разграничение между спекулятивным и политическим уровнями все ещё имело характер эрзац-действия: радикальность идеи одновременно прикрывала бессилие воли. Замечание Гегеля о том, что мышление стало силой, направленной против существующей действительности, было задумано как триумф, но одновременно и утешение. Не только столетняя дилемма затхлого немецкого мирка с его тяжёлой жизнью и провинциальностью подвигала мысль на полёты в свободные просторы, но и та долго игнорируемая роль, на которую мысль была обречена бездуховностью или франкоманией княжеского правления. От самых неудобоваримых текстов начала XIX века до поверхностного политического журнализма 20-х годов — во всём чувствуется, хоть и во вторичных, книжных или просто

жалких проявлениях — что-то от того характерного основного движения духа, который «предоставил эпоху самой себе», чтобы строить идеальное внутреннее царство, которое безмятежно противопоставляло себя внешнему. Никогда ему не удавалось скрыть жажду отмщения, жившую в радикальности его суждений. Это было тонкое ощущение мести по отношению к реальности, считавшей, что она не нуждается в духе, и поэтому теперь посрамлённой духом.

Процесс отчуждения от действительности ещё усилился вследствие многочисленных разочарований, пережитых бюргерским сознанием в XIX веке в ходе его попыток достичь политической свободы, и следы этого процесса заметны почти на всех уровнях: в фиктивности политической мысли, в мифологизирующих идеологиях от Винкельмана до Вагнера или же в странно оторванном от реальности немецком представлении об образовании, решительно избравшем для себя призрачную стихию искусства и всего возвышенного. Политика лежала в стороне от этого пути, она не была частью национальной культуры.

Общественный тип, в котором сконцентрировались эти тенденции, представлял немецкую суть настолько точно, что до сего дня сохранил высочайший социальный престиж: это те далёкие от мира сего, погруженные в размышления господа на старинных портретах, в профессиональной мине которых так много идеальной строгости, верности принципам и задумчивой выразительности, люди, чьё простодушие было не без глубин. Они мыслили обширными категориями, низвергали или создавали системы, их взгляд шёл издалека. В то же время они излучали флюиды интимной и тесной домашности, явный запах приватного образа жизни. «Книги и мечты» были, как говорил Пауль де Лагард[363], их стихией, они жили в своей придуманной действительности, их гениальная изобретательность с лихвой компенсировала им недостаток реальной действительности, их уверенность проистекала из их интеллектуальной профессии и свидетельствовала о довольстве культурой и собственным вкладом в неё.

Презрению к действительности соответствовало все яснее проступавшее пренебрежительное отношение к политике, так как она была действительностью в самом строгом, навязчивом смысле: пошлый элемент, «господство неполноценных», как это было сформулировано в заглавии знаменитой книги 20-х годов[364]. И сегодня ещё политическая мысль в Германии сохранила нечто от той торжественной тональности, с помощью которой она, по собственному мнению, морально и

интеллектуально поднимается над низкой действительностью. За этим всегда — и раньше, и теперь — стояла потребность в идеальной, «аполитичной политике», потребность, отражавшая подавленность как следствие постоянного политического бессилия. Если отвлечься от небольшого и постоянно попадающего в изоляцию меньшинства, то общественность в Германии относилась к политике как к чужеродному телу и не знала, что с ней делать; политика оставалась предметом старательно выказываемого интереса, самопринуждения и даже, согласно широко распространённому мнению, самоотчуждения. Мир немцев ориентировался на частные, приватные понятия, цели и добродетели. Никакие социальные обещания не могли сравниться с завлекающим пафосом частного мира, семейного счастья, умилением природой, лихорадкой научного познания в тиши кабинета — со всей этой сферой вполне обозримых форм удовлетворённости своим существованием. Никто эту сферу и не собирался покидать, если тайну лесов предстояло поменять только на «шум ярмарки», а вместо свободы грёз предлагались только конституционные права.

И это чувство в свою очередь радикализировалось. «Человек политики противен», — писал Рихард Вагнер Ференцу Листу, а один из почитателей Вагнера заметил: «Если Вагнер в какой-то степени был выразителем своего народа, если он в чём-то был немцем, гуманным по-немецки, немецким бюргером в высшем и самом чистом смысле, то это — в своей ненависти к политике»[365]. Аффект аполитичности охотно рядился в одежды защитника морали от власти, человечного от социального, духа от политики, и из этих антитез во все новых, глубокомысленных и полемических рассуждениях вырастали излюбленные темы бюргерских саморефлексий. Своей блестящей кульминации, полной сложных признаний, этот аффект достигает в изданном в 1918 году произведении Томаса Манна «Наблюдения аполитичного». Они были задуманы как защита гордого своей культурой немецкого бюргерства от просветительского, западного «террора политики» и содержали уже в самом названии указание на романтическую цель, сознательно игнорирующую действительность: на традиционный поиск аполитичной политики.

Эстетически-интеллектуальное неприятие политики, ставшее содержанием все более обширной, запутанной учёной литературы, нашло своё крайнее выражение в своеобразном представлении о спасении от политики, которое с середины XIX века стало необычайно популярным — в мысли о спасении искусством. Эта мысль вобрала в себя все несбывшиеся надежды,

все разочарования нации. Как намёк, она возникала ещё в романтизме с его постулатом тесного взаимопроникновения политики и поэзии; Шопенгауэр, говоривший об избавлении идеи от трагических перипетий жизненной борьбы прежде всего с помощью музыки, придал этой мысли субъективную окраску, и у Рихарда Вагнера она, наконец, достигла своего высочайшего развития в рассуждениях об обновлённом театре, изложенных в его «Грёзах культуры о „конце политики“ и начале человечности»[366]. Политика, требовал он, должна стать грандиозным зрелищем, государство — произведением искусства, а человек искусства должен занять место государственного деятеля; искусство было тайной, его храмом — Байрейт, а его святыней — драгоценная чаша арийской крови, исцелившая умирающего Амфортаса и погубившая под развалинами фантастического замка волшебника Клингсора, это воплощение противостоящих сил еврейства, политики и сексуальности. Пожалуй, с не меньшим успехом, чем у Вагнера, Юлиус Лангбен в конце столетия провозгласил Рембрандта символом жажды обновления. Искусство, подчёркивал он, должно вернуть заплутавшему миру простоту, естественность и интуицию, устранить торговлю и технику, примирить друг с другом классы, объединить народ и привнести утерянное единство в наконец-то замиренный мир: ибо искусство — великий победитель. Конечной целью объявлялось устранение любой политики и её обратное превращение в экстаз, власть, харизму, гениальность. Самым последовательным образом он оставляет право на господство в желанном новом веке благословенному свыше гению, своему «великому герою искусства», «отдельной личности цезаристско-артистического склада»[367].

Все эти мотивы сыграли свою роль в том попятном движении, которым немцы сильнее, чем прежде, реагировали на политику, столкнувшись с ней во время и после войны болезненно, как никогда. Традиционный путь бегства вёл их в области эстетики или мифологии. В отвращении к «грязной» революции неприятие политики чувствовалось не меньше, чем в разнообразных теориях заговора, омрачивших горизонт веймарских лет: например, в легенде об «ударе кинжалом в спину» или в теории двойной угрозы — со стороны красного (коммунистического) и золотого (капиталистического) интернационала, в антисемитизме или в распространённых страхах перед масонами и иезуитами, словом, в самых разных симптомах бегства от действительности в воображаемый, фиктивный мир, полный таких романтических категорий как измена, одиночество и обманутое величие.

Соответствующее политическое мышление тоже было во

власти аполитичных образов и категорий, всякого рода идеологий — войны как переживания, «молодых народов», «тотальной мобилизации» или «варварского цезаризма». Это был почти необозримый поток национально-утопических проектов и модных философий так называемой «консервативной революции»; и все они так или иначе видели свою цель в том, чтобы, перефразируя слова Фихте, натянуть на мир мундир иррационализма. Усилиям, предпринимаемым в политической действительности ради достижения какого-то. равновесного положения, они противопоставляли свои безоговорочные лозунги и судили повседневность от имени грандиозных мифов. Хоть и не оказывая прямого влияния, они своими вносящими сумятицу романтическими альтернативами в немалой мере способствовали интеллектуальному истощению республики, тем более, что «отвращение к политике» больше чем когда-либо разжигалось ненавистной действительностью. В то время как защитники Веймарской республики часто производили впечатление апологетов коррумпированной, безнадёжной системы и были не в состоянии преодолеть пропасть между собственным пафосом и всем и каждому видимым неблагополучием, противники республики, особенно правые, казались исполненными воображения, были полны проектов и создавали из мифов, грёз и капли горечи контробраз республики. Среди их самых презрительных упрёков в адрес «системы» был тот, что она приучает нацию к «мелкому счастью», потребительству и мелкобуржуазному эпикурейству[368]. Категориями же этого времени, обладающими привлекательной силой, были приключение, трагизм, гибель, и если Карл Осецкий видел среди интеллектуалов страны многочисленных «бескорыстных любителей всевозможных катастроф, гурманов всемирно-политических несчастий», один французский наблюдатель в начале 30-х годов задавался вопросом, не вкладывает ли Германия в «свой кризис слишком много страсти и радикализма»[369]. И в самом деле, старая «тяга к интеллектуальной пропасти» тоже частично ответственна за то, что кризис в Германии приобрёл совершенно безвыходный, отчаянный характер; это и сделало потребность к бегству от действительности массовым явлением, а идею романтически-героического прыжка в неизвестность — самой близкой и привычной.

Феномен Гитлера следует рассматривать на этом идеологическом фоне. Иногда он даже производит впечатление вульгарного искусственного продукта всех этих взглядов, реакций

и комплексов, впечатление комбинации мифологического и рационального мышления в крайнем радикализме социально отчуждённого интеллектуала. В его речах появлялись почти все известные риторические фигуры аполитичного аффекта: ненависть к партиям, к компромиссному характеру «системы», отсутствие у неё «величия»; он всегда рассматривал политику как понятие, близкое к понятию судьбы, т. е. нечто само по себе пассивное и потому нуждающееся в освобождении сильной личностью, через искусство или с помощью некоей высшей силы, обозначаемой как «провидение». В одном из своих главных выступлении периода захвата власти, прозвучавшем 21-го марта по случаю Дня Потсдама, он так сформулировал связь между политическим бессилием, мечтами как эрзацем силы и избавлением через искусство:

> «Немец, рассорившийся сам с собой, непоследовательный в мыслях, с расщеплённой волей и потому бессильный в действии, теряет силу в утверждении собственной жизни. Он мечтает о праве на звёздах и теряет почву под ногами на земле… В конечном итоге немцам всегда оставался только путь внутрь себя. Будучи народом певцов, поэтов и мыслителей, немцы мечтали тогда о мире, в котором жили другие, и только когда нужда и лишения наносили этому народу бесчеловечную травму, тогда, может быть, на почве искусства произросло желание нового подъёма, нового царства, а значит и новой жизни»[370].

Он считал себя именно такой фигурой спасителя, раз уж он в своё время расстался с мечтами об искусстве. В контексте духовной традиции он, несомненно, ощущал большую близость к «великому герою искусства», о котором писал Лангбен, чем, например, к Бисмарку, которым он, судя по разным его высказываниям, восхищался не столько как политиком, сколько как эстетическим феноменом великого человека[371]. Для Гитлера политика тоже означала прежде всего средство достичь величия, ни с чем не сравнимый шанс компенсации недостаточного художественного таланта в грандиозной замещающей роли. Все, чем он располагал как политик, он выучил или усвоил как временную роль; что касается его импульсивных озарений, то тут он был полностью в плену мистического, эстетического, чуждого действительности, т. е. аполитичного мышления. Он проливал слезы над произведениями искусства, свидетелем чего стал один из его современников[372], но «humanities»[373] были ему, по словам его окружения, безразличны. Убедительное

доказательство тому — неофициальные документы его жизни, ранние выступления, а также застольные беседы в его штаб-квартире. Возможно, что редко какая-либо похвала доставила ему большее удовольствие, чем замечание Х. Ст. Чемберлена в письме от октября 1923 года, где он был назван «противоположностью политики»; Чемберлен добавлял: «Идеалом политики было бы отсутствие всякой политики; но эту не-политику, следует признать откровенно, пришлось бы навязывать миру»[374]. В этом смысле у Гитлера действительно не было политики, её место занимала великая суггестивная идея судьбы, и осуществление этой идеи он с максимальным упорством сделал целью своей жизни.

Вальтер Беньямин назвал фашизм «эстетизацией политики», и фашизм захватил немцев — народ, чьё понимание политики всегда было пронизано эстетикой, — с особой стремительностью. Одна из причин крушения Веймарской республики заключалась в том, что, не понимая психологии немцев, она не видела в политике ничего, кроме политики.

Только Гитлер путём беспрерывного затуманивания сути дела, театральных эффектов, экстаза и сутолоки вокруг создания нового идолопоклонства вернул общественным делам издавна привычный образ. Их самым выразительным символом стали «огненные соборы» — стены из волшебства и света, отделяющие от мрачного, угрожающего внешнего мира. Даже если немцы и не разделяли голод Гитлера по пространству, его антисемитизм, присущие ему черты вульгарности и грубости, они поддержали его и пошли за ним, потому что он снова привнёс в политику мощное звучание темы судьбы, смешанное с элементом страха и трепета.

В соответствии с идеологией аполитичного «государства красоты» Гитлер не отделял своих представлений художника от представлений политика, а свой режим охотно восхвалял как наконец-то состоявшееся примирение искусства с политикой[375]. Он считал, что идёт по стопам Перикла, и любил проводить соответствующие параллели; по свидетельству Альберта Шпеера автобаны были для него его Парфеноном[376]. Совершенно всерьёз он заявлял, что «как люди, которым недоступно наслаждение искусством», ни рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, ни Рудольф Гесс по сути своей не способны стать в будущем его преемниками. Зато Шпеер сумел забраться так высоко и иногда даже считался предрешённым преемником фюрера не в последнюю очередь потому, что по мнению Гитлера был «человеком, понимающим искусство», «артистом», «гением». Характерно, что в начале войны Гитлер освободил от военной службы людей искусства, но не

учёных и техников. Даже когда ему демонстрировали новый вид оружия, он редко не обращал внимания на его эстетическое оформление и мог, например, похвалить «элегантность» орудийного ствола. Вне искусства для него не было ничего, и даже полководец, говаривал он, может одерживать победы, только будучи человеком с художественным вкусом[377]. Поэтому после победы над Францией он предпочёл посетить Париж не как завоеватель, а скорее как любитель музеев. По этим же причинам он довольно рано, а со временем все раздражительнее стал тосковать по прошлым годам: «Я стал политиком поневоле», — так или почти так говорил он снова и снова, «политика для меня — только средство для достижения цели. Есть люди, думающие, что мне станет очень трудно, если я когда-нибудь прекращу свою теперешнюю деятельность. Нет! Это будет самый прекрасный день моей жизни, если я уйду из политической жизни и оставлю далеко позади все заботы, муки и неприятности… Войны приходят и проходят. Остаются только культурные ценности». Ханс Франк видел в таких настроениях даже тенденцию эпохи, заключающуюся в том, чтобы «снова изгнать все, что связано с государствами, войной, политикой и т. д., и суметь поставить над этим высокий идеал творения искусства»[378]. Примечательно в этой связи, что в национал-социалистической верхушке была непропорционально высока доля людей, не сумевших стать людьми искусства, не состоявшихся в творчестве. Сюда кроме самого Гитлера можно отнести Дитриха Эккарта; Геббельс безуспешно пытался писать романы, Розенберг начинал как архитектор, фон Ширах и Ханс Франк пописывали когда-то стихи, а Функ был музыкантом. Сюда же относится и Шпеер с его тягой к аполитичной изоляции, а также вообще тот тип интеллигента, мыслящего одновременно расплывчато и непреклонно, который, испытывая эстетскую слабость к государственным переворотам, сопровождал и поощрял подъем национал-социализма.

Искажение понятия действительности у социально отчуждённых интеллектуалов позже наложило отпечаток и на весь мир идей Гитлера. Многие современники констатировали его склонность во время разговора забираться «в высшие сферы», из которых его снова и снова приходилось «стаскивать на почву фактов», как писал один из них[379]. Примечательно, что Гитлер любил предаваться своим смутным размышлениям в Оберзальцберге или же в «Орлином гнезде», которое он приказал соорудить выше «Бергхофа» на Кельштайне, на высоте 2 тыс. метров. Здесь, в разреженном воздухе, в роковых декорациях окружающих скал, он обдумывал свои проекты и, как он однажды заметил, принимал все свои важнейшие решения[380]. Но

фантастические мечты о гигантской империи вплоть до Урала, геополитические замыслы в масштабах великих пространств и передела миров, генетические видения массового истребления целых народов и рас, грёзы о сверхчеловеке и фантасмагории на тему чистоты крови и святого Грааля, да и, наконец, вся эта задуманная в масштабах континента система шоссейных дорог, военных сооружений и укреплённых поселений — все это, по сути, отнюдь не было «немецким», а брало своё начало из близких или очень отдалённых источников. Немецкой тут была только интеллектуальная, непомерная логика и последовательность, с которой он в мыслях складывал эту мозаику, и немецким же был несгибаемый ригоризм, не отступающий ни перед какими последствиями. Жёсткость Гитлера была связана несомненно с предпосылками, заложенными в его чудовищном характере; в его радикальности тоже всегда присутствовал элемент экстремизма и бесшабашности маргинала. Но помимо прочего она демонстрировала ту аполитичную, враждебную действительности позицию по отношению к миру, которая принадлежит к духовным традициям страны. В точке схода немецкой истории он находится не из-за своих расистских концепций или экспансионистских целей, но как один из тех интеллектуалов, которые будучи исполнены веры в теории, высокомерно подчиняли реальность собственным категорическим принципам. От ему подобных Гитлера отличала способность занять политическую позицию: он был исключением, интеллектуалом с практическим пониманием власти. В текстах его предшественников, вплоть до массовой макулатуры, вышедшей из-под пера «фелькише», нетрудно найти постулаты и порадикальней, чем у Гитлера. И в немецкой, и в европейской культуре есть гораздо более яркие свидетельства страха перед настоящим и эстетствующего отрицания действительности. Так, Маринетти жаждал избавления от «подлой действительности» и в Манифесте 1920 года потребовал предоставить «всю власть людям искусства» (так брошюра и называлась), ибо власть должна принадлежать «широко понимаемому пролетариату гениев». Но и эти, и им подобные выступления только упоённо кокетничают бессилием интеллектуалов и наслаждаются им. Характерно, что Маринетти свои заклинания против действительности обращал к «мстящему морю»[381]. Здесь Гитлер опять-таки был исключением — в силу своей готовности принимать собственные интеллектуальные фикции за чистую монету и только что не питаться фразами, рождёнными вековой экзальтацией мысли.

Тут он был единственным в своём роде. Если тиран Писистрат захватил афинян врасплох на пиру, то о Гитлере и

немцах этого не скажешь. Как и все остальные, они могли бы быть настороже, так как Гитлер многократно излагал свои намерения открыто, без всякой интеллектуальной сдержанности. Но традиционное разделение придуманной и социальной реальности уже давно создало представление о том, что слова не стоят ничего, а его слова казались и вовсе дешёвкой. Только этим можно объяснить ту сугубо неверную оценку Гитлера, которая одновременно была и неверной оценкой этого времени. Рудольф Брайтшайд, председатель фракции СДПГ в рейхстаге, окончивший свои дни в концентрационном лагере Бухенвальд, радостно зааплодировал, узнав о назначении Гитлера рейхсканцлером, и сказал, что наконец-то Гитлер сам себя погубит. Другие, произведя предварительные расчёты, полагали, что Гитлер всегда будет в меньшинстве и ни за что не получит большинства в две трети, необходимого для изменения конституции. Юлиус Лебер, другой ведущий социал-демократ, снисходительно заметил, что подобно всем остальным хотел бы, наконец, что-либо «узнать о духовной базе этого движения»[382].

Кажется, никто не понимал, кем Гитлер был на самом деле. Только географическая отдалённость сделала кое-кого проницательней. Правда, ожидаемых санкций заграницы не последовало — столицы, не меньше самой Германии попавшие в сеть ослепления, надежд на укрощение и слабость, готовились к соглашениям и пактам будущих лет. И всё же отдельные тревожные предчувствия высказывались, хотя и в них проскальзывала странная зачарованность. Так, немецкий наблюдатель в Париже отмечал, что французы испытывают «такое чувство, словно в непосредственной близости от них началось извержение вулкана, которое в любой день может опустошить их поля и города и за малейшими движениями которого они следят поэтому с изумлением и страхом. Явление природы, перед которым они почти бессильны. Германия ныне — снова международная звезда первой величины, притягивающая к себе внимание масс в каждой газете, в каждом кинотеатре и вызывающая страх и непонимание, смешанные с невольным восхищением, не лишённым, однако, доли злорадства; великая трагическая, жуткая, опасная страна-авантюрист»[383].

Почти ни одна из идей, под знаком которых страна пустилась в свою авантюру, не принадлежала ей одной; но немецкой была та бесчеловечная серьёзность, с которой она отринула своё существование в области воображения. Описанные здесь тенденции и аффекты, усиленные уже нестерпимой напряжённостью между многовековой революционной мыслью и статичностью общественных отношений, придали этому

выступлению небывалый вес и экстремистский характер запоздалой реакции: немецкий гром, наконец, достиг цели. В его раскатах потонула отчаянная попытка отрицания реальности под знаком ретроспективной утопии.

Однако отрицание действительности во имя радикально идеализированных представлений довольно трудно подавить; оно имеет дело со стихией фантазии и дерзостью мысли. Политическая проблематика тут налицо. Но тем, что такое он был, немецкий дух не в последнюю очередь обязан своей позицией отказа от реальности, и вопреки бытующему мнению, не все его развитие тупо ведёт только к Освенциму.

КНИГА ПЯТАЯ
ЗАХВАТ ВЛАСТИ

Глава I
ЛЕГАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Это не было победой, ибо отсутствовали противники.

Освальд Шпенглер, 1933 г.

Первые шаги. — Перед генералами. — Преемственность целей. — Концепция захвата власти. — Первые чрезвычайные распоряжения. — И опять предвыборная борьба. — Перед предпринимателями. — Пожар рейхстага. — Основной закон «третьего рейха». — Выборы 5 марта. — Революция, устроенная СА. — «Национальное восстание». — День Потсдама. — Закон о чрезвычайных полномочиях. — Самоотречение Гинденбурга. — Революция на открытой сцене. — Бесславные закаты. — Внутреннее расставание с Веймарской республикой.

В ходе продолжавшегося всего лишь несколько месяцев бурного процесса Гитлер не только завоевал власть, но и добился осуществления части своих далеко идущих революционных планов. Комментарии, касающиеся его прихода к власти, носили сплошь пренебрежительный характер: Гитлера если и не называли «пленником» Гугенберга — по своеобразному совпадению такие иллюзии разделял целый спектр сил — от центра до СДПГ и коммунистов, то оценивали его шансы невысоко, полагая, что продержится он недолго[384]. Однако все скептические прогнозы, которые предрекали крушение Гитлера в силу мощи консервативных партнёров по коалиции, Гинденбурга и рейхсвера, сопротивления масс, в особенности левых партий и профсоюзов, многочисленности и тяжести экономических проблем, вмешательства заграницы или же, наконец, его собственного, ставшего очевидным дилетантства — все они были опровергнуты впечатляющим процессом захвата власти, который вряд ли имеет себе аналог в истории. Да, ход событий отнюдь не был так тонко рассчитан в деталях, как это порой представляется в исторической ретроспективе, но тем не менее каждый момент Гитлер имел перед глазами одну цель: взять всю власть в свои

руки до ожидавшейся смерти восьмидесятипятилетнего президента страны, и он знал, какая тактика необходима для этого: модифицированная страхом и чувством неуверенности практика легальных действий, которую он так успешно опробовал в предшествующие годы. Средством ему служил атакующий динамизм, который удар за ударом прорывал одну за другой позиции противника, не давая возможности обескураженным силам последнего, пытавшимся оказать сопротивление, сформироваться; в то время как ему на руку играли случайности, появлявшиеся возможности и всякий раз краешек плаща Провидения, орудием которого он себя провозглашал, и этот уголок плаща он учился схватывать все более уверенно.

Уже 2 февраля Гитлер посвятил заседание кабинета главным образом подготовке новых выборов, согласие на которые он выжал незадолго до приведения к присяге 30 января из сопротивлявшегося Гугенберга и необходимость которых он затем лицемерно оправдывал быстрым провалом проводившихся для видимости переговоров с партией Центра. Доступ ко всем государственным средствам давал не только возможность выправить положение, сложившееся после поражения в ноябре, но и с первых же шагов выйти из-под контроля партнёра — Немецкой национальной народной партии. Хотя предложение Фрика предоставить правительству миллион марок на предвыборную борьбу было отклонено после возражения министра финансов Шверина фон Крозига, чтобы совершить тот «шедевр агитации», который предсказывал Геббельс в одной из своих дневниковых записей, без таких подпорок можно было и обойтись, имея за спиной государственную власть[385].

Как это отвечало склонности Гитлера фиксировать внимание на одном вопросе, с этого момента все мысли, каждый тактический ход были поставлены на службу широкой кампании подготовки к назначенным 5 марта выборам. Он сам дал сигнал её начала «Воззванием к немецкому народу», с которым выступил по радио поздно вечером 1 февраля. Гитлер как нельзя быстро вжился в свою новую роль и ту манеру поведения, которой она требовала. Хотя присутствовавший при зачтении воззвания Яльмар Шахт мог наблюдать возбуждение Гитлера и то, как он в отдельные моменты «дрожал и дёргался всем телом»[386], сам документ, предварительно представленный на одобрение всем членам кабинета, был выдержан в ровном тоне заявления государственного мужа. Он соединял в себе критику прошлого и разрыв с ним с патетическими заверениями в преданности национальным, консервативным и христианским ценностям: с дней предательства в ноябре 1918 года, начал Гитлер

выступление: «Всевышний лишил наш народ своего благословения». Грызня между кучей партий, ненависть и хаос подменили единство нации «клубком политико-эгоистических противоречий», Германия являет собой «картину разобщённости, при виде которой сердце обливается кровью». Вынося обобщающие вердикты прошлому, он клеймил внутренний разлад, а также нищету, голод, утрату собственного достоинства и катастрофы последних лет и рисовал страшную картину конца двухтысячелетней культуры под широким натиском штурма опирающегося на «волю и насилие» коммунизма:

> «Эта способная лишь на отрицание, всеразрушающая идея не пощадила ничего — начиная с семьи и всех понятий чести и верности, народа и Отечества, культуры и хозяйства вплоть до вечных основ нашей морали и нашей веры. 14 лет марксизма разорили Германию. Один год большевизма Германию бы уничтожил. Районы, относящиеся сегодня к самым богатым и прекрасным культурным областям мира, были бы повергнуты в хаос и превратились бы в руины. Даже страдания последних полутора десятилетий нельзя было бы сравнить с бедствиями Европы, в центре которой взвился бы красный флаг уничтожения».

В качестве задачи нового правительства Гитлер назвал восстановление «единства духа и воли нашего народа», он обещал взять под защиту «христианство как основу всей нашей морали, семью как основную ячейку нашего народного и государственного организма», преодолеть классовую борьбу и вернуть традициям подобающее им почётное место. Восстановление экономики должно было быть обеспечено при помощи двух широкомасштабных четырехлетних планов, принцип которых он вновь заимствовал у своих противников — марксистов, заграница было твёрдо указано на жизненные права Германии, но в тоже время её успокаивали смягчающими тон фразами о наличии воли к примирению. За четыре года, — завершал Гитлер своё обращение, — его правительство постарается «загладить вину 14 лет», правда, при этом, прежде чем благоговейно просить благословения у Бога, он ясно дал понять, что правительство отбросит в сторону все конституционные контрольные механизмы: «Оно не может просить одобрения на восстановительный труд у тех, кто виновен в развале. У партий, приверженных марксизму, и их попутчиков было 14 лет, чтобы доказать на что они способны. Результат налицо — груда развалин…»

Тактическую сдержанность, которую несмотря на все угрожающие революционные нотки всё-таки в целом сохраняло это воззвание, Гитлер отбросил, когда он всего лишь двумя днями позже имел беседу в служебной квартире командующего сухопутными войсками генерала фон Хаммерштайна с верхушкой рейхсвера. Примечательная быстрота, с которой он стремился провести эту встречу, несмотря на множество требовавших его неотложного участия дел, была связана не только с ключевой позицией военных в его концепции завоевания власти — в упоении и на волне подъёма тех дней ему, несмотря на всю скрытность, не терпелось посвятить в свои грандиозные планы новых людей. Вряд ли что-либо так ясно подчёркивает это нетерпение, как тот факт, что Гитлер раскрыл перед командующими свою самую сокровенную, центральную идею[387].

Хаммерштайн, как описывает один из участников встречи, «несколько покровительственно», свысока, представил «господина рейхсканцлера», фаланга генералов с холодной вежливостью поприветствовала его, Гитлер скромно, угловато со всеми раскланялся и пребывал в состоянии смущения до тех пор, пока после трапезы он не получил за столом возможность для продолжительного выступления. Гитлер обещал вермахту как единственному носителю оружия в стране главное развитие, а в начале своей почти двухчасовой речи он, как и в дюссельдорфском клубе промышленников коснулся мысли о примате внутренней политики: самая первоочередная цель нового правительства — вновь сосредоточить власть в своих руках посредством «полного преобразования нынешних внутриполитических условий», не останавливающегося ни перед чем искоренения марксизма и пацифизма, а также создания широкой готовности к борьбе и обороне за счёт «жёсткого авторитарного государственного руководства»; только последнее даёт гарантию возможности сперва начать борьбу с Версалем при помощи осторожно действующей внешней политики, чтобы затем, собрав силы, перейти к «завоеванию нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации». Непреложную необходимость экспансии, он между тем, обосновывал не только геостратегическими аргументами и требованием обеспечить страну продовольствием, но и ссылкой на экономический кризис: и его причина, и его решение заключаются-де в «жизненном пространстве». При анализе положения ему представляются проблематичными только годы скрытого военно-политического восстановления, в этот период станет видно, имеются ли во Франции государственные деятели: «Если да, она не даст нам времени, а нападёт на нас, вероятно, с

восточными сателлитами», — записал один из участников встречи.

В этом выступлении примечательно не только то, что оно с новой стороны высветило построенную на идее насилия структуру мышления Гитлера: буквально каждое явление он воспринимал лишь как дополнительное подтверждение уже давно закрепившихся в уме идей, хотя и при этом настолько неверно оценивал сущность явлений — как в случае с экономическим кризисом, что это напоминало прямо-таки гротеск; и, по-прежнему, единственным решением, вообще понятным ему, было насилие. Рассуждения в этой речи одновременно свидетельствуют о преемственности мира идей Гитлера и опровергают все теории, согласно которым влияние лёгшей на его плечи ответственности сделало его более умеренным, а позже (обычно называют 1938 год), когда он впал в старые агрессивные комплексы ненависти или же, как утверждает другая версия, оказался под воздействием новой системы маниакальных идей, его сущность изменилась.

Гитлеровская концепция завоевания власти, которая несмотря на все заимствования из апробированной практики большевистских и прежде всего фашистских государственных переворотов относится к числу действительно самостоятельно разработанных, оригинальных элементов его взлёта, все ещё остаётся по своему сценарию классической моделью тоталитарного преодоления демократических институтов изнутри, т. е. при помощи государственной власти, а не в схватке с ней. Он с незаурядной находчивостью, не стеснённой в выборе средств, пускал в ход методы последних месяцев, приспосабливая их к новому положению. В продуманном взаимодействии с коричневыми вспомогательными формированиями все новые дерзкие революционные акции так сочетались с юридически санкционированными актами, что возникала, если брать каждый отдельный случай, хотя часто сомнительная, но в целом убедительная кулиса легальности, прикрывавшая противозаконность режима. В ту же линию вписывалось и то, что во многом сохранялись старые институциональные фасады: тем беспрепятственнее можно было в их тени осуществлять глубинное преобразование всех отношений — пока люди безнадёжно запутывались в своих оценках законности или незаконности системы, необходимости лояльности или сопротивления; парадоксальное понятие легальной революции — это было нечто гораздо «большее, чем пропагандистский приём», его значение для успеха процесса захвата власти невозможно переоценить[388]. Гитлер сам объяснял позже, что Германия в то время хотела

порядка, в силу чего ему пришлось отказаться от открытого применения силы; в один из последних дней жизни, когда его охватывали настроения отчаяния, он, подводя итог ошибок и упущений прошлого, возлагал на любовь немцев к порядку, их манию законопослушания и глубокое неприятие хаоса, которые придали нерешительный характер уже революции 1918 года, сорвали и его акцию у «Фельдхеррнхалле», ответственность за всю половинчатость, компромиссы и роковой отказ от внезапной кровавой расправы: «Иначе тогда были бы ликвидированы тысячи… Только потом начинаешь жалеть, что был таким добрым»[389].

В тот же момент тактика лавинообразно развёртывающейся революции, прикрытой атрибутами легальности, представлялась, однако, чрезвычайно успешной. По сути дела, всё было предопределено уже в течение февраля тремя декретами, законность которых, как казалось, в равной степени обеспечивали буржуазные авторитеты, находившиеся рядом с Гитлером, подпись Гинденбурга и сопровождавший все это туман национальных лозунгов. Уже 4 февраля вышел декрет «О защите немецкого народа», который предоставлял правительству права запрещать политические мероприятия, газеты и печатные издания конкурирующих партий на самых неопределённых основаниях. Тут же последовали драконовские меры, направленные против отличающихся политических воззрений любого направления, был прерван даже вскоре после его начала конгресс левых интеллектуалов и деятелей искусств в опере Кролля из-за якобы атеистических высказываний. Двумя днями позже, следующим чрезвычайным декретом, своего рода вторым государственным переворотом, был распущен прусский ландтаг, после того, как соответствующая попытка добиться этого парламентским путём потерпела провал. Спустя ещё два дня Гитлер обосновал перед ведущими немецкими журналистами чрезвычайный декрет от 4 февраля, обратив при этом их внимание на ошибочные суждения газет о Рихарде Вагнере и заявив, что «хочет уберечь нынешнюю печать от подобных промахов». Одновременно он пригрозил самыми решительными мерами тем, «кто сознательно хочет вредить Германии»[390]. В комплексе маловразумительных сообщений, эффектно скомпонованных с угрозами и актами насилия, скупо поступали сведения о Гитлере как о человеке. 5 февраля бюро НСДАП по связям с печатью известило, что Адольф Гитлер, «который очень привязан к Мюнхену», сохраняет там свою квартиру и что он, между прочим, отказался от оклада рейхсканцлера.

Тем временем национал-социалисты глубоко проникают в

управленческий аппарат. При распределении ролей актёров легальной революции Герингу, чья дородность придавала ей столь жизнелюбивый оттенок, досталась задача не знающего удержу неистового преобразователя. Хотя новый чрезвычайный декрет передавал все правительственные полномочия в Пруссии Папену, реальная власть была у Геринга. Пока вице-канцлер надеялся на свою «воспитательную работу внутри кабинета»[391], соратник Гитлера направил в прусское МВД несколько так называемых почётных комиссаров, таких, как оберфюрер СС Курт Далюге, которые тут же закрепились в крупнейшем управленческом ведомстве Германии и стали, проводя обширную перетряску кадров, отдавать распоряжения об увольнениях и назначениях новых людей, так что, как говорилось в свидетельстве очевидца, «чинуши старой системы вылетали штабелями. Эта беспощадная чистка затронула всех — от оберпрезидента до вахмистра»[392].

Особое внимание Геринга было направлено на управления полиции, руководство которых он за короткое время укомплектовал командирами СА высокого ранга. 17 февраля он обязал полицию своим приказом «установить отношения наилучшего взаимодействия с национальными формированиями (СА, СС, „Стальной шлем“), а в отношении же левых „применять в случае необходимости оружие без малейших колебаний“: „Каждая пуля, — так предельно откровенно он подтвердил это распоряжение в произнесённой позже речи, — которая будет выпущена из ствола полицейского пистолета, выпущена мной. Если это называть убийством, то считайте, что это убийство совершил я, все это приказано мною, это я беру на себя“. Из невзрачного второразрядного ведомства в берлинском управлении полиции, которое занималось надзором за антиконституционными действиями, начало формироваться гестапо (государственная тайная полиция), аппарат которого уже четырьмя годами позже имел бюджет в сорок раз больше прежнего и располагал только в Берлине четырьмя тысячами чиновников[393]. 22 февраля «для разгрузки линейных подразделений полиции при особых ситуациях» Геринг отдал распоряжение об образовании насчитывающей около 50 тысяч вспомогательной полиции, прежде всего за счёт личного состава СА и СС, открыто покончив с фикцией нейтральной полиции и заменив её выполнением функций террора в интересах одной партии. Белая повязка на рукаве, резиновая дубинка и пистолет отныне делали законными дикие аресты и произвол партийной армии, возводя их в ранг правомочных действий на службе государству. «Мои меры, — заверял Геринг в одном из своих

заявлений тех дней, в которых витает дух упоения насилием, — не будут страдать боязнью нарушить в чём-то юридические нормы. Мои меры не будут страдать болезнью какой-либо бюрократии. Моё дело здесь — не блюсти справедливость, а уничтожать и истреблять — и баста»[394].

Тем самым объявлялась война прежде всего коммунистам, которые были не только принципиальными противниками, но и определяли формирование большинства в будущем рейхстаге. Уже спустя три дня после создания правительства Геринг запретил в Пруссии все митинги коммунистов, после того как КПГ призвала к всеобщей забастовке и демонстрациям. Тихая гражданская война тем не менее продолжалась, только в первые дни февраля в результате столкновений пятнадцать человек погибло и примерно в десять раз больше было ранено. 24 февраля полиция в ходе рассчитанной на внешний эффект акции захватила здание ЦК КПГ, дом Карла Либкнехта на Бюловплац в Берлине, которое, правда, руководство компартии давно покинуло. И уже на следующий день печать и радио сообщали о сенсационной находке «многих сотен центнеров материала, свидетельствовавшего о замышлявшейся государственной измене», что позволило снабдить национал-социалистических агитаторов написанными леденящими душу красками жуткими картинами коммунистической революции. Сам материал, правда никогда не был опубликован: «террористические акты против отдельных вождей народа и руководителей государства, выведение из строя жизненно важных предприятий и публичных зданий, отравление целых групп лиц, которых они особенно боялись, захват заложников, жён и детей выдающихся деятелей должны были запугать народ, приведя его в ужас», — говорилось в докладе полиции. Тем не менее КПГ не запрещали, чтобы не толкнуть её избирателей в объятия СДПГ.

Тем временем национал-социалисты взвинтили свои пропагандистские мероприятия до самой шумной и безудержной предвыборной борьбы тех лет. Гитлер, который опять был самым мощным фактором воздействия на людей, лично открыл кампанию большой речью в берлинском Дворце спорта, которая в обильном потоке слов повторяла старые проклятья четырнадцати годам позора и нищеты, старые идеи непримиримости к ноябрьским преступникам и партиям прежней системы, равно как и старые формулы спасения страны и заканчивалась пламенной парафразой «Отче наш»: он, кричал Гитлер, «непоколебимо убеждён в том, что настанет час, когда миллионы тех, кто нас ненавидит, встанут за нами и вместе с нами будут приветствовать сообща созданный, завоёванный в тяжелейшей борьбе,

выстраданный нами новый германский рейх Величия и Чести, Мощи, Великолепия и Справедливости. Аминь!»[395] Опять в ход были пущены все технические средства, на это раз уже с опорой на престиж государства и его поддержку, страну захватил пароксизм воззваний, опять Гитлер летал по всей Германии; разработанный Геббельсом план предусматривал как можно более широкое использование радио, «которое наши противники не умели применить с толком, — писал шеф пропаганды, — тем лучше должны освоить работу с ним мы». Выступления Гитлера во всех городах должны были транслироваться передвижными радиостанциями: «Мы будем осуществлять трансляцию непосредственно из толщи народа, давая слушателю яркую картину происходящего на наших собраниях. Я сам буду предварять каждую речь фюрера вступлением, в котором я постараюсь донести до слушателя магию и атмосферу наших массовых митингов»[396].

Значительная часть средств для предвыборной кампании была собрана благодаря мероприятию, на которое Геринг пригласил 20 февраля во дворец рейхспрезидента ведущих промышленников. Среди участников встречи — их было около двадцати пяти — находились Яльмар Шахт, Крупп фон Болен, Альберт Феглер из «Ферайнигте Штальверке», Георг фон Шницлер из концерна «ИГ Фарбениндустри», Курт фон Шрёдер, представители тяжёлой, горной промышленности и банков. В своей речи Гитлер опять подробно проанализировал антагонизм между авторитарной предпринимательской идеологией и тем демократическим строем, который он с издёвкой назвал политической организацией слабости и упадка, он превозносил жёстко организованное идеологизированное государство как единственную возможность устоять перед лицом коммунистической угрозы и превозносил право отдельной великой личности. Он более не желает, продолжал Гитлер, зависеть от терпимости партии Центра, от поддержки Гугенберга и дойч-националов, и он должен сперва завоевать всю власть, чтобы окончательно раздавить противника. Словами, в которых не было и тени стремления оставаться в рамках легальности, он призвал своих слушателей к финансовым пожертвованиям: «Сейчас мы стоим накануне последних выборов. Каким бы ни был их итог, назад пути больше нет… Так или иначе, если положение не разрешится при помощи выборов, то развязка произойдёт другим путём». В заключение Геринг заявил, что запрашиваемые финансовые пожертвования «будут даны промышленностью тем легче, чем скорее она осознает, что выборы 5 марта наверняка будут последними в ближайшие десять лет, а возможно и на

ближайшие сто лет». Затем Шахт обратился к собравшимся с возгласом «А теперь, господа, пора раскошеливаться!» и предложил создать «предвыборную кассу», в которую он за короткое время собрал среди ведущих промышленных компаний по меньшей мере три миллиона марок, а может быть и больше[397].

Гитлер в значительной степени отошёл от прежней сдержанности и в предвыборных речах. «Время интернационалистской болтовни и обещаний примирения народов кончилось, на смену ему пришло время немецкого народного сообщества», — воскликнул он в Касселе; в Штутгарте он обещал «выжечь калёным железом явления разложения и обезвредить яд»; он преисполнен решимости «ни в коем случае не допустить возврата Германии к прежним порядкам». Он тщательно избегал изложения каких бы то ни было программных позиций («мы не хотим лгать и мы не хотим жульничать… раздавая дешёвые обещания»), конкретно он формулировал только одно намерение — «никогда, никогда… не отступать от задачи истребить в Германии марксизм и сопутствующие ему явления»; «первый пункт» его программы — призыв к противникам «Похороните все иллюзии!» Через четыре года он будет держать ответ перед немецким народом, а не перед партиями, развалившими страну; вот тогда пусть будет судьёй народ — и никто иной, воскликнул он богохульно с надрывом, на который его в те дни часто толкала самооценка себя как мессии, «по мне, пусть народ меня распнёт, если он решит, что я не выполнил своего долга»[398].

Концепция легальной революции предусматривала расправу с противником не посредством открытого террора и мер запрета, а постоянной провокацией его на акты применения насилия, чтобы он сам создавал предлоги для законных мер подавления и их оправдания. Геббельс описал этот тактический метод уже в дневниковой записи от 31 января: «Пока мы хотим не прибегать к прямым контрмерам (против коммунистов). Пусть сперва вспыхнет пламя большевистской попытки осуществить революцию. А потом мы в подходящий момент нанесём удар»[399]. Это была старая гитлеровская идеальная революционная схема расстановки сил: его призывают на помощь как последнюю кандидатуру спасителя, к которой люди отчаянно рвутся всей душой, в кульминационный момент попытки коммунистического переворота, чтобы в драматической схватке уничтожить мощного врага, покончить с хаосом и обрести легитимность и уважение среди масс в качестве вызывающей ликование силы порядка.

Поэтому уже на первом заседании кабинета 30 января он отклонил требование Гугенберга, не долго думая запретить компартию, забрать себе её депутатские мандаты и обеспечить таким образом себе большинство в рейхстаге, в силу чего новые выборы стали бы излишними.

Однако его мучило опасение, что коммунисты вообще не способны на широкомасштабную, энергичную акцию восстания. Он уже и до того порой высказывал сомнения в их революционной силе, такой же позиции, кстати, придерживался и Геббельс, который в начале 1932 года не видел в них опасности[400]. Действительно, потребовались известные пропагандистские усилия, чтобы стилизовать их образ под тот призрак, как это им самим хотелось бы в соответствии с их свидетельством о рождении[401]. Намёки на найденные в здании ЦК центнеры революционного материала служили этой установке, так же как и ходившие с середины февраля многочисленные, явно инспирированные самими национал-социалистами слухи о предстоящем покушении на Гитлера. Повисший в воздухе в 1918 году вопрос Розы Люксембург «Германский пролетариат — ну где же ты?» — остался и на этот раз без ответа. Хотя в первые недели февраля дело в ряде случаев доходило до уличных побоищ, они все же носили характер стычек явно местного характера, а никаких хотя бы самых призрачных свидетельств крупномасштабной, централизованно управляемой попытки восстания, благодаря которой можно было бы насаждать стимулирующие комплексы страха, не было. Причиной тому были не только депрессия и истощение энергии рабочих вообще, что, естественно, сильнее всего сказалось на коммунистах, но и доходившее прямо-таки до гротеска заблуждение их руководства в оценке исторической ситуации. Не обращая никакого внимания на преследования и мучения, на бегство многочисленных товарищей и массовый отток своих сторонников, коммунисты продолжали считать, что их основной противник — социал-демократия, что нет разницы между фашизмом и парламентской демократией, что Гитлер всего-навсего марионетка, что если он придёт к власти, то тем самым только приблизит власть коммунизма, а на нынешней стадии высшая революционная добродетель — терпение.

Эти тактические просчёты были, очевидно, отражением глубинного процесса смещения центров власти. Один из необычных моментов захвата власти состоял в том, что враг, существование которого было так долго в психологическом плане стимулом жизни национал-социализма, в решающей степени вдохновляло его и позволило вырасти в могучую силу, в момент

решающей схватки не вышел на арену. Ещё недавно представлявший собой мощно действующую угрозу, наводивший ужас на буржуазию многомиллионный отряд сторонников коммунистов вдруг испарился — без какого-либо признака сопротивления, действия, сигнала. Если верно, что о фашизме нельзя говорить, не рассуждая как о капитализме, так и о коммунизме[402], то теперь после окончания одной связи исторически перестала существовать и другая: с этого момента фашизм уже не был ни инструментом, ни отрицанием, ни зеркальным отражением; в дни захвата власти он пережил как бы вступление во власть на основании своих собственных прав. В Германии коммунизм так больше и не появился на сцене в качестве провоцирующей контрсилы до самого конца фашизма.

На этом фоне надо рассматривать драматический, по сути дела уже закрепивший захват власти Гитлером пожар рейхстага 27 февраля 1933 года, этот фон определяет и многолетнюю дискуссию об ответственности за него. Коммунисты постоянно горячо отрицали какую-либо причастность к поджогу, и действительно, у них для этого не было никакого мотива; партия со сломленной волей к самоутверждению не могла подать такой грандиозный сигнал к переходу в наступление. Ответственность национал-социалистов можно было убедительно обосновать как раз потому, что пожар так превосходно вписывался в картину революционного нетерпения Гитлера. Долго считался потом бесспорным тезис об их вине, хотя отдельные вопросы оставались невыясненными, и было видно, что спор ведётся с подставными свидетелями и сфабрикованными документами. Сопровождавшие эти события обстоятельства из криминальной сферы также давали благодатную почву для воображения честолюбивых летописцев, так что происшедшее оказалось покрытым мощным слоем отчасти поверхностной, отчасти дерзкой сознательной лжи и стало представляться искажённым даже в его самоочевидных аспектах.

Значение и заслуга известного исследования, опубликованного Фрицем Тобиасом в начале 60-х годов, заключались прежде всего в том, что оно детально и предметно вскрывало многочисленные грубые измышления, продиктованные партийными интересами или же только живой фантазией авторов легенд. Выходящий за рамки упоминавшихся предположений тезис, что не национал-социалисты, а схваченный в горящем рейхстаге потный, полуголый и восклицавший заплетающимся языком «Протест! Протест!» голландец Маринус ван дер Люббе был ни с кем не связанным преступником-одиночкой, обоснована точнее и убедительнее, чем какая-либо другая версия события, но

всё же оставались немалые сомнения, которые поддерживали огонь горячо шедших много лет споров[403]. Приводившиеся при этом доводы «за» и «против», весомость аргументов в нашем контексте к делу отношения не имеет, ибо вопрос о том, кто устроил поджог, — это вопрос криминалистики и имеет для исторического понимания процесса захвата власти второстепенное значение. Мгновенно использовав данное событие для реализации планов установления своей диктатуры, национал-социалисты так или иначе взяли это преступление на свою совесть, обнаружили своё соучастие в том смысле, который не в силах затронуть споры о признаках состава преступления и вопрос о виновном в нём. В Нюрнберге Геринг признался, что аресты и преследования были бы проведены в любом случае, пожар рейхстага их только ускорил[404].

Решения о первых шагах в сложившейся обстановке были приняты уже на месте события. Гитлер проводил вечер на квартире Геббельса на Рейхсканцлерплац, когда позвонил Ханфштенгль и доложил, что рейхстаг охвачен пламенем. Полагая, что эта информация является «несуразным плодом чьей-то буйной фантазии», Геббельс сперва не стал информировать об этом Гитлера. И только когда вскоре поступило подтверждение известия, он передал его. Спонтанное восклицание Гитлера «Теперь они у меня не выкрутятся!» уже предвещало, как он собирался использовать случившееся в тактическом и агитационном плане. Оба тут же «помчались на скорости 100 км в час по Шарлоттенбургскому шоссе к рейхстагу» и добрались, перешагивая через толстые пожарные рукава, до большой крытой галереи. Здесь они встретили Геринга, который прибыл туда первым и «в сильном возбуждении» уже объявил происшедшее организованной политической акцией коммунистов, эта установка с данного момента и предопределяла формирование политического, журналистского и криминалистического мнения. Один из тогдашних сотрудников Геринга, который позже стал первым руководителем гестапо, Рудольф Дильс, рассказывает, что происходило на месте преступления:

> «Когда я вошёл, ко мне приблизился Геринг. В его голосе звучал весь судьбоносный пафос этого драматического часа: „Это начало коммунистического восстания, они пошли в бой! Нельзя терять ни минуты!“
>
> Геринг не смог продолжить дальше. К собравшимся повернулся Гитлер. Тут я увидел, что его лицо было багрово-красным от возбуждения и от жара в зале под куполом. Он закричал с такой неистовостью, какой я у

него до того никогда не наблюдал, казалось, он вот-вот лопнет от натуги: «Теперь не будет никакой пощады! Раздавим всякого, кто встанет у нас на пути! Немецкий народ не поймёт мягкотелости. Каждого коммунистического функционера расстреливать на месте. Депутатов-коммунистов повесить этой же ночью. Социал-демократам и „Рейхсбаннеру“ теперь тоже никакой милости не будет!»[405]

Тем временем Геринг приказал привести всю полицию в состояние наивысшей готовности. Уже этой ночью было арестовано четыре тысячи функционеров, прежде всего КПГ, и заодно некоторые неугодные режиму писатели, врачи и адвокаты, в том числе Карл фон Осецкий, Людвиг Ренн, Эрих Мюзам и Эгон Эрвин Киш. Были заняты многие партийные дома и газетные издательства социал-демократов, «если будут сопротивляться, — грозил Геббельс, — пускайте в дело штурмовиков»[406]. И хотя большинство арестованных пришлось брать из постелей, а лидер парламентской фракции КПГ Эрнст Торглер, которого поначалу обвинили в причастности к этому делу, сам явился в полицию, чтобы продемонстрировать несостоятельность обвинений, первое официальное сообщение, датированное ещё 27 февраля (!), гласило:

> «Пожар рейхстага должен был стать грандиозным сигналом к кровавому бунту и гражданской войне. Уже на вторник, на 4 часа утра, в Берлине намечались широкомасштабные грабежи. Установлено, что с сегодняшнего дня по всей Германии должны были начаться террористические акты против отдельных деятелей, против частной собственности, против мирного населения, и должна была быть развязана всеобщая гражданская война…
>
> Подписаны ордера на арест двух виднейших коммунистических депутатов рейхстага ввиду наличия весомых оснований подозревать их в причастности к совершенному преступлению. Остальные депутаты и функционеры компартии взяты под арест. Коммунистические газеты, журналы, листовки и плакаты на четыре недели были запрещены по всей Пруссии. На четырнадцать дней запрещались все газеты, журналы, листовки и плакаты социал-демократической партии…»[407]

Уже в первой половине следующего дня Гитлер вместе с

Папеном явился к рейхспрезиденту. После выдержанного в драматических красках рассказа о происшедших событиях он представил Гинденбургу проект чрезвычайного декрета. Последний поистине максимально использовал предоставившийся случай, отменяя все основные права, значительно расширяя сферу применения смертной казни и кроме того создавая многочисленные механизмы давления на земли. «Люди были как оглушены», — вспоминает один из очевидцев[408], — никогда серьёзность коммунистической угрозы не была столь осязаемой, жильцы домов организовывали дежурства из страха перед предстоящими грабежами, крестьяне выставляли охрану у колодцев и родников, боясь, что их отравят. Мгновенно сыграв при помощи всех пропагандистских средств на страхе людей, Гитлер получил возможность на короткий, искусно использованный период делать почти все, что угодно; да, это было так, как бы непостижимо ни было для нас одобрение декрета со стороны Папена и его консервативных «соконтролеров» — он выбивал у них из рук любое средство реального влияния и сносил преграды на пути потока национал-социалистической революции. Решающим моментом, однако, было то, что отсутствовало упоминание прав, обеспечивающих неприкосновенность личности. Эта «страшная недомолвка» привела к тому, что с этого момента снимались все пределы государственному произволу. Полиция могла произвольно «арестовывать и без каких-либо ограничений продлевать срок задержания. Она могла держать родственников в полном неведении о причинах ареста и дальнейшей судьбе арестованного. Она могла не давать адвокату или другим лицам посетить его или же ознакомиться с материалами дела… изнурять заключённого непосильной работой, кормить и размещать его в камере кое-как, заставлять повторять ненавистные ему лозунги или петь песни, пытать его… Никакой суд не получил бы материалы дела. Ни один суд не был правомочен вмешаться, даже если бы какой-нибудь судья неофициально узнал бы об обстоятельствах дела»[409].

Чрезвычайный декрет «О защите народа и государства», который в тот же день был дополнен и ещё одним — «Против измены Немецкому народу и действий, представляющих собой государственную измену», был главной правовой основой системы господства национал-социалистов и вне всяких сомнений важнейшим законом «третьего рейха», он заменял правовое государство перманентным чрезвычайным положением. Справедливо указывалось на то, что именно в нём, а не в принятом несколькими неделями позже законе о чрезвычайных

полномочиях, следует искать главную правовую основу режима; вплоть до 1945 года декрет действовал без каких-либо изменений, обеспечивая псевдоправовое прикрытие преследованиям, тоталитарному террору, подавлению немецкого сопротивления вплоть до 20 июля 1944 года[410]. Одновременно чрезвычайный декрет имел и тот эффект, что национал-социалисты больше не могли отступиться от тезиса о поджоге рейхстага коммунистами и восприняли состоявшийся позже процесс, который мог доказать вину только ван дер Люббе, как тяжкое поражение. В этих аспектах, а не в криминалистических деталях, надо видеть решающее историческое значение пожара рейхстага. Когда Сефтон Делмер, корреспондент «Дейли экспресс», спросил в то время Гитлера, верны ли слухи о предстоящей резне внутриполитической оппозиции, Гитлер мог насмешливо ответить ему: «Мой дорогой Делмер, я не нуждаюсь в Варфоломеевской ночи. Чрезвычайным декретом „О защите народа и государства“ мы создали особые суды, которые законным путём выдвинут обвинения против всех врагов государства и осудят их». Число арестованных до середины марта только в Пруссии на основании декрета от 28 февраля оценивали в более чем десять тысяч, Геббельс с чувством необыкновенного счастья комментировал успехи захвата власти: «Жизнь опять упоительна!»[411]

На этом запугивающем фоне в последнюю неделю перед выборами снова форсировали свою работу, постоянно наращивая обороты, все средства национал-социалистической агитации. Геббельс объявил 5 марта «днём пробуждения нации», и на проведение этого дня были направлены теперь все массовые митинги и шумные парады, все акции вывешивания флагов, акты насилия, сцены ликования и гитлеровские «шедевры ораторского искусства». Безудержный ошеломляющий пыл этих мероприятий почти полностью вытеснил со сцены партнёров, прежде всего ДНФП, в то время как другим партиям чинились многочисленные помехи, на которые полиция взирала молча и безучастно; до дня выборов среди противников национал-социалистов был убит 51 человек и несколько сотен ранено, а среди национал-социалистов погибло 18 человек; «Фелькишер беобахтер» не без основания сравнивала агитацию НСДАП с «сокрушительными ударами молота»[412]. День накануне выборов был отмечен помпезным спектаклем в Кенигсберге. Когда Гитлер закончил речь экзальтированным призывом к немецкому народу: «Теперь опять высоко и гордо держи свою голову! Больше ты не порабощён и не закабалён, теперь ты опять волен… милостивой помощью

Божией», зазвучала «Нидерландская благодарственная молитва», последняя строфа которой была перекрыта колокольным звоном кенигсбергского собора. Все радиостанции получили указание передавать митинг в прямой трансляции, согласно партийной директиве каждый, «у кого есть для этого возможность, должен сделать все, чтобы на улице был слышен голос канцлера». После окончания передачи повсюду начался марш колонн СА, в то время как на горах и вдоль границы были зажжены так называемые костры свободы: «Нас ждёт великая победа», — ликовали организаторы[413].

Тем больше было их разочарование, когда вечером 5 марта стали известны результаты. В выборах приняло участие примерно 89 процентов избирателей, НСДАП получила 288 мест, а её партнёр по коалиции, Черно-бело-красный боевой фронт — 52 мандата. Партия Центра удержала свои позиции, набрав 73 места, равно как и СДПГ — 120 депутатов, и даже коммунисты потеряли из прежних 100 мандатов только 19. Настоящего успеха национал-социалистам удалось добиться только в южногерманских землях Вюртемберге и Баварии, где они были до того представлены ниже средних показателей. Но желанного большинства они все же не получили: они набрали 43, 9 процента голосов, и для большинства им не хватало около 40 мест. Вследствие этого Гитлер по меньшей мере формально продолжал зависеть от поддержки со стороны Папена и Гугенберга, вместе с мандатами их партии у Гитлера получалось весьма хрупкое большинство — 51, 9 процента. На квартире у Геринга, где стало известно о результатах выборов, он раздражённо заявил, что пока жив Гинденбург, от «шайки» — он имел в виду партнёра по коалиции, ДНФП, — не избавиться[414]. Геббельс возразил: «Да что значат теперь все эти цифры? Мы хозяева в рейхе и Пруссии». В своём листке «Дер Ангрифф» он обратился к рейхстагу с поразительным требованием «не создавать трудностей правительству… и дать событиям пойти своим ходом».

Одной из черт не дающего людям прийти в себя стиля захвата власти и национал-социалистической психологии вообще является мышление исключительно торжествующими категориями и манера превозносить как победы даже тяжелейшие поражения — вопреки всей очевидности. Поэтому и результаты выборов национал-социалисты, несмотря на своё разочарование, выдали за грандиозный успех и вывели из него свою историческую задачу «привести в исполнение приговор, вынесенный народом марксизму». Когда партия Центра запротестовала непосредственно после выборов против вывешивания флагов со свастикой на общественных зданиях,

Геринг высокомерно ответил, что 5 марта «подавляющее большинство немецкого населения» выразило свою поддержку флагу со свастикой: «Я отвечаю за то, чтобы выполнялась воля большинства немецкого народа, а не желания группы людей, которые, похоже, ещё не поняли смысла происходящего ныне». На заседании кабинета 7 марта Гитлер без обиняков охарактеризовал результаты выборов как «революцию»[415].

При помощи акций, напоминающих путч, он уже в первые четыре дня после выборов захватил власть в землях. СА повсюду сыграли давно известную в истории проходную роль уже не владеющего собой народного гнева, проводя демонстрации на улицах, окружая административные здания и требуя смещения бургомистров, полицай-президентов и, в конечном счёте, и правительств. В Гамбурге, Бремене и Любеке, в Гессене, Бадене, Вюртемберге или, скажем, Саксонии каждый раз по одной и той же схеме правительство земли заставляли уходить в отставку, расчищая тем самым дорогу для прихода «национального» кабинета. Порой, правда, тщательно сооружённые фасады законности рушились и становились очевидными незаконные, революционные притязания на власть: «Правительство со всей жёсткостью раздавит всякого, кто выступит против него», — заявил вюртембергский гауляйтер Вильгельм Мурр после того, как его при помощи подтасовок избрали новым президентом земли. «Мы не говорим: око за око, зуб за зуб — нет, тому, кто выбьет нам глаз, мы оторвём голову, а тому, кто выбьет нам зуб, размозжим всю челюсть»[416]. В Баварии гауляйтер Адольф Вагнер вместе с Эрнстом Ремом и Генрихом Гиммлером вынудил премьер-министра Хельда уйти в отставку 9 марта и приказал затем своим силам занять здание правительства. За несколько дней до того в Мюнхене размышляли, не восстановить ли для отражения угрозы унификации монархию, призвав на трон кронпринца Рупрехта, и грозили арестовать на границе любого рейхскомиссара, который попытается пересечь линию Майна; а теперь выяснилось, что рейхскомиссар давно находился в пределах земли Бавария и по части близости к народу превзошёл всех её министров: вечером 9 марта правительственные полномочия были переданы тому самому генералу фон Эппу, который в 1919 году разгромил власть Советов в Баварии. Всего тремя днями позже в Мюнхен направился Гитлер. В первой половине дня, в выступлении по радио по случаю общенационального дня скорби он объявил, что черно-красно-жёлтые государственные цвета Веймарской республики отменяются, и отныне государственным флагом являются стяги черно-бело-красного цвета и полотнища со свастикой;

одновременно он дал указание вывесить «в знак празднования победы» на три дня флаги. Он объявил «первый этап» борьбы завершённым и добавил: «Унификация политической воли земель и воли нации свершилась»[417].

На самом же деле унификация была той своеобразной формой, в которой осуществлялась национал-социалистическая революция. В предшествующие годы Гитлер постоянно выступал против старомодных и сентиментальных революционеров, которые видели в революции «спектакль для масс», заявляя: «Мы не балаганные революционеры, рассчитывающие на люмпен-пролетариат»[418]. Революция, по его представлениям, была не бунтом, а управляемым беспорядком, не произволом и не беззаконной анархией, а триумфом упорядоченного насилия. Поэтому он с явным неудовольствием воспринимал террористические акции СА, развернувшиеся непосредственно после выборов, дополнительно подогретые шумными лозунгами победы, — не потому, что это было насилие, а потому, что они были необузданными. Противники, ренегаты или посвящённые в сокровенные тайны становились жертвами безудержной жажды мести. В округе Хемниц в течение двух дней было убито пять коммунистов и застрелен издатель социал-демократической газеты, в Гляйвице депутату от партии Центра бросили в окно ручную гранату, вооружённые штурмовики ворвались на заседание обербургомистра Дюссельдорфа д-ра Лера и избили кожаной плёткой одного из присутствующих. В Дрездене СА сорвали концерт дирижёра Фрица Буша, в Киле убили адвоката, который был членом СДПГ. СА бойкотировали еврейские магазины и освобождали из тюрем своих товарищей по партии, занимали банки и заставляли увольнять политически неугодных им чиновников. Параллельно с этим шла волна взламывания квартир, грабежей и разбоя, в отдельных случаях отряды СА занимались дикой торговлей людьми, отпуская политических противников на свободу за высокий выкуп. Учитывая все подобные обстоятельства, число убитых в течение первых месяцев оценивали в 500-600, а количество отправленных в лагеря, о которых Фрик говорил уже 8 марта, — в 50 тысяч и более. Как всегда, при анализе комплексных моделей поведения национал-социалистов обнаруживается почти не распутываемый клубок политических мотивов, удовлетворения личных инстинктов и холодного расчёта: о таком положении вещей свидетельствует перечень имён некоторых жертв этого периода: наряду с поэтом-анархистом Эрихом Мюзамом среди убитых были директор театра Роттер и его жена, бывший национал-социалистический депутат Шефер, передавший властям «боксхаймские документы»,

ясновидец Хануссен и баварский майор полиции Хунглингер, который 9 ноября 1923 года усмирял Гитлера в пивной «Бюргерброй»; далее бывший командир СС Эрхард Хайден и, наконец, убивший Хорста Весселя Али Хелер. Все жалобы своих буржуазных партнёров на растущее господство улицы Гитлер резко и оскорблённо отметал; Папену он заявил, что просто восхищён «небывалой дисциплиной» своих штурмовиков и эсэсовцев, он опасается, что «история однажды упрекнёт нас, что мы, может быть, сами уже заразились слабостью и трусостью нашего буржуазного мира, в исторический час действовали в белых перчатках вместо того, чтобы пустить в ход стальные кулаки»; он никому не позволит увести себя в сторону от выполнения своей миссии истребления марксизма и «поэтому самым настоятельным образом просит в будущем не обращаться к нему с подобными жалобами». Тем не менее уже 10 марта он предупредил СА и СС о необходимости «вести себя так, чтобы в истории нельзя было сравнивать национальную революцию 1933 года с революцией спартаковского сброда в 1918 году»[419].

Естественно, СА были глубоко разочарованы такими предупреждениями. Они всегда понимали под захватом власти открытое применение насилия, за которое ни перед кем отвечать не приходится, они гонялись за людьми, пытали и убивали их не в последнюю очередь ради того, чтобы придать революции её подлинный темперамент. И они не хотели, чтобы многолетние обещания, согласно которым Германия после победы будет принадлежать им, теперь вдруг обернулись ни к чему не обязывающими метафорами, они связывали с былыми посулами совершенно конкретные притязания на офицерские патенты, должности руководителей окружных управлений, «тёпленькие местечки», социальную обеспеченность, в то время как гитлеровская концепция захвата власти предусматривала, по крайней мере на первом этапе, замены лишь на ключевых постах в процессе хорошо дозированного нажима; массу специалистов второго эшелона надо было заставить сотрудничать при помощи обманных манёвров и угроз. Поэтому Гитлер старался успокоить своих штурмовиков обтекаемыми заявлениями: «Час разгрома коммунизма придёт!» — заклинал он их уже в начале февраля[420].

Разочарования СА были, однако, надеждами бюргерства. Оно ожидало восстановления порядка, а не произвола, убийств или создания диких концлагерей коричневыми преторианцами. Тем с большим удовлетворением взирало оно теперь, как СА призывались к порядку, как их революционный порыв к действию все больше глушили заданиями собирать пожертвования,

расхаживая с кружкой, или даже посещением церкви по воскресеньям, куда их вели строем. Сбивающее с толку, но работающее на повышение престижа представление о Гитлере как умеренном деятеле, который, блюдя законность, постоянно ведёт изматывающие схватки со своими радикально настроенными соратниками, порождено впечатлениями этого времени.

Но по-настоящему целостной и высокоэффективной тактика «легальной революции» становилась благодаря второму «волшебному слову»[421], которым оперировал Гитлер — «национальное возрождение». Оно служило революционным оправданием не только многочисленным, отчасти неконтролируемым, а отчасти управляемым актам насилия, но и давало все ещё оскорблённой в своём национальном самосознании стране завораживающий лозунг, за мишурой которого можно было спрятать все далеко идущие властные цели режима. Начиная от консервативных «укротителей» Гитлера в кабинете вплоть до широких кругов буржуазной общественности — на всех их сочетание запугивающего насилия и национальной фразеологии, которая сопровождала все акты произвола потоками патетических словоизлияний, придавая им некое возвышенное значение, оказывало исключительно сильное парализующее действие и приводило к тому, что беззастенчивое утверждение национал-социалистов у власти не только не встречало никакого сопротивления, но ещё и горячо приветствовалось как надпартийный «национальный подъем».

Такова была схема мыслей и чувств, которая теперь единообразно вбивалась в голову нации, ориентируя её в нужном направлении. В центре её стояла в бесчисленных и порой доходящих до гротеска вариантах фигура «народного канцлера», который, высоко вознесшись над спором партий и мелкими интересами, радеет только о законности и благе нации. Теперь Геббельс сам взялся за разработку этого образа во всё более оглушительной пропаганде, используя все давление государственных рычагов. 13 марта Гинденбург подписал декрет о назначении его главой «имперского министерства народного просвещения и пропаганды», создание которого планировалось с самого начала, но откладывалось из-за партнёров по коалиции. Тем самым Гитлер впервые нарушил все прежние обещания сохранять состав кабинета неизменным. Новый министр урвал себе из сферы компетенции своих коллег обширные полномочия, но вёл себя, однако, с непринуждённой корректностью, которая выгодно отличалась от разухабистых манер большинства упивавшихся победой коричневых вождей. В своей первой программной речи перед представителями печати он заявил:

«Создавая новое министерство, правительство преследует цель не предоставлять народ самому себе. Нынешнее правительство — это народное правительство… Новое министерство будет информировать народ о намерениях правительства, чтобы достичь политического единства народа и правительства»[422].

Создание нового министерства Гитлер не без иронии обосновал на заседании правительственного кабинета перечнем предельно общих задач, выделив при этом, например, необходимость подготовить население к решению вопроса о растительном масле и жирах. Но никто из министров не задавал уточняющих вопросов и не требовал объяснений, за считанные недели вся решимость консерваторов не дать ему развернуться испарилась, что свидетельствует не только о тонко продуманной сдержанности в использовании директивных компетенций, но и о гипнотической энергии. Папен только услужливо поддакивал, Бломберг был полностью очарован Гитлером, виртуозом по этой части, Гугенберг позволял себе от случая к случаю пробормотать под нос выражения недовольства, а остальные были фактически не в счёт. Задача, за которую на самом деле без промедления взялся Геббельс, заключалась в подготовке первого мероприятия, которым новое государство должно было заявить о своём характере и одновременно расчистить путь в психологическом плане для запланированного закона о чрезвычайных полномочиях. Хотя для принятия этого закона, задуманного как «смертельный удар» по системе парламентаризма, Гитлер мог, ссылаясь на принятые после пожара рейхстага декреты, опять прибегнуть к силе и арестовать столько депутатов от левых партий, сколько было бы нужно для достижения необходимого большинства в две трети; такой вариант со всеми расчётами действительно был доложен кабинету Фриком и обсуждался участниками заседания[423], но Гитлер имел возможность избрать и формально корректный путь: попытаться заручиться поддержкой центристских партий. Гитлер пошёл одновременно и по первому, и по второму пути, что было отнюдь не случайным моментом, а характерной чертой тактического стиля захвата власти в целом.

В то время как депутаты КПГ и СДПГ подвергались массивным запугиваниям, а часть их была просто арестована, Гитлер откровенно обхаживал буржуазные партии, напоминая, впрочем, и им в виде угрозы о неограниченных полномочиях, которыми он располагал согласно принятому после пожара рейхстага декрету от 28 февраля. Этим стремлением были продиктованы в тот период и выпячивание своей верности интересам нации, обращение к христианской морали,

торжественное преклонение перед традициями, да и вообще стиль сугубо гражданского, солидного государственного деятеля. Ухаживание Гитлера за буржуазией достигло своей кульминации, полной помпезности и беспримерного магического воздействия на настроения людей, в День Потсдама.

Это было одновременно первой, мастерски удавшейся пробой сил нового министра пропаганды. Если 5 марта Геббельс провозгласил «днём пробуждения нации», то 21 марта, дату первого заседания рейхстага «третьего рейха», он объявил «днём национального возрождения». Открыть его должен был торжественный государственный акт в потсдамской гарнизонной церкви, над могилой Фридриха Великого. Резиденция прусских королей с её строгой красотой вызывала разнообразные ассоциации, созвучные потребности в национальном возрождении, равно как и дата торжества: 21 марта было не только началом весны, но и тем днём, когда Бисмарк в 1871 году открыл первый германский рейхстаг и окончательно закрепил тем самым исторический поворот в развитии страны. Каждая фаза, каждое действие церемонии были расписаны Геббельсом в «сценарии», который санкционировал Гитлер. То, что так впечатляло и трогало душу: строгий порядок марширующих колонн, ребёнок у дороги, протягивающий букет цветов, выстрелы из лёгких мортир, вид белобородых ветеранов войн 1864, 1866 и 1871 годов, парад и звучание органа — вся эта неотразимо действующая комбинация точного ритма и уносящей с собой эмоциональности была плодом холодного и уверенно распределяющего эффектные акценты планирования: «На таких крупных государственных торжествах, — сделал себе пометку Геббельс после предварительной инспекции „прямо на местности“, — важна мельчайшая деталь»[424].

День открыли — весьма примечательный момент! — праздничные богослужения. Вскоре после десяти часов из Берлина стали прибывать первые вереницы лимузинов, прокладывая себе дорогу через запруженные народом улицы: Гинденбург, Геринг, Папен, Фрик, депутаты рейхстага, руководство СА, генералы — старая и новая Германия. На фасадах домов висели гирлянды и яркие ковры, множество гирлянд, перемежающихся черно-бело-красных флажков и флажков со свастикой, приветственно машущих пышному празднику примирения. В старом фельдмаршальском мундире, который он все чаще предпочитал гражданскому чёрному сюртуку, демонстрируя примечательный возврат к своему прошлому, Гинденбург вошёл в протестантскую церковь

Николаикирхе, затем он проехал по городу. На католическое богослужение в храме св. Петра и Павла депутатов партии Центра, проявив иронию, пустили через боковой вход. Гитлер и Геббельс ввиду «враждебной позиции католического епископата» на службе не присутствовали… На этом «народном празднике национального единения» отсутствовали также не приглашённые на него коммунисты и социал-демократы, некоторой части которых, как публично заявил Фрик 14 марта, помешала сделать это «неотложная и более полезная работа… в концлагерях»[425]. Незадолго до двенадцати часов Гинденбург и Гитлер встретились на ступенях гарнизонной церкви и обменялись рукопожатием, которое было увековечено на миллионах почтовых открыток и плакатов, символизируя всю тягу нации к внутреннему примирению: «Старик», без которого Гитлер, по собственным его словам, не смог бы прийти к власти, дал своё благословение[426]. Хор и галерея церкви были заполнены генералами кайзеровской армии и рейхсвера, дипломатами и различными высокопоставленными лицами, за ними национал-социалистические депутаты в коричневых рубашках, по бокам — парламентские представители центристских партий. Традиционное место кайзера осталось не занятым, но за ним сидел в парадном мундире кронпринц. Шагая негнущимися ногами к своему месту во внутреннем помещении церкви, Гинденбург на мгновение замер у ложи кайзера и поднял в приветствии фельдмаршальский жезл. Исполненный респектабельности, в чёрной визитке, со скованностью новичка Гитлер следовал за производившим печальное впечатление старцем. За ними колыхание мундиров, затем органная музыка и лейтенский хорал «Восславим дружно Бога…»

Выступление Гинденбурга было кратким. Он отметил то доверие, которое он, а теперь и народ оказывают новому правительству, благодаря чему имеется «конституционная основа для его работы», призвал депутатов поддержать правительство в решении его тяжких задач и заклинал «древним духом этого места» преодолеть «эгоизм и партийные дрязги… ради блага сплочённой, свободной, гордой Германии». На ту же волну торжественных чувств, свободную от резких выпадов, была настроена и речь Гитлера. Обрисовав периоды величия и упадка нации, он заявил о своей приверженности «вечным основам» её жизни, традициям её истории и культуры. После проникновенных слов благодарности Гинденбургу, «великодушное решение» которого позволило заключить союз «между символами величия прошлого и молодыми силами», он просил Провидение укрепить «то мужество и упорство, которыми веет в этом святом для

каждого немца храме на нас — людей, борющихся за свободу и величие нашего народа, здесь, у могилы его величайшего короля».

> «К концу все потрясены до глубины души, — отмечает Геббельс. — Я сижу близко от Гинденбурга и вижу, как к его глазам подступают слезы. Все встают с мест, славя престарелого фельдмаршала, который протягивает руку молодому канцлеру. Исторический момент. Щит немецкой чести вновь очищен от скверны. Вверх взлетают штандарты с нашими орлами. Гинденбург возлагает лавровые венки на могилы великих прусских королей. Гремят орудия. Звучат трубы, рейхспрезидент стоит на трибуне с фельдмаршальским жезлом в руке и приветствует рейхсвер, СА, СС и „Стальной шлем“, проходящие церемониальным парадом у трибуны. Стоит и приветствует…»[427]

Эти картины оказали необыкновенное воздействие на депутатов, военных, дипломатов, иностранных наблюдателей и на широкую общественность и сделали День Потсдама действительно поворотным. Хотя заносчивые слова Папена о том, что он в несколько месяцев так зажмёт Гитлера в угол, что «тот запищит»[428], были уже давно и однозначно опровергнуты жизнью, «душещипательная потсдамская комедия», казалось, продемонстрировала, что своенравный нацистский фюрер наконец все же попал в сети того национального консерватизма, который имел в резиденции прусских королей свой идейный, взывавший к возвращению былого величия центр, а в Гинденбурге — своего верного хранителя; казалось, что молодой, преисполненный веры и благоговения Гитлер подчинился этой традиции. Лишь меньшинство было в состоянии не поддаться гипнотическому воздействию этого спектакля, и многие из тех, кто ещё 5 марта голосовал против Гитлера, теперь явно заколебались в своих суждениях. До сих пор ещё горько осознавать, что многие чиновники, офицеры, юристы из преданного национальным интересам бюргерства, которые, пока они руководствовались рациональными аргументами, вели себя весьма сдержанно, распрощались с недоверием в тот момент, когда режим привёл их в состояние экстаза, сыграв на их национальных чувствах. «Шквал чувств национального восторга, — писала одна из газет правой буржуазии, — пронёсся вчера над Германией», «снеся, как хотелось бы нам надеяться (!), завалы, которыми от них отгораживались некоторые партии, и распахнув двери, которые им до того упорно не хотели

открывать»[429]. Огромные факельные шествия по улицам Берлина и обставленное с особой торжественностью представление «Майстерзингеров» завершили программу празднества.

Двумя днями позже режим и сам Гитлер предстали в иной ипостаси. 23 марта, примерно в 14 часов, во временно переоборудованной для этого опере Кролля собрался рейхстаг на то заседание, театральным прологом которого был День Потсдама. Уже во внешнем оформлении однозначно господствовали цвета и символы НСДАП. Оцепление здания было поручено частям СС, которые в этот день впервые предстали столь массированно, а внутри здания длинными угрожающими шеренгами стояли штурмовики в коричневой форме. Сзади на сцене, где заняли место правительство и президиум рейхстага, висело огромное знамя со свастикой. В открывшей заседание речи Геринга грубо игнорировался надпартийный характер парламента; обращаясь к «камерадам», он без всякого основания посвятил её памяти Дитриха Эккарта.

Затем, чтобы произнести свою первую речь в рейхстаге; на трибуну вышел Гитлер, тоже в коричневой рубашке. Примечательно, что перед этим он несколько недель выступал преимущественно в обычном костюме. По своей неизменной риторической схеме он опять начал с мрачной панорамы происшедшего с ноября 1918 года, бед и угроз гибели, нависших над рейхом, а затем дал широкую картину намерений и задач правительства, используя преимущественно обтекаемые формулировки, более или менее совпадавшие с высказываниями последних недель. Потом он заявил:

> «Чтобы получить возможность выполнить задачи в пределах обрисованных выше общих рамок, правительство выносит на рассмотрение рейхстага от имени двух партий — Национал-социалистической и Немецкой национальной — проект закона о чрезвычайных полномочиях… Духу национального возрождения и поставленной цели не отвечал бы такой порядок, при котором правительство просило бы одобрения своим мерам у рейхстага от случая к случаю, торгуясь и выпрашивая. У правительства нет намерения упразднить рейхстаг как таковой. Напротив, оно и в будущем будет время от времени информировать его о своих мероприятиях… Правительство собирается использовать этот закон лишь настолько, насколько это необходимо для осуществления жизненно необходимых мер. Никакой угрозы существованию рейхстага и

рейхсрата не возникает. Позиция и права господина рейхспрезидента остаются неприкосновенными… Существование земель не упраздняется…».

Вопреки этим успокаивающим заверениям каждая из пяти статей закона разбивала один за другим «основополагающие компоненты немецкой конституции»[430]. Согласно первой статье законодательная функция переходила от рейхстага к имперскому правительству, статья вторая расширяла полномочия правительства до возможности изменения конституции, статья третья передавала право подготовки законов от рейхспрезидента рейхсканцлеру, четвёртая распространяла сферу применения закона на определённые договоры с иностранными государствами, в то время как заключительная статья ограничивала срок действия закона четырьмя годами и связывала его с существованием нынешнего правительства. С опять же характерным для него изменением тона Гитлер завершил речь вызовом своим противникам:

> «Поскольку правительство располагает явным большинством, число случаев, когда в силу внутренней необходимости потребуется использовать закон, будет само по себе ограниченным. Ввиду этого правительство национального возрождения тем более настаивает на принятии закона. Оно предпочитает в любом случае чёткое решение. Оно предоставляет партиям рейхстага возможность спокойного развития Германии и намечающегося на этой основе в будущем взаимопонимания, но оно столь же исполнено решимости и готово ответить на выражение неприятия и тем самым на предупреждение о сопротивлении. Теперь решайте сами, господа депутаты, быть миру или войне»[431].

Овации, зал стоя поёт «Германия, Германия превыше всего» — на этой ноте оканчивается речь Гитлера, что символически предвещало, какими станут будущие функции парламента. В атмосфере, которая благодаря расставленным повсюду караулам СА и СС напоминала скорее осадное положение, фракции удалились на трехчасовой перерыв совещаться. Перед зданием молодчики Гитлера в форме начали скандировать хором: «Мы требуем закона о чрезвычайных полномочиях — иначе клочья полетят!»[432]

Теперь все зависело от поведения партии Центра, её согласие должно было обеспечить правительству необходимое для

изменения конституции большинство. На состоявшихся до того переговорах с лидером партии д-ром Каасом Гитлер сделал различные заверения, которые касались прежде всего конкордата и в конце концов «в качестве благодарности за благоприятное голосование партии Центра» подготовить письмо, «касающееся отмены тех частей принятого после пожара рейхстага декрета, которые нарушали гражданские и политические свободы граждан»; оно должно было также содержать заявление о том, что закон будет применяться только при определённых условиях. Кроме того, Гугенберг и Брюнинг во время беседы вечером 21 марта договорились о том, что согласие партии Центра будет зависеть от принятия статьи, гарантирующей гражданские и политические свободы. Было условлено, что фракция ДНФП должна будет внести сформулированное Брюнингом предложение.

Во время перерыва на совещании Брюнингу, однако, сообщили, что в рядах фракции Немецкой национальной народной партии возникло серьёзное сопротивление плану внесения дополнительной резолюции; внести её проект, как о том договорились, будет невозможно. Фракция партии Центра заколебалась и стала вновь обсуждать свою позицию. В то время как большинство выступало за одобрение предложения правительства, часть членов фракции, прежде всего Брюнинг, страстно выступала против всякой уступчивости, лучше, — крикнул он, — погибнуть со славой, чем опуститься до позорного конца. В конце концов договорились всей фракцией последовать за мнением большинства. Решающую роль сыграли при этом не только традиционное приспособленчество партии и разлагающее воздействие Дня Потсдама, но и отражавшее настрой павших духом людей мнение, что партия не в состоянии воспрепятствовать принятию закона и даже что этот последний, в сочетании с обещанным письмом, ещё действеннее заставит Гитлера соблюдать законность, чем существующие ныне положения.

Правда, письмо Гитлера к концу перерыва для консультаций так ещё и не поступило. По настоянию Брюнинга Каас отправился к Гитлеру и вернулся с заявлением, что письмо якобы уже подписано и направлено министру внутренних дел для передачи дальше и поступит ещё во время голосования; Каас добавил: «Если бы я когда-либо поверил Гитлеру, то именно в этот раз, судя по его самому убедительному тону».

Тем временем на трибуну в глубоком молчании, в котором издали доносилось угрожающее скандирование СА и СС, поднялся председатель СДПГ Отто Вельс. В своём последнем

публичном выступлении, выразившем верность демократии, он обосновал отрицательную позицию своей фракции. И социал-демократия постоянно выступала за внешнеполитическое равноправие Германии и против любой попытки противников принизить её честь. Быть беззащитным, заявил он, не значит быть бесчестным. Это справедливо в отношении как внешней, так и внутренней политики. Выборы дали правительственным партиям большинство и тем самым возможность управлять в соответствии с конституцией, когда существует такая возможность, то именно так и полагается действовать. Критика, говорил он, обладает целительной силой, её преследование ничего не даёт. Он завершил свою речь обращением к правовому сознанию народа и приветствием преследуемым и друзьям.

Этот соблюдающий чувство меры, по форме вполне достойный отказ привёл Гитлера в состояние крайнего раздражения. Резко оттолкнув в сторону Папена, который напрасно пытался удержать его, он во второй раз поднялся на трибуну. Показывая рукой на только что выступившего оратора, он начал: «Поздно вы спохватились! Прекрасные теории, которые вы, господин депутат, только что изложили здесь, сообщены мировой истории немного позже, чем надо». С нарастающим возбуждением он отрицал какое-либо право социал-демократии считать себя частью единого национального целого в вопросах внешней политики, существование у неё чувства национальной чести, чувства законности и продолжил свою тираду, накал которой возрастал с каждой волной бурных аплодисментов:

> «Вы говорите о преследованиях. Я думаю, лишь немногие из наших представителей здесь не испытали на себе преследований с вашей стороны, не побывав в тюрьме… Вы, кажется, совсем забыли, как с нас годами срывали рубашки, потому что вам не подходил их цвет… Мы выросли на ваших преследованиях!
>
> Вы говорите далее, что критика оказывает целительное воздействие. Конечно, кто любит Германию, пусть критикует нас, но тот, кто поклоняется Интернационалу, нас критиковать не вправе! И в этих вещах истина доходит до вас, господин депутат, с изрядным опозданием. Целительность критики вам следовало бы осознать в то время, когда мы были в оппозиции… Тогда запреты нашей печати шли один за другим, годами запрещались наши собрания! А теперь вы говорите: критика исцеляет!»

Когда в этом месте зазвучали громкие протесты социал-

демократов, зазвенел колокольчик председателя, и Геринг прокричал через стихающий гам: «Нечего шуметь — слушайте, что вам говорят!» Гитлер продолжил:

> «Вы говорите: „Вы хотите теперь лишить рейхстаг реального влияния, чтобы продолжить революцию“. Господа, в таком случае нам незачем было бы вносить здесь наш законопроект. У нас, видит Бог, хватило бы мужества схватиться с вами и по-другому!
>
> Вы говорите, что и мы не можем не считаться с социал-демократией, потому что она первой завоевала места здесь для народа, людей труда, а не только для баронов и графов. Во всём вы, господин депутат, опоздали! Что же вы не растолковали эти ваши убеждения своему другу Гжезинскому и другим вашим приятелям — Брауну и Зеверингу, которые годами попрекали меня тем, что я подмастерье маляра! Вы годами утверждали это на своих плакатах. (Реплика Геринга: «Ну, теперь канцлер даст жару!») И, наконец, меня грозили выгнать из Германии плёткой для собак.
>
> Отныне мы, национал-социалисты, откроем немецкому рабочему дорогу к тому, что он вправе требовать. Мы, национал-социалисты, будем выразителями его интересов. Вы, мои господа, больше не нужны… И не путайте нас с буржуазным миром. Вы считаете, что ваша звезда опять может взойти! Взойдёт, господа, звезда Германии, а ваша закатится… Прогнившее, старое и дряхлое в народной жизни исчезнет и больше никогда не вернётся».

Раскрывая свои подлинные мысли, он заметил, что только ради «соблюдения законности» и по психологическим соображениям призывает «германский рейхстаг дать нам разрешение на то, что мы могли бы взять и так», его выступление подходило к концу, обращаясь к социал-демократам, он прокричал:

> «Я думаю, что вы не голосуете за этот закон потому, что вам в силу вашего склада ума не понять стремления, которое воодушевляет нас… Могу сказать вам только одно: да я совсем и не хочу, чтобы вы голосовали за него! Германия должна стать свободной, но только не благодаря вам!»

В протоколе после этих слов записано: «Длительные бурные

крики „Хайль!“ и выражения одобрения среди национал-социалистов и на трибунах. Аплодисменты представителей ДНФП. Все вновь и вновь вспыхивающие овации и крики „Хайль!“[433] Действительно, эти слова считаются самым ярким примером находчивости Гитлера как оратора, но надо, однако, напомнить, что прозвучавшая перед этим речь Отто Вельса уже накануне попала в руки прессы и, очевидно, стала известна Гитлеру. Геббельс считал, что от противника «только клочья летят» и ликовал: «никогда ещё так не разбивали в пух и прах и не растаптывали, как здесь». По бесшабашной грубости, по упоению чувством расправы эта речь Гитлера напоминает то выступление сентября 1919 года, когда профессиональный оратор-полемист впервые так открыл шлюзы гитлеровского красноречия, что простодушный Антон Дрекслер был поражён и восхищён; теперь же на заседании правительства, состоявшемся на следующий день, Гугенберг поблагодарил «от имени остальных членов кабинета за блестящий разгром марксистского лидера Вельса»[434].

После того, как улеглась буря оваций по завершении речи Гитлера, на трибуну стали выходить представители других партий. Один за другим они обосновывали своё одобрение законопроекта; Каас, правда, не без смущения и только после того, как Фрик в ответ на повторный запрос «торжественно заверил его, что курьер уже доставил письмо Гитлера в его бюро в опере Кролля»[435]. Три чтения закона прошли в течение нескольких минут. Результат голосования — 441 «за», 94 «против», на своей позиции неприятия законопроекта остались только социал-демократы. 441 — это было гораздо больше необходимого большинства в две трети, этих голосов было бы достаточно даже в том случае, если бы проголосовали против 81 депутат от коммунистов и 26 депутатов СДПГ, которые в силу ареста, бегства или болезни отсутствовали. Едва только Геринг сообщил результат, как национал-социалисты ринулись вперёд и, выстроившись у того ряда, где сидело правительство, с поднятыми в партийном приветствии руками стали петь «Хорста Весселя». Ещё в тот же вечер закон единогласно прошёл через унифицированный имперский совет. Обещанное письмо Гитлера так и не попало в руки партии Центра[436].

Принятием «Закона об устранении бедственного положения народа и государства» — так официально назывался закон о чрезвычайных полномочиях — рейхстаг был исключён из политики, а правительству была предоставлена неограниченная свобода действий. Воспоминания о том дне столь тягостны не потому, что центристские партии капитулировали перед более

сильным противником и отбросившей в сторону все ограничители волей, а потому, что они сами малодушно подыгрывали своему собственному устранению из политики. Хотя буржуазные политики не без оснований указывали на то, что уже принятый после пожара рейхстага декрет от 28 февраля открыл решивший дело переход к диктатуре, в то время как закон о чрезвычайных полномочиях имел в процессе захвата власти формальное значение. Но как раз в этом случае голосование давало им возможность выразить своё сопротивление актом, который бы запомнился людям, вместо того, чтобы прикрывать революционные события тех недель вдобавок ко всему ещё и видимостью преемственности в законодательной сфере. Если декрет от 28 февраля был фактическим концом веймарской многопартийной республики, то закон о чрезвычайных полномочиях был её моральным концом: он подвёл окончательную черту под процессом саморазрушения партий, истоки которого восходят ещё к 1930 году, когда распалась «большая коалиция».

Закон о чрезвычайных полномочиях завершил первую фазу захвата власти: он сделал Гитлера независимым не только от президентских декретов, но и от союза с консервативным партнёром. Уже одним этим устранялась всякая возможность организованной борьбы за власть против нового режима. «Фелькишер беобахтер» не без оснований писала: «Исторический день. Парламентская система капитулирует перед новой Германией. На протяжении четырех лет Гитлер сможет делать все, что сочтёт нужным: в плане отрицания — истреблять все пагубные силы марксизма, а в плане созидания — создавать новую народную общность. Начинается великое дело! Настал день третьего рейха!»

Действительно, Гитлеру потребовалось менее трех месяцев для того, чтобы обвести вокруг пальца своих союзников и поставить мат почти всем противостоявшим ему силам. Чтобы верно представить себе быстроту этого процесса, надо вспомнить, что Муссолини в Италии для завоевания власти в примерно таком же объёме потребовалось семь лет. Целеустремлённость Гитлера и его умение подать себя как серьёзного государственного деятеля с самого начала подействовали на Гинденбурга и быстро заставили президента забыть о былых предубеждениях; теперь однозначная победа правительства при голосовании укрепила его в новых чувствах. Преследования, которым не в последнюю очередь подвергались его бывшие избиратели, холодный, эгоистичный старик игнорировал,

наконец он опять осознавал себя в верном строю, а то, что Гитлер покончил с отвратительным, неуправляемым бесчинством партий, «он скорее ставил ему в заслугу»[437]. Уже спустя два дня после назначения Гитлера канцлером Людендорф упрекал Гинденбурга в письме, что он «отдал страну во власть самого большого демагога всех времён»: «Я торжественно предрекаю Вам, что этот злосчастный человек столкнёт наш рейх в пропасть и принесёт нашей нации невообразимое горе. Будущие поколения проклянут Вас за этот поступок в Вашей могиле»[438]. Но несмотря на это, Гинденбург был доволен, что «разрубил узел и теперь надолго обретёт покой». Самоустраняясь от дел, он поручил статс-секретарю Майснеру заявить на заседании кабинета, касающемся закона о чрезвычайных полномочиях, что в участии президента в подготовке принимаемых на его основе законов «нет необходимости»; Гинденбург был счастлив, что освободился от давно давившей на него ответственности. Вскоре и Папен перестал претендовать на участие во всех встречах между президентом и Гитлером. Гинденбург сам попросил его, как он выразился, «не обижать Гитлера»[439], а когда премьер-министр Баварии Хельд прибыл во дворец президента жаловаться на террор и нарушения конституции со стороны национал-социалистов, впадающий в маразм старик попросил его обратиться к самому Гитлеру[440].

И в кабинете, как отмечал Геббельс, «авторитет фюрера теперь полностью утвердился. Никаких голосований больше не бывает. Решает фюрер. Все идёт гораздо быстрее, чем мы смели надеяться». Лозунги и открытое объявление войны национал-социалисты направляли почти исключительно против марксистов, но удар в равной мере был нацелен и против партнёра — ДНФП. Ухищрённая система этой партии по сдерживанию и укрощению нацистов была не более чем паутиной, в которую, как говорится в народе, недалёкие надеются поймать орла. В своём близоруком пылу борьбы с левыми Папен, Гугенберг и их сторонники полностью упустили из виду, что устранение левых должно было создать Гитлеру тот инструментарий, при помощи которого он ликвидирует и их самих; казалось, они были просто неспособны понять опасность этого союза хотя бы в отдалённой степени, они даже не догадывались, что, садясь за один стол с Гитлером, надо было крепко держаться за карманы. Карл Герделер с ничего не подозревающей заносчивостью консерватора заверил, что Гитлера они зажмут и дадут ему заниматься только архитектурными выкрутасами, а политику будут делать беспрепятственно сами. Гитлер же в одном из высказываний того времени, вновь

отразившем старую неприязнь, назвал своих буржуазных партнёров по коалиции «призраками», заявив: «Реакция считает, что посадила меня на цепь. Они будут ставить мне максимум ловушек. Но мы не будем дожидаться их действий… Мы не будем миндальничать. Я не знаю буржуазных предрассудков! Они считают меня необразованным, варваром. Да! Мы варвары. Мы хотим ими быть. Это почётный титул. Мы, и никто другой, хотим омолодить мир. Старому миру конец…»[441]

Но инструментарий против левых и правых — это был ещё не весь выигрыш Гитлера, который принёс ему закон о чрезвычайных полномочиях. Тактика захвата неограниченной власти не в качестве революционного узурпатора, а в тоге законодателя, какой бы дырявый и залатанный вид у неё ни был, одновременно не дала возникнуть вакууму законности, который обычно бывает следствием насильственных переворотов. Благодаря закону о чрезвычайных полномочиях в распоряжении Гитлера оказался аппарат государственной бюрократии, включая юстицию, без которой он не мог обойтись при осуществлении своих далеко идущих планов: закон предоставлял основу, которая удовлетворяла как совесть, так и потребности жить в ладу с властью. Не без удовлетворения большинство чиновников констатировало законный характер данной революции, которая тем самым несмотря на все отдельные эксцессы столь выгодно отличалась от «вакханалии» 1918 года: это ещё сильнее, чем антидемократические традиции сословия пробуждало готовность к сотрудничеству. А тот, кто все ещё артачился, испытывал на себе лично не только силу преследований в соответствии с принятым специальным законом — против него была и видимость законности.

Конечно, это была всего лишь видимость; вопреки по-прежнему распространённому тезису о неразрывном, плавном переходе от парламентской республики к тоталитарному унифицированному государству, надо признать, учитывая все обстоятельства, что в процессе легальной революции революционные элементы явно перевешивали легальные. Ничто не ввело общественность в заблуждение относительно подлинной природы происходящего больше, чем блестящая «находка» провести смену декораций прямо на открытой сцене. То, что закрепил закон о чрезвычайных полномочиях, было актом революционного захвата власти, хотя он и продлевался в 1937, 1941 и затем вновь в 1943 годах, как того требовали его положения, он всё равно оставался законом о чрезвычайном положении, принятым в своего рода чрезвычайных обстоятельствах.

Строго соблюдавшийся лексикон режима также подчёркивал революционный характер процесса захвата власти. Конечно, поначалу неукоснительно следили за тем, чтобы происшедшее именовалось «национальным возрождением», и действительно, этим понятием была дана богатая пища разнообразным иллюзиям, реставрационным чаяниям, желанию отдать себя, возникшим у наивных попутчиков. Но уже в своей речи, посвящённой закону о чрезвычайных полномочиях, Гитлер говорил не о «национальном возрождении», а о «национальной революции», а ещё двумя неделями позже Геринг демонстративно заменил эту формулу на понятие «национал-социалистической революции»[442].

То, что произошло дальше, было всего лишь делом техники, округлением уже завоёванных властных позиций. В течение немногих недель была доведена до конца нейтралистская унификация земель и параллельно с этим произведён полный разгром всех политических групп и союзов. Разделавшись с коммунистами, крушение которых происходило молча, в атмосфере беззвучного террора, ухода в подполье и перехода приспособленцев на сторону победителей, национал-социалисты взялись за профсоюзы, которые уже в первые мартовские дни колебаниями, имевшими фатальные последствия, обнажили свою растерянность и слабость; их роковой ошибкой было предположение, что им удастся откупиться и сохранить себя рядом примирительных жестов. Хотя по всему рейху множились аресты и притеснения профсоюзных руководителей, а СА провели ряд налётов на их местные отделения, федеральное правление направило 20 марта Гитлеру своего рода адрес с выражением лояльности, в котором указывалось на чисто социальные задачи профсоюзов «независимо от характера государственного режима» (!)[443]. Когда Гитлер взял на вооружение старое требование рабочего движения, которое оставалось невыполненным и во времена республики, и объявил 1 мая национальным праздником, руководство профсоюзов призвало рабочих к участию в демонстрациях. Повсюду организованные в профсоюзах рабочие и служащие маршировали под чужими знамёнами в гигантских праздничных колоннах, с горечью выслушивали речи национал-социалистических функционеров, но всё же аплодировали им — ситуация вынуждала — оказавшись внезапно в том лагере, которому они ещё только что противостояли как противники: ничто не парализовало волю к сопротивлению многомиллионного движения в такой степени, как этот приведший его в замешательство опыт. В то время как

профсоюзная газета «Геверкшафтсцайтунг» в соответствии с приспособленческой тактикой руководства превозносила 1 Мая как «День победы», СА и СС уже 2 мая захватили по всей Германии профсоюзные здания, принадлежащие объединению хозяйственные предприятия и рабочие банки, руководители профсоюзов были арестованы, часть их была отправлена в концлагеря. Это был бесславный закат.

В таком же недраматическом ключе пришёл конец и Социал-демократической партии. Отдельные призывы к сопротивлению одних руководителей вызывали в большинстве случаев лишь парализующие опровержения других и обнажали бессилие застывшей в своих традиционных формах массовой партии. С 30 января СДПГ, что было характерно, всё время ссылалась на ту конституцию, которую безудержно демонтировали изголодавшиеся по власти национал-социалисты, и ограничилась совершенно невыразительным тезисом, что партия не покинет первой почву законности. Оставаясь все ещё верующими в букву своего учения марксистами, считавшими национал-социализм «последней картой реакции», которая по законам исторического детерминизма никогда не сможет выиграть, представители социал-демократической верхушки оправдывали своё бездействие тактическим девизом: «Быть наготове — это сейчас все!»[444], их пассивность оказывала глубокое деморализующее влияние на низовые организации, которые часто рвались к действиям. Уже 10 мая без какого-либо сопротивления были конфискованы по указанию Геринга все здания партии, газеты, а также имущество СДПГ и «Рейхсбаннера». После острых споров в руководстве верх в конце концов взяли представители курса на умиротворение, которые хотели заставить режим вести себя сдержанно, идя в тактическом плане ему навстречу. Те же самые соображения лежали и в основе решения фракции в рейхстаге при определённых обстоятельствах одобрить большое внешнеполитическое заявление Гитлера от 17 мая; её намерения выразить одобрение особым заявлением были слишком тонкой вязью для обуха гитлеровской воли к уничтожению. Когда Фрик шантажистски пригрозил расправиться с заключёнными в концлагерях сторонниками СДПГ, партия решила проголосовать в рейхстаге за заявление правительства. Не без издевательского взгляда в левую сторону Геринг мог заявить в конце заседания рейхстага, что «мир увидел, как един немецкий народ, когда решается его судьба»[445]. От измотанной, униженной партии никто больше, собственно говоря, и не ожидал жеста сопротивления, когда её наконец 22 июня запретили, а её места в парламенте присвоили себе другие.

В водовороте унификации исчезали теперь и все остальные политические группировки, газеты почти ежедневно давали сообщения об их ликвидации или самороспуске: начало этому положили Немецкие национальные боевые союзы и «Стальной шлем» (21 июня), за ними настал черёд всех ещё оставшихся организаций наёмных рабочих и работодателей (22 июня), а потом и Немецкой национальной народной партии, которая как соратница по делу национального возрождения напрасно кричала о своём праве на жизнь; она так и не могла понять, почему это она должна теперь бежать среди зайцев, после того как она долго была в стае гончих псов; потом наступил конец Государственной партии (28 июня), Немецкого национального фронта (28 июня), объединений Центра (1 июля), Младогерманского ордена (3 июля), Баварской народной партии (4 июля), Немецкой народной партии (4 июля), и, наконец, самой партии Центра, которая была тактически парализована одновременными переговорами по конкордату[446] и была вынуждена оборвать их (5 июля), параллельно с этим шла унификация союзов, представляющих интересы промышленности, торговли, ремёсел и сельского хозяйства, и нигде ни одного акта сопротивления, почти ни одного инцидента, выходившего за локальные рамки. 27 июня Гугенберга, который фигурировал на жаргоне нацистов под кличкой «старая корыстная свинья», заставили уйти в отставку, никто из его консервативных друзей и пальцем не пошевелил. Только накануне этого он ещё раз попытался превзойти в демагогии национал-социалистов, предъявляя на Всемирной экономической конференции в Лондоне безудержные требования создания колониального рейха и немецкой экономической экспансии вплоть до Украины, на самом же деле он предоставил Гитлеру лёгкую возможность защитить разум и мир между народами от пангерманского возмутителя спокойствия. На четыре министерских поста, которые освободились после этого в рейхе и в Пруссии, Гитлер назначил двумя днями позже генерального директора объединения страховых обществ Курта Шмитта (экономика) и Вальтера Дарре (продовольствие и сельское хозяйство). Одновременно он распорядился, чтобы в заседаниях кабинета постоянно участвовал «заместитель фюрера» Рудольф Гесс. После того как уже в апреле в НСДАП перешёл Франц Зельдте, соотношение между национал-социалистами и ДНФП в кабинете стало почти противоположным по сравнению с прежним (восемь к пяти), поскольку за спиной у министров от ДНФП не было больше опоры в виде своей партии, они деградировали в не имеющих какого-либо веса специалистов. Пакетом законов, важнейший из которых объявлял НСДАП монополистом, режим

обеспечил 14 июля 1933 года закрепление достигнутого.

Этот прошедший без сопротивления быстрый распад всех политических сил от левых до правых характеризует самым ярким образом процесс захвата власти национал-социалистами; нет более наглядного свидетельства истощения жизненных сил Веймарской республики, чем та лёгкость, с какой формировавшие её фундамент институты позволили разрушить себя. Даже Гитлер был поражён: «Такое жалкое крушение никто не считал возможным», — заявил он в начале июля в Дортмунде[447]. Акты произвола и запреты, которые ещё недавно бесспорно могли бы развязать схватки, подобные гражданской войне, люди теперь покорно сносили, пожимая плечами; капитуляцию тех месяцев в таких огромных масштабах не понять, если принимать во внимание только политические её причины, оставляя вне поля зрения духовные и психологические. Вопреки всем нарушениям закона и актам насилия тех недель из этого следует известное историческое оправдание Гитлера, и в ощущении Брюнинга, шагавшего в группе депутатов в День Потсдама к гарнизонной церкви, что его ведут «на плаху»[448], было, пожалуй, больше истины, чем он сам думал. Один из проницательных наблюдателей эпохи отмечал в то же время в обстановке постоянных безответных ударов «в лицо правде, свободе», устранения партий и парламентского строя растущее чувство, «что все упразднявшиеся здесь вещи людей уже особо не волновали».

И на самом деле, закон о чрезвычайных полномочиях, предшествующий ему День Потсдама и бесславный конец старых структур, последовавший за ним, ознаменовали поворот: нация внутренне окончательно распрощалась с Веймарской республикой. С этого момента политический строй прошлого перестал быть альтернативой, под знаком которой могла бы зародиться надежда или тем более воля к сопротивлению. Ощущение, что происходит смена времён, которое в расплывчатом виде, в виде эйфорического ожидания возникло уже в момент прихода Гитлера к власти, охватывало теперь все более широкие круги. Понятие «мартовских павших»[449] характеризует с презрительным оттенком массовый переход на сторону победителей. Какие бы сомнительные моменты не отыскивал более острый взгляд в законности перемены власти, Гитлер быстро завоевал легитимность, авторитет вызывающего к себе уважение, управляющего страной на законных основаниях государственного деятеля, который заслуживает большего, чем пренебрежительного определения «демагог». На глазах таявшее меньшинство тех, кто сопротивлялся распространявшемуся

наподобие массового психоза соблазну влиться в общую массу, оказывалось в очевидной изоляции и прятало свою горечь, своё одинокое омерзение перед лицом поражения, которое явно было нанесено «самой историей». Старое было мертво. Будущее, как казалось, принадлежало режиму, который приобретал все больше сторонников, ликующей поддержки и откуда ни возьмись и доводов в пользу своего существования. «Впечатление решительного неприятия, хотя они и молчат, производят одни только домработницы», — иронично отмечал в марте 1933 года Роберт Музиль, но и он признавал, что ему не хватает альтернативы, чтобы сопротивляться, он не может представить себе, чтобы возникающий революционный порядок можно было заменить возвращением старого или ещё более старого состояния: «Это чувство следует истолковывать, вероятно, именно так: у национал-социализма есть своё предназначение и час, это не сотрясение воздуха, а ступень истории». То же самое имел в виду представитель левых Курт Тухольский со свойственным ему чувством парадокса: «Не освистывать же океан»[450].

Такие настроения фатализма, культурного отчаяния форсировали успех национал-социализма. Триумф дела новых хозяев жизни оказывал притягательное воздействие, устоять перед которым могли лишь очень немногие. Террор и акты беззакония не оставались незамеченными, но, испытывая старую европейскую раздвоенность «быть не в ладах с совестью или с требованиями века», все больше людей переходило на сторону тех, кто, казалось, имел за собой историю.

В этой благоприятной обстановке режим приступил к тому, чтобы завоевать после власти и людей.

Глава II
НА ПУТИ К ФЮРЕРСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

Я стал рейхсканцлером не для того, чтобы действовать вразрез с тем, что я проповедовал 14 лет.

Адольф Гитлер, 1 ноября 1933 года.

Гитлер и власть. — «Я не диктатор!» — Революция на тормозах. — Ориентация нации. — Антиеврейский бойкот 1 апреля. — Национальное братание. — Культурная унификация. — Интеллигенты. — Социальная мобилизация. — Прагматический отказ от программы. — Преодоление экономического кризиса. — Рабочие. — Первые внешнеполитические шаги. — Удар по Лиге наций. — «Справедливость на стороне Германии!» — Договор с Польшей. — Умение Гитлера вести переговоры. — Никчёмность и гениальность. — Вынужденное примирение.

Переход от первой фазы процесса завоевания власти ко второй прошёл без каких-либо заминок, без колебаний и без проявлений тактической нерешительности. Едва только летом 1933 года завершилось разрушение демократического правового государства, как началась переплавка осколков в управляемое единство тоталитарного фюрерского государства. «Власть у нас. Сегодня никто не может оказать нам сопротивление. Но мы должны воспитать немца для этого государства. Предстоит гигантская работа», — заявил Гитлер 9 июля на встрече с СА, характеризуя задачи на будущее[451].

Дело в том, что Гитлер никогда не хотел утверждения одного только господства насилия. Суть и мотивы его феномена не объяснить только одной жаждой власти, и как объект изучения современных форм тирании его трудно постичь. Конечно, власть, её почти неограниченное, неподотчетное использование значили для него много, но он никогда не довольствовался этим. Ни на миг не ослабевавшее упорство, с которым он завоёвывал её, расширял, использовал и в конце концов израсходовал, —

весомое свидетельство того, что он был рождён быть не просто тираном. Он был зациклен на своей миссии отразить смертельную угрозу Европе и арийской расе и хотел создать с этой целью «непоколебимую мировую империю». Анализ истории, в особенности современной эпохи, показал ему, что для этого требуются не только материальные средства власти — лишь великая «революция, сопоставимая с русской» может развить огромную динамику, отвечающую этой цели.

Как всегда, он и эту задачу осмысливал прежде всего в категориях психологии и пропаганды. Только в этот период — позже мы с такой ситуацией никогда не встретимся — он чувствовал свою зависимость от толпы и следил за каждой её реакцией с прямо-таки боязливой озабоченностью. Он боялся непостоянства настроений не только как сын и выразитель демократической эпохи, но и в силу своей индивидуальной потребности в восторженном одобрении. «Я не диктатор и никогда не буду диктатором», — сказал он как-то, пренебрежительно добавив, что «став диктатором, может править любой фигляр». Хотя он отменил принцип голосования, но от этого отнюдь не стал свободным; если внимательно вдуматься, то господства по произволу лидера вообще нет, а есть лишь различные способы формирования «общей воли»: «Национал-социализм всерьёз реализует демократию, которая выродилась в условиях парламентаризма, — заявил он. — Мы выбросили на помойку устаревшие институты именно потому, что они больше не служили поддержанию плодотворных отношений с нацией в её совокупности, а приводили к болтовне, к наглому обману». То же самое имел в виду и Геббельс, который заметил, что в век политизации масс народами нельзя править, «вводя чрезвычайное положение и комендантский час с девяти часов вечера»: или даёшь им идеал, предмет для их фантазии и привязанности, или они пойдут своей дорогой[452]. Наука того времени говорила о «демократическом цезаризме».

Этой политической практике соответствовала установка на то, чтобы не оставлять психологическую обработку и мобилизацию нации на волю случая или каприза и уж тем более не ставить в зависимость от суждений критически настроенных людей, а превратить её в результат последовательного, тоталитарного пронизывания всех общественных структур плотной системой надзора, регламентации и управления, которая, с одной стороны, нацелена на то, чтобы «обрабатывать людей до тех пор, тока они не окажутся в полной нашей власти», а, с другой, охватывать каждую социальную область, проникая и в частную сферу: «Необходимо создать структуры, в которых будет

проходить вся жизнь индивида. Любая деятельность и потребность каждого отдельного человека будет регулироваться партией, представляющей всю общность. Не будет больше никакой „самодеятельности“, не будет никаких свободных пространств, где индивидуум принадлежал бы сам себе… Время личного счастья кончилось»[453].

Правда, свои представления о тотальном господстве Гитлер осуществил не «в один заход». Его тактическое умение состояло не в последнюю очередь в уверенном чутьё необходимого темпа, в бурный период начала 1933 года он не раз опасался, что контроль за развитием событий выскользнет у него из рук: «Довольно многие революции удавались на первых этапах, в момент первого натиска, но было меньше таких, которые, удачно начавшись, не позволяли себя заглушить и остановить», — заявил он в одной из речей тех дней, сдерживая нетерпение своих приверженцев[454]. В отличие от своих сторонников он не поддавался головокружению от успехов и не утрачивал ни на: мгновение способности подчинять сиюминутные аффекты далеко идущим целям власти. Он энергично сопротивлялся попыткам продолжить революционный захват госаппарата после фактического завоевания власти. Его сильно развитое чувство успеха подсказывало ему проявить сдержанность.

Руководители ведомств теневого государства, которое создала партия в годы ожидания, поэтому не сразу получили государственные посты. На этом этапе это удалось только Геббельсу, Дарре и отчасти Гиммлеру, в то время как Розенберг, например, тщеславие которого было направлено на МИД, и Эрнст Рем потерпели неудачу.

Отказ Гитлера отдать государство партии как бы в виде добычи был обоснован двумя моментами. С одной стороны, только таким способом можно было пробудить то чувство примирения внутри нации, которое имело решающее значение для построения полностью) сплочённого государства. Летом 1933 года Гитлер все вновь и вновь предупреждал своих сторонников о необходимости «настроиться на работу в течение многих лет и оперировать большими отрезками времени»; не будет никакого толка, если по-доктринерски суетливо «искать, что бы ещё революционизировать», теории ничего не значат — надо быть «умным и осторожным»[455].

С другой стороны, он был достаточно осмотрителен, чтобы расценивать государство как инструмент для удержания в повиновении той партии, вождём которой он был. Точно так же, как он постоянно создавал конкурирующие институты и подогревал соперничество в НСДАП, чтобы стоя над спорами и

ссорами, ещё надёжнее утвердить своё всемогущество, он использовал теперь государственные инстанции, чтобы сделать ещё более запутанной и многообразной макиавеллистскую игру обеспечения господства, со временем даже увеличив число этих звеньев.

Например, только в его личном распоряжении находились две, а после смерти Гинденбурга даже три канцелярии: имперская канцелярия во главе с доктором Ламмерсом, канцелярия фюрера и наконец президентская канцелярия во главе со статс-секретарём Майснером, работавшим там ещё со времён Эберта и Гинденбурга. Внешняя политика, воспитание, печать, искусство, экономика — все они были полем битвы за влияние трех или четырех конкурирующих инстанций, эта малая война за полномочия, отзвуки которой были слышны ещё в последние дни режима, распространялась и вниз — вплоть до самых нижних уровней: один руководитель жаловался как-то на бои за делёж полномочий даже при организации праздника солнцестояния[456]. В 1942 году в рейхе существовало целых 58 высших властных инстанций, которые командовали вдоль и поперёк, дрались за права и лидерство, предъявляли свои полномочия; есть некоторые основания для того, чтобы охарактеризовать третий рейх как авторитарно управляемую анархию. Министры, комиссары, чрезвычайные уполномоченные, руководители администраций, наместники, губернаторы и т. д. с зачастую сознательно неясно сформулированными задачами создавали клубок полномочий, распутать который было невозможно, единственно только сам Гитлер с как бы габсбургским искусством управления разбирался в нём, поддерживал баланс и заправлял им.

В этом ведомственном хаосе следует также искать причину того, что режим столь экстремально был «завязан» на персоне Гитлера и до конца войны знавал схватки не по идеологическим вопросам, а только борьбу за проявления благосклонности фюрера, которая, правда, по своей ожесточённости и разрушительности была похлеще споров ортодоксов. Вступая самым резким образом в противоречие с популярным воззрением, согласно которому авторитарные системы выгодно отличаются решительностью и энергичностью в реализации принятых решений, надо отметить, что от других форм государственной организации их отличает как раз большая предрасположенность к хаосу; все рассуждения о строжайшем порядке представляли собой не в последнюю очередь попытку скрыть путаницу, мотивированную соображениями техники господства, за грандиозными фасадами. Когда один из руководителей СС

Вальтер Шелленберг во время войны пожаловался на практику дублирующих друг друга приказов и бессмысленное соперничество ведомств, Гитлер одёрнул его, напомнив о теории борьбы за жизнь: «Надо сделать так, чтобы люди тёрлись друг о друга, от трения возникает тепло, а тепло — это энергия». Гитлер, однако, умолчал о том, что та энергия, о которой он говорил, тратилась впустую, что она была с точки зрения господства нейтрализующей силой, не представлявшей собой угрозы. Начиная с 1933 года он перестал проводить заседания кабинета, конечно, и по той причине, что их коллегиальный дух противоречил принципу борьбы между собой. Когда Ламмерс захотел время от времени приглашать коллег-министров к себе по вечерам, выпить пива, Гитлер запретил ему это. Не без оснований этот стиль руководства характеризовали как «институциональный дарвинизм», а распространённое представление о его более высокой эффективности — жизненно необходимой для их существования «ложью во спасение» всех авторитарных систем[457].

Тот факт, что Гитлер не отдал государство просто как добычу, вызвал большое недовольство среди его сторонников. Несмотря на наличие всех идеологических стимулов нельзя упускать из виду ту элементарную ударную материальную силу, которая лежала в основе захвата власти. Свыше шести миллионов безработных создавали источник огромной социальной энергии — неудовлетворённой тяги к работе, к добыче и ожидания карьеры. Революционная волна вынесла в парламенты и ратуши, а затем и за чиновничьи столы слой функционеров; теперь те, кому ничего не досталось, рвались под воздействием антикапиталистических настроений прошлых лет в более обширную и богатую сферу торговли и промышленности, «старые борцы» хотели стать директорами, президентами палат, членами наблюдательных советов или просто — при помощи насилия и шантажа — совладельцами.

Их мощная воля к завоеванию придавала событиям, в которых всё остальное заглушалось воплями об единении, однозначно революционные черты. Курт В. Людекке рассказывает о тех временах, как один из таких изголодавшихся по власти и начальственному креслу партийных функционеров приветствовал его в только что занятом служебном кабинете: «Привет, Людекке! Ух, как здорово! Я — начальник!». На другом конце этого социального спектра описанный Германом Раушнингом взрыв отчаяния одного партийца, который в страхе от того, что его опять обойдут, кричал ему: «Я не хочу назад на дно! Это вы,

наверное, можете ждать. Над вами не капает! А я без работы! Пока появится новая такая возможность выбиться, я стану преступником. Я выйду в люди, чего бы это не стоило. Другого такого случая у нас не будет!»[458]

Но предпосылкой для второй стадии захвата власти было укрощение этой радикальной, неконтролируемой энергии. В трех больших речах-предупреждениях, с которыми он выступил в начале июля, Гитлер, как уже в марте, во время «восстания СА», продемонстрировал стремление притормозить революционный порыв, теперь-де всё зависит от того, удастся ли «перевести вырвавшийся на свободу поток революции в надёжное русло эволюции»[459]; в то же время он старался придавать ему все новые и новые поступательные импульсы. Ибо столь же опасным как авантюристическая безудержность было превращение сложившихся отношений в неподвижную массу, будь то по причине преувеличенной боязни революции, будь то из-за естественной малоподвижности многомиллионной партии, задыхающейся под наплывом все новых толп вступающих в неё. Призывая своих сторонников к дисциплине, Гитлер в то же время был озабочен тенденцией к «обуржуазиванию»; он дал указание остановить с 1 мая 1933 года приём новых членов после того, как более полутора миллионов влившихся в партию за три месяца оттеснили 850 тысяч старых партийцев на позицию меньшинства. Считаясь с внешним окружением, он приказывал с треском выгонять из партии и отправлять в концлагеря партийцев, позволявших себе неправомочное вмешательство в торговых палатах и на промышленных предприятиях[460]; но в тесном кругу своих приближённых он оправдывал рвачество как революционный стимул и говорил о «преднамеренной коррупции». Буржуазные круги упрекали-де его в том, что он устраивает сфабрикованные процессы против прежних властителей, обвиняя их в коррупции, в то время как его собственные люди набивают карманы: «Я отвечал этим простакам, — возмущался он по свидетельству очевидца, — не могут ли они сказать мне, как мне ещё выполнить оправданные желания моих товарищей по партии получить возмещение за нечеловеческие годы их борьбы. Я спросил их, будет ли им приятнее, если я выпущу на улицу моих штурмовиков. Я ещё могу сделать это. Меня бы это устроило. Да и для всего народа было бы здоровее, если бы пару недель подряд была по-настоящему кровавая революция. Жалея и их буржуазное спокойствие, я отказался от такого варианта. Но я ещё могу это наверстать!… Когда мы делаем Германию великой, у нас есть право подумать и о себе».

Преследуя эту двойную тактическую цель: и сохранить динамизм революции и стабилизировать её, и обуздать, и продвинуть её вперёд, Гитлер придерживался и на этой фазе своих испытанных максим психологии власти. Только взбудораженное, находящееся в постоянном волнении сознание можно было подчинить себе, взять под свой контроль: «Я могу вести массу, только вырвав её из состояния апатии. Управлению поддаётся только фанатизированная масса. Апатичная, тупая масса — величайшая опасность для всякого общества», — заявил он[461].

Это стремление пробудить массы, чтобы «получить возможность превратить их в своё орудие», теперь вышло на самый передний план. Уже нагнетание страха, марши, митинги и сбор средств, формулы пробуждения и воскрешения, культ фюрера, короче говоря, изобретательно скомпонованное сочетание обманных трюков и террора были началом обработки нации в духе единой схемы мыслей и чувств. Характерно, что вместе с успехом опять стали проявляться давно оттеснённые на задний план основные идеологические постулаты; с яростью, напоминавшей ранние годы борьбы, вновь набросились на долгое время почти забытую фигуру еврея, как воплощение зла и демагогическое средство отвлечения внимания, ощущений недовольства.

Уже в марте имели место первые антисемитские бесчинства отрядов СА. Но они вызвали за границей столь резкий протест, что Геббельс и Юлиус Штрайхер настойчиво просили Гитлера открыто усилить давление и заставить критику замолчать. Гитлер не принял первоначальное предложение выпустить своих сторонников на карнавал террора против всех еврейских предприятий, предпринимателей, адвокатов и чиновников, но его удалось уговорить дать добро на однодневный бойкот.

В субботу 1 апреля, у дверей еврейских магазинов и контор стояли группы вооружённых эсэсовцев и призывали посетителей или клиентов не входить в них. На витрины были приклеены плакаты с призывами к бойкоту или ругательствами: «Немцы, не покупайте у евреев!» или «Евреев вон!» Но тут осуждаемая любовь нации к порядку единственный раз обратилась против режима. Акция, продемонстрировавшая столько произвола и противозаконного самоуправства, не дала ожидаемого эффекта: население, как говорилось в более позднем докладе о его настроениях на западе Германии, «часто проявляет склонность к тому, чтобы жалеть евреев… оборот еврейских магазинов, особенно в сельской местности, нисколько не сократился»[462]. Вопреки угрозам бойкот больше не возобновлялся. В своей

отразившей чувства разочарования речи Штрайхер дал понять, что режим отступил перед мировым еврейством, в то время как Геббельс приоткрыл на миг дверь в будущее, предвещая новый удар, причём такой, «что он уничтожит немецкое еврейство… Пусть никто не сомневается в нашей решимости»[463].

Законодательные меры, первые из которых были приняты уже несколько дней спустя, без особого шума вытеснили евреев из общественной жизни, с их социальных, а вскоре и деловых позиций. Уже примерно годом позже были удалены со своих прежних мест несколько сотен евреев — преподавателей вузов, около 10 тысяч врачей, адвокатов, чиновников и почти 2 тысячи музыкантов и работников театра; примерно 60 тысяч человек искали под воздействием первой волны притеснений убежище в странах Европы, большинство из которых не очень охотно принимало их.

То, что на самовосхваляющем жаргоне режима превозносилось как «чудо немецкого единения», означало не только постоянное размежевание между подлинной нацией и как бы нежелательной нацией марксистов и евреев, но «в гораздо большей степени непрерывную тягу к аплодирующей нации». Как раз неудача с бойкотом показала Гитлеру, как ещё далека общественность от его взглядов на то, в ком надо видеть корень зла. Если 1 апреля должно было сплотить весь народ в порыве отрицания, то 1 мая, когда чествовали рабочих, или 1 октября, когда славили крестьян, должны были быть днями сплочения на позитивной основе:

> «Когда стало темнеть, — так описывает один из почётных гостей-дипломатов французский посол Андре Франсуа-Понсе вечернее завершающее мероприятие 1 мая на Темпельхоферфельд в столице, — по улицам Берлина потянулись шагающие в ногу плотные колонны, красивым строем с транспарантами впереди, играют дудочники, оркестры, так колонны идут к месту общего сбора; ну просто выход на сцену корпораций в „Майстерзингерах“! Все занимают отведённые им места на огромном поле… Отливающее красным море знамён завершает второй план картины. Словно нос корабля впереди возвышается трибуна, на которой установлено множество микрофонов, внизу её колышется людское море: шеренги частей рейхсвера, за ними миллион мужчин СА и СС наблюдают за строгим порядком на этом огромном мероприятии. Один за другим появляются нацистские вожди, которых толпа живо

приветствует. На трибуну поднимаются баварские крестьяне, горняки, рыбаки в своём профессиональном одеянии, австрийские делегации, делегации из Саара и Данцига. Они — почётные гости рейха. Все дышит хорошим, весёлым настроением, всеобщей радостью, ничто не напоминает о принуждении…

В восемь часов оживление: приехал Гитлер, он стоит в своей машине с вытянутой вверх рукой, лицо застывшее, несколько судорожно напряжённое.

Его приветствуют продолжительными криками, вырывающимися из тысяч глоток. Тем временем опустилась ночь. Вспыхивают прожекторы, расставленные с большим интервалом, так что между их голубоватыми лучами лежит темнота. Море людей, из которого луч прожектора то тут, то там выхватывает движущиеся группы; своеобразная картина — эта движущаяся толпа, которую видишь в свете прожекторов и угадываешь в темноте.

После нескольких вступительных слов Геббельса на трибуну поднимается Гитлер. Прожекторы гаснут — за исключением тех, которые высвечивают фюрера, кажется, что он стоит над колыханием масс как в сказочном корабле. Воцаряется тишина, как в церкви. Говорит Гитлер»[464].

Гениальность режима по части массовых мероприятий, ночная феерия мундиров, игры света и музыкальных ритмов, знамён и разноцветных рассыпающихся фейерверков производили впечатление «действительно прекрасного, чудесного праздника» не только на иностранных гостей на трибуне, которые ощущали «дуновение примирения и единения над третьим рейхом», гораздо сильнее такие картины потрясали, естественно, самих немцев, Уже в первой половине дня в Берлине прошли манифестации, на которых в одних рядах шло полтора миллиона человек, представителей всех слоёв: рабочие, чиновники, ремесленники, профессора, звезды кино, служащие. На эту картину ссылался Гитлер, провозглашая вечером программный тезис о конце всяческих классовых различий и возникновении народной общности всех, «кто трудится руками и головой»; закончил он опять, как это часто бывало в то время, На выспренно-набожной ноте: «Мы хотим трудиться, по-братски ладить друг с другом, сообща бороться, чтобы настал час, когда мы сможем предстать перед ним и попросить: Господи, ты видишь, мы изменились, немецкий народ перестал быть народом

бесчестия, позора, самобичевания, малодушия и маловерия, нет, Господи, немецкий народ опять окреп духом, стал силён волей, упорством, умением приносить все жертвы, Господи, мы не свернём с твоей стези, благослови теперь нашу борьбу»[465].

Эти религиозные обращения и призывы к единству, вообще литургическое волшебство празднеств не могли не оказать своего воздействия и вернули многим утраченное чувство сплочения и коллективного товарищества; сочетание церковной службы и народного увеселения было как раз в силу казалось бы неполитического характера достаточно обширным «общим знаменателем» для большинства. Тот, кто делит людей весны 1933 на победителей и побеждённых, совершает бесспорно ошибку интеллектуального упрощения, к которому толкают более поздние чудовищные черты режима; во многих, как верно заметил Голо Манн, чувство победы и поражения, триумфа, неуверенности, страха и стыда жили друг рядом с другом и боролись между собой[466], но в дни, как этот, в состоянии грандиозного опьянения массовых праздников люди чувствовали, что на их глазах вершится история, их охватывали воспоминания о далёком, но незабытом чувстве единства в августовские дни 1914 года: люди словно преобразились под воздействием внезапного чувства — галлюцинации братства. Позднее в памяти нации этим месяцам суждено жить как трудноуловимой смеси ощущений возбуждения, реющих знамён, весны, преображения и начала взлёта к новому величию, однозначного мотива которого никто бы назвать тогда не смог. Скорее всего, тут ещё трудно поддающаяся анализу способность Гитлера создавать приподнятое историческое настроение заставила многих отречься от своих прежних убеждений. Его выступление по случаю 1 мая не содержало ни конкретной программы создания рабочих мест, ни ожидавшихся принципиальных заявлений о национальном социализме или экономическом восстановлении, и всё же оно внушало сознание величия и исторической значимости. В этом контексте своё место было и у сопутствующих актов террора; Они придавали событиям характер исключительной, судьбоносной серьёзности, и многие воспринимали свои укоры совести как нечто мелочное, не подобающее рангу происходящего.

Поэтому, когда один из представителей интеллектуальной элиты страны писал, вспоминая майский праздник, что труд стал, наконец, освободившись от печати пролетарских страданий, основой нового восприятия себя как части общности и что была «заново провозглашена часть прав человека», то это было не единичным проявлением восторга, а вполне определённым выражением преобладавшего тогда ощущения судьбоносности

момента[467]. Днём позже, правда, вероломная акция против профсоюзов опять продемонстрировала другую сторону испытанной двойной тактики. Аналогичным образом 10 мая, в то время, как возглавляемый «человеком искусства-политиком» Адольфом Гитлером режим подогревал надежды на «золотой век» искусств, был сделан грубый жест открытой вражды к духовности: под звуки «патриотических мелодий», исполняемых оркестрами СА и СС, на площадях университетских городов было сожжено около двадцати тысяч «ненемецких книг», обрамлением этой акции служили факельные шествия и так называемые скандирования-заклинания огня.

По части тактики захват власти неизменно проводился с почти механически бездушной, но тем не менее безотказно действовавшей последовательностью средств одурманивания и нажима, а именно эта комбинация расчистила после 12 лет парламентского «междуцарствия» путь тому ощущению, что в Германии наконец появилось руководство и праздники: это был хорошо знакомый политический стиль государства с всевластными правителями наверху и исполнителями внизу, его традициями смог воспользоваться новый режим.

Поначалу часто случайные мероприятия по психологической обработке нации в нужном направлении были скоро приведены в систему, произошло твёрдое разграничение компетенций.

Наибольшее влияние в скрыто протекавшей борьбе завоевал на этой фазе Йозеф Геббельс, министерство которого с семью управлениями (пропаганда, радио, печать, кино, театр, музыка и изобразительное искусство) наиболее действенно осуществило притязания режима на тотальную регламентацию духовной и культурной сферы. Структуре министерства соответствовало незамедлительно начавшееся формирование имперской палаты культуры, которая в свою очередь, семью отдельными палатами охватывала всех занятых в сфере искусства и публицистики: архитектора равно как и торговца предметами искусства, художников, театральных декораторов, а также и осветителя, и продавца газет; всех их, открыто заявил Геббельс, новое государство хочет избавить от «чувства безутешной пустоты», отказ в приёме или исключение из этой организации надзора за культурой и её политизацией были равнозначны запрету заниматься своей профессией. И уже скоро полиция стала разбирать многочисленные доносы, выслеживать работы запрещённых деятелей искусства и контролировать соблюдение вынесенных постановлений о запрете на работу. В декабре 1933 года свыше тысячи книг или произведений искусства вообще подверглось запрету, не менее чем двадцать одной, отчасти

конкурирующей инстанцией, годом позже эта судьба постигла уже свыше 4 тысяч публикаций. Революция нигде не останавливается, заявил Геббельс в одной из своих «основополагающих речей», посвящённых культуре, главное дело — чтобы «на место отдельного человека и его обожествления теперь встал народ и его обожествление. В центре всего стоит народ… У работника искусства есть, пожалуй, право считать себя вне политики в то время, когда политика сводится лишь к крикливым схваткам диадохов[468] между парламентскими партиями. Но в тот момент, когда политика пишет народную драму, когда крушат прежний мир, когда исчезают старые ценности и возникают новые — в этот момент деятель искусства не может сказать: «Меня это не касается». Это его ещё как касается»[469] Будучи имперским руководителем пропаганды НСДАП, Геббельс одновременно покрыл страну плотной сетью системы имперских управлений пропаганды, число которых было в конце концов доведено до 41, несколькими годами позже они были повышены до статуса имперских ведомств.

Уже весной 1933 года была в основном завершена унификация радио как в кадровом, так и организационном отношении. Из насчитывавшихся в Германии примерно трех тысяч газет большое число прежде всего местных изданий было устранено при помощи экономического давления или борьбы за подписчиков, в которой были пущены в ход все средства государства; другие были конфискованы, лишь некоторые из крупных газет, использование престижа которых сулило определённую выгоду, продолжали выходить и продержались, как например, «Франкфуртер цайтунг», до периода войны; но рамки, в пределах которых им дозволялось писать, были резко сужены уже в начальной фазе захвата власти, железный принцип жёстких указаний свыше, навязывания официальных формулировок, которые, как правило, устанавливались на ежедневной имперской пресс-конференции, обеспечивал политическую регламентацию и сводил свободу печати к намёкам между строк. Вместе с тем одновременно Геббельс поощрял все различия в формальном и стилистическом отношении и вообще старался смягчить и скрыть государственную монополию на мнения журналистским многообразием. Печать, как и вообще культура, в соответствии с выданным им девизом, должна была быть «едина в воле и многообразна по выражениям воли»[470].

В целом можно отметить, что и в культурной сфере унификация проходила без протестов, без признаков действенного сопротивления. Только протестантская церковь смогла, хотя и ценой раскола, дать отпор открытому захвату

власти, в то время как воля к отпору у католической церкви, епископы которой поначалу нападали на национал-социализм в резких заявлениях о борьбе с ним и официально осуждали его, потеряла почву под ногами в результате начатых Гитлером переговоров о конкордате со всеми их обещаниями и мнимыми уступками, прежде чем она нашла в себе силы выступить с запоздалым сопротивлением, которое тормозилось слишком многими тактическими ограничениями. При этом псевдохристианское святошество режима оказало воздействие на представителей обеих конфессий, и сам Гитлер умел, постоянно взывая к Всевышнему или «провидению», создать впечатление человека с богобоязненным складом ума.

Готовность к сопротивлению ослаблялась ещё и тем, что часть национал-социалистических постулатов, начиная от борьбы с «безбожным марксизмом», «вольнодумством» и «упадком нравов» и вплоть до вердикта «искусству вырождения», была вполне знакома многим верующим, поскольку пёстрая национал-социалистическая идеология в известном плане была «сама производным христианских убеждений и частью настроений и идеологий, которые сформулировались в христианской общинной жизни в противостоянии с непонятным или вызывающим неприятие окружающим миром и современным развитием»[471].

И в университетах проявилась лишь слабая воля к самоутверждению, которая вскоре погасла в результате апробированного взаимодействия «спонтанных» выражений воли низов с последующим административным актом сверху, но в целом режим так быстро и легко «скрутил» интеллектуалов, профессоров, деятелей искусства и писателей, что возникают сомнения в справедливости распространённого тезиса, согласно которому самыми слабыми звеньями перед лицом натиска национал-социализма оказались высший офицерский корпус или крупная промышленность. В течение нескольких месяцев на добившийся признания и обхаживающий обладателей звучных имён режим изливался непрестанный дождь заверений в лояльности без всяких на то усилий со стороны новой власти.

Уже в начале марта и затем в мае несколько сотен вузовских преподавателей всех специальностей публично заявили о поддержке Гитлера и нового правительства, под «клятвой верности немецких поэтов народному канцлеру Адольфу Гитлеру» стояли такие имена, как Биндинг, Хальбе, фон Мало, Понтен и фон Шольц, другое обращение было подписано такими авторитетнейшими учёными, как Пиндер, Зауэрбрух и Хайдеггер.

Параллельно с этим было множество индивидуальных выражений одобрения. Герхард Гауптман, которого Геббельс

целые годы издевательски титуловал «профсоюзным Гёте», выступил со статьёй, заголовок которой был придуман редакцией, но тем не менее отражал его позицию: «Я говорю „Да!“ Ханс Фридрих Блунк свёл ожидания, связанные с началом новой эры, к формуле: „Смирение перед богом, честь рейху, расцвет искусств“, в то время как историк литературы Эрнст Бертрам сочинил „заклинание огня“ для того акта сожжения книг, где нашли свой конец произведения его друга Томаса Манна: „Отбросьте, что вас смущает /Прокляните, что вас соблазняет, /Что возникло без чистой воли!/ В огонь то, что вам угрожает!“ Даже Теодор В. Адорно находил в положенном на музыку цикле стихов Бальдура фон Шираха „сильнейшее воздействие“, провозглашённого Геббельсом „романтического реализма“[472].

А тем временем только за первые недели новой власти страну покинули 250 известных учёных, другие подвергались частым притеснениям, запретам на профессию или издевательским административным придиркам. Представителям питавшего амбиции в области культуры режима скоро пришлось признать, что первое «лето искусств» в Германии являет собой скорее картину поля битвы, чем зреющего урожая[473].

Начиная с августа 1933 года серией уведомлений сообщалось, что имперский министр внутренних дел лишил гражданства многих деятелей искусства, писателей и учёных, в том числе Лиона Фейхтвангера, Альфреда Керра, Генриха и Томаса Маннов, Анну Зегерс, Теодора Пливье и Альберта Эйнштейна. Но оставшиеся, «не ломаясь», заняли освободившиеся места в академиях и на праздничных банкетах, стыдливо делая вид, что не замечают трагедию изгнанных и запрещённых. К кому бы режим не обращался — все шли служить ему: Рихард Штраус, Вильгельм Фуртвенглер, Вернер Краус, Густав Грюндгенс — конечно, не все из слабости или приспособленчества, может быть, их увлекли за собой порыв захвата власти, чувство национального подъёма, которое пробуждало почти непреодолимую потребность встать в строй со всеми, самому «унифицировать» себя. Другими руководило намерение укрепить позитивные силы в «великом народном движении, устремлённом к возвышенным идеалам» национал-социализма, взять под свою мудрую опеку честных, но примитивных нацистских драчунов, сублимировать их первобытную энергию, придать утончённость «преследующим самые добрые намерения, но ещё сырым идеалам „человека из народа“ Адольфа Гитлера» и таким способом «показать впервые самим национал-социалистам», что действительно кроется в их тёмном порыве, и тем самым создать возможность возникновения «более совершенного» национал-социализма»[474]. Часто

встречающаяся в революционную эпоху надежда, что удастся предотвратить худший вариант, причудливо сочеталась с представлением, согласно которому великая сцена национального братания даёт неповторимый шанс внести духовность в «грязную политику». Гораздо вероятнее, что именно в таких интеллектуальных иллюзиях, а не в трусости и приспособленчестве, которые тоже были распространены, заключается специфическая немецкая преемственность национал-социализма.

Но наше понимание происшедшего будет не полным, если мы не примем во внимание доминирующее ощущение эпохального поворота. Никогда не закрывавшийся вопрос о корнях успеха откровенно антидуховного гитлеровского движения находит ответ в среде писателей, профессоров и интеллектуалов не в последнюю очередь в антидуховной тенденции самой эпохи.

Над временем властвовало широкое антирационалистическое настроение, которое противопоставляло духу как «самой неплодотворной из всех иллюзий» «исконные силы жизни» и предвещало конец господству разума. В Германии его прежде всего порождала реальная действительность республики, которая своей трезвостью и эмоциональной скудостью, казалось, с предельной ясностью подтверждала несостоятельность рациональных принципов. Даже Макс Шелер истолковал в докладе 20-х годов иррациональные движения времени как процесс «оздоровления», «систематичный бунт инстинктов в человеке нового века против утрированной интеллектуальности наших отцов», отмежевавшись, правда, от тех, кто пренебрежительно относится к духу[475]; как политический прорыв в ходе этого процесса и понимали в основном победу гитлеровского движения — как самое последовательное осуществление в политическом пространстве склонностей к бегству в псевдорелигию, ненависти к цивилизации и «отвращения к мудрствованиям познания». Именно этим национал-социализм оказывал соблазнительное воздействие на многих интеллектуалов в изолированности своего книжного мира, жаждавших братания с массами, приобщения к их жизненной силе, целостности и исторической действенности.

Слабостью было также антипросвещенческое настроение времени, а склонность к нему — общеевропейским явлением. В то время, как обладавший сильным национальным чувством консервативный писатель Эдгар Юнг заявил о своём «уважении к примитивности народного движения, к боевой силе победивших гауляйтеров и штурмфюреров», не кто иной, как Поль Валери находил «очаровательным, что нацисты так беспредельно

презирают духовность»[476]. В наиболее впечатляющем виде весь набор мотивов — заблуждений, надежд, самоискушений — предстаёт в знаменитом письме поэта Готфрида Бенна, адресованном эмигрировавшему Клаусу Манну:

> «Я по сокровенно личным мотивам за новое государство, ибо это мой народ прокладывает здесь себе путь вперёд. Да кто я такой, чтобы держаться особняком, разве я знаю, как можно было бы сделать лучше? — Нет! Я могу пытаться направить его в меру своих сил туда, куда бы мне хотелось, чтобы он шёл, но если мне это не удастся — он останется моим народом. Народ — это так много! Моим духовным и экономическим существованием, моим языком, моей жизнью, моими человеческими связями, всей суммой отложившегося в моём мозгу я обязан в первую очередь этому народу. Этому народу принадлежали предки, в этот народ вольются дети. Поскольку я вырос в деревне, среди стад, я ещё знаю, что такое Родина.
>
> Большой город, индустриализм, интеллектуализм, все тени, которые бросает век на мои мысли, все силы столетия, которым я даю отпор моим творчеством — бывают моменты, когда вся эта мучительная жизнь исчезает и остаются только равнина, простор, времена года, земля, простое слово — народ»[477].

Такие высказывания показывают, сколь слабо отражает суть национал-социализма и его специфической и соблазнительной силы критика его идеологической бедности: тот факт, что по сравнению с абстрактными системами левых он мог не слишком много — лишь тепло коллектива: толпы народа, разгорячённые лица, крики одобрения; поднятые в приветствии руки[478], делал национал-социализм привлекательным для интеллектуальности, которая давно была в отчаянии от себя самой и из всех теоретических споров эпохи вынесла то убеждение, что при помощи «мыслей уже больше не приблизиться к пониманию вещей»: именно потребность в бегстве от идей, понятий и систем к какой-нибудь простой, несложной принадлежности дала национал-социализму так много перебежчиков.

Эту потребность в принадлежности национал-социализм стремился удовлетворить при помощи множества все новых и новых социальных форм общения: одна из основных идей Гитлера, усвоенных им в социальной заброшенности его молодости, состояла в том, что человек хочет быть частицей чего-то целого. Было бы заблуждением видеть только элемент

принуждения в многочисленных партийных структурах, в политизированных профессиональных объединениях, палатах, ведомствах, союзах, которые теперь заполонили всю страну.

Практика, при которой каждый отдельный человек в любом возрасте, при любом занятии, даже в часы досуга и развлечения был «охвачен», и его личным делом оставался только сон, как это порой заявлял Роберт Лей, отвечала распространённой тяге к социальному участию. Когда Гитлер регулярно заверял, что он всегда требовал от своих сторонников только жертв, он не преувеличивал; он действительно открыл забытую истину, что люди испытывают потребность быть встроенными в общую систему, что есть желание «слиться» и что возможность самопожертвования для сознания широкой массы часто больше значит, чем интеллектуальное пространство свободы.

Одно из самых примечательных свершений Гитлера — это то, что он сумел преобразовать в целенаправленную общественную энергию все пробуждённые той весной смутные порывы. Тон, который он избрал: «Бросим вызов самим себе!», вызывал энтузиазм народа, замученного безработицей, нуждой и голодом, и почти идеалистическое стремление отдать себя общему делу. Никто не смог бы так убедительно сказать народу: «Замечательно жить в такое время, которое ставит перед людьми великие задачи». Его ненасытная жажда контакта с общественностью вылилась в беспрерывную вереницу поездок и речей, и хотя по сути дела ничего не происходило, все тем не менее преображалось. «Слова, — сказал Эрнст Рем, неверяще и удивлённо глядя на Гитлера, — ничего кроме слов, и всё же миллионы сердец за него — просто фантастика»[479].

Бесконечными церемониями заложения Первого камня и Первой лопаты вырытой земли на развернувшихся стройках он создал своего рода сознание мобилизации, сотнями речей, призывающих взяться за дело, он открывал работы по строительству объектов, которые вскоре, используя военный жаргон режима, разрослись до целых трудовых битв, с триумфом завершаясь победами у конвейера или прорывами на полях.

Поддерживаемый такими штампами как бы военный настрой подхлёстывал волю к жертвам, которая ещё больше подогревалась стимулирующими, порой, правда, доходившими до гротеска лозунгами: вроде такого, например, как «Немецкая женщина опять вяжет!»[480].

Равно как государственные праздники, торжества и парады, эти стилизованные средства были нацелены на то, чтобы сделать новый режим популярным за счёт наглядности.

Артистический темперамент редко где ещё проявлялся с

такой ясностью, как в способности переводить абстрактный характер современных политических и общественных взаимосвязей на язык простых образов. Конечно, массы были в политическом отношении в положении младенцев, которых водят на помочах, их права были урезаны или ликвидированы. Но их былая зрелость мало что дала им, они вспоминали о ней с пренебрежением, в то время как непрерывная самореклама Гитлера, его страсть к выпячиванию своего «я» вызывали явное чувство причастности к делам государства. После годов спада многим казалось, что их деятельность опять обретает смысл; труд, каким бы он ни был скромным, возвышался до уровня доблести; и даже можно сказать, что Гитлер, действительно, в какой-то степени распространил то сознание, которого он добивался, говоря о «чести быть гражданином этого рейха, будучи хоть подметальщиком улиц»[481].

Эта способность пробуждать инициативу и веру в свои силы были тем более удивительна, что Гитлер не располагал никакой конкретной программой. На заседании кабинета 15 марта он впервые признал свою дилемму, заявив, что надо направить внимание народа митингами, пышными зрелищами, акциями «на чисто политические дела, потому что с экономическими решениями надо пока подождать», уже в сентябре на открытии работ по строительству участка автострады Франкфурт-Гейдельберг в его речь вкралась обмолвка: теперь необходимо «сперва запустить где-нибудь (!) маховик немецкой экономики большими, монументальными работами»[482].

Вся концепция, — заверял Герман Раушнинг, — «с которой Гитлер взял власть, состояла в безграничной вере в свою способность уж как-нибудь справиться с делами по примитивному, но действенному принципу: надо приказать — и дело пойдёт. Может быть, не очень блестяще, но какое-то время все же продержимся, а там увидим, как быть дальше».

При данных обстоятельствах эта концепция оказалась своего рода волшебной формулой, поскольку она годилась для преодоления господствующего чувства безысходности. И хотя улучшение материального положения стало ощущаться только с 1934 года, концепция производила почти с первых же дней огромное «суггестивное консолидирующее воздействие».

Одновременно она обеспечила Гитлеру значительное поле манёвра, которое позволяло ему приспосабливать свои намерения к меняющимся требованиям, стиль его правления по праву характеризовали как «перманентную импровизацию»[483].

Сколь решительно он настаивал на неизменности партийной программы, столь же велика была его постоянная боязнь тактика

«привязать» себя к какой бы то ни было линии. Чтобы полностью развязать себе руки, он сразу же в первые месяцы запретил печати самостоятельно публиковать цитаты из «Майн Кампф». Обосновывалось это тем, что мысли вождя оппозиционной партии могут не совпадать с соображениями главы правительства. Даже воспроизведение одного из 25 пунктов партийной программы было не разрешено по той причине, что в будущем дело не за программами, а за практической работой. «Новый рейхсканцлер пока отказывается дать развёрнутую программу, — отмечалось в одной публикации, отражавшей позицию национал-социалистов, — что вполне понятно с его точки зрения (как говорится в одном берлинском анекдоте: „Партайгеноссе номер один не отвечает“)»[484]. Один из бывших партийных функционеров сделал, опираясь на эти наблюдения, вывод о том, что у Гитлера никогда не было точно определённой цели и тем более стратегического плана, и действительно, кажется, что у него были только видения и необычайная способность ориентироваться в изменяющихся ситуациях, и, благодаря быстрой мощной хватке использовать возникающие из них возможности[485].

Грандиозные фантасмагории, расплывшиеся в эсхатологическом тумане гибели мира и заката рас были в такой же степени его стихией, как упорно, хитроумно, хладнокровно инсценируемые действия в конкретной сиюминутной обстановке — выходило странное сочетание ясновидца и тактика. Промежуточная область всесторонне спланированной и терпеливо проводимой в жизнь политики, пространство истории, оставались ему чужды.

И действительно не в программах было дело. Он вытеснил «реакционного» Гугенберга из кабинета и одновременно заставил Готфрида Федера, который стал тем временем его статс-секретарём в Министерстве экономики, смягчить свою великую идею об уничтожении «процентного рабства», сведя её на нет: от идеи, которая в своё время в миг озарения осенила его в бытность агентом войсковой команды рейхсвера, он теперь отмахивался как от «одобренных прежним партаппаратом фантазий»[486]. Мелкие лавочники, первоначальная масса сторонников партии, уже ходили по универсальным магазинам, присматривая себе места, где они согласно пункту 16 программы партии вскоре откроют свою торговлю, и ещё в начале июля Гитлер устами Рудольфа Гесса заявил, что позиция партии в том, что касается универмагов, остаётся «в принципиальных вопросах неизменной» — в действительности же он теперь окончательно отбросил этот пункт программы, ибо стремился сделать сильной Германию, а не

обогатить маленьких людей.

Подобная участь постигла и других многочисленных старых соратников, которые, оказавшись в идеологическом одиночестве, все более открыто становились предметом насмешек и вытеснялись в политическое небытие: в период своего восхождения НСДАП как партия всех недовольных и обделённых впитала в себя большое количество мелких утопистов, людей, которые носились со своей одной идеей, своей новой концепцией порядка, и полагали, что активнее всего их волю к реформе выражает динамичная гитлеровская партия. Теперь же, в двух шагах от осуществления, проявилась иррациональность и зачастую гротескная ограниченность их прожектов, в то время как другие схемы не давали возможности укрепить власть и поэтому не привлекали интереса Гитлера. «Сословная структура» и планы реформы конституции и рейха, идея германского права, огосударствления трестов, земельной реформы или идея ленного права государства в отношении средств производства не пошли дальше отдельных шагов, не имевших никакого резонанса. Эти взгляды часто противоречили друг другу, вследствие чего их авторы с пылом выступали друг против друга, в то время как Гитлер мог оставлять все в подвешенном состоянии, жалобы на «неотрегулированность состояния» его не волновали[487]; напротив, именно благодаря этому его воля становилась ничем не ограниченной и по сути дела — основным законом режима.

Однако, хотя те силы, которые национал-социализм пробудил или направил наряду с прочими, также неспособны были установить новый порядок и ограничивались только робкими попытками, вместе с тем они все же были достаточно сильны, чтобы подорвать или же низвергнуть старые отношения. Уже на этой фазе проявилась своеобразная слабость конструкции режима, который прежде со столь необыкновенной уверенностью изобличал анахронические структуры и неоправданные претензии; он никогда не мог легитимировать свой разрушительный дар посредством созидательной силы, по большому историческому счёту он выполнил только функции расчистки. По сути, он не смог даже разработать для замыслов своей политики силы рациональных, целесообразных форм, и даже в построении тоталитарного государства он не пошёл дальше первых набросков: получился в гораздо большей степени Бегемот, чем Левиафан, как это сформулировал Франц Нойман, не-государство, манипулируемый хаос, а не террористическое государство насилия, которое всё-таки остаётся государством.

Все импровизировалось ради быстрого достижения цели — великого завоевательного похода, который владел фантазией

Гитлера с такой исключающей всё остальное силой, что рядом с ним ничего другого в расчёт не принималось. Как упорядочить социальные и политические структуры и обеспечить устойчивость после своего ухода со сцены — это его не интересовало; он размышлял расплывчато и по-литераторски, только категориями тысячелетий. Вследствие этого «третий рейх» пришёл к своеобразному незавершённому, временному состоянию, груде развалин по вкривь и вкось набросанным намёткам, где фасады прошлого скрывали вновь уложенные фундаменты, в свою очередь включившие в себя кое-что из начатой кладки, разрушенных и незавершённых элементов, приобретавших смысл и последовательность только под одним-единственным углом зрения: чудовищной воли Гитлера к власти и действию.

Склонность Гитлера ориентировать каждое решение на укрепление своей власти наиболее ярко проявилось на примере планов социализации, которые были все ещё живы в виде «одиночных настроений» — реликтовой штрассеровской фазы.

Как вождь движения, которое возникло на основе страхов буржуазии перед революцией и панических настроений, он должен был избегать всяких шагов режима, напоминающих традиционные представления о революции, в особенности стремления к огосударствлению или открыто плановому хозяйству. Но, поскольку он, по сути дела, намеревался добиться именно этого, он провозгласил под лозунгом «национального социализма» безусловное сотрудничество с государством всех и на всех уровнях, а так как всякая компетенция в какой-то момент замыкалась на нём, это означало не что иное, как отмену всякого частного экономического права при поддержании фикции его сохранения. В виде компенсации неограниченного права государства на вмешательство предприниматели получали установленный приказным порядком мир в трудовых отношениях, гарантии производства и сбыта, а позже и некоторые неопределённые надежды на насильственную экспансию национальной экономической базы. Гитлер не без цинизма и проницательности обосновал в кругу приближённых эту продиктованную краткосрочными целями концепцию, при помощи которой он обеспечил себе поддержку знающих себе цену пособников: он совсем не собирается, заявил он, истребить, как в России, слой собственников — он заставит их всеми мыслимыми средствами отдать свои способности строительству экономики.

Предприниматели, бесспорно, будут рады, что щадят их жизнь и собственность, и окажутся тем самым в подлинной зависимости. Так что ему делать — менять этот выгодный расклад, только чтобы потом отбиваться от «старых борцов» и

сверхгорячих товарищей по партии, которые непрерывно напоминают о своих заслугах? Формальное обладание средствами производства всего лишь второстепенное дело:

«Да что это значит, если я твёрдо охватил людей дисциплиной, из которой они не могут вырваться? Пусть владеют землёй и фабриками сколько им угодно. Решающий момент — то, что государство через партию распоряжается ими независимо от того, собственники они или рабочие. Понимаете, все это уже ничего не значит. Наш социализм затрагивает гораздо более глубокий уровень. Он изменяет не внешний порядок вещей, а регулирует только отношение человека к государству. Собственность и доходы — экая важность, очень нужна нам социализация банков и фабрик. Мы социализируем людей»[488].

Не в последнюю очередь благодаря неидеологизированному прагматизму Гитлера была с поразительной быстротой преодолена безработица. Он не сомневался в том, что как судьба режима, так и его личный престиж в высокой степени зависят от того, удастся ли улучшить положение бедствующего населения: решение этой проблемы имеет «просто кардинальное значение для успеха нашей революции», заявил он[489].

В пропагандистском плане его положение напоминало действия акробата на высоко подвешенном канате: свои обещания он мог выполнить не иначе, как преодолев кризис; одновременно только таким способом можно было приглушить недовольство «старых борцов» многочисленными компромиссами и оппортунистическими действиями, их обиду перед лицом «предательства революции».

Решающее значение имел тот момент, что Гитлер как ни один другой политик Веймарской республики уловил психологическую сторону кризиса. Конечно, ему помог медленно начавшийся подъем мировой экономической конъюнктуры, но ещё важнее, по меньшей мере, для темпа преобразований, было понимание того, что депрессия, угнетённость и апатия обусловлены глубоко сидящими в сознании пессимистическими сомнениями в устройстве мира и что массы поэтому, как и экономика, требуют прежде всего импульсов, которые возвращают смысл происходящему. Многочисленные успокоительные высказывания в адрес предпринимателей и неизменное стремление оградить экономику от революционных встрясок начальной фазы были нацелены на то, чтобы создать сперва всеобщее настроение доверия. Большинство инициатив развёртывалось в первые месяцы не столько в силу их экономической разумности, сколько потому, что позволяло сделать энергичный жест.

Во многих случаях Гитлер брал и разработанные раньше планы, как, например, принятую правительством Шляйхера программу «неотложных мер» по созданию рабочих мест, разворачивающиеся теперь с помпой проекты были вытащены из дальних ящиков, где они пылились при Веймарской республике, тогда им не дали осуществиться тормозящая дело демократическая процедура прохождения через инстанции, боязнь серьёзных решений и упадок духа тех лет: так, например, проект автострад, столь престижных для режима, уже обсуждался, но его никак не могли начать осуществлять[490].

Когда президент Рейхсбанка Ханс Лютер стал настаивать на дефляционистской политике эмиссионного банка и отказался предоставить крупные средства на создание рабочих мест, Гитлер заставил его уйти в отставку и заменил его, опять к недовольству многочисленных сторонников, «капиталистом» и «масоном высокой степени» Яльмаром Шахтом, который обеспечил ему при помощи так называемых «мефо-векселей»[491] финансирование общественных работ, а позже — прежде всего программ роста военного производства без ощутимой инфляции.

Беззастенчивее своих предшественников, но и более решительный, чем они, Гитлер множеством крупномасштабных мер раскрутил маховик производства. Уже в речи по случаю 1 мая он, обращаясь ко «всему немецкому народу», заявлял, что «каждый в отдельности… каждый предприниматель, каждый владелец дома, каждый деловой человек, каждое частное лицо обязаны в рамках постоянных усилий всего сообщества заботиться об обеспечении занятости»; государство включается в это дело при помощи программы, которую Гитлер охарактеризовал своим любимым словом — «гигантская»: «Мы сломим все сопротивление и широким фронтом возьмёмся за эту задачу», — заверил он[492]. Государственные заказы в связи с планом строительства поселений и дорог, система стимулирования государственных и частных инвестиций, кредиты, налоговые льготы и субсидии способствовали подъёму конъюнктуры. И вместе с тем непрерывный поток слов, лозунгов. Они были одной из основ успеха, придавая поразительный смысл иронической формуле Гитлера: «Великие лгуны — это также и великие волшебники».

Компонентом психологии стимулов, разработанной Гитлером в те недели, было также расширение поначалу добровольной трудовой службы. Последняя была не только резервуаром для трудоустройства молодых безработных, но и наглядным выражением созидательного оптимизма режима: в освоении заболоченных и заливных участков, лесопосадках, строительстве

автострад или же регулировании потока рек проявлялась заразительная воля к созиданию и будущему. Одновременно эта организация, прежде всего после её превращения в систему обязательной трудовой повинности в 1935 году, служила преодолению классовых барьеров и пред-армейской военной подготовке. Все эти инициативы и элементы взаимодействовали друг с другом, и уже в 1934 году ещё при наличии трех миллионов безработных отмечалась нехватка квалифицированных рабочих. Двумя годами позже была достигнута полная занятость.

Начавшийся подъем позволил развернуть значительную активность в социально-политической области, которая дала немалый эффект. Чтобы не прослыть реакционным, режим старался уравновесить реализацию своих строгих представлений о порядке, которые выразились, например, в отмене права на забастовку или создании единых государственных профсоюзов, — «Германского трудового фронта», примирительными проявлениями своего хорошего отношения к рабочим. Были созданы многочисленные учреждения, которые организовывали поездки во время отпуска, спортивные праздники, художественные выставки, дни народных танцев, различные курсы, организовывая людей, и наряду со своими очевидными задачами давать «силу через радость» или утверждать «красоту труда», выполняя также функции контроля и успокоения. Из найденных разрозненных сводок о результатах выборов в апреле 1935 года следует, что на отдельных заводах в то время за единый национал-социалистический список и тем самым за новый порядок часто голосовало не более 30-40 процентов работавших, но в 1932 году национал-социалистические производственные организации набирали в среднем лишь четыре процента голосов, и даже такой марксистский историк, как Артур Розенберг должен был признать, что национал-социализм претворил в жизнь некоторые невыполненные постулаты демократической революции. В любом случае, со временем упорная, разноплановая обработка рабочих со стороны режима дала эффект, тем более что многие из них видели отличие от прошлого «сне столько в утрате прав, сколько во вновь обретённой работе»[493].

Это же было решающей предпосылкой успеха жёсткой социальной политики «третьего рейха». Утрата свободы и социальной самостоятельности, контроль на каждом шагу, заметное сокращение приходящейся на них доли в растущем валовом национальном продукте — все это мало волновало рабочих; а идеологическими лозунгами их можно было завоевать

ещё меньше, чем буржуазию. Главным было чувство восстановленной социальной уверенности после травмирующих лет страха и депрессии. Это чувство перекрывало все; оно заглушало распространённую поначалу весьма широко склонность к сопротивлению, мобилизовало волю трудиться с высокой отдачей и существенным образом создавало ту картину социального умиротворения, на которую с окрепшей самоуверенностью ссылались новые властители: классовая борьба была не только табу и под запретом, от неё в значительной мере отказались сами её участники. Вместе с тем режим умел продемонстрировать, что он не был господством одного социального слоя над всеми остальными, в тех шансах для роста, которые он давал каждому, он на самом деле проявлял внеклассовый характер. А то, что все же оставалось от сознания социальной дистанции, сглаживалось политическим давлением, которому подвергались все: предприниматели, рабочие, служащие, крестьяне.

Во всех этих мерах, которые не только взламывали старые, окостеневшие социальные структуры, но в действительности ощутимо улучшали и материальной положение широких слоёв, не было, однако, видно подлинно нового общественно-политического «проекта». Характерно, что Гитлер обладал только концепциями завоевания власти — как внутри страны, так и за её пределами, но не завораживающим проектом нового общества. По сути дела он и не хотел изменять общество — он хотел только получить его в свои руки. Уже в 1925 году один из его собеседников отметил «его идеал — Германия, где народ организован примерно так, как армия», а позже, ближе к концу процесса захвата власти, он сам сказал, что строй Германии «отныне — это порядок в укреплённом полевом лагере».

Как ему послужила орудием завоевания власти партия, так и Германия должна была стать теперь ему инструментом для того, чтобы «открыть дверь к прочному господству над миром»[494]. Внутреннюю политику Гитлера следует безусловно рассматривать в теснейшей взаимосвязи с его внешней политикой.

Для мобилизации масс он использовал не только имевшуюся социальную энергию, но и динамику национального мотива. Хотя бывшие державы-победительницы тем временем в принципе признали равноправие Германии в действительности, она ещё оставалась парией международного сообщества: в первую очередь Франция, более чем когда-либо обеспокоенная приходом Гитлера к власти, сопротивлялась фактическому равноправию, в то время как Англия проявляла известный дискомфорт из-за

противоречий, в которые её втянули бывшие союзники. Теперь Гитлер использовал страхи Франции, щепетильность Англии и обиды Германии в первые полтора года своего правления для тактического шедевра — перекройки всей европейской системы союзов, ещё большего сплочения нации, подготовки стартовой «площадки» для своей политики завоевания «жизненного пространства».

Исходное положение было для его честолюбивых намерений отнюдь не благоприятным. Террористические эксцессы, сопровождавшие захват власти, бесчинства и случаи безобразного обращения с людьми, прежде всего преследование людей исключительно на основании их расовой принадлежности, противоречили всем цивилизованным представлениям о политической борьбе и создавали раздражённое, неприязненное настроение, которое нашло самое яркое отражение в знаменитых дебатах нижней палаты английского парламента в страстный четверг, когда бывший министр иностранных дел сэр Остин Чемберлен заявил, что события в Германии делают чрезвычайно неуместными размышления о пересмотре Версальского договора. Он говорил о грубости, о расовом высокомерии в политике, решающей проблемы пинком сапога, и только теперь лозунг «Гитлер — это война!»[495], к которому так долго относились со снисходительной улыбкой как выражению дикой эмигрантской истерии, казалось начинал приобретать известное оправдание. Дело неоднократно доходило до антигерманских выступлений, польское правительство даже запросило Париж, не готова ли Франция пойти на превентивную войну для устранения гитлеровского режима. Летом 1933 года Германия во внешнеполитическом плане была почти полностью изолирована.

В этих условиях Гитлер стал сперва проводить курс успокоительных жестов и подчинил все задаче подчеркнуть преемственность с веймарской политикой ревизий. Хотя он презирал сотрудников министерства иностранных дел и порой говорил о «дедах Морозах с Вильгельмштрассе», он оставил почти в неприкосновенности корпус чиновников в центральном аппарате и на зарубежной дипломатической службе. Минимум шесть лет, сказал он в разговоре с одним из своих сторонников, придётся поддерживать состояние своего рода «гражданского мира» с европейскими державами, все бряцание оружием националистических кругов сейчас неуместно[496]. Кульминацией его политики добросердечных предложений была большая «речь мира» от 17 мая 1933 года, хотя он и протестовал против бессрочного деления стран на победителей и побеждённых и даже пригрозил уйти с конференции по разоружению и вообще из Лиги

наций, если Германии будут и далее фактически отказывать в равноправии.

Но перед лицом явного стремления отодвинуть Германию на второй план он всё же почти без особых усилий взял на себя роль поборника разума и взаимопонимания между народами, ловя на слове европейские державы, оперировавшие лозунгами о «самоопределении» и «справедливом мире». Всеобщее удовлетворение умеренностью Гитлера было столь велико, что никто не заметил содержавшихся в ней предостережений. Как и лондонская «Таймс», многочисленные голоса во всём мире поддержали требования Гитлера о предоставлении равноправия, а американский президент Рузвельт был даже «в восторге» от выступления Гитлера[497]:

Самым наглядным успехом этой политики был пакт четырех держав — Англии, Франции, Германии и Италии, который хотя и никогда не был ратифицирован, но означал в моральном плане как бы приём новой Германии в сообщество великих держав.

Правда, на международной арене первым признал режим Советский Союз, который теперь нашёл в себе наконец готовность пролонгировать истёкший уже в 1931 году Берлинский договор, вскоре за ним последовал Ватикан, который завершил в июле переговоры с рейхом по конкордату. Но несмотря на все эти успехи осенью Гитлер внезапным движением, как будто под воздействием слепого аффекта, повернул руль и немногими ударами, вызвавшими замешательство его партнёров, добился решающего улучшения позиций.

Полем манёвра была заседавшая в Женеве с начала 1932 года конференция по разоружению, на которой рейх ввиду своей военной слабости имел особенно сильную позицию. Принцип равноправия заставлял другие державы либо разоружаться самим, либо терпеть рост вооружений Германии. Гитлер мог в многочисленных речах и заявлениях все вновь и вновь подчёркивал готовность Германии к разоружению и при этом аргументировать её тем простодушнее, чем все явственнее становилась озабоченность других — прежде всего Франции.

Последняя с глубокой обеспокоенностью следила за событиями в Германии и считала, что есть серьёзные причины придавать большой вес им, а не шитым белыми нитками заверениям Гитлера, хотя это ставило её в силу постоянной, блокирующей все переговоры недоверчивости в трудное положение. Но благодаря напоминаниям о системе подавления в соседней стране, росте милитаризации, постоянных маршировках, знамёнах, униформах и парадах, лексиконе организации со всеми его «штурмовыми отрядами», «бригадами»,

«штабными караулами» или о боевых песнях, предвещавших, что весь род человеческий содрогнётся или что мир будет принадлежать Германии, ей все же в конце концов удалось переубедить другие державы[498]. Признанное в принципе за Германией равноправие теперь ставилось ещё в зависимость от четырехлетнего испытательного срока, который должен был показать, готова ли она искренне к взаимопониманию и действительно отказалась от всех реваншистских намерений.

Гитлер отреагировал на это взрывом возмущения.

14 октября, вскоре после того как британский министр иностранный дел сэр Джон Саймон изложил новые позиции союзников, и стала очевидной их решимость в случае необходимости навязать Германии испытательный срок за столом конференции, Гитлер объявил о своём намерении покинуть конференцию по разоружению. Одновременно он сообщил о выходе Германии из Лиги наций. О его решимости свидетельствует ставшее известным лишь в Нюрнберге указание вермахту оказать вооружённое сопротивление в, случае санкций[499].

Потрясение от этого первого удара, которым Гитлер брал в собственные руки всю внешнюю политику режима, было огромным. Это решение он принял, вопреки распространённому мнению, не единолично — его поддерживали и другие, прежде всего министр иностранных дел фон Нойрат, который, что было характерно, ратовал за обострение внешнеполитического курса, выражавшего рост самосознания; но пафос жеста, тот тон бурного негодования, с которым обосновывался данный шаг — тут авторство однозначно принадлежит Гитлеру; именно он свёл альтернативу к резкой формуле «разрыв или бесчестье». В речи по радио вечером этого дня он впервые направил свою апробированную во внутренней политике двойную тактику на заграницу: он смягчал и затуманивал свой афронт потоком вербальных уступок и даже выражений сердечной симпатии, назвал Францию «нашим старым, но славным противником» и заклеймил как «сумасшедших» тех, кто может представить войну между нашими двумя странами».

Эта тактика окончательно парализовала и без того незначительную склонность европейских держав к созданию фронта противодействия: никто из лидеров не знал, как быть.

То презрение, с которым Гитлер бросил к их ногам ту честь, которую долго и упорно выпрашивала Веймарская республика, прямо-таки опрокидывала их образ мира. Одни — таких были единицы — скрывали своё смущение, поздравляя друг друга с избавлением от неудобного партнёра, другие требовали военной

интервенции, в женевских кулуарах раздавались взбешённые хотя и не воспринимавшиеся всерьёз восклицания «C'est la guerre!»[500] — но сквозь этот шум впервые до сознания стало доходить, что Гитлер заставит старую Европу заявить о своей чёткой позиции, а это ей не по силам, и что он уже нанёс смертельный удар по хлипкому, подорванному страхом, недоверием и эгоизмом принципу Лиги наций. Правда, одновременно умерла и идея разоружения, и если завоевание власти Гитлером действительно, как отмечали, было своего рода объявлением войны Версальской мирной системе[501], то оно было сформулировано в тот день 14 октября; но его никто не принял. Распространённое раздражение бесконечной женевской говорильней, парадоксами и актами лицемерия проявилось прежде всего в английской печати; консервативная «Морнинг пост» заявила, что она не прольёт «ни одной слезы из-за кончины Лиги наций и конференции по разоружению», скорее следует испытывать чувство облегчения от того, что «подобный балаган» подошёл к концу. Когда в одном лондонском кинотеатре в киножурнале хроники недели на экране появился Гитлер, посетители зааплодировали[502].

Опасаясь, что полный успех тактики ошеломляющих акций укрепит манеру Гитлера идти напролом, прибывший из Женевы Герман Раушнинг посетил его в берлинской рейхсканцелярии. Он нашёл его «в блестящем настроении, все в нём было заряжено энергией и жаждой действий». От предупреждений относительно царящего в Женеве возмущения и требования военных демаршей он отмахнулся пренебрежительным жестом руки: «Эти деятели хотят войны? — спросил он. — Да они о ней и не думают…

Там собралась всякая шваль. Они не действуют. Они только протестуют. Они всегда будут опаздывать… Эти люди не остановят возвышения Германии».

Какое-то время, говорится далее в воспоминаниях Раушнинга, Гитлер молча расхаживал. Похоже, он осознавал, что впервые после 30 января вступил в зону риска, через которую ему теперь придётся пройти, что его силовая акция может неожиданно загнать страну в изоляцию. Не поднимая глаз, рассказывает очевидец, Гитлер стал оправдывать решение, как бы ведя разговор с самим собой, что открывало примечательный вид на структуру мотивов его решения:

> «Я должен был это сделать. Было необходимо великое, общепонятное освободительное действие. Я должен был вырвать немецкий народ из всей этой плотной сети зависимости, фраз и ложных идей и вернуть нам свободу действий. Для меня это не вопрос

сиюминутной политики. Ну и пусть трудности в данный момент возросли, это уравновешивается тем доверием, которое я приобретаю благодаря этому шагу среди немецкого народа. Никто бы не понял, если бы мы продолжали, пустившись в дебаты, то, что десять лет делали веймарские партии… Народ увидит, что что-то делается, что не продолжается прежнее жульничество. Нужно не то, что считает целесообразным рефлексирующий интеллект, а увлекающее за собой действие,… выражающее решительную волю по-новому взяться за дело. Умно мы поступили или нет — во всяком случае, народ понимает только такие действия, а не бесплодные торги и переговоры, из которых никогда и ничего не выйдет. Народ сыт по горло тем, что его водят за нос»[503].

Жизнь скоро показала, насколько верны были эти соображения. Гитлер, что было характерно, тут же связал выход из Лиги наций с другим шагом, который далеко выходил за рамки первоначального повода: он вынес своё решение на первый плебисцит единства, который подготавливался с огромным привлечением средств пропаганды, соединив с этим новые выборы в рейхстаг, избранный 5 марта состав которого, определившийся ещё отчасти веймарским многопартийным спектром, был теперь анахронизмом.

В исходе плебисцита можно было не сомневаться.

Накапливавшееся годами чувство унижения, глубокой обиды за бесчисленные притеснения, с помощью которых Германию дискриминировали и держали в положении побеждённой страны, вырвалось теперь на свободу и даже критически настроенные люди, которые скоро перешли к активному сопротивлению, превозносили исполненный самосознания жест Гитлера: их объединила потребность, как докладывал британский посол в Лондон, отомстить Лиге наций за её никчёмность, которую она часто демонстрировала. Поскольку Гитлер увязал голосование по вопросу выхода с оценкой своей политики в целом, соединив эти два элемента в один, сформулированный в общем виде вопрос, люди лишены были возможности одобрить решение о выходе, но осудить политику внутри страны. Вследствие этого плебисцит стал одним из самых эффективных шахматных ходов в процессе внутреннего укрепления власти.

24 октября Гитлер сам открыл кампанию большой речью в берлинском Дворце спорта, плебисцит был назначен на 12 ноября, на следующий день после 15-й годовщины перемирия в

1918 году. Поставленный перед вызовом плебисцита, Гитлере взвинтился до пароксизма типа транса: «Я заявляю, — кричал он массам, — что я в любой момент лучше умру, чем подпишу какой-нибудь документ, который, по моему глубочайшему убеждению, ничего не даёт немецкому народу», он также просил нацию, «если я когда-либо допущу такую ошибку или если народ сочтёт мои действия не заслуживающим его поддержки, казнить меня: я твёрдо приму заслуженное!» И как всегда, в тех случаях, когда он чувствовал себя обиженным или задетым, он демагогически упивался стенаниями из-за совершенной по отношению к нему несправедливости. Рабочим заводов «Сименс-Шукерт-Верке» он — в сапогах, брюках от мундира и тёмном цивильном пиджаке — кричал с гигантской сборочной установки: «Мы готовы с удовольствием принять участие в работе над любым международным договором — но только как равноправные партнёры. В своей личной жизни я никогда не навязывал себя благородному обществу, которое не хотело моего присутствия или не считало ровней себе. Мне оно не нужно и у немецкого народа столько же характера. Мы нигде не играем роль чистильщика сапог, людей второго сорта.

Нет, или дайте нам равные права, или мир больше не увидит нас ни на одной конференции».

Опять, как в прошлые годы была развязана «плакатная война»: «Мы хотим чести и равноправия!» В Берлине, в Мюнхене и Франкфурте по улицам ездили в своих инвалидных колясках искалеченные фронтовики с плакатами «Павшие за Германию требуют твоего голоса!». Примечательно, что часто использовались и цитаты из выступлений британского премьер-министра периода войны Ллойд Джорджа: «Справедливость на стороне Германии!» «А стала бы Англия долго терпеть такое унижение?»[504] Опять по стране прокатилась волна гигантских маршей, акций протеста и массовых манифестаций. За несколько дней до принятия решения страна замерла в полном молчании на две минуты в память о героях, настраиваясь на соответствующий лад. Гитлер с обезоруживающим простодушием заверял, что жизнь в Германии не потому налажена столь похоже на армейский образец, чтобы проводить демонстрации против Франции, «а чтобы выразить формирование своей политической воли, необходимой для ликвидации коммунизма. Весь остальной мир, окопавшийся в неприступных крепостях, создающий огромные авианосцы, конструирующий гигантские танки и отливающий исполинские пушки, не может говорить об угрозе в связи с тем, что немецкие национал-социалисты маршируют без оружия в колоннах по четыре и тем самым наглядно выражают

сплочённость немецкого народа, действенно защищая её… Германия имеет не меньше прав на безопасность, чем другие нации»[505]. На результатах голосования отразились не только все обиды народа, который долго ощущал себя в положении деклассированного, но и усилившееся запугивание: 95 процентов принявших участие в плебисците одобрили решение правительства; хотя этот результат был подтасован и получен в результате террористического принуждения, он тем не менее отражал тенденцию в настроениях общественности. На одновременных выборах в рейхстаг из 45 млн., имевших право голосовать, свыше 39 млн. отдали свои голоса кандидатам единого списка национал-социалистов. Этот день восторженно праздновался как «чудо воскрешения немецкого народа»[506], британский посол сэр Эрик Фиппс докладывал своему правительству: «Одно бесспорно: позиция господина Гитлера неуязвима. Даже в кругах, которые совершенно не одобряют национал-социализм, он резко усилил свой авторитет выборами или, скорее, речами в ходе предвыборной борьбы… Во всех прежних предвыборных кампаниях он, естественно, сражался за свою партию и поносил врагов. В ходе нынешней… немцы увидели нового канцлера, человека из крови и железа, и его выступления звучал совсем не так, как речи бушевавшего на трибуне оратора двенадцать месяцев тому назад, речи нациста, расправляющегося с марксистами».

Теперь Гитлер применил тактику последовательных нападений на международной арене, которая столь успешно зарекомендовала себя при завоевании власти внутри страны. Ещё не прошло замешательство из-за разрыва с женевским форумом и ещё ощущалось раздражение его вызывающим шагом — обратить демократический принцип плебисцита против самих демократий, как он уже опять захватил инициативу, чтобы вступить в диалог с только что оскорблёнными на новых, более благоприятных позициях. В середине декабря он отверг в своём меморандуме идею разоружения, но заявил о готовности ограничиться оборонительными видами оружия, если Германия получит право создать трехсоттысячную армию на основании воинской повинности. Это было первым из тех сбалансированных с поразительным чутьём предложений, которые целые годы до начала войны создавали основу для его внешнеполитических успехов: они ещё были приемлемы в качестве основы переговоров и рассчитаны всякий раз таким образом, чтобы на них не пошли французы; и пока обе стороны в ходе выматывающих, мучительно затягивающихся из-за французской недоверчивости дискуссий пытались договориться о своей степени готовности к уступкам,

Гитлер мог использовать спор представителей и состояние, когда не было соглашений, для реализации своих намерений без каких-либо помех.

Опять примерно месяц спустя, 26 января 1934 года, Гитлер сделал новый ход, резко меняющий расклад на международной арене: он заключил пакт о ненападении с Польшей сроком на 10 лет. Чтобы понять поразительный эффект этого поворота курса, надо вспомнить традиционно напряжённые отношения между этими странами, явно безнадёжно нарушенные разнообразными обидами. Если не считать моральных вердиктов, пожалуй, ни одно другое положение Версальского договора не воспринималось в Германии с такой горечью, как утраты областей, перешедших к новому польскому государству, создание коридора, который отделил Восточную Пруссию от остальной страны или возникновение свободного города Данцига: это являлось причиной непосредственной ссоры между обоими народами и очагом постоянной опасности, мало что оскорбляло так, как акты самоуправства Польши на границе и правонарушения с её стороны в ранние годы Веймарской республики, поскольку это не только показывало рейху его слабость, но и задевало традиционное сознание немцев как господ над вассальными славянскими народами. Поэтому каждый предполагал, что стремление Гитлера к политике ревизий обратится первым делом против Польши, которая, будучи союзником Франции, к тому же подпитывала немецкий комплекс окружения недругами. Веймарская внешняя политика, включая Густава Штреземана, всякий раз упорно сопротивлялась любым намерениям закрепить гарантиями польские территориальные владения. Теперь Гитлер без долгих раздумий отбросил в сторону эти чувства, которые владели прежде всего дружественно настроенными к России дипломатическими, военными, а также традиционными прусскими кругами. Такую же решимость продемонстрировал на другой стороне маршал Пилсудский, который ввиду нервозной и половинчатой политики Франции опрокинул прежнюю концепцию союзов Польши и, что примечательно, связывал свои надежды с тем, что Гитлер как южный немец, католик и «габсбуржец», далёк от той политической традиции, которой опасалась Польша. Широко распространённое неверное представление о Гитлере как об эмоциональном политике, который был марионеткой своих капризов и маний, с редкой силой опровергается как раз этим примером. Конечно, он разделял национальную ненависть к Польше, но его политику это не затрагивало. Хотя в концепции великой экспансии на Восток вопрос о роли соседней страны

странным образом оказался открытым, можно все же предположить, что в оперировавших целыми континентами видениях Гитлера для независимого маленького польского государства места не было: уже в апреле 1933 года Гитлер дал понять Франсуа-Понсе, что никто не может ожидать от Германии сохранения нынешнего состояния на восточной границе, и примерно в то же время министр иностранных дел фон Нойрат назвал взаимопонимание с Польшей «невозможным и нежелательным», чтобы «не исчезла заинтересованность мира к ревизии германо-польской границы». Но пока Польша была самостоятельной, сильной в военном плане и защищённой союзами, Гитлер исходил из ситуации, которую он не мог изменить, и пытался, не поддаваясь эмоциям, повернуть её в свою пользу. «Немцы и поляки — заявил он в своём отчётном докладе перед рейхстагом 30 января 1934 года, — должны будут обоюдно смириться с фактом их существования. Поэтому целесообразно так оформить то состояние, которое невозможно было устранить на протяжении прошедшей тысячи лет и которое не будет устранено тысячу лет спустя, чтобы обе нации могли извлечь из него максимальную пользу»[507].

Выгода, которую получил Гитлер от этого договора, была действительно огромной. Хотя пакт в самой Германии был и оставался малопопулярным, Гитлер мог предъявить его миру все вновь и вновь как убедительное свидетельство своей воли к взаимопониманию даже с извечными противниками, и на самом деле, как сэр Эрик Фиппс отмечал в своём докладе в Лондон вскоре после этого события, германский канцлер доказал, что он настоящий государственный деятель, принеся известную долю своей популярности в жертву внешнеполитическому здравому смыслу[508]. Одновременно Гитлеру удалось дискредитировать систему Лиги наций, которой все прошлые годы не посчастливилось решить опасную и таившую в себе большой заряд напряжённости проблему германо-польского соседства, в результате чего, как убедительно жаловался Гитлер, раздражение, казалось, приняло «характер обоюдного наследственного политического порока». Без видимых усилий, в ходе нескольких двусторонних переговоров он теперь устранил эту проблему.

Наконец, договор доказывал также и хрупкость барьеров, возведённых вокруг Германии. «В лице Польши падёт один из сильнейших столпов Версальского мира», — сформулировал генерал фон Сект в своё время одну из внешнеполитических максим Веймарской республики, явно при этом имея ввиду устранение соседнего государства при помощи военной акции[509]; теперь Гитлер продемонстрировал, что при наличии

воображения политическими средствами можно добиться гораздо большего эффекта. Союз освобождал Германию не только от угрозы войны на два фронта — со стороны Польши и Франции, но и безвозвратно выламывал крупный блок из системы коллективного обеспечения мира. Женевский эксперимент, по сути дела, уже в тот момент потерпел крушение, Гитлер перечеркнул его «с первого же захода», прежде всего надо отметить, что он заставил играть роль нарушителя спокойствия Францию, о чью мощь и неуступчивость набила себе шишки веймарская внешняя политика. Отныне он мог пустить в ход ту политику двусторонних переговоров, союзов и интриг, без которой не могло быть его внешнеполитической стратегии; его шанс на успех состоял в том, что ему противостоял не сплочённый фронт, а всего лишь изолированные друг от друга противники. Вновь началась игра, которую он так виртуозно инсценировал и довёл до успешного финала на внутриполитической сцене. Игроки противоположной стороны уже поджимали. Первым был, уже в феврале 1934 года, британский лорд-хранитель печати Антони Иден.

К числу наиболее эффективных приёмов воздействия на ход переговоров относилось то чувство изумления, которое вызывал сам Гитлер своим поведением. Он вступил на пост без какого-либо опыта ведения правительственных дел, не был депутатом, не знал ни дипломатического этикета, ни официального стиля и, очевидно, не имел никаких представлений о мире. Как в своё время Гугенберг, Шляйхер, Папен и масса других деятелей, Идеи, Саймон, Франсуа-Понсе или Муссолини также полагали, что имеют дело с капризным, ограниченным партийным вождём, обладающим, правда, некоторым демагогическим талантом. Человек заурядной внешности, который явно должен был создавать запоминающийся образ при помощи усиков, чёлки и мундира и производил в гражданской одежде впечатление скорее имитации того деятеля, за которого он себя выдавал, был некоторое время излюбленным предметом насмешек в Европе, где он фигурировал как своего рода «Ганди в прусских сапогах» или слабоумный Чарли Чаплин на слишком высоком для него канцлерском троне: во всяком случае, как в высшей степени «экзотическое» явление — так иронично писал один британский наблюдатель, как один из тех «чокнутых мулл», которые в своей полной причуд частной жизни не курят, не пьют, придерживаются вегетарианства, не ездят на лошадях и осуждают охоту»[510].

Тем больше бывали поражены партнёры Гитлера по переговорам и посетители при личной встрече с ним. В течение

многих лет он всякий раз приводил их в замешательство рассчитанным до тонкостей поведением государственного деятеля — это амплуа давалось ему легко — и добивался тем самым часто решающего психологического перевеса на переговорах. Иден был удивлён «светскими, почти элегантными» манерами Гитлера, он был изумлён, встретив владеющего собой и приветливого человека, «который с пониманием прислушивался ко всем возражениям и отнюдь не был мелодраматическим актёром на проходных ролях», каким его представляли: Гитлер разбирался в том, что говорил, вспоминает Иден, его тогдашнее безграничное удивление ещё чувствуется в замечании, что немецкий канцлер полностью владел предметом переговоров и ни разу, даже по частным вопросам, не был вынужден советоваться со своими экспертами. Сэр Джон Саймон сказал как-то позже фон Нойрату, что Гитлер был в беседе «превосходен и очень убедителен», что его прежнее представление о нём было совершенно неверным. Гитлер поражал своей находчивостью. На многозначительный намёк британского министра иностранных дел, что англичанам нравится, когда договоры соблюдают, он изобразил полное иронии удивление и ответил: «Так было не всегда. В 1813 году договоры запрещали немцам иметь армию. Но я что-то не припомню, чтобы Веллингтон сказал при Ватерлоо Блюхеру: „Ваша армия незаконна, извольте удалиться с поля битвы!“ Когда он встречался в июне 1934 года с Муссолини, он умело сочетал, по свидетельству одного из дипломатов, „достоинство с приветливостью и открытостью“ и произвёл „сильное впечатление“ на поначалу скептически настроенных итальянцев; Арнольда Тойнби поразил экскурс относительно роли Германии как стража на востоке Европы, который, по его воспоминаниям, отличался необыкновенной логикой и ясностью: Гитлер неизменно демонстрировал собранность, подготовленность, нередко — любезность и умел, как отметил после одной встречи Франсуа-Понсе, создать видимость „самой полной откровенности“[511].

Большое число иностранных посетителей в свою очередь значительно отразилось на престиже Гитлера. Подобно немцам, которые приходили посмотреть и подивиться на него как на цирковой номер, они теснились растущей толпой, расширяя ауру величия и восхищения, которая окружала его.

Они с жадностью ловили его слова о том, как жаждет народ порядка и работы, о его воле к миру, которую он любил связывать со своим личным опытом фронтовика, слова, которые демонстрировали понимание его повышенного чувства чести. Уже в то время стало обычным делом не в последнюю очередь в самой

Германии проводить различие между фанатичным партийным политиком прошлого и осознавшим свою ответственность реалистом настоящего; и впервые с кайзеровских времён у большинства опять было чувство, что оно может идентифицировать себя с собственным государством, не испытывая сожаления, озабоченности и тем более стыда.

С этими успехами фигура вождя и спасителя стала беспрецедентной силой оглушительной, пронизанной метафизическими тонами пропаганды. На утренней манифестации 1 мая Геббельс затягивал свою речь до тех пор, пока борющееся с облаками солнце не пробилось сквозь них лучами — и тут в сияющем свете перед массами появился Гитлер: только такая тщательно обдуманная символика придавала образу вождя ранг сверхъестественного принципа. Вплоть до уровня мельчайших ячеек общества все социальные отношения группировались вокруг этого типа: ректор считался «вождём университета», предприниматель — «вождём предприятия», наряду с этим существовало огромное количество партийных вождей: в 1935 году — около 300 тысяч, в 1937 году уже свыше 700 тысяч, а во время войны со всеми побочными подразделениями и подчинёнными организациями почти два миллиона. В Гитлере все эти всеохватные отношения «вождь-ведомые», в которые был встроен каждый человек, находили своё псевдорелигиозное и возвышенное надо всем земным завершение, один экзальтированный член церковного совета из Тюрингии заверил даже: «В образе Адольфа Гитлера к нам пришёл Христос»[512]. Личность и судьба великого, одинокого, избранного мужа, который поборол беду и взял её тяготы на себя, стали предметом многочисленных стихов или драм о вожде. В пьесе Рихарда Ойрингера «Немецкие страсти господни», которая была с большим успехом поставлена летом 1935 года и превозносилась как образец национал-социалистической драматургии, он явился как воскресший Неизвестный солдат, с терновым венком из колючей проволоки на главе, в мир спекулянтов, акционеров, интеллектуалов и пролетариев, представителей «ноябрьского государства», потому что ему, как было там сказано на фоне постоянных ассоциаций с христианскими мотивами, стало «жалко народ». Когда бешеная толпа хочет исхлестать и распять его, он останавливает её, явив чудо, и ведёт нацию к «винтовке и станку», примиряет живых с павшими на войне в народном сообществе «третьего рейха», а затем его раны «засияли лучезарным светом», и он вознёсся на небо со словами: «Свершилось!» В указании режиссуре говорится: «С небес звучит, как в храме, орган, выражающий печаль расставания. По ритму и гармоническому

ладу созвучие с маршевой песней»[513].

В близком родстве с подобными литературными «шедеврами» возникла обширная культура китча, которая надеялась поживиться на моменте и благоприятной конъюнктуре: предлагались подставки для метёлочек под названием «Добрый Адольф», копилки принимали форму фуражек штурмовиков, изображения Гитлера появились на галстуках, а свастика — на пепельницах и круглых картонках под пивные кружки.

Национал-социалисты предостерегающе указывали на то, что изображение фюрера используется и профанируется толпой «дельцов от искусства»[514].

Такое безудержное восхваление явно подействовало, несмотря на такие возражения, и на самого Гитлера. Хотя он рассматривал искусно созданный вокруг него вихрь преклонения не в последнюю очередь как средство психологической тактики:

«Массе нужен идол», — заявил он, в нём все яснее стали проступать гибридные черты «вождя-папы римского», которые в начале захвата власти отошли на задний план. Уже 25 февраля 1934 года Рудольф Гесс с королевской площади в Мюнхене под грохот орудийной канонады привёл к присяге примерно миллион политических руководителей, вожатых «Гитлерюгенда» и руководителей службы трудовой повинности, по радио звучала клятва: «Адольф Гитлер — это Германия, а Германия — это Адольф Гитлер. Кто присягает Гитлеру, присягает и Германии»[515].

Получая соответствующий настрой от своего фанатичного окружения, он все больше вживался в эту формулу, которая была к тому времени теоретически обоснована обширной литературой по государству и праву: «Новый и решительный момент в фюрерском государстве состоит в том, что оно преодолевает присущее демократии деление на правителей и управляемых в единстве, в котором сливаются фюрер и его приверженцы». Все интересы и общественные антагонизмы в его особе устранялись, фюрер обладал властью обязывать и освобождать от обязательств, он знал путь, миссию, закон истории[516]. Полностью в духе этого представления Гитлер в своих речах демонстративно вёл счёт на столетия и порой намекал на своё особое отношение к провидению: он дезавуировал ожидание реализации программы со стороны многочисленных «старых борцов», таким же образом он, например, заставил своих данцигских сторонников, как слепое дисциплинированное орудие, резко развернувшись, выполнить столь же резкий поворот в политике по отношению к Польше, не считаясь с местными интересами. «Все с Германии начинается с этого человека и замыкается на нём!», — писал его

адъютант Вильгельм Брюкнер[517].

Чем увереннее и неуязвимей чувствовал себя Гитлер в обладании властью, тем явственнее проступали старые черты человека богемы, состояния апатии и перепады настроения.

Пока он ещё придерживался распорядка работы, ровно в десять часов утра входил в свой рабочий кабинет и не без удовлетворения показывал вечерним посетителям на горы отработанных дел. Но всё же он всегда ненавидел дисциплинирующий груз регулярной работы, «одна-единственная гениальная идея, — имел он обыкновение уверять, — ценнее целой жизни добросовестного бюрократического труда»[518].

Поэтому как только прошло первое увлечение работой канцлера, то окрыляющее вдохновение, которое исходило от исторической обстановки, письменного стола и рабочих принадлежностей Бисмарка, он стал забрасывать и эти дела — как в годы юношества игру на пианино, школу, рисование и, собственно говоря, рано или поздно все, в конце и саму политическую игру — но только не основные установки, определявшиеся в равной степени страхом и честолюбием.

Примечательно, что его образ жизни вскоре снова приобрёл нечто от швабингского кондотьерского стиля 20-х годов. Всегда в пёстрой компании сомнительных деятелей искусства, драчунов и адъютантов, тянувшихся за ним наподобие караван-сарая, Гитлер начал череду непрестанных поездок по стране, он как будто метался между рейхсканцелярией, Коричневым домом, Оберзальцбергом, Байрейтом, площадями манифестаций и залами собраний, может быть, тут был ещё и замысел распространять чувство своей вездесущности. Например, 26 июля 1933 года он выступил с речью перед делегацией 470 молодых итальянских фашистов, в 14 часов принимал участие в похоронах адмирала фон Шрёдера, а в 17 часов был уже в вагнеровском театре в Байрейте, 29 июля, все ещё в Байрейте, он был почётным гостем на приёме у Винифред Вагнер, а на следующий день возложил венок на могилу композитора. Во второй половине дня он выступил на Германском спортивном празднике в Штутгарте, затем направился в Берлин, потом на встречу с рейхс— и гауляйтерами в Оберзальцберг, а 12 августа участвовал в торжестве памяти Рихарда Вагнера, в Нойшванштайне, где он назвал себя в речи человеком, завершившим планы Людвига II.

Отсюда он на одну неделю вернулся Оберзальцберг, 18 августа выехал на подготовку предстоящего партийного съезда в Нюрнберг, а днём позже на совещание с командованием СА и СС в Бад-Годесберг. По единодушным свидетельствам очевидцев, уже теперь, когда появилась уверенность в прочности успеха, стали

проявляться наблюдавшиеся в ранние годы резкие изменения в желаниях и интересах в течение дня, часто он как бы долго плыл по течению, не принимая решений, чтобы внезапно развить взрывную энергию, прежде всего в вопросах, касающихся власти. Он скоро стал, не скрывая этого, уклоняться от выполнения многочисленных обременительных, рутинных, связанных с его постом обязанностей и ходить вместо этого в оперу и кино, в те месяцы он перечитал все тома Карла Мая (примерно 70 книг), о которых он позже, в кульминационный момент войны, сказал, что они открыли ему глаза на мир, именно этот стиль открытой праздности вызвал саркастическое замечание Освальда Шпенглера, что «третий рейх» представлял собой «организацию безработных посредством уклонения от работы»[519]. Розенберг, например, тоже расстроился, когда Гитлер предпочёл устроенному им митингу балет на льду. Уже в прежние годы Готфрид Федер хотел приставить к Гитлеру офицера, который следил бы за порядком и выполнением программы дня, теперь же Геббельс заверял с характерной для него любовью к выспренним формулировкам: «То, что мы постоянно стремимся… осуществить, стало у него в мировых масштабах системой. Его способ творчества — способ подлинного деятеля искусства, независимо от того, в какой бы области он ни действовал»[520].

В исторической ретроспективе можно сказать, что за первый год канцлерства Гитлер добился удивительно многого: устранил Веймарскую республику, осуществил важнейшие шаги по созданию замкнутого на него лично фюрерского государства, централизовал, политически унифицировал нацию и довёл её до первых стадий превращения в послушное орудие, в качестве которого он её рассматривал, как и все другое; он положил начало перелому в экономике, освободился от пут Лиги наций и завоевал уважение заграницы. За короткое время многообразное свободное общество с его множеством центров власти и влияния превратилось в «чистую, ровную, послушную золу»: как формулировал он сам, «был устранён целый мир воззрений и институтов и на его место поставлен другой»[521]. Все сопротивление было распылено по лишённым руководства, дезорганизованным группам и не имело политического веса.

Правда, то, что Геббельс называл «процессом переплавки народа», происходило не без применения насилия, тем не менее роль грубых средств в захвате власти была невелика, гитлеровская формула о «самой бескровной революции мировой истории», которая скоро вошла в основной риторический лексикон режима, имела вполне реальную основу, хотя

сооружение концентрационных лагерей, число политических заключённых (по официальным данным на 31 июля 1933 года их было 27 тысяч) или даже вышедший 22 июня 1933 года указ о «борьбе с очернительством», который объявлял наказуемым простое выражение недовольства как «продолжение марксистского подстрекательства», наглядно демонстрировали, какими средствами поддерживали температуру в ковше переплавки.

Изучая «чудо» народного сообщества, нельзя также не обратить внимание на то, что на место партий прошлого пришла всего-навсего одна партийная система особого рода и произошла лишь замена одних соперничающих групп другими: за влияние дрались функционеры-выразители тоталитарного интереса, главари банд со своими сторонниками, партийные сатрапы, демократическую борьбу за власть они заменили скрытой войной в джунглях без каких-либо правил игры и вне контроля общественности. В действительности, унификация и вся пропаганда никогда не могли заставить забыть иллюзорный, фиктивный характер народного сообщества: последнее было эффектным фасадом, оно не устраняло, а в основном камуфлировало общественные конфликты. Один эпизод, относящийся к первым дням режима, демонстрирует осуществлённое принуждением и обманом примирение нации с самое собой столь же гротескно, сколь и образно: по приказу Гитлера имевшему дурную репутацию командиру так называемого «тридцать третьего штурмового истребительного отряда» Хансу Майковскому («Красному петуху») который был убит, возвращаясь 30 января 1933 года с исторического факельного шествия, были возданы почести вместе с погибшим в ту же ночь сотрудником полиции Цаурицем — их похороны стали государственным актом. От имени народного сообщества гробы с телами полицейского который был католиком и левым, и штурмфюрера, нарушителя закона и безбожника, бесцеремонно были установлены вопреки протестам церковного руководства в Лютеровском соборе, а не кто иной, как бывший кронпринц — в принудительном примирении недоставало его фигуры — возложил к гробам венки[522].

Но несмотря на все накладки и вторая фаза захвата власти прошла быстрее и с меньшими трениями, чем ожидалось. При помощи игры в законность, которая всякий раз санкционировала уже осуществлённые меры и одновременно подготавливала новые, были осуществлены необходимые шаги к фюрерскому государству теперь также и в организации государства и партии. В землях давно уже правили имперские наместники в качестве

надсмотрщиков партии, они смещали министров, назначали чиновников, участвовали в заседаниях кабинета и осуществляли почти неограниченную власть над нижестоящими структурами, после того как верховная власть земель законодательно перешла к рейху и имперский совет был устранён. Рейх забрал себе и юридические компетенции земель. Новая схема организации партии делила страну на 32 округа (гау), округа на районы, местные организации, ячейки и группы. Хотя закон от 1 декабря 1933 года провозглашал единство партии и государства, фактически же Гитлер проводил курс на их разделение. Не без тактических задних мыслей он оставил центральное руководство НСДАП в Мюнхене и вообще явно демонстрировал своё намерение держать партию в стороне от воздействия на правительственные дела: в том же направление должно было сработать назначение «заместителя фюрера», слабого, преданного и не имевшего собственной опоры в партии Рудольфа Гесса, во всяком случае, НСДАП не обладала политическим приматом перед государством; единство реализовалось лишь в личности Гитлера, который и далее в значительной степени удерживал в своих руках нити зачастую раздроблённых компетенций и позволял партии лишь в отдельных случаях завоёвывать государственные функции и реализовать её тоталитарные притязания.

Почти все институты власти были покорены. Гинденбург был больше не в счёт, он, по меткому замечанию его друга и соседа по поместью фон Ольденбург-Янушау, был рейхспрезидентом, «которого, собственно говоря, уже больше нет»[523], примечательно, что руководящий состав партии во время массовой присяги 25 февраля клялся в верности Гитлеру, а не президенту, как того бы требовал закон о единстве партии и государства. Хотя в некоторых концепциях с престарелым президентом связывались надежды на законность и традиции, он тем временем не только сдался Гитлеру, но и позволил коррумпировать себя, его готовность поддерживать национал-социалистический курс на захват власти своим моральным авторитетом находилась во всяком случае в примечательном контрасте с ворчливой холодностью, с которой он предоставил своей участи республику. В годовщину битвы под Танненбергом[524] он принял в подарок от новых властителей соседний с поместьем Нойдек земельные участки Лангенау и выкупленный из-под залога Пройсенвальд, отблагодарив за эту щедрость весьма необычным в немецкой военной истории жестом: он присвоил отставному капитану Герману Герингу «в знак признания его выдающихся заслуг на войне и в мирное

время» звание генерала пехоты.

Единственным институтом, избегавшим унификации, оставался рейхсвер. Именно на него направлялось с явно растущим нетерпением революционное честолюбие СА. «Коричневый поток должен залить серую[525] скалу», — любил говорить Эрнст Рем[526], и его опасение, что Гитлер может отказаться от революции по тактическим причинам и из-за оппортунизма, было решающим мотивом надвигающего теперь конфликта. С точки зрения Гитлера, рейхсвер и СА были единственными ещё независимыми факторами власти с несломленным самосознанием. То, как он сломал хребет одному из них руками другого, а другому руками первого, решило проблему существования любого революционного вождя: бросить на съедение революции как раз самых верных её сынов, чтобы опять-таки акт предательства зачёлся как историческая заслуга — в этом вновь проявилась его тактическая виртуозность.

Пока он, как это постоянно бывало в критических ситуациях его жизни, ещё колебался и отговаривался от наседавших на него контрагентов тем, что «делу надо дать вызреть», с весны 1934 года в игру вступили силы, которые на разных путях ускорили развитие. 30 июня 1934 года многочисленные интересы и мотивы собрались воедино и встретились перед дулами расстрельных команд.

Глава III
«ДЕЛО РЕМА»

После революции всегда встаёт вопрос о революционерах

Из письма Муссолини к Мосли

Никто не охраняет свою революции бдительнее, чем фюрер

Рудольф Гесс, 25 июня 1935 года

Революция без врагов. — Лозунг «Второй революции». — «Адольф предаёт всех нас!» — Гитлер и рейхсвер. — Приговор Рему вынесен. — Выступление перед гауляйтерами. — Облава начинается. — Последний разговор с Ремом. — Речь Папена в Марбурге. — Инспирированный путч СА. — «Рем, ты арестован!» — Круг заданий расширяется. — Пикник в саду 1-го июля. — Гитлер в рейхстаге. — Les institutions perissent par leurs victoires (Учреждения погибают в результате своих побед). — Возвышение СС. — Смерть Гинденбурга. — Вся полнота власти. — Начало тихой революции.

Разработанная Гитлером тактика легальной революции обеспечивала захват власти с относительно незначительным применением насилия и пролитием крови и позволяла избежать того глубокого раскола, который поражает каждую нацию после революционных времён. Однако она имела тот недостаток, что старые элитарные слои, приспособившись к революции, остались целыми и невредимыми и по меньшей мере гипотетически в любой момент могли поставить под вопрос существование нового режима; они были ошеломлены, временами увлечены общим потоком событий, но отнюдь не устранены и не лишены дееспособности. Одновременно тактика Гитлера неизбежно должна была посеять семена гнева в боевом авангарде СА, который с боями проложил движению путь к власти и чувствовал

себя теперь обманутым.

С кривой усмешкой и не без горечи коричневые преторианцы наблюдали, как «реакция»: капиталисты, генералы, юнкеры, консервативные политики и прочие «трусливые обыватели» поднимались в дни праздников победы Национальной революции на почётные трибуны, и чёрные фраки торопились занять места рядом с коричневыми мундирами.

Революция без разбора вербовала своих приверженцев, что лишало её противника.

Недовольство старомодного честного «рубаки» Рема ходом захвата власти стало довольно скоро выражаться в неоднократных публичных выступлениях. Уже в мае 1933 года он счёл необходимым предостеречь СА в своём распоряжении насчёт всех фальшивых друзей и ложных праздников, а также напомнить своим штурмовым отрядам о не достигнутых пока целях: «Хватит праздников. Я хочу, чтобы СА и СС теперь явно отошли в сторону от вереницы торжеств… Перед нами ещё стоит задача завершить национал-социалистическую революцию и создать национал-социалистическое государство»[527].

В то время как Гитлер, более хитрый и изощрённый, чем простоватый Рем, видел в революции псевдолегальный процесс выхолащивания захваченных структур, при котором на первый план выдвигались средства демагогии, изматывания противника или обмана, а насилие использовалось лишь как вспомогательное средство для запугивания, Рем, исходя из самого понятия революции, связывал с ней фазу восстания с громом битв, клубами порохового дыма и штурмом цитаделей старой власти, прежде чем в «ночь длинных ножей», когда дело дойдёт до кровавой кульминации революции, вместе с ненавистными представителями этой власти падёт и отживший своё мир и восторжествует новый порядок. Но ничего подобного не произошло, и Рем был глубоко разочарован.

После короткого периода неуверенности он попытался оградить штурмовые отряды от процесса великой национальной переплавки. Рем подчёркивал противоречия со всеми другими сторонами и восхвалял особое сознание СА: «Только они добьются чистого, неискажённого национализма и социализма и сохранят их»[528]. Своих командиров он предостерегал от занятия постов и почётных мест в новом государстве.

Если его соперники Геринг, Геббельс, Гиммлер, Лей и многочисленные люди из третьего ряда свиты Гитлера расширяли своё влияние, завоёвывая положение, дающее власть, Рем пытался идти противоположным путём: готовить при помощи последовательного роста своих формирований, которые вскоре

увеличились до 3, 5 — 4 млн. человек, государство СА, которое в один прекрасный день будет «надето» на существующий строй.

Естественно, что при таких обстоятельствах вновь стали давать о себе знать старые противоречия с политической организацией — неприязнь воинствующих революционеров к толстошеим эгоистам из среднего сословия, заполнявшим ПО, которые, пыхтя в жмущих вицмундирах, в большинстве случаев однозначно превосходили их в мелкотравчатой борьбе за «тёплые местечки» и позиции. Недовольство ещё больше выросло, когда Гитлер со все большим нажимом стал требовать прекращения революционного разгула. Уже в июне 1933 года началась ликвидация многочисленных «диких» лагерей СА для содержащихся под арестом, вскоре после этого были распущены первые части вспомогательной полиции. Сторонники Рема напрасно напоминали о жертвах, которые они принесли, о боях, которые они выдержали, они чувствовали себя обделёнными как забытые революционеры упущенной революции: Рем уже в июне 1933 года резко выступил против все чаще звучащего заявления, что захват власти закончен и задача СА выполнена. Тот, кто требует усмирить революцию, предаёт её, — заявил он, — рабочие, крестьяне и солдаты, которые маршировали под его штурмовыми стягами, завершат свою задачу, не обращая внимания на приспособившихся «обывателей и нытиков»:

«Устраивает это вас или нет, — мы продолжим нашу борьбу.

Если вы наконец-то поймёте, о чём идёт речь, — вместе с вами! Если вы не хотите — без вас! А если надо будет — против вас!»[529]

В этом состояло значение лозунга «Второй революции», который с того момента курсировал в казармах и штабах СА: она должна была помочь подняться на ноги погрязшему в тысячах жалких половинчатостей и компромиссах или даже преданному захвату власти весной 1933 года и привести к полной революции, завоеванию всего государства. Этот клич часто расценивался как доказательство существования среди коричневых соединений хотя бы расплывчатого проекта нового общественного устройства. Но из тумана фраз о «священной социалистической воле» никогда не вырисовывалась поддающаяся определению концепция, и никто не был в состоянии описать, каким все же будет государство СА.

Этот социализм никогда не выходил за рамки грубого, не прошедшего стадии рефлексии милитаризированного коммунизма, который у самого Рема и его ближайшего окружения принимал ещё более резкие формы под воздействием социального сознания кучки гомосексуалистов, окружённой

враждебным внешним миром; государство СА, если характеризовать его некой формулой, было не чем иным, как государством, которое должно было решить действительно отчаянную социальную проблему многочисленных безработных штурмовиков. Наряду с этим речь шла и об обманутых устремлениях политического авантюризма, прятавшего свой нигилизм под политической маской идеологии национал-социалистического движения и не желавшего понять, почему это он после одержанной наконец победы должен распрощаться с приключениями, борьбой и «живым делом».

Как раз бесцельность революционного аффекта СА стала тем временем пробуждать озабоченность широкой общественности. Никто не знал, против кого обернёт Рем ту могучую силу, о которой он угрожающе напоминал нервозной чередой парадов, инспекций и помпезных митингов по всей Германии. Он демонстративно взялся за возрождение в СА старых боевых стремлений, но вместе с тем искал связей и финансовой поддержки среди промышленников, создал в лице полевой полиции СА собственный исполнительный орган и одновременно приступил к формированию собственной системы подсудности СА, которая вводила жесточайшие наказания за бесчинства, грабёж, кражу или разграбление со стороны СА, но в то же время предусматривала, что «соответствующий командир СА имеет право судить за убийство члена СА до 12 человек вражеской организации, подготовившей убийство»[530], одновременно Рем старался закрепиться в администрации земель, в академической и журналистской сферах, а также демонстрировать всесторонний характер особых притязаний СА. Его недовольство выплёскивалось в многочисленных критических суждениях об антисемитизме, внешней политике, устранении профсоюзов или подавлении свободы мнений.

Он ожесточённо выступал против Геббельса, Геринга, Гиммлера и Гесса и, кроме того, своими планами включить массовую коричневую рать в гораздо меньший по численности рейхсвер и создать национал-социалистическую милицию спровоцировал враждебность ревниво защищавшего свои традиции и привилегии генералитета. Глубоко оскорблённый многочисленными тактическими соображениями Гитлера, он откровенно выражал своё раздражение среди друзей:

> «Адольф — подлец, — ругался он. — Он предаёт всех нас. Только с реакционерами и якшается. Старые товарищи ему слишком плохи. Набрал себе генералов из Восточной Пруссии. Они теперь его доверенные люди…

Адольф точно знает, чего я хочу. Я это ему достаточно часто говорил. Не надо копии кайзеровской армии. Сделали мы революцию или нет?.. Нужно что-то новое, понимаете меня? Новая дисциплина. Новый принцип организации. Генералы — старые рутинёры. У них никогда новой идеи не появится.

А Адольф остаётся штафиркой, «художником», витает в облаках. Думает о том, чтоб его оставили в покое. Будь его воля, сидел бы себе в горах разыгрывал Всевышнего. А мы стой без дела, хотя руки чешутся… Сейчас у нас есть уникальная возможность совершить новое, великое, перевернуть весь мир. А Гитлер меня кормит обещаниями. Хочет, чтобы всё шло своим чередом. Надеется, что потом произойдёт чудо небесное. Это подлинное «я» Адольфа. Хочет унаследовать готовую армию, чтоб ему её сформировали «спецы». Когда я слышу это слово, хочется рвать и метать. А потом, говорит он, сделает её национал-социалистической. Но сперва отдаст её под начало прусским генералам. Откуда там потом взяться революционному духу? На своих местах остаются старые козлы, которым новую войну не выиграть. Как вы все ни старайтесь, очки вы мне не вотрёте. Тут вы губите душу нашего движения»[531].

Судя по всему, Гитлер никогда не думал всерьёз о том, чтобы следовать идеям Рема. В давнем спорном вопросе о задачах СА он и после завоевания власти считал, что коричневые соединения должны выполнять не военную, а политическую функцию, что они составляют «ударную команду Гитлера», а не кадры революционной армии. Тем не менее внешне он вёл себя поначалу нерешительно, явно надеясь найти среднюю линию, соединяющую амбиции Рема и притязания рейхсвера. Бесспорно, он испытывал глубокую, подкреплённую опытом 1923 года неприязнь к заносчивым, негнущимся «старым рутинёрам» с моноклями, Гиммлер как-то слышал, как он сказал о генералах: «Они будут ещё раз стрелять в меня!»[532] Но без их поддержки было немыслимо завершить захват власти. Старые чувства обиды не могли вычеркнуть из памяти основные уроки ноябрьского путча: никогда больше не вступать в открытый конфликт с вооружёнными силами. Своё тогдашнее поражение он объяснял враждебностью армии, как и успех 1933 года поддержкой или благосклонным нейтралитетом руководства рейхсвера. Кроме того, их профессиональные знания представлялись ему безусловно необходимыми для начавшегося уже ранним летом

1933 года перевооружения, от которого в свою очередь зависело своевременное осуществление его планов экспансии.

Далее, только регулярная армия располагала той наступательной мощью, которая отвечала его намерениям, в то время как милиция в том общем виде, в каком её представлял себе Рем, была в строгом смысле инструментом обороны.

Кроме того, первый опыт личного общения с верхушкой рейхсвера явно ослабил недоверие Гитлера. Как в министре фон Бломберге, так и в новом руководителе аппарата министра полковнике фон Райхенау он нашёл двух партнёров, которые почти безоговорочно следовали его курсу, правда, по разным мотивам. Один в силу лабильности темперамента, которому нечего было противопоставить целеустремлённому искусству Гитлера подчинять себе других, кроме мечтательной податливости; фон Бломберг, что характерно, был поочерёдно сторонником демократических убеждений, антропософии, идеи прусского социализма, после поездки в Россию — «почти коммунизма», и, наконец, все большим поклонником авторитарных идей, пока не стал со всем энтузиазмом поклоняться новому идолу — Гитлеру. В 1933 году в одно мгновение, заверял позже Бломберг, он неожиданно обрёл вещи, которых больше никогда не ожидал: веру, преклонение перед одним человеком и полную преданность одной идее. От одного дружеского слова Гитлера у него к глазам, по свидетельству современника, подступали слезы, порой он даже говорил, что сердечное рукопожатие фюрера иногда излечивало его от простуды[533]. Другой же, Райхенау, человек трезвого макиавеллистского склада ума, который в своих честолюбивых устремлениях не поддавался эмоциям и видел в национал-социализме не предмет убеждений или увлечений, а идеологию массового движения, революционный порыв которого он хотел использовать как для личной карьеры, так и для укрепления позиций армии в структурах власти, в данный же момент он хотел его приручить. Холодный и интеллигентный, волевой в принятии решений, хотя и не без признаков легкомыслия, он почти в совершенстве воплощал тип современного, получившего хорошую техническую подготовку и непредвзятого в социальном отношении офицера, отсутствие предрассудков у него распространилось, правда, и на моральные категории. На совещании командующих в феврале 1933 года он заявил, что прогнившие порядки в государстве можно устранить только при помощи террора, вермахт не должен вмешиваться в эти дела, но быть в «полной готовности».

Этот девиз так отвечал тактическим установкам Гитлера, что

он, наверно, спрашивал себя, с какой стати ему отвергать предложенную лояльность военных специалистов и вставать на сторону путающего все карты Рема, в тесном кругу приближённых он с издёвкой говорил о «колченогих штурмовиках», вообразивших себя «материалом для военной элиты»[534].

Вопреки своей обычной манере сбивать противников с толку при помощи двойной игры, натравливать их друг против друга и заставлять пожирать друг друга Гитлер на этот раз недолго скрывал от внешнего мира свои намерения. Правда, он все подогревал воинственную активность СА и, например, обращался к ним с такими словами: «Вся ваша жизнь будет борьбой. Вы родились в горниле схваток, не надейтесь сегодня или завтра на мир»[535]. Включение Рема в состав кабинета 1 декабря или сердечнейшее письмо начальнику штаба СА по случаю Нового года расценивалось в СА зачастую как подтверждение их амбиций; несмотря на это Гитлер неоднократно заверял рейхсвер, что тот был и остаётся единственным носителем оружия нации, и уже принятое в конце года решение вновь ввести воинскую повинность в рамках рейхсвера разбивало все далеко идущие планы Рема по созданию милиции.

Все ещё веря в то, что Гитлер как всегда ведёт тактическую игру и втайне по-прежнему разделяет его взгляды, Рем самое большее предполагал наличие своих врагов среди советчиков фюрера. Привыкнув преодолевать все трудности лобовой атакой, Рем реагировал на происходившее крикливыми выпадами и демонстративным изложением своих требований. Он назвал Гитлера «слабаком», который находится в руках «глупых и опасных субъектов», но он, Рем, освободит его «из этих пут»[536]. В то время как СА начали выставлять вооружённую охрану штабов, он направил в министерство рейхсвера записку, в которой оборона страны объявлялась «сферой СА», а армии отводилась только задача военной подготовки. Непрерывными речами и шумными акциями он постепенно сам подготовил ту сцену, на которой суждено было решиться его судьбе. Уже в начале января, несколько дней спустя после благодарственного письма начальнику штаба СА и другу, с которым он был на «ты», Гитлер дал задание руководителю ведомства тайной государственной полиции Рудольфу Дильсу собирать компромат насчёт «господина Рема и его дружеских связей», а также о террористических действиях СА. «Это самая важная задача из всех, которые когда-либо ставились перед Вами», — объяснял он Дильсу[537].

Тем временем и рейхсвер не оставался в бездействии. Памятная записка Рема ясно показала, что все усилия по

объединению потерпели крах и теперь решение должен принять Гитлер. Демонстративно идя ему навстречу, Бломберг в начале февраля распорядился о применении «критериев арийского происхождения» к офицерскому корпусу и возвёл так называемый символ НСДАП, свастику, в официальный символ вооружённых сил. Начальник управления сухопутных войск генерал фон Фрич обосновал такое решение, заметив, что это придаст «канцлеру необходимую силу удара по СА»[538].

Гитлер на самом деле теперь чувствовал, что жизнь заставляет занять недвусмысленную позицию. 2 февраля он выступил перед собравшимися в Берлине гауляйтерами с речью, которая отражала его тогдашние тревоги и, кроме того, носила характер примечательного принципиального заявления. В протоколе встречи говорилось:

> «Фюрер подчеркнул…, те, кто утверждает, что революция не окончена — дураки, далее он сказал, что у нас в движении есть люди, которые понимают под революцией не что иное, как постоянное состояние хаоса…
>
> Как острейшую главную задачу фюрер охарактеризовал подбор людей, с одной стороны, способных, а с другой — со слепым повиновением претворяющих в жизнь меры правительства. Партия, являясь своего рода орденом, должна обеспечить необходимую стабильность всего немецкого будущего… Первый фюрер был избран судьбой; второй должен с самого начала иметь за собой верное, скреплённое клятвой сообщество. Нельзя избирать такого, кто обладает опорой в виде обособленной силы!
>
> Фюрер может быть всегда только один… Подобная организация с такой внутренней жёсткостью и силой будет держаться вечно, её ничто не сможет свергнуть. Сплочённость внутри движения должна быть небывало крепкой. Мы не имеем право вести борьбу между собой; никогда посторонние не должны узнавать о наличии разных мнений! Народ не может нам слепо верить, если мы сами будем разрушать это доверие. Даже последствия неверных решений должны сглаживаться безусловной сплочённостью. Никогда один авторитет не должен использоваться против другого…
>
> Поэтому никаких ненужных дискуссий! Проблемы, относительно которых в отдельных руководящих органах ещё нет ясности, ни в коем случае не должны

обсуждаться публично, ибо в противном случае решение ложится на народные массы. В этом было безумие демократии, это сводит к нулю ценность всякого руководства…

Мы имеем право в каждый определённый момент вести только одну битв, одну схватку за другой. Собственно говоря, верна не поговорка — «много врагов — много чести», а «много врагов — много глупости». Кроме того, народ не может одновременно вести и понимать двенадцать битв. Соответственно мы можем давать народу на один период только одну идею, сосредоточивая его на ней. Как раз во внешнеполитических вопросах необходимо иметь за собой весь народ как загипнотизированный, вся нация в этой борьбе должна быть прямо-таки по-спортивному охвачена страстью игрока; это необходимо. Если в борьбе участвует вся нация, то она вся в проигравших. Если она не проявляет интереса, то в проигравших только руководство. В первом случае возникает гнев народа по отношению к врагу, во втором — к вождю»[539].

Практические выводы из этих высказываний, программная суть которых оставалась в силе вплоть до военных лет, не заставили долго ждать. Уже 21 февраля Гитлер доверительно сообщил своему гостю Антони Идену, что он сократит СА на две трети и поставит дело так, чтобы оставшиеся соединения не имели оружия и не получали военной подготовки. Восьмью днями позже он вызвал командование рейхсвера, а также руководство СА и СС во главе с Ремом и Гиммлером в министерство на Бендлерштрассе. В речи, которая была воспринята офицерами с удовлетворением, а командирами СА — с ужасом, он обрисовал основные черты соглашения между рейхсвером и СА, которое ограничивало компетенцию коричневых штурмовых отрядов некоторыми второстепенными военными функциями, а в остальном возлагало на них в качестве главной задачи политическое воспитание нации. Он при этом заклинал руководство СА не оказывать ему сопротивления в столь серьёзное время и грозил раздавить всякого, кто будет ему мешать.

Однако Рем не внял этим предостережениям. Поначалу он сохранял самообладание и даже пригласил присутствующих на «завтрак примирения». Но едва только генералы ушли, он излил своё недовольство. По рассказам, он назвал Гитлера «невежественным ефрейтором», и без обиняков заявил, «что и не

думает соблюдать соглашение. Гитлер вероломный человек, его надо как минимум отправить в отпуск»[540].

И как того требует бульварный сюжет, по которому развивались теперь события, не стало дело и за предателем; обергруппенфюрер СА Лутце посетил Гитлера в Оберзальцберге и донёс ему в ходе многочасового разговора об этих выпадах и мрачном бахвальстве Рема.

Однако Ремом руководило не только упрямство и не только высокомерие человека, который самоуверенно заявлял, что под его началом стоит тридцать дивизий[541]; скорее дело было в другом: он прекрасно понимал, что Гитлер поставил его перед неприемлемой альтернативой. Предложение или заняться воспитанием нации, или сойти со сцены уже было само по себе удалением в небытие, хотя и облечённым в формулировку выбора; ибо никто не мог предположить всерьёз, что штурмовики, которых Гитлер называл «колченогими», были подходящим преподавательским составом для осуществления его педагогической утопии воспитания арийского человека-господина. Будучи убеждённым в безысходности своего положения, Рем, похоже, посетил Гитлера в начале марта и предложил ему «малое решение»: включение нескольких тысяч командиров штурмовых отрядов в рейхсвер, благодаря чему он надеялся выполнить по меньшей мере самые неотложные социальные обязательства перед своими сторонниками. Но ввиду опасности проникновения СА в рейхсвер Гинденбург и руководство рейхсвера воспротивились этому, и Рем почувствовал, что опять придётся встать на путь бунта — под натиском разгневанных сторонников, нетерпение которых явно росло, и под воздействием собственного честолюбия.

Действительно, с весны 1934 года вновь стали курсировать лозунги «Второй революции», но хотя при этом речь шла и о путче и о восстании, свидетельств существования конкретных планов действий нет. Как это и соответствовало натуре этой дикой, хваставшейся своей силой своры, она довольствовалась кровожадными фразами, в то время как сам Рем страдал приступами упадка духа, порой прикидывая, не стоит ли ему вернуться в Боливию, а при встрече с французским послом сказал, что болен[542]. Тем не менее он старался прорвать смыкавшееся все плотнее кольцо изоляции и установить контакты с Шляйхером и, вероятно, также с другими оппозиционными кругами. Он организовал новую мощную волну маршей и вообще старался демонстрировать несломленную силу СА беспрерывными триумфальными парадами. Одновременно он достал, отчасти путём закупок за границей, крупные партии оружия и

распорядился усилить программу военной подготовки своих подразделений[543].

Конечно, нельзя исключить, что тем самым он действительно только хотел занять разочарованных и раздражённых, шатающихся без дела штурмовиков, но эти шаги должны были действовать на Гитлера и руководство рейхсвера как вызов, а бунтовщическое бахвальство придавать тому тревожный тон.

Похоже, что самое позднее к этому времени Гитлер прекратил свои старания уладить дело с Ремом по-хорошему и взял курс на силовое решение. 17 апреля, на весеннем концерте СС в берлинском Дворце спорта, он в последний раз показался вместе с ним на публике. В дополнение к данному ранее Дильсу заданию он, согласно своим более поздним утверждениям, поручил отдельным партийным инстанциям разобраться со слухами о «Второй революции» и найти их источники. Напрашивается предположение, что с этим было связано одновременное создание службы безопасности (СА) и назначение Генриха Гиммлера руководителем прусского гестапо; с этим явно связано и то обстоятельство, что теперь впервые органы юстиции смогли добиться некоторого успеха в плане наказания за преступления, совершенные СА. Комендант концлагеря Дахау Теодор Айкке также в апреле получил, по слухам, задание составить «общеимперский список» «нежелательных лиц»[544].

Тем самым в нервозной атмосфере слухов и интриг началась настоящая охота с облавой, которая не оставила Рему никаких сомнений относительно того, что почти со всех сторон дело последовательно ведётся к его свержению.

Главными действующими лицами при этом были функционеры ПО, и прежде всего Геринг и Гесс, все они недолюбливали начальника штаба СА за то, что у него мощная домашняя армия и он в силу этого занимал позицию человека номер два; к ним скоро присоединился и Геббельс, который в силу своего радикального склада поначалу был на стороне Рема, а также Генрих Гиммлер, который как руководитель СС подчинялся СА и надеялся подняться за счёт падения Рема. Осторожно оперируя из-за кулис, стало все ощутимее заявлять о себе и руководство рейхсвера, которое умело подброшенной информацией о Реме и частичным отказом от собственной независимости надеялось перетянуть Гитлера на свою сторону.

Уже в феврале 1934 года оно добровольно устранило один из традиционных столпов офицерского корпуса, принцип социальной замкнутости, и дало указание, что впредь решающим критерием в военной карьере должно быть не происхождение из старой офицерской касты, а «понимание сути нового

государства»[545]. Вскоре после этого рейхсвер ввёл политическую учёбу в войсках, в то время как Бломберг опубликовал ко дню рождения Гитлера, 20 апреля, изобилующую славословием статью и одновременно переименовал мюнхенские казармы известного своими традициями полка Листа в «казармы имени Адольфа Гитлера». Намерения его и Райхенау были направлены на постепенное разжигание противоречий между Ремом и Гитлером до открытого столкновения, из которого они сами собирались выйти смеющимися победителями; недостаток проницательности внушал им надежду, что Гитлер не осознает: лишая власти Рема, он лишается власти сам и отдаёт себя на милость рейхсвера.

Растущая напряжённость заметно передавалась и общественному сознанию. Страной овладело беспокойство, от которого голова шла кругом, оно соединялось со своеобразным чувством парализованности и подавленности. В течение года Гитлеру удавалось фейерверком речей, призывов, переворотов и театральных эффектов-»находок» держать население в каком-то угаре — теперь и публика и режиссёр казались в равной степени измотанными. Возникла пауза, которая дала первую возможность задуматься над своим подлинным состоянием. Ещё не полностью раздавленное гнётом пропаганды население отмечало принуждение и регламентацию, преследование меньшинств, которые были сделаны беззащитными, существование концлагерей, конфликты с церквями, призрак надвигающейся из-за безудержных расходов инфляции, террор и угрозы СА и, наконец, растущее недоверие во всём мире, и сознание этих фактов порождало перелом в настроениях, с которым не смог справиться инсценированный Геббельсом шумный «поход против очернителей и критиканов». Подавленное настроение весной 1934 года не было массовым, и бесспорно не пробуждало сколько-нибудь широкой воли к отпору; но явно распространялись чувство скепсиса, недовольство, угнетённость и при всём этом ощущение того, что со страной творится что-то неладное, и от этого чувства было не уйти.

Распространяющееся отрезвление наводило на мысль ещё раз обратить взоры на консервативных организаторов давно минувшего января 1933 года. И, действительно, они, хотя и исключённые из реального процесса и низведённые до роли бессловесных статистов, казалось, почувствовали призыв, который обращала к ним ситуация. Слишком долго Папен и его единомышленники стояли на коленях перед Гитлером и жили былыми мечтами обмануть дьявола, сыграв роль Вельзевула. Когда Гинденбург уезжал в начале июня в отпуск в Нойдек, он высказался в разговоре с вице-канцлером пессимистически:

«Положение скверное, Папен. Попытайтесь привести дела в порядок»[546]. Поскольку сам президент вследствие явно прогрессирующего упадка сил не мог совершить действенных контрходов, разочаровавшиеся консерваторы с растущим интересом обдумывали идею реставрации монархии. Хотя Гитлер однозначно отверг эту мысль, в последний раз в речи перед рейхстагом 30 января 1934 года, теперь Гинденбург, по настоянию Папена, изъявлял готовность включить в своё завещание рекомендацию восстановить монархию. В остальном её поборники надеялись, что Гитлер под давлением обстоятельств рано или поздно вынужден будет пойти на некоторые нежелательные для себя уступки.

Участившиеся сообщения о близкой кончине Гинденбурга все острее требовали от Гитлера быстрого решения, ибо не сопряжённый с какими бы то ни было осложнениями переход поста президента к нему самому одновременно обеспечивал ему командование рейхсвером и представлял в его тактической концепции заключительный акт захвата власти. Поэтому 4 июня он ещё раз встретился с Ремом, чтобы, как это было сказано позднее в его оправдательной речи, «уберечь движение и мои СА от позора столкновения и устранить негативные моменты без тяжёлых стычек». В ходе пятичасовой беседы он заклинал его «добровольно выступить против этого сумасшествия Второй революции». Но от растерзанного Рема, который не мог и не хотел соглашаться с полной утратой всех своих позиций, он, очевидно, получил всего-навсего ставшие обычными бессодержательные заверения. В то время как развёрнутая пропагандистская кампания против господствовавших комплексов недовольства была ещё усилена и направлена не только против СА, но и консервативных позиций старой буржуазии, дворянства, церквей и прежде всего монархии, явно ничего не подозревающий Рем отправился в отпуск. В приказе он уведомлял своих последователей, что должен для лечения ревматизма выехать в Бад-Висзее и отправляет, чтобы несколько снять напряжённость положения, основную массу штурмовиков в отпуск на весь июль, однако послание предостерегало «врагов СА» питать «обманчивые надежды», что штурмовые отряды из отпуска не вернутся или возвратятся в сокращённом составе, и грозило им со зловещей многозначительностью дать «должный ответ». Примечательно, что имя Гитлера в приказе не упоминалось.

Вопреки всем позднейшим заверениям Гитлер, похоже, не расставался с Ремом в убеждении, что начальник штаба СА и его соратники провели подготовку к тому, чтобы занять столицу, захватить правительственную власть и после «многодневных боев

самого кровавого характера» устранить его самого, ибо девятью днями позже он отправился в свою первую поездку в Венецию. Правда, шагая в светлом дождевике навстречу украшенному орденами итальянскому диктатору, который, как утверждал политический анекдот, ходивший тогда в Германии, пробормотал ему навстречу «Аве, имитатор!», он производил впечатление нервозного, несобранного человека в плохом настроении, и начало этих странных отношений, исполненных взаимного восхищения и, пожалуй, слепоты, в которых Гитлер стал однозначно доминировать и подчинил их своему жёсткому пониманию дружбы, было исключительно неблагоприятным[547]. Однако тот факт, что он в условиях якобы непосредственно угрожающего путча, который мог предотвратить только он с его престижем, демагогической и политической ловкостью, отбыл за пределы страны, можно расценивать как дополнительное доказательство того, что он по меньшей мере не верил в мятеж Рема.

Зато теперь взялись за дело другие. Опасаясь, что явно приближающаяся смерть Гинденбурга уничтожит последний шанс направить режим по более умеренному пути, закулисные консервативные круги нажали на Франца фон Папена, чтобы он немедленно дал знак к выступлению. 17 июня, когда Гитлер был в Гере на встрече с руководством партии, вице-канцлер произнёс в Марбургском университете речь, подготовленную для него консервативным писателем Эдгаром Юнгом и имевшую эффект разорвавшейся бомбы. Он критиковал режим насилия и необузданный радикализм национал-социалистической революции, резко выступил против недостойного пресмыкательства и практики нивелирующей унификации, «противоестественного притязания на тоталитарность», а также плебейского неуважения к духовному труду. Далее он продолжал:

> «Ни один народ не может себе позволить вечное восстание снизу, если он хочет устоять перед судом истории. В какой-то момент движение должно подойти к концу, однажды должна возникнуть прочная социальная структура, удерживаемая воедино скрепами не подвластного посторонним влияниям правосудия и пользующейся бесспорным авторитетом государственной власти. Из вечной динамики ничего не построить. Германия не должна лететь вверх ногами в неизвестность…
>
> Правительство хорошо знает, сколько корысти, бесхарактерности, нечестности, нерыцарственности и

дутых притязаний хотело бы развернуться под прикрытием немецкой революции. Оно не закрывает глаза на то, что богатое сокровище доверия, которым одарил его немецкий народ, находится под угрозой. Если хочешь быть близким к народу и связанным с ним, то нельзя недооценивать народный ум, надо отвечать на его доверие, а не обращаться с ним как с неразумным ребёнком… Уверенность и желание отдать силы общему делу можно укрепить не подстрекательством людей, в особенности молодёжи, не угрозами беспомощным группам народа, а только доверительным диалогом с народом.,., если каждое критическое высказывание не будет тут же истолковываться как злонамеренность, а на приходящих в отчаяние патриотов не будут вешать ярлык врагов государства»[548].

Речь произвела чрезвычайный эффект, хотя точный текст её был почти неизвестен, так как Геббельс в последнюю минуту отменил намеченную на вечер её трансляцию и запретил какую-либо публикацию её в печати. Сам Гитлер явно воспринял выступление Папена как брошенный ему лично вызов и разразился перед гвардией своих партийных руководителей яростными угрозами. Он возбуждённо клеймил «всех этих карликов» и грозил, что мощь «нашей общей идеи сметёт их с дороги… Раньше у них были силы предотвратить возвышение национал-социализма; пробудившийся народ отправит их в усыпальницу… Пока они брюзжат, они нам безразличны. Но, если они когда-нибудь попытаются перейти от критики к делу и совершить хоть малейший шаг вероломства, они могут быть уверены, что будут иметь сегодня дело не с трусливой и коррумпированной буржуазией 1918 года, а с кулаком всего народа»[549]. Когда после этого Папен потребовал своей отставки, Гитлер оттянул решение, предложив вместе посетить Гинденбурга в Нойдеке.

Действительно, складывается впечатление, что на какой-то момент Гитлер утратил ориентацию и не знал, с каким раскладом он имеет дело. Бесспорно, до него доходили выражения недовольства со стороны президента, он также знал и об озабоченности верхушки рейхсвера. Он мог не без основания подозревать, что неосмотрительный, вечно лезущий на передний план господин фон Папен раскрыл в Марбурге тайно установленные связи и что за ним стоит вся мощь и нетерпение армейского руководства, президента и все ещё влиятельных консервативных кругов. 21 июня он отправился в Нойдек и вновь

спровоцировал Папена, не пригласив его туда, как это было условлено двумя днями раньше. Но ведь целью визита и было подорвать опасную связь между Гинденбургом и Папеном, а также проверить настроение и решимость президента, в этих делах вице-канцлер был бы лишь помехой. Ещё до визита к президенту находящийся в Нойдеке руководитель имперского ведомства по делам печати Вальтер Функ проинформировал его о типично солдатской реакции фельдмаршала: «Если Папен не может соблюдать дисциплину, то пусть делает выводы».

И сам Гинденбург, похоже, успокоил Гитлера, но инцидент в целом показал ему, что время терять нельзя. Сразу после возвращения он замкнулся на три дня в Оберзальцберге, чтобы обдумать ситуацию, и, судя по всему, было принято решение перейти в наступление и также намечен срок начала акции. 26 июня, вернувшись в Берлин, Гитлер тут же приказал арестовать Эдгара Юнга, а когда Папен снова захотел пожаловаться, Гитлер, недолго думая, велел сказать, что его нет на месте. Погрозив соседнему зданию, где работал вице-канцлер, он сказал Альфреду Розенбергу, который был как раз в саду имперской канцелярии: «Да, вон откуда все идёт, дайте только время и я разнесу всю эту контору»[550]. До и во время этих событий произошли инциденты, которые ещё больше повысили напряжённость. Уже в начале июня СС и СД получили указание пристально наблюдать за СА и стали готовиться к операции. Комендант лагеря Дахау эсэсовец Айкке провёл со своими командирами штабные учения по планируемой операции в районе Мюнхена, Лехвельда и Бад-Висзее. Ходили слухи о связях Рема с Шляйхером. Бывшему канцлеру Брюнингу тайком намекнули, что его жизнь в опасности, и он тайно покинул Германию; Шляйхер, который получил многочисленные аналогичные сигналы, хотя и удалился на некоторое время из Берлина, однако скоро вернулся и отказался от приглашения своего друга полковника Отта съездить в Японию, он не хотел стать «беглым»[551]. Между Гиммлером, его впервые явно рвущимся на передний план помощником Райнхардом Гейдрихом, Герингом и Бломбергом циркулировал так называемый общеимперский список с именами людей, которых в известный момент намечалось арестовать или расстрелять. Гейдрих и руководитель СД Вернер Бест не смогли при этом договориться, как быть с мюнхенским обергруппенфюрером СА Шнайдхубером, которого один считал «приличным и верным», а другой — «таким же опасным», как и остальные, в то время как Лутце обсуждал с Гитлером, ликвидировать ли самую верхушку или же более широкий круг «главных виновников» и позже жаловался на гнусность СС, которые первоначальный список из

семи жертв по субъективным причинам и соображениям мести расширили до семнадцати, а в конце концов и до более чем восьмидесяти человек[552]. 23 июня на стол отдела контрразведки в министерстве рейхсвера при таинственных обстоятельствах попал сфабрикованный секретный приказ Рема, который призывал штурмовые отряды браться за оружие, но этот документ был разоблачён как фальшивка уже по той причине, что в перечне его рассылки были указаны заклятые враги Рема — Гиммлер и Гейдрих. Примерно в тот же день Эдмунд Хайнес, группенфюрер СА из Силезии, получил сообщение, что рейхсвер готовится к действиям против СА, в то время как до начальника военного округа Бреслау генерала фон Кляйста дошли известия, из которых складывалась «картина лихорадочных приготовлений СА»[553]. Почти каждый день в речах по радио или на митингах звучали предупреждения в адрес поборников «Второй революции» и консервативной оппозиции. 21 июня Геббельс заявил на празднике солнцестояния на Берлинском стадионе: «Этому сорту людей импонирует только сила, самоуверенность и сила. Они это увидят!.. Им не остановить поступь века. Мы перешагнём через них». Четырьмя днями позже Гесс обратился по радио к «играющим в революцию», которые не доверяют «великому стратегу революции» Адольфу Гитлеру: «горе нарушающим долг верности!» 26 июня на собрании в Гамбурге Геринг отверг все планы восстановления монархии: «У нас, живых, есть Адольф Гитлер!», он пригрозил «реакционной своре»: «Когда чаша терпения переполнится, я нанесу удар! Мы работали, как никто ещё не работал, потому что за нами стоит народ, который доверяет нам… Кто согрешит против этого доверия, лишит себя головы». Ещё одно высказывание, на этот раз Гесса, в пророческом ключе: «уход национал-социализма с политической сцены немецкого народа» вызовет «европейский хаос»[554]. Будто управляемые уверенною рукой, события с этого момента устремились к кульминационной точке. Пока СА, где никто ничего не подозревал, готовились к своему отпуску, Рем и его ближайшее окружение разместились в гостинице «Хансльбауэр» в Висзее. 25 июня Имперский союз немецких офицеров исключил его из своих рядов и тем самым, если смотреть строго с точки зрения чести союза, как бы дал добро на его ликвидацию. На следующий день Гиммлер уведомил всех окружных руководителей СС и СД о «предстоящем бунте СА во главе с Ремом», в котором, по его словам, примут участие и другие оппозиционные группы[555]. Ещё днём позже группенфюрер СС Зепп Дитрих, командир охранного батальона СС в Берлине, обратился к начальнику организационного отдела сухопутных

войск с просьбой о выделении дополнительного вооружения для выполнения секретного задания фюрера. Чтобы придать заявке большую убедительность, Дитрих представил составленный СА список подлежащих ликвидации, в котором было имя самого начальника отдела. Чтобы устранить все возникающие сомнения, Райхенау, точно так же как Гиммлер, вводил людей в заблуждение, обманывал и прибегал к многочисленным запугивающим выдумкам. Скоро стали ходить слухи, что СА грозили «прикончить» всех старших офицеров[556].

Тем временем о якобы предстоящем путче СА были уведомлены и более широкие круги командования рейхсвера, которому было сообщено, что СС находится на стороне армии и поэтому им в случае необходимости следует выдать оружие. Согласно приказу генерал-лейтенанта Бека от 29 июня все офицеры на Беендлерштрассе должны были иметь при себе пистолеты. В тот же день «Фелькишер беобахтер» опубликовала статью Бломберга, которая в форме заявления от имени рейхсвера о безусловной верности одновременно и уполномочивала и просила Гитлера выступить против СА.

Теперь было готово все: СА держали в неведении, СС и СД с рейхсвером за спиной готовы начать действовать, консерваторы запуганы, а больной, с признаками старческого слабоумия президент в далёком Нойдеке. Последняя попытка некоторых сотрудников Папена проникнуть к Гинденбургу и добиться введения чрезвычайного положения сорвалась из-за трусости и тупости Оскара фон Гинденбурга. Сам Гитлер покинул Берлин ранним утром 28 июня, чтобы как он заявил позже «создать полное впечатление (sic!) абсолютного спокойствия и не встревожить предателей»[557]. Несколькими часами позже он был свидетелем на свадьбе гауляйтера Тербовена, но теперь вокруг него разворачивалась бурная активность, в то время как он сам все вновь и вновь впадал в угрюмую задумчивость, как бы отключаясь от происходящего. Вечером он позвонил Рему и приказал вызвать всех старших командиров в субботу, 30 июня, для откровенного разговора. Телефонный разговор проходил явно в примирительном духе, ибо у Рема, вернувшегося к своему застольному кругу в Висзее, был, по рассказам, «весьма довольный» вид.

Закулисным режиссёрам не хватало лишь одного — мятежа, против которого якобы были направлены все их обширные приготовления. В действительности СА по-прежнему вели себя спокойно, часть их уже ушла в отпуск, продолжавшаяся неделями слежка СД не дала никаких результатов, которые могли бы

оправдать кровавую расправу. В то время, как Гитлер поехал 29 июня в Бад-Годесберг, а Геринг приказал своим берлинским подразделениям находиться в боевой готовности, Гиммлер сам разыграл предусмотренный сценарием, но так пока и не состоявшийся «мятеж» СА[558]. Получив написанные от руки анонимные записки, на улицы внезапно вышли части мюнхенских СА и стали бесцельно маршировать, и хотя вскоре вызванные, сбитые с толку командиры тут же вернули своих людей на обычные места, мюнхенский гауляйтер Вагнер теперь имел возможность доложить в Бад-Годесберг о выступлении якобы начавших путч СА. Гитлер присутствовал при построении службы трудовой повинности на обращённой к Рейну площади перед гостиницей «Дрезден» и наблюдал, как на противоположном склоне горы 600 мобилизованных с факелами в руках образуют горящую свастику, когда ему вскоре после полуночи передали это известие. Одновременно поступило сообщение Гиммлера, что берлинские СА запланировали захватить в ходе налёта во второй половине дня правительственный квартал. «При таких обстоятельствах я мог принять только одно решение, — заявил Гитлер, — только беспощадная и кровавая акция была ещё способна подавить распространение бунта… «

Правда, можно себе представить, что оба сообщения действительно пробудили опасения Гитлера, что Рем раскусил игру и готовит контрудар. До сегодняшнего дня не ясно, до какой степени его держали в заблуждении и неверно ориентировали другие, в особенности Гиммлер, который упорно и беззастенчиво устранял верхушку СА, обеспечивая своё собственное возвышение. Во всяком случае, он отменил свой прежний план лететь в Мюнхен утром и решил отправиться туда немедленно. Примерно в четыре часа, когда стало светать, он прибыл в город в сопровождении Геббельса, Отто Дитриха и Виктора Лутце. Операция началась. В баварском министерстве внутренних дел он в приступе истерики набросился на приведённых туда, якобы бунтовавших прошлым вечером обергруппенфюрера Шнайдхубера и группенфюрера Шмидта, сорвал с них погоны и приказал отправить в Штадельхаймскую тюрьму.

Сразу после этого в сопровождении длинной вереницы автомашин он отправился в Бад-Висзее. «С плёткой в руке, — как описывал этот эпизод его водитель Эрих Кемпка, — Гитлер вошёл в спальню Рема, за ним два инспектора уголовной полиции с пистолетами, снятыми с предохранителя. Он выдавил из себя слова: „Рем, ты арестован!“ Рем заспанно выглянул из подушек своей постели и пробормотал: „Хайль, мой фюрер!“ „Ты арестован!“ — проревел Гитлер второй раз, повернулся и вышел

из комнаты»[559]. То же самое произошло и с другими, уже приехавшими вождями СА, только один-единственный Эдмунд Хайнес из Силезии, которого застали в постели с гомосексуалистом, оказал сопротивление; прибывших Гитлер перехватывал на обратном пути и тоже отправлял в Штадельхайм, всего набралось около двухсот старших командиров СА со всех частей страны. Примерно в десять часов Геббельс позвонил в Берлин и передал пароль «Колибри». После этого Геринг, Гиммлер и Гейдрих и там пустили в дело свои отряды. Указанных в «общеимперском списке» командиров СА хватали, доставляли в лихтерфельдский кадетский корпус и там — в отличие от мюнхенских камрадов, без церемоний — шеренгами расстреливали у стены.

Тем временем Гитлер прибыл в Коричневый дом и после короткой речи перед наспех собранными партийными бонзами тут же начал пропагандистское управление процессом. Он несколько часов подряд диктовал в защищённом сильными отрядами здании распоряжения, приказы, а также официальные заявления, в которых он сам фигурировал в третьем лице, как «фюрер», но в спешке маскировки и подтасовок он допустил примечательную оплошность: вопреки более поздней, официальной версии событий, которая широко сохранилась в современном словоупотреблении, ни в одном из многочисленных заявлений 30 июня не идёт речь о путче или попытке путча Рема — вместо этого упоминаются «тяжелейшие оплошности», «противоречия», «болезненные предрасположения» и хотя порой появляется формулировка «заговор», преобладает всё-таки впечатление, что акция имела в своей основе моральные мотивы: «Фюрер дал приказ беспощадно удалить эту чумную язву, — описывал Гитлер свои действия при помощи неудачного образа, — он не потерпит больше в будущем, чтобы репутация миллионов приличных людей страдала и компрометировалась отдельными лицами с болезненными наклонностями»[560].

Понятно, что прежде всего многие руководители СА до последнего момента не могли постичь, что происходит; они не планировали ни путча, ни заговора, а их мораль никогда не была предметом обсуждения и тем более критики со стороны Гитлера. Например, берлинский группенфюрер СА. Эрнст, который, согласно донесениям Гиммлера, планировал на вторую половину дня нападение на правительственный квартал, на самом деле находился в Бремене и собирался в свадебное путешествие. Незадолго до отплытия судна его арестовали и он, полагая, что это грубая шутка его товарищей, смеялся над ней от всей души. Самолётом его доставили в Берлин, после посадки он, смеясь,

показывая наручники и перебрасываясь шутками с командой эсэсовцев, сел в подкатившую полицейскую машину. Специальные номера газет, которые продавались перед зданием аэропорта, уже сообщали о его смерти, но Эрнст все ещё ничего не подозревал. Через полчаса он упал мёртвым у стены в Лихтерфельде, не веря до последнего мгновения в случившееся, с недоуменным «Хайль Гитлер!» на устах.

Вечером Гитлер вылетел назад в Берлин. Предварительно он поручил Зеппу Дитриху потребовать в Штадельхайме выдачи лиц, чьи имена были помечены на сопроводительном списке крестом, и немедленно казнить их. Благодаря вмешательству баварского министра юстиции Ханса Франка удалось, если верить его свидетельствам, сократить число жертв[561], в то время как имперский наместник фон Эпп, в штабе которого Рем вырос в заметную фигуру в качестве друга рвущегося наверх демагога Гитлера, безуспешно пытался отговорить Гитлера от кровавого решения. Вероятно, его заступничеством объясняется тот факт, что Гитлер опять засомневался и отложил решение судьбы Рема.

В Берлине Гитлера в перекрытом аэропорту Темпельхоф, встречала большая делегация. Один из участников события записал по свежим следам свои впечатления от прибытия: «Звучат команды. Рота почётного караула берет винтовки „на караул“. Геринг, Гиммлер, Кёрнер, Фрик, Далюге и около двадцати офицеров полиции идут к самолёту. И вот уже открывается дверь и первым выходит Адольф Гитлер. Он являет собой „уникальное“ зрелище. Коричневая рубашка, чёрный галстук, темно-коричневое кожаное пальто, высокие чёрные армейские сапоги, все в тёмных тонах. Непокрытая голова, бледное, как мел, лицо, по которому видно, что эти ночи он не спал, небритый, лицо кажется одновременно и осунувшимся и опухшим… Гитлер молча подаёт руку каждому стоящему поблизости. В полной тишине — кажется, все затаили дыхание — слышно только щёлканье каблуков»[562].

Полный нетерпения и возмущения, Гитлер прямо в аэропорту затребовал список ликвидированных. «Раз уж подвернулась такая „уникальная возможность“, как показал позже один из участников событий[563], Геринг и Гиммлер расширили круг убийств далеко за пределы «ремовских путчистов». Папен ушёл от смерти только благодаря своим личным связям с Гинденбургом, тем не менее он был взят под домашний арест, невзирая на его пост вице-канцлера и все протесты. Два его ближайших сотрудника, личный секретарь фон Бозе и Эдгар Юнг, были застрелены. За своим рабочим столом в министерстве транспорта был убит министериаль-директор Эрих Клаузенер, руководитель объединения «Католическое действие», другая группа отыскала

Грегора Штрассера на фармацевтической фабрике, препроводила его в центральное здание гестапо на Принц-Альбрехт-Штрассе и убила в подвале дома. В обед группа убийц проникла на виллу Шляйхера в Ной-Бабельсберге, спросила сидящего за письменным столом, он ли генерал фон Шляйхер и сразу, не дожидаясь ответа, открыла огонь, была застрелена и фрау фон Шляйхер. В списке убитых были далее сотрудник экс-канцлера генерал фон Бредов, бывший генеральный государственный комиссар фон Кар, о «предательстве» которого 9 ноября 1923 года Гитлер никогда не забывал, и патер Штемпфле, который был одним из редакторов «Майн Кампф», но потом отошёл от партии; затем инженер Отто Баллерштедт, который перешёл дорогу партии Гитлера в период его восхождения, и, наконец, не имевший ровным счётом никакого отношения к этим делам музыкальный критик доктор Вилли Шмид, которого спутали с группенфюрером СА Вильгельмом Шмидтом. Свирепее всего волна убийств бесчинствовала, похоже, в Силезии, где руководитель СС Удо фон Войрш потерял контроль над своими частями. Примечательно, что людей часто убивали прямо на месте, в конторах, частных квартирах, на улице, со звериной небрежностью, многие трупы обнаруживались лишь спустя несколько недель в лесах или водоёмах. 30 июня сторонникам Рема были поставлены в вину даже антисемитские выходки: три штурмовика, которые случайно как раз в этот день осквернили еврейское кладбище, были исключены из партийной армии и приговорены к одному году тюрьмы[564].

До сегодняшнего дня неясно, был ли согласен Гитлер в каждом отдельном случае с самоуправным расширением задания, которым похвалялся Геринг уже на пресс-конференции в тот же день. По сути дела, эта акция по убийству противников означала нарушение его тактического императива строгой законности, и каждая дополнительная жертва делала его ещё более чувствительным. Целые годы он изощрялся во всех способах перевоплощения, отучился от старых диких манер и с терпеливой тщательностью создал бутафорский антураж, на фоне которого он выступал в роли хотя бы и властного, но знающего меру политика; теперь, когда до цели тотальной полноты власти и постов остался лишь один маленький шаг, он рисковал лишиться с таким трудом приобретённого кредита одним актом саморазоблачения, показав себя вместе с другими актёрами легальной революции без какой-либо маскировки, во всей непреклонности своих притязаний на власть. Не в последнюю очередь в этих соображениях следует, вероятно, искать прежде всего причину того, что Гитлер, согласно некоторым намёкам,

пытался внести скорее умеренность, и число жертв, если принять во внимание продиктованную техникой власти цель 30 июня, осталось, во всяком случае, относительно низким[565].

Тем не менее Гитлер без каких-либо серьёзных возражений одобрял расширение масштабов расправы, и наверняка линия на то, чтобы стрелять во все стороны, отвечала его замыслу, чтобы ни одна сторона не надеялась выиграть от этого кризиса. Это объясняет варварскую неразборчивость убийств направо и налево, манеру оставлять трупы на месте расправы, демонстративное наличие следов убийц, ровно как полный отказ от всякой видимости законности. Не было никаких процессов, никакого определения вины, никакого приговора, а было только атавистическое бешенство, неразборчивость которого Рудольф Гесс пытался позже оправдать следующим образом: «В часы, когда речь идёт о том, быть или не быть немецкому народу, нельзя было определить вину отдельного человека судом. При всей жестокости был глубокий смысл в том, что до сих пор за мятежи среди солдат казнили каждого десятого, не спрашивая, виноват он или нет»[566].

Стало быть, и здесь Гитлер ориентировался полностью на цели укрепления своей власти. Безусловно неправы были современники, считавшие его кровожадным садистом, который придавал своей одержимости убийствами некий эстетический привкус ссылками на не знавших никаких ограничителей государей эпохи Возрождения[567]; явно ошибаются и те, кто видят его духовно безучастным, с холодностью эмоционального импотента устраняющим долголетних товарищей, приверженцев и друзей, с которыми был на «ты». На самом деле первая характеристика скорее подходит Герингу, а вторая — Гиммлеру, они оба выполняли своё кровавое дело в едином ключе полного отсутствия этики. В отличие от них Гитлер испытывал значительное внутреннее давление. Все, кто встречался с ним в эти дни, отмечали его исключительную возбуждённость, сквозившую в каждом движении взвинченность. Он сам в оправдательной речи перед рейхстагом говорил о «тяжелейших решениях» своей жизни, и, судя по всему, ещё и спустя несколько месяцев, например, на овеянной таинственностью конференции 3 января 1935 года, призывая в драматическом выступлении срочно собранную верхушку партии и вермахта к единству, видел перед собой призраки мёртвых, по меньшей мере убитых друзей и сторонников. Здесь, как и во многих других случаях, стало заметно, что его нервы не столь холодны, как моральное сознание. Соответственно его часто провозглашавшемуся девизу — всегда бить быстрее и жёстче, чем противник — прошедшая без

единого сбоя акция 30 июня также основывалась на принципе серии наступательных ударов и его неизменной механике; тем примечательнее колебания Гитлера, прежде чем он отдал приказ о первой казни семи руководителей СА, и его вновь проявившиеся колебания перед убийством Рема. И в том и другом случае его поведение можно удовлетворительно объяснить только эмоциональными мотивами, проявлениями эмоциональной привязанности, которые по меньшей мере на несколько часов оказались сильнее требований укрепления власти.

В воскресенье, 1 июля, Гитлер, однако, преодолел неуверенность предшествующего дня и опять твёрдо владел собой. Он все вновь и вновь появлялся около полудня в историческом окне имперской канцелярии перед собранной Геббельсом толпой и даже дал во второй половине дня приём в саду для партийной верхушки и членов кабинета, на который он пригласил также жён и детей гостей. Не трудно предположить, что он хотел продемонстрировать подобным образом не только вновь обретённую уверенность и возвращение в будничную колею жизни, но и сам хотел укрыться за кулисой самой непринуждённой нормальности от реальности убийств. В то время как в Лихтерфельде, в нескольких километрах от приёма, все ещё трудились команды палачей, он расхаживал в приподнятом настроении среди своих гостей, болтал о том, о сём, пил чай, ласкал детишек, но при всём этом он словно затаил дыхание, убегая от реальности; в этой сцене момент глубинной психологии, в памяти без труда всплывает лик кого-нибудь из отрицательных шекспировских героев, которым не по. силам вызванное ими к жизни зло; в этом искусственном, иллюзорном мире, который он наспех создал, он, очевидно, и отдал приказ убить Эрнста Рема, все ещё ожидавшего своей участи в Штадельхаймской камере. Незадолго до 18 часов в камеру вошли Теодор Айкке и гауптштурмфюрер СС Михаэль Липперт, это было после того, как Рудольф Гесс безуспешно пытался получить это задание на ликвидацию[568]. Вместе с самым свежим номером «Фелькишер беобахтер», которая в самом броском оформлении сообщала о событиях прошлого дня, они положили Рему на стол пистолет и дали десять минут времени. Поскольку все оставалось спокойно, тюремному надзирателю приказали вынести оружие из камеры. Когда наконец Айкке и Липперт шагнули в камеру, Рем стоял посередине её с патетически разорванной на груди рубашкой.

Как бы отвратительны ни были обстоятельства, определяющие характер этого убийства друга, надо все же задаться вопросом, а был ли у Гитлера другой выбор? Как бы

далеко ни хотел пойти Рем в построении государства СА, его подлинной целью, вне всякой идеологической мишуры, был примат солдата определённого мировоззрения. Со своим несокрушимым сознанием теснившейся за ним многомиллионной армии приверженцев он был не в состоянии понять, что его честолюбие метило слишком высоко, он должен был наткнуться на ожесточённое сопротивление как партийных организаций, так и рейхсвера и вызвать по меньшей мере пассивное сопротивление широкой общественности. Хотя он считал себя ещё лояльным Гитлеру, превращение объективного противоречия в личное было лишь вопросом времени. Своим проницательным умом тактика Гитлер мгновенно уловил, что намерения Рема угрожают его собственной позиции. После ухода Грегора Штрассера начальник штаба СА был единственным человеком, который сохранил свою личную независимость от него и не поддавался магии его воли: он был единственным серьёзным противником Гитлера, и было бы нарушением всех принципов тактики дать ему столько власти, сколько он требовал. Конечно, Рем никакого путча не планировал. Но со своим особым самосознанием и огромной силой за спиной он воплощал в глазах недоверчивого Гитлера постоянную потенциальную угрозу путча.

С другой стороны, Рема нельзя было просто сместить или отстранить от дел. Он был не каким-нибудь младшим командиром, и тот мятеж, которым Гитлер позднее оправдывал проведённую акцию, был бы, вероятно, на самом деле вызван попыткой лишить начальника штаба СА власти. И даже если бы удалось убрать Рема из реальной политики, он всё равно представлял бы постоянную угрозу: он располагал связями и влиятельными друзьями. Судебный процесс тоже мало подходил как вариант — не только потому, что Гитлер после исхода процесса, связанного с пожаром рейхстага, не особенно доверял юстиции, но в связи с тем, что для него была нестерпима мысль предоставить близкому и наверняка решившемуся не останавливаться ни перед чем другу возможность публичной самозащиты. Именно долголетняя дружба придавала Рему такую силу, но и не оставляла Гитлеру другого выхода. Уже примерно тремя годами позже он заявил, что ему пришлось «с болью уничтожить этого человека и его сторонников», а по другому случаю, в кругу высокопоставленных партийных руководителей, он отметил весомейший вклад этого высокоодарённого организатора в восхождение НСДАП и завоевание ею власти: если когда-нибудь будет написана история национал-социалистического движения, надо будет постоянно вспоминать о Реме как о человеке номер два рядом с ним[569].

Следовательно, по законам этой партии оставалась только «широкомасштабная расправа по приговору тайного судилища»[570]. Тот, кто примет в расчёт, что Рем не мог просто так оставить свои позиции — он должен был принимать во внимание динамику и жажду миллионов своих сторонников получить положенное им, тот, кто учитывает объективно необходимые факторы, которым были подчинены оба контрагента, не может не увидеть налёта трагизма в кровавом деле лета 1934 года, — кстати, единственный раз в жизни Гитлера, к которой это определение не подходит по отнюдь не случайным причинам.

Внутренние и внешние последствия превратили 30 июня 1934 года в решающую веху захвата власти национал-социалистами после 30 января, хотя Гитлер стал немедленно камуфлировать значение события картинами восстановленной нормальной жизни. Уже 2 июля Геринг приказал всем полицейским управлением «сжечь… все дела, связанные с акциями двух последних дней»[571]. Распоряжением министерства пропаганды в прессе запрещалось публиковать объявления о смерти убитых или «застреленных при попытке к бегству», а на заседании 3 июля Гитлер как бы между делом добился санкционирования преступления, внеся на рассмотрение среди более чем двадцати законов скорее второстепенного свойства один, состоявший из одного единственного параграфа: «Меры, принятые для подавления нападений 30 июня, 1 и 2 июля 1934 года, представлявших собой государственную измену и измену Родине, считать законными как принятые для необходимой обороны государства».

Однако Гитлер, похоже, быстро уловил, что все рвение по камуфлированию было напрасным. Некоторое время он производил растерянное впечатление и ему, наверное, стоило немалых усилий забыть убийство Рема и Штрассера. Иначе вряд ли объяснить его десятидневное молчание, которое противоречило всем правилам психологии и пропаганды; многочасовая оправдательная речь, с которой он, наконец, выступил 13 июля перед рейхстагом, также обращала на себя внимание прежде всего многочисленными несуразностями, пропусками звеньев в цепочке объяснений, а так же властной жестикуляцией; она принадлежала к числу наиболее слабых достижений его риторики. После пространного вступления, в котором резюмировались его заботы и его заслуги, Гитлер снова прибег к самому надёжному средству своей риторики, заклинаниям насчёт коммунистической опасности, не преминув

объявить ей столетнюю войну на истребление, он свалил всю вину на Рема, который постоянно ставил его перед неприемлемыми альтернативами, а также допускал и поощрял в своём окружении коррупцию, гомосексуализм и извращения. Он говорил о деструктивных, лишённых корней элементах, которые «утратили всякую внутреннюю связь с упорядоченным человеческим обществом», и «стали революционерами, которые хотели революции ради революции, видя в ней хроническое состояние». Но революция, продолжал Гитлер, «не является для нас перманентным состоянием. Если естественному развитию народа насильно создаётся смертельно опасное препятствие, то искусственно прерванная эволюция может актом насилия опять открыть себе русло свободного естественного развития. Не может быть… благоприятного развития при помощи периодически повторяющихся бунтов». Он ещё раз осудил ремовскую концепцию национал-социалистической армии и заверил рейхсвер, ссылаясь на данное рейхспрезиденту обещание: «В государстве есть только один носитель оружия — вермахт, и только один носитель политической воли — это национал-социалистическая партия».

Лишь приближаясь к концу речи, Гитлер после пространных оправданий начал переходить в наступление:

> «Бунты подавляются по извечно одинаковым железным законам. Если кто-нибудь упрекнёт меня в том, что мы не провели эти дела через обычные суды, то я могу сказать ему только одно: в этот час я нёс ответственность за судьбу немецкой нации и был в силу этого высшим судьёй немецкого народа!.. Я приказал расстрелять главных виновников этого предательства, и я приказал выжечь язвы… внутренней заразы до здоровой ткани… Нация должна знать, что никто не смеет безнаказанно угрожать её существованию, а оно гарантируется её внутренним порядком и безопасностью! И каждый должен навсегда запомнить, что если он поднимет руку на государство, его неминуемой участью будет смерть».

Необычная неуверенность Гитлера, которая все ещё ощущается даже в таких пассажах, отражала не в последнюю очередь кое-что от глубокого ужаса общественности, вызванного событиями 30 июня. Казалось, что она инстинктивно уловила, что с этого дня началась новая фаза и что ей предстоят сомнительные авантюры, опасности и тревоги. До сих пор заблуждения относительно природы режима были вполне понятны;

разнообразные иллюзии, исходившие из того, что беззаконие и террор представляли собой лишь неизбежные и ограниченные временем сопутствовавшие обстоятельства революции, которая в целом была однозначно нацелена на установление порядка, могли опираться на многочисленные причины. И только теперь было развеяно право на политическую ошибку: убийство как средство государственной политики разрушало возможность безоглядной веры, тем более что и Гитлер в своей речи не делал секрета из своих злодейств и заявил о своей претензии на роль «верховного судьи», беспрепятственно распоряжающегося жизнью и смертью. С этого момента не существовало ни правовых, ни моральных механизмов защиты от радикализирующейся воли Гитлера и режима. Явным подтверждением этих тенденций стало то, что все сообщники от Гиммлера и Зеппа Дитриха до эсэсовских палачей низшего звена получили вознаграждения или поощрения, а 4 июля были награждены в Берлине на специальной церемонии «почётным кинжалом»[572]. Констатация непосредственной взаимосвязи между убийствами 30 июня и более поздней практикой массовых убийств в лагерях на Востоке не надуманная искусственная схема — Гиммлер сам в своей знаменитой речи в Позене 4 октября 1943 года связал эти два процесса и тем самым подтвердил «преемственность преступления», которое не допускает никаких различий между конструктивной, определявшейся идеалистической страстью начальной фазой национал-социалистического господства и более поздним периодом саморазрушительного вырождения[573].

Распространённое среди общественности чувство обеспокоенности сменилось, правда, уже скоро известным облегчением в связи с тем, что революционным происками СА, которые вновь оживили столько опасений перед беспорядками, произволом и властью черни, в конце концов все же был положен конец. Хотя в стране отнюдь не царило «небывалое восхищение», которое пыталась изобразить пропаганда режима, и часто звучащий упрёк Гитлера в адрес буржуазии, что она одержима своим правовым государством и всегда поднимает громкий вой, «когда государство обезвреживает явного вредителя, например, убивает его», становится понятным в контексте отсутствия восторга от его беззастенчивых действий[574]. Однако общественность истолковала два дня убийств в духе своей традиционной антиреволюционной аффектации как преодоление «переходного возраста» движения и триумф умеренных, осознающих важность порядка сил, сгруппированных вокруг Гитлера, над хаотической энергией национал-социализма. Это представление подкрепляло то обстоятельство, что среди

ликвидированных были не в последнюю очередь широко известные убийцы и головорезы; акция против Рема как раз моделировала трюк Гитлера, заключавшийся в том, чтобы наносить каждый раз удар, раздваивая сознание, так что возмущённые свершившимся вроде бы имели основание ещё и благодарить его: он любил совершать свои преступления, выступая в роли спасителя. В том же успокоительном направлении действовала и телеграмма, в которой опять введённый в заблуждение рейхспрезидент выразил свою «глубокую признательность»: «Вы, — писал он Гитлеру, — спасли немецкий народ от серьёзной опасности». Гинденбург был также автором той оправдательной формулы, которая бросала на решение Гитлера, продиктованное тактикой борьбы за власть, свет грандиозной мифологической значимости: «Тот, кто хочет делать историю, должен уметь и проливать кровь»[575].

Ещё более важной для вытеснения сомнения и тяжёлых предчувствий была, может быть, реакция рейхсвера. Чувствуя себя главным победителем этих дней, он, не скрываясь, выражал своё удовлетворение устранением «коричневого дерьма»[576]. 1 июля, когда убийства ещё продолжались с прежним размахом, берлинская комендантская рота, под звуки особо любимого Гитлером «Баденвайлеровского марша», специально промаршировала парадным шагом по Вильгельмштрассе, мимо имперской канцелярии, и именно Бломберг поздравил Гитлера двумя днями позднее от имени кабинета с успешным завершением очистительной акции. В отличие от прежних лет, когда Гитлер часто упивался своими успехами и тем самым ставил их под угрозу, на этот раз он прямо-таки укрепил рейхсвер в его ощущении триумфа. В речи перед рейхстагом он со всей решимостью не только подтвердил его статус единственного носителя оружия в государстве, но даже объявил, что сохранит «армию как неполитический инструмент»: он не может требовать от офицеров и. солдат, «чтобы они каждый в отдельности определили свою позицию по отношению к нашему движению».

Такой необычной, больше никогда не повторяющейся уступкой Гитлер отблагодарил руководство армии за то, что оно в истёкшие критические часы, когда его судьба была в их руках, осталось лояльным. Вновь, теперь уже в последний раз, все висело на волоске, когда эсэсовцы убили генерала фон Шляйхера, его жену и генерала фон Бредова. Если бы рейхсвер стал бы настаивать на судебном расследовании, то теория «заговора» рухнула бы как карточный домик и тем самым удар по консерваторам был бы разоблачён как убийства, обусловленные тактическими соображениями укрепления власти, чем он и был в

действительности; целое буржуазное правое крыло не было бы навсегда парализовано, а, возможно, вышло бы из испытаний с окрепшим самосознанием, и сколь бы незначительными ни были они для хода событий в целом, в истории были бы акты самоутверждения и моральной верности; во всяком случае, не произошло бы того, что Геринг без возражений смог завершить заседание рейхстага 13 июля заявлением, что весь немецкий народ «каждый мужчина и каждая женщина» соединяются в одном единственном возгласе: «Все мы всегда одобряем то, что делает наш фюрер»[577].

Ибо Гитлер уловил своим чутьём соотношение сил: если рейхсвер позволил безнаказанно убивать своих людей, то он добился прорыва к неограниченному господству, институт, который молча снёс такие удары, никогда больше не сможет эффективно противодействовать ему, хотя руководство армии ещё ликовало, а Райхенау самодовольно считал, что было совсем не легко представить дело чисто партийным конфликтом[578]. Но тактическая концепция Гитлера как раз в том и состояла, чтобы не вовлекать так сильно рейхсвер в устранение Рема, чтобы не быть ему обязанным, но вместе с тем втянуть его в такой степени, чтобы он должен был поддаться коррупции. Играющие в политику дилетанты в мундирах, честь которых по незабываемому высказыванию Бломберга отныне была в «изворотливости», заключили с Гитлером «неравный союз»; и справедливо отмечалось[579], что ими руководила не «Немезида власти», как утверждал английский историк Джон У. Уилер-Беннетт, а политическая бездарность и неполитическое высокомерие. Если общественному порядку, как позже утверждал фон Бломберг, действительно угрожали бунтовщики и заговорщики, то долгом рейхсвера, было, наверное, вмешаться; если это было не так, то он должен был пресечь продолжавшиеся несколько дней убийства. Вместо этого он оставался в бездеятельном ожидании, выдавал оружие и в конце поздравлял себя с проницательностью, которая позволила сохранить руки чистыми и всё же оказаться в победителях, не подозревая, сколь недолговечной может быть эта победа.

Когда в кульминационный момент убийств бывший статс-секретарь Планк требовал от генерала фон Фрича вмешаться в события, начальник управления сухопутных войск сослался на отсутствие приказов. Планк предостерёг: «Если Вы, господин генерал, будете бездеятельно наблюдать, то Вас рано или поздно постигнет та же судьба». Тремя с половиной годами позже фон Фрич вместе с фон Бломбергом был отправлен в отставку при задевающих их честь обстоятельствах; обвинение основывалось,

как и в случае фон Шляйхера и фон Бредова, на сфабрикованных документах, и в рядах СА пошли злорадные разговоры о «мести за 30 июня»[580]: Les institutions perissent par leurs victoires[581].

Развитие дел точь-в-точь подтвердило это правило. Да, 30 июня нанесло смертельный удар по СА. Их былой бунтарский, самоуверенный характер заметно обрастал мелкобуржуазными чертами, и на смену кастету, «пушке» и дубинке приходили кружки для сбора пожертвований. Но на место СА не встал рейхсвер. Проявившуюся очевидную слабость армейского руководства Гитлер использовал спустя уже три недели. 20 июля 1934 года он вывел СС из подчинения СА «ввиду больших заслуг… , особенно в связи с событиями 30 июня», повысил их до статуса самостоятельной, ответственной непосредственно перед ним организации, которая наряду с вермахтом получила разрешение создать вооружённые силы, сначала численностью в одну дивизию[582]. Мало что так открывает сокровенную суть тактического темперамента Гитлера, как решение поощрять сразу после устранения СА создание новой равнозначной фигуры, чтобы без потерь продолжить игру обеспечения власти. Все участвовавшие в этих событиях ближе или дальше от эпицентра наивно исходили из того, что 30 июня разрешило вопрос о власти; однако Гитлер как раз тем и обеспечивал собственную власть, что никогда не решал властные конфликты в своём окружении. Он просто перемещал эти конфликты на другие уровни и продолжал разыгрывать их с новыми фигурами при изменённой конфигурации конфронтаций.

Однако СС взяли на себя не только тактические, но и многие политические функции СА. Они отказались только от притязаний на самостоятельность, которые так шумно подчёркивали сторонники Рема. Ибо СА никогда не подчинялись полностью принципу слепого повиновения и в своём самосознании всегда демонстрировали также и намерение дистанцироваться от презираемого ими партийного корпуса. В противоположность им СС воспринимали себя как полностью лояльную элиту, служившую стражей, авангардом и пионером национал-социалистической идеи и дисциплинированно выполнявшую чисто инструментальную роль придатка воли фюрера. В этом ключе они начали с 30 июня неудержимый, развёртывающийся по всем азимутам процесс расширения своего влияния, в мощной тени которого после СА скоро исчезла и партия, так что больше не было пути к власти, который проходил бы мимо них.

Восхождение СС, которое весьма существенно определило историю и лицо «третьего рейха» и далеко не завершилось с гибелью режима, продемонстрировало, кстати,

небезосновательность убеждения Рема, что его воззрения в конечном счёте совпадают со взглядами Гитлера. Ибо то, что создал Генрих Гиммлер — в этом деле его подпитывал новыми импульсами и подталкивал вперёд неустанно действовавший за кулисами, Райнхард Гейдрих — огромный и разветвлённый аппарат имперского руководства СС, расширенный им до подлинного параллельного государства, которое проникло во все существенные институты, выхолостило их в политико-силовом отношении и в конце концов стало заменять их, было не чем иным, как оставшейся расплывчатой целью Рема, которой он нетерпеливо добивался; если его тщеславные младшие командиры мечтали о государстве СА, то теперь, по меньшей мере в начальной стадии, стало реальностью государство СС. Рема ликвидировали за то, что он непосредственной акцией хотел осуществить то, что Гитлер стремился реализовать, как он объяснил в тесном кругу приближённых, «медленно и целенаправленно», «малюсенькими шагами»[583].

В этом смысле 30 июня означает устранение того типа деятеля, без которого история восхождения Гитлера дочти не могла обойтись: грубого рубаки, как правило, из числа уволенных офицеров, который сперва как боец «добровольческих отрядов», а потом гитлеровский герой улицы, пытался сохранить в гражданской действительности военные переживания и неожиданно, когда цель была достигнута, не имел перед собой какой-либо задачи. По знаменитому высказыванию Макиавелли, власть утверждают не с теми сторонниками, с которыми её завоевали, и, по слухам, Муссолини на встрече с Гитлером в Венеции сделал аналогичное замечание. Устранением руководящей верхушки СА была одновременно также остановлена допущенная в ходе завоевания власти в ограниченных масштабах революция снизу, и в том, и в другом пришёл конец анахронизму: «дело Рема» завершило так называемое «время борьбы». Оно ознаменовало точку поворота от неопределённой, утопической фазы движения к трезвой, свободной от мечтаний реальности государства порядка. Тем самым романтических баррикадных бойцов XIX века, в которых Рем и его окружение охотно узнавали самих себя, сменил тип современного революционера, порождённого СС: те бесстрастно функционирующие и в главных управлениях и ведомствах ниспровергатели, которые в качестве тоталитарных менеджеров и чиновников-исполнителей осуществляли беспрецедентную революцию и закладывали свои детонаторы глубже, чем, пожалуй, когда-либо революционеры до них, ибо мыслили категориями не улицы, а структур.

Но вряд ли Рему суждено было погибнуть из-за своего

нетерпения, если бы Гитлер не преследовал более далеко идущих намерений, чем напрямую связанные с его ликвидацией. Мы ещё и сегодня поддаёмся воздействию вводящих в заблуждение языковых клише режима, когда рассматриваем события 30 июня исключительно как столкновение с Ремом и устранение СА. Как давала понять пропагандистская кампания в последние недели перед акцией, удар был нацелен против всякой оппозиционности или независимости вообще, и действительно, опыт этих дней содействовал тому, что с этого времени на многие годы больше не было никакого более или менее серьёзно организованного сопротивления. Двойная направленность операции чётко выразилась в одном высказывании Гитлера того времени; упрекая вождей СА только в торопливости и глупости, он излил безграничную, подпитываемую старыми обидами ненависть к тем консерваторам, которые мнили, что «заарканили» и перехитрили его:

> «Все они ошибаются. Они недооценивают меня, потому что я вышел из низов, из „гущи народной“, потому что у меня нет образования, потому что я не умею вести себя так, как их воробьиные мозги считают правильным. Если бы я был одним из них, то я был бы в их глазах великим деятелем — уже сегодня. Но мне не нужно подтверждения моего исторического величия с их стороны. Строптивость СА лишила меня многих козырей, но у меня в руке ещё есть другие. Я недолго ищу выход, если у меня что-то срывается…
>
> Я спутал им карты. Они думали, у меня не хватит для этого смелости, что я трус. Они уже видели, как я бьюсь на их аркане. Они уже считали меня своим орудием, шутили за моей спиной, что у меня больше нет власти. Моя партия-де кончена. Я уже давно раскусил все это. Я так им врезал по пальцам, что они ещё долго будут чувствовать удар. То, что я утратил из-за суда над штурмовиками, мне возместил суд над этими поместными игроками и профессиональными авантюристами, Шляйхером и его присными.
>
> Если я сегодня обращаюсь с призывом к народу, он идёт за мной. Когда я обращаюсь к партии, то она стоит на своём месте, сплочённая как никогда. Выходите, господа Папен и Гугенберг, я готов начать следующий раунд»[584].

На самом деле он знал, что никакого следующего раунда с этими противниками не будет.

Если свести все воедино, то та тактическая задача, перед которой стоял Гитлер накануне 30 июня, требовала в целом одновременного решения пяти проблем: он должен был раз и навсегда лишить власти Рема и гвардию строптивых буйных революционеров СА, удовлетворить претензии рейхсвера, устранить недовольство населения, вызванное господством улицы и явным террором, а также расстроить планы консервативных противников, — и сделать это так, чтобы не стать пленником той или иной стороны. И он действительно достиг всех этих целей за счёт одной-единственной непродолжительной акции с относительно небольшим числом жертв. Благодаря этому ничего больше не мешало реализации его основного замысла, который должен был завершить захват власти — стать преемником Гинденбурга.

С середины июня состояние президента стало заметно ухудшаться, и посвящённые скоро стали считаться с тем, что его кончина может произойти в любой день. 31 июля правительство впервые издало официальный бюллетень о состоянии его здоровья, и хотя днём позже тон известий был гораздо более обнадёживающий, Гитлер, отбросив в сторону всякий пиетет, заранее представил кабинету закон о преемственности, который должен был вступить в силу после смерти Гинденбурга и объединить пост рейхспрезидента с постом «фюрера и рейхсканцлера». Формальным основание для этой меры служил закон от 30 января 1934 года, который наделял имперское правительство полномочиями изменять конституцию; но поскольку эти полномочия проистекали из закона о чрезвычайных полномочиях, каждый основанный на них правовой акт должен был бы исходить из чётко установленных в этом законе гарантий, одной из которых было существование поста рейхспрезидента. Однако «Закон о главе государства» беззастенчиво пренебрёг этим положением, вновь нарушая принцип законности, и устранил тем самым последнее ограничение на пути исключительного господства Гитлера. Сколь бесцеремонно и нетерпеливо действовал Гитлер, видно из того, что он поставил под законом подпись Папена, которого вообще не было на этом заседании.

В тот же день Гитлер отправился к смертному одру в Нойдек, но Гинденбург приходил в сознание только на мгновения и обратился к нему «Ваше императорское Величество»[585]; несмотря на всю свою внушительность, словно созданную для того, чтобы притягивать к себе взоры и порождать легенды, он всегда чувствовал себя зависимым, вассальным существом. Когда

на следующий день, утром 2 августа, он умер, сообщение имперского правительства в последний раз заставило его сыграть роль могучего, словно высеченного из камня колосса, этому амплуа он обязан и своей славой и упрёками в том, что не справился с возложенными задачами. Куча эпитетов славила его «как верного слугу немецкого народа», «монументальную фигуру из далёкого прошлого», его высшей заслугой стало то, что 30 января 1933 года он открыл юному «национал-социалистическому движению ворота государства», достиг «глубокого примирения» между Германией вчерашней и завтрашней, став в мирное время тем, кем он был на войне: «национальной легендой немецкого народа»[586].

Смерть Гинденбурга не вызвала какого-либо заметного перелома. Растаяли некоторые надежды, некоторые иллюзии. В потоке некрологов и выражений скорби со всех сторон остались почти незамеченными законодательные меры, которые, будучи тщательно заготовленными, юридически закрепляли новую ситуацию. Декрет имперского правительства поручал министерству внутренних дел подготовить плебисцит, который был призван «однозначно санкционировать со стороны немецкого народа» уже закреплённое конституционным правом объединение постов канцлера и президента, ибо, как заявил уверенный в успехе Гитлер, он «проникнут твёрдым убеждением, что всякая государственная власть исходит от народа и должна подтверждаться им при помощи свободного и тайного выбора». Для камуфлирования теперь объединённой в его лице абсолютной институциональной власти он заверил, что «величие скончавшегося» не позволяет ему претендовать на титул президента; поэтому он выражает желание, чтобы в «официальном и неофициальном обращении к нему обращались только как к фюреру и рейхсканцлеру»[587].

Уже в день смерти Гинденбурга руководство рейхсвера продемонстрировало безусловную лояльность Гитлеру, превосходившую привязанность к скончавшемуся фельдмаршалу. В приспособленческом сверхусердии, одним только приказом, законная основа для которого была создана лишь тремя неделями позже, министр рейхсвера фон Бломберг распорядился привести к присяге на верность новому главнокомандующему во всех гарнизонах офицеров и рядовых вермахта. Отменялся старый текст, в котором говорилось о верности «народу и Отечеству», теперь присягающие клялись «богом» в безусловном повиновении Гитлеру лично, и позднее, когда ожидания и самоочевидные иллюзии лета 1934 года давно улетучились, эта присяга сыграла историческую роль. Во-первых, она укрепила тоталитарное

фюрерское государство Гитлера, которое безусловно не могло быть построено без постоянно гарантированной поддержки вооружённых сил. Вскоре после этого личной клятвы верности стали требовать и от чиновников, включая имперских министров, реставрировав тем самым «фрагмент монархии»[588].

Почести скончавшемуся рейхспрезиденту, которые воздавались со всей мыслимой помпой в течение нескольких дней, дали Гитлеру не только возможность для грандиозного театрализованного представления почитания смерти, в которых режим так охотно черпал эмоциональную поддержку, но и позволили ему также продемонстрировать возросшую уверенность в своей власти. После траурного заседания рейхстага 6 августа, в центре внимания которого была речь Гитлера, воздававшая почести покойному, и музыка из вагнеровских «Сумерек богов», рейхсвер впервые прошёл торжественным маршем у оперы Кролля перед новым главнокомандующим, но за «единственным носителем оружия нации» прошли тем же парадным шагом, в таких же стальных касках и частично с примкнутыми штыками почётный отряд лейбштандарта СС «Адольф Гитлер», отряд особого назначения земельной полиции «Герман Геринг», почётный отряд СА и другие военизированные формирования, не входившие в рейхсвер. На следующий день Гинденбург был похоронен на месте победы 1914 года, на внутренней площади танненбергского памятника в Восточной Пруссии. Речь Гитлера чествовала усопшего, чьё имя останется бессмертным, пусть даже «исчезнет самая последняя частичка этого тела», заключением было: «Покойный полководец, войди теперь в Валхаллу»[589].

Тем же целям, что и затянувшаяся церемония похорон, служил и назначенный на 19 августа плебисцит. Хотя в эти дни Гитлер заявил в интервью британскому журналисту Уорду Прайсу, что общественность страны получит таким образом возможность поддержать или отвергнуть политику своего руководства, он не без злобной иронии добавил: «Мы, дикие немцы, лучшие демократы, чем другие нации»[590]. В действительности референдум, который был шумно инсценирован всеми апробированными средствами пропаганды, опять служил мобилизации неполитических чувств для политических целей. Массированная череда агитационных мероприятий должна была вытеснить из памяти ощутимое беспокойство решением «дела Рема» по восточному образцу, укрепить заметно ослабевшие симпатии к режиму. Уже в траурной речи перед рейхстагом Гитлер заклинал общественность оставить случившееся в прошлом и «теперь

смотреть в будущее, не замыкаясь на преходящем мгновении»[591]. Однако необыкновенно высокое число голосов «против» продемонстрировало все трудности привития такого подхода и серьёзно пострадавший престиж новых властителей. Далёкий от стопроцентных показателей тоталитарных режимов, показатель референдума ограничился 84,6 процента, в отдельных районах Берлина, а также в Ахене и Везермюнде он не дошёл даже до 70 процентов, в Гамбурге, Билефельде, Любеке, Лейпциге и Бреслау почти треть населения проголосовала «против». В последний раз проявилась воля к сопротивлению прежде всего социалистических и католических групп электората.

Разочарование Гитлера результатом референдума явно отражается в заявлении, которое появилось на следующий день. Оно провозглашало завершение пятнадцатилетней борьбы за власть, поскольку «начиная от высшего государственного уровня, все управление Германского рейха вплоть до администрации самого малого населённого пункта… находится в руках национал-социалистической партии; но борьба за „наш дорогой народ“ продолжается с неослабевающей силой, пока „и последний немец не будет носить в своём сердце как выражение своей приверженности символ рейха“. В схожем тоне, хотя теперь ещё и с угрозой всем недовольным, позиция Гитлера была выражена двумя неделями позже торжественным заявлением, которым открылся шестой партийный съезд в нюрнбергском Дворце съездов. Мюнхенский гауляйтер Вагнер, как голос Гитлера, по его указке заявил: „Мы все знаем, кому нация поручила руководство! Горе тому, кто этого не знает или забыл это! У немецкого народа революция всегда была редкостью. Наш нервный XIX век завершился. В следующую тысячу лет — больше никаких революций не будет!“[592].

В тот же момент в Германии и началась, собственно говоря, революция, хотя добившиеся насильственного переворота силы движения были отброшены на обочину и их динамичное беспокойство отныне преимущественно направлялось на задачи пропаганды и надзора. Поскольку Гитлер «приручил» их, считаясь с Гинденбургом и рейхсвером, в этом можно увидеть последний поздний триумф «концепции укрощения» весны 1933 года, хотя консервативные укротители в конце концов сами были брошены под нож. Вместе с тем, смелое заверение Гитлера в Нюрнберге, что он теперь «обладает в Германии властью над всем», сопровождалось его решимостью и желать всего. Варварские стороны режима постоянно приковывали внимание к скрывавшимся за ним идеологическим и политическим

движущим силам — антисемитизму, неудовлетворённым немецким гегемонистским интересам или сознанию особой национальной миссии. Но не менее сильными или даже более сильными были социальные импульсы, которые питали национал-социализм и на которых он держался. Как раз широкие обывательские слои связывали с его приходом к власти расчёты на то, что он путём упорядоченного преобразования взломает косные структуры государства с жёстким социальным делением и устранит социальные авторитарные путы, из-за которых не в последнюю очередь потерпела крушение ещё революция 1918 года; для них Гитлер означал прежде всего шанс довести до конца немецкую революцию, они уже не верили в способность демократических сил выполнить эту задачу, потому что так многие их попытки окончились неудачей, а коммунистам они никогда не хотели доверить это дело.

Новые разнообразные заявления о конце революции были совершенно очевидно нацелены прежде всего на успокоение по-прежнему встревоженной общественности. Действительно, осенью 1934 года стали появляться первые признаки возврата к упорядоченным отношениям, правда, дальние цели, курс на которые оставался неизменным для Гитлера, не изменились. Наряду со всеми успокоительными лозунговыми формулами он напрямую предупреждал в заключительной речи в Нюрнберге не питать иллюзий, что партия утратила свою революционную ударную силу и отказалась от своей радикальной программы: «неизмененная в своём учении, крепкая как сталь в своей организации, гибкая и умело перестраивающаяся в своей тактике, но выступающая в целом как орден», партия обращена в будущее. Аналогичное высказывание было сделано в кругу приближённых: он завершает революцию лишь внешне и переносит её отныне вовнутрь[593].

Этими, глубоко заложенными в сущности Гитлера приёмами камуфляжа объясняется то обстоятельство, что революционная природа режима так трудно уловима. Осуществлённый режимом переворот происходил в необычных формах, и среди наиболее примечательных свершений Гитлера, обеспечивающих ему место в истории великих государственных переворотов, — понимание безвозвратного конца революции в виде восстания. Из сформулированного уже в 1895 году Фридрихом Энгельсом положения о том, что революционер старого типа неизбежно проиграет в противостоянии с утвердившейся властью, он извлёк выводы гораздо решительнее Муссолини и в современном ключе осмыслил понятие революции. В классическом представлении господствовали картины восставшей силы, как их любил Рем, а

идеологический и социальный аспекты процесса, изменения в правящей элите или в отношениях собственности из-за склонности к детским книжкам с картинками отодвигались на задний план: революция всегда была бунтом и осуществлялась на улице. Напротив, современная революция, как знал Гитлер, не завоёвывает власть, а прибирает её к, рукам и пользуется не столько силовыми, сколько бюрократическими средствами; она была тихим процессом, выстрелы, здесь можно было бы распространить слова Малапарте и на Гитлера, вызывали у него боль в ушах.

В связи с этим воздействие революции было не менее глубоким, и оно не оставило без внимания ни одну сферу. Революция охватила и изменила политические институты, разбила классовые структуры в армии, бюрократии и отчасти в экономике, разлагала, коррумпировала и лишала власти все ещё задававшее тон дворянство и старые верхние слои и установила в Германии, которая была обязана и своим очарованием и косностью все тому же запоздалому развитию, ту степень социальной мобильности и равенства, без которых невозможно современное индустриальное общество. Нельзя сказать, что эта модернизация была лишь попутным процессом или тем более шла вразрез с декларированной волей коричневых революционеров. Восхищение Гитлера техникой его зачарованность цивилизаторскими процессами были очевидны, и в том, что касается средств, он мыслил весьма современно, тем более что ему для достижения далеко идущих целей его господства было нужно рациональное, отлаженно работающее индустриальное государство.

Структурная революция, которую предпринял режим была, однако, закамуфлирована декорациями, подчёркнутым почитанием старинного фольклора и наследия предков немецкое небо оставалось романтически затемнённым. I этом плане национал-социализм лишь довёл до предельной последовательности проявившуюся уже в XIX веке склонность маскировать напористую и чуждую традициям практику прогресса романтическими идеологиями ухода в духовность. В то время как, например, крестьянство было предметом мечтательного поклонения, его экономическое положение на глазах ухудшалось, и бегство деревенских жителей в город достигло, согласно статистики, новой кульминации в период между 1933 и 1938 годом. Аналогично режим содействовал программам индустриализации (прежде всего в центральной Германии с её важными в военном плане химическими предприятиями), урбанизации, которую он одновременно

полемически проклинал, он впервые вовлёк женщин в качестве рабочей силы в производственный процесс, выступая при этом длинно и многословно против всех либеральных и марксистских тенденций «омужичивания» женщины. В противоположность исповедуемому культу традиций «Доверительный доклад», относившийся к началу 1936 года, формулировал: «Надо полностью разрушить взаимосвязь с происхождением. Новые, полностью небывалые формы. Никакого права личности…»[594].

Чтобы охватить обе ипостаси явления, говорили о «двойной революции»[595]: одной революции во имя буржуазных норм против буржуазного порядка, другой — во имя традиции против традиции. «Греющие патриотические души» романтические декоративные атрибуты были не только цинично используемыми призраками и мишурой, но и нередко попыткой удержать в мысли или символе то, что в действительности было безвозвратно утрачено. Во всяком случае, масса попутчиков именно так принимала идиллическое обрамление идеологии национал-социализма; суровые экономические и социальные реалии, которые все дальше удаляли страну от доиндустриального рая, очевидно, не в последнюю очередь укрепляли самого Гитлера в намерении вновь обрести утраченное на незатронутых восточных равнинах. В своей секретной речи перед высшими офицерами в январе 1939 года он говорил о муках, о вызывающих боль конфликтах, порождаемых политическим и общественным прогрессом, как только он сталкивается с теми «святыми традициями», которые имели право на верность и привязанность людей: «это всегда были катастрофы, …людям всегда приходилось мучиться… Всегда приходилось отказываться от дорогих воспоминаний, всегда просто отбрасывалось в сторону наследие. Уже прошлый век причинил многим сильную боль. Говорят так легко о мирах, говорят так легко, скажем мы, о других немцах, которых тогда изгнали. Это было необходимо! Без этого нельзя было обойтись… А потом пришёл восемнадцатый год и причинил новую сильную боль, и это было необходимо, наконец наступила наша революция, они сделали все выводы до конца, и это было необходимо. Иначе не бывает»[596].

Двойственная суть, характеризовавшая национал-социалистическую революцию, в высокой степени определяла облик режима в целом, придавая ему своеобразную внешность Януса. Иностранные гости, прибывавшие во все большем числе, привлечённые «фашистским экспериментом», обнаружили мирную Германию, в которой поезда ходили, как и прежде, точно по расписанию, страну буржуазной нормальности, законопослушания и административной справедливости, они

были в такой же мере правы, как и эмигранты, которые горько жаловались на несчастья собственные и беды их преследуемых и притесняемых друзей.

Насильственное удаление СА со сцены бесспорно установило предел незаконному применению силы и положило начало фазе стабилизации, при которой силы авторитарные, воплощающие государство порядка, стали тормозить динамику тоталитарной революции. Некоторое время положение казалось таким, как будто вернулась почти упорядоченная жизнь, норма как бы опять вытеснила чрезвычайное положение, во всяком случае, пока кончилось то время, когда, как говорилось в одном докладе баварскому премьер-министру от 1 июля 1933 года, все подряд арестовывали друг друга и угрожали друг другу Дахау[597]. Мало что так точно характеризует Германию с 1934 по 1938 год, как наблюдение, что посреди государства беззакония можно было встретить идиллию — её действительно искали и культивировали, как никогда прежде. И в то время как эмиграция за пределы страны заметно сократилась и даже выезд еврейских граждан последовательно уменьшался[598], многое уходило во внутреннюю эмиграцию, в «cachettes du coeur»[599]. Старая немецкая подозрительность в отношении политики, отвращение к её притязаниям и навязчивости редко так ярко подтверждались и ощущали свою правоту, как в те годы.

«Двойному государству»[600] соответствовало двойное сознание — однако лишь в той мере, в которой политическая апатия сочеталась со взрывами ликующего одобрения. Гитлер все вновь и вновь создавал поводы для разжигания энтузиазма нации: внешнеполитическими демаршами и сенсациями, волшебством митингов, монументальными строительными программами, каких ещё не видел мир, или даже социальными мерами, все это предназначалось для того, чтобы занять фантазию, укрепить самосознание или успокоить бездумные интересы — суть его искусства правления в значительной степени основывалось на знании двойственных стимулов настроения. Они порождали странно невротическую, весьма искусственную диаграмму популярности, на которой резкие взлёты перемежались фазами дискомфорта и отчуждения. Базой психологической власти Гитлера была, однако, его харизма и уважение, обусловленное тем, что ему удалось восстановить порядок. И на самом деле: кто сравнивал ужасы минувших лет, беспорядки, бесчинства, безработицу, произвол СА и унижения во внешней политике с впечатляющей контрастирующей картиной уверенного в своей мощи порядка, которая развёртывалась теперь на парадах или партийных съездах, лишь с большим трудом обнаруживал свои

заблуждения. К тому же режим поначалу стремился подчеркнуть авторитарно-консервативные черты и представить себя как своего рода более жёстко организованное правление воинственных дойч-националов; папеновская концепция «Нового государства» была, вероятно, задумана аналогичным образом. Наряду с этим он при всей строгости и полицейской «стерильности» предоставлял разнообразные романтические шансы и в высокой степени удовлетворял склонности к приключениям, героической самоотдаче, а также отмеченному Гитлером азарту игрока, которому современные социальные государства дают так мало простора.

За этой оболочкой порядка действовала, однако, радикальная энергия, которую вряд ли кто из современников адекватно представлял себе, Гитлер взял верх над Ремом не как консервативная, антиреволюционная сила, — так внушала себе испуганная буржуазия, — а как более радикальный революционер над просто радикальным революционером — в соответствии с законом революции. «Готовилась вторая революция, — верно заявил Геринг уже во второй половине дня 30 июня, — но она была нами осуществлена против тех, кто вызвал её»[601]. От более пристального взгляда тогда не ушло бы, что государство порядка, полной занятости, международного равноправия ни в один момент не могло удовлетворить тщеславия Гитлера. Хотя он в ноябре 1934 года и заверял одного французского гостя, что думает не о завоеваниях, а о построении нового социального строя, благодаря которому надеется завоевать благодарность своего народа и следовательно поставить себе более прочный памятник, чем получал когда-нибудь славный полководец после многочисленных побед[602]. Но это были только жесты. Свою внутреннюю динамику, свои импульсы он никогда не черпал из идеальной картины тоталитарного государства благосостояния со всем его презренным счастьем мелкого обывателя, а из фантастически утрированного, мегаломанического видения, уходящего далеко за горизонт и длящегося по меньшей мере тысячу лет.

notes

Примечания

1

Манию величия — Примеч. пер.

2

В пересказе Ханфштенгля это звучит так: «Знаешь, Ханфштенгль, с Адольфом творится что-то не то. Он неизлечимо болен манией величия. На прошлой неделе носился тут взад и вперёд по двору со своим дурацким хлыстом и орал: „Я должен отправится в Берлин, как Иисус в Иерусалим, чтобы выгнать торговцев из храма“ — и ещё такой же бред в таком же духе. Я тебе скажу, что если он даст волю этому мессианскому комплексу, то как бы не погубил нас всех». Hanfstaengl E. Op. cit. S. 83.

3

Это слова из письма в адрес местной организации Ганновера от 14 января 1924 г., см.: Tyrell A. Op. cit. S. 73.

4

Kallenbach H. Mit Adolf Hitler auf Festung Landsberg, S. 117 u. S. 45; см. также: Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution, S. 91.

5

Bracher K. D. Diktatur, S. 139. Об утверждении Гитлера, что до идеи автобанов и дешёвых автомобилей для народа он впервые додумался в крепости Ландсберг, свидетельствует Х. Франк, см.: Frank H. Op. cit. S. 47. Эрнст Ханфштенгль пишет, что камера Гитлера производила впечатление гастрономической лавки и что излишки служили Гитлеру для ещё более благосклонного расположения к нему охранников, хотя они и так относились к нему хорошо. См.: Hanfstaengl E. Op. cit. S. 144. О массе посетителей, их пожеланиях, просьбах и целях см. отчёт дирекции тюрьмы от 18 сентября 1924 г.: BHStA. Bd. I, S. 1501.

6

Слова Гитлера, сказанные им в кругу «старых борцов», см. Shirer W. L. Op. cit. S. 516.

BAK, NS 26\17a; Hitlers Tischgespraeche, S. 82.

8

Kubizek A. Op. cit. S. 75, 225; там же автор называет «любимым произведением» Гитлера «Немецкие героические саги» и упоминает, в частности, что читал он «Историю архитектуры», Данте, Шиллера, Гердера и Штифтера, причём интересно, что о Розеггере Гитлер заметил, мол, тот для него «слишком популярен». По поводу перечня книг, названных Франком, см.: Frank H. Op. cit. S. 40. А вот Э. Ханфштенгль приводит другой список (Hanfstaengl E. Op. cit. S. 52 f.), причём он наряду с политической литературой и эпосами называет и знамени тую «Историю нравов» Э. Фукса. В упомянутом разговоре с Дитрихом Эккартом называются, либо фигурируют как известные Гитлеру следующие произведения: «История еврейства» Отто Хаузера, «Евреи и хозяйственная жизнь» Вернера Зомбарта, «Международный еврей» Генри Форда, «Еврей, еврейство и оевреивание христианских народов» Гужено де Муссо, «Справочник по еврейскому вопросу» Теодора Фрича, «Великий обман» Фридриха Долича, а также «Протоколы сионских мудрецов». Позднее Гитлер рассказывал в кругу секретарш, что «в пору его тяжёлой молодости в Вене он проглотил(!) целых пятьсот томов, составлявших фонд одной из городских библиотек» (Г); см.: Zoller A. Op. cit. S. 36.

9

Hitler A. Mein Kampf, S. 37.

10

См.: Maser W. Hitler's Mein Kampf, S. 26, а также: Frank H. Op. cit. S. 39.

11

Hitler A. Mein Kampf, S. 231 f.

12

Ibid. S. 170.

13

Olden R. Op. cit. S. 140; Hitler A. Mein Kampf, S. 32, 552, 277, 23. Над корректурой и редактированием рукописи работали, согласно различным источникам, музыкальный критик газеты «Фелькишер беобахтер» Штоль-цинг-Черны, издатель антисемитского листка «Мисбахер анцайгер» и бывший падре из монашеского ордена Бернхард Штемпфле и — правда, с меньшим успехом — Эрнст Ханфштенгль. Однако Ильза Гесс, жена Рудольфа Гесса, отрицает какую-либо редакционную помощь третьих лиц и опровергает также, будто Гитлер диктовал книгу её мужу. Правильнее сказать, что Гитлер «сам двумя пальцами отпечатал рукопись на допотопной пишущей машинке, когда был в ландсбергском заключении». См.: Maser W. Hitler's Mein Kampf, S. 20 ff.

Frank H. Op. cit. S. 39.

15

См.: Zoller A. Op. cit. S. 106, а также: Strasser O. Hitler und ich, S. 94 ff.

16

Hitler A. Mein Kampf, S. 357, 449, 630, 458, а также: Hitlers Zweites Buch, S. 221.

17

Rauschning H. Gespraeche, S. 5; ders., Revolution des Nihilismus, S. 53.

18

Hitlers Tischgespraeche, S. 269 f. При этом Гитлер сделал весьма характерное замечание, что только враги национал-социализма действительно разбирались в этой книге.

19

Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 55. Такую попытку предпринял вслед за фундаментальными исследованиями Х. Р. Тревора-Роупера Эберхард Йеккель, который изложил свои заключительные выводы в книге «Мировоззрение Гитлера» (Jaeckel E. Hitlers Weltanschauung).

20

Trevor-Roper H. R. The Mind of Adolf Hitler, предисловие к книге Hitler's Table Talk, p. XXXV; К. Хайден назвал Гитлера человеком с ярко выраженным «комбинаторским талантом» (Heiden K. Geschichte, S. 11). См. также: Phelps R. H. Hitlers grundlegende Rede ueber den Antisemitismus. In: VJHfZ, 1968, H. 4, S. 395 ff.

21

Adolf Hitler in Franken, S. 39 f. Здесь нужно сказать о том, что при попытке сделать резюме о мировоззрении Гитлера нельзя опираться только на «Майн кампф», а следует учитывать и его высказывания как предшествующих, так и последующих лет. Это тем более оправдано, что с 1924 года идеология Гитлера по сути своей не изменилась.

22

Hitler A. Mein Kampf, S. 751.

23

Эти и другие примеры см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 68 ff. Предыдущая цитата взята из кн.: Rauschning H. Gespraeche, S. 11. Высказывание об А. Розенберге приводит Людекке: Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 82.

24

Hitlers Tischgespraeche, S. 320. Ханс Франк тоже сообщает о том, что в разговоре с ним Гитлер назвал как-то землю «переходящим кубком в соревновании рас». См.: Frank H. Op. cit. 133. Последующие цитаты см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 147, 312 и S. 148.

25

Из секретной речи Гитлера перед офицерами 25 января 1939 года, см.: Jacobsen H. A., Jochmann W. Op. cit. S. 5, а также: Jochmann W. Im Kampf, S. 83.

26

Hitlers Tischgespraeche, S. 346, далее: ibid. S. 321, а также: Domarus M. Op. cit. S. 647.

27

Из выступления Гитлера 30 ноября 1929 г. в Херсбруке, см.: Adolf Hitler in Franken, S. 144, далее: Hitlers Tischgespraeche, S. 152, а также: Hitlers Zweites Buch, S. 56. См. в этой связи и речь Гитлера в Гамбург ском «Национальном клубе» 28 февраля 1926 г.: Jochmann W. Im Kampf, S. 177.

28

Hitlers Tischgespraeche, S. 170, а также: Hitler A. Mein Kampf, S. 70.

29

Ibid. S. 324.

Ibid. S. 421, 317.

31

Domarus M. Op. cit. S. 646, 587, а также: Boepple E. Op. cit. S. 21.

32

Hitlers Tischgespraeche, S. 153. О «всеобъемлющем генеральном наступлении» Гитлер говорил в своей речи 13 сентября 1937 г., в которой содержатся многочисленные подробности, относящиеся к данному вопросу, см.: Domarus M. Op. cit. S. 727 ff.

33

Парсифаль (Парцифаль), мифологический персонаж, рыцарь, воспитанный в лесу; герой одноимённой оперы Р. Вагнера. — Примеч. ред.

Rauschning H. Gespraeche, S. 220 f.

35

См.: Nolte E. Eine fruehe Quelle, S. 590. Этому автору принадлежит заслуга в том, что он отыскал и прокомментировал полузабытую и во всяком случае до того совершенно обойдённую вниманием работу под названием «Большевизм от Моисея до Ленина. Диалоги между Адольфом Гитлером и мной» (Der Bolschewismus von Moses bis Lenin. Zwiegespraeche zwischen Adolf Hitler und mir.). См. также: его же. Faschismus in seiner Epoche, S. 404 ff. — Тождественность христианства и большевизма, как там, в частности, говорится, являлась также «центральным тезисом застольных бесед», хотя Гитлер, даже будучи уже на вершине своей власти, никогда не осмелился бы произнести это вслух. — По поводу 30 миллионов человеческих жертв см. речь Гитлера, произнесённую 28 июля 1922 г.: Boepple E. Op. cit. S. 30.

Rauschning H. Gespraeche, S. 223.

Schubert G. Op. cit. S. 39.

38

Опубликовано в Der Nationalsozialist, 1. Jg., Nr. 29, 17. 8. 1924, цит. по: Jaeckel E. Op. cit. S. 73.

PND, Nr. 409, DC 1477.

Trevor-Roper H. R. Op. cit. P. XXV.

41

Ibidem. Предыдущую цитату см.: Libres propos, S. 321.

Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 405.

43

Hitler A. Mein Kampf, S. 703; см. также уже упоминавшуюся беседу с Дитрихом Эккартом, в конце которой Гитлер сделал попытку описать утопическое состояние мира непосредственно перед тем, как будет упразднён естественный закон борьбы всех против всех.

44

Из заключительного слова Гитлера на третьем партсъезде 21 августа 1927 г. в Нюрнберге, см.: Adolf Hitler in Franken, S. 81. См. также: Schubert G. Op. cit. S. 221. Герману Раушнингу Гитлер тоже говорил, что он должен «сначала создать народ», чтобы «решить задачи, которые в настоящее время поставлены перед нами как нацией»; см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 22.

45

Rauschning H. Gespraeche, S. 232; далее: Griessmayer G. Das voelkische Ideal, S. 160 (опубликовано на правах рукописи).

46

См.: Jacobsen H. A., Jochmann W. Op. cit.; там, правда, круг слушателей ошибочно называется «офицерами выпуска 1938 г.», далее: Hitler A. Mein Kampf, S. 444 f.

Ibid. S. 152 ff.

48

Изложение опирается здесь на выводы, которые сделал Х. Р. Тревор-Роупер в имеющем принципиальное значение докладе «Военные цели Гитлера» на конгрессе историков в Мюнхене в. 1959 году; см.: VJHfZ, 1960, H. 2, S. 121 ff.

49

См. речь Гитлера в мюнхенском народном суде 27 марта 1924 г. Цит. в: Boepple E. Op. cit. S. 166. См., кроме того, статью «Почему должно было наступить 8 ноября?», опубликованную в апрельском номере журнала «Обновление Германии» («Deutschlands Erneuerung») за 1924 г., где эта альтернатива поставлена весьма остро. По всему комплексу этих вопросов см. также: Kuhn A. Hitlers aussenpolitisches Programm.

Hitler A. Mein Kampf, S. 736.

Ibid. S. 153, 742.

Цит. по : Trevor-Roper H. R. Op. cit. P. 129.

Hitler A. Mein Kampf, S. 742 f.

См.: Ibid. S. 740, 749, а также: Hitlers Tischgespraeche, S. 320.

Nolte E. Faschismus, S. 135 f.

56

Из письма Альберта Шпеера Гитлеру от 29 марта 1945 г., IMT, Bd. XLI, S. 425 ff., упомянутую речь в Эрлангене см.: Adolf Hitler in Franken, S. 171.

57

Frank H. Op. cit. S. 40. Приведённую ниже характеристику, выданную дирекцией тюрьмы в крепости Ландсберг, см.: Lurker O. Hitler hinter Festungsmauern. Berlin, 1933, S. 60 ff. Характеристика содержит, между прочим, такие, словно вписанные самим Гитлером клятвенные заверения: Гитлер, «выйдя на свободу, не будет угрожать и мстить должностным лицам из противоположно го лагеря, перечеркнувшим его планы в ноябре 1923 г., не будет подстрекателем против правительства и врагом других партий с национальным образом мыслей. Как он подчёркивает, он глубоко убеждён в том, что государство не может существовать без прочного порядка внутри страны и без прочного правительства».

58

Цит. по: Maser W. Hitler's Mein Kampf, S. 260 f. Процитированные ниже слова Г. Штрассера см.: Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 243.

59

Из статьи Хайнца Поля в журнале «Вельтбюне», цит. по: Fabry Th. W. Mutmassungen ueber Hitler, S. 28; кроме того: Hanfstaengl E. Op. cit. S. 119.

60

План, представленный американским банкиром Ч. Дауэсом Союзной комиссии по репарациям в апреле 1924 г., предусматривавший ежегодные фиксированные платежи со стороны Германии, которая получала иностранные займы для стабилизации своей валюты. — Примеч. ред.

61

См. прим. 72 (к т. 1, книге первой).

62

Tyrell A. Op. cit. S. 72 f. u. S. 81. См. также: Rosenberg A. Letzte Aufzeichnungen, S. 107, 319.

63

Цит. по: Tyrell A. Op. cit. S. 85, а также: Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 224.

64

Из выступления Гитлера 9 ноября 1934 г., <цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 115.

Breucker W. Die Tragik Ludendorffs. Stollhamm O. J., S. 107.

Strasser O. Hitler und ich, S. 82. В этой связи смотри также: Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 212 f.

67

См., напр., датированное 17. 06. 1925 г. письмо предводителя Немецкой национальной партии свободы фон Грефе (опубликовано в кн. Jacobsen H. A., Jochmann W. Op. cit.). Затем выступление Гитлера на общем членов собрании партии 30 июля 1927 года (Tyrell A. Op. cit. S. 176), а также беседу Гитлера с генеральным консулом Австрии (Deuerlein E. Aufstieg, S. 251).

68

Из открытого письма, адресованного фон Грефе и опубликованного в VB. 19.03.1926. цит. по: Garsten F. L. Op. cit. S. 154. Смотри также отчёт о конференции Национал-социалистического освободительного движения: Deuerlein E. Aufstieg, S. 242 f. Об упомянутом послании см.: IfZ Fa 88/Fasz. 199.

VB, 7.03.1925, затем: Heiden K. Geschichte, S. 190.

Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 217 f.; процитированные выше слова Эссера см.: Horn W. Op. cit. S. 214.

71

Mueller K. A. v. Im Wandel einer Welt. Bd. 3, S. 301; Hanfstaengl E. Op. cit. S. 121.

72

Из донесения мюнхенской полиции о собрании руководителей секции НСДАП от 4 августа 1925 г. см.: Tyrell A. Op. cit. S. ПО.

73

Из заключительного выступления Гитлера на совещании представителей НСДАП от земель, состоявшегося 12 июня 1925 г. в Плауэне, BAK NS 26/59.

Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 215; его же. Geschichte, S. 190 f.

Roehm E. Op. cit. S. 341 ff.

Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 221. О количестве членов в партии см. сообщение Германа Фебке, опубликованное в кн.: Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution, S. 207.

77

См.: Strasser O. Hitler und ich, S. 80. Kuehnl E. Die nationalsozialistische Linke, S. 14.

78

Das Tagebuch von Joseph Goebbels 1925/26, S. 95. Подтверждения маниакального, апокалипсического радикализма встречаются там почти на каждой странице. И в Грегоре Штрассере Геббельс превозносил прежде всего то, что тот «готов к любого рода радикализации идеи», см.: Ibid. S. 30.

79

См. по этому поводу упомянутое сообщение Г. Фебке: Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution, S. 207 ff.; затем Goebbels-Tagebuch, S. 22, 26 f., а также письмо Грегора Штрассера Геббельсу от 11 ноября 1925 г., BAK, NSI, 340/B1. 208.

80

Цит. по: Jochmann W. Op. cit., под датой 14 декабря 1925г.; а также: Krebs A. Op. cit. S. 185. Цитата, приведённая ниже, взята из: Nationalsozialistische Briefe, 1.07.1927.

81

Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 204. а также: Tyrell A. Op. cit. S. 125.

82

Из выступления Штрассера в рейхстаге 24 ноября 1924 года, Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 205. Следует, однако, учитывать, что второй том «Майн кампф», в котором Гитлер главным образом изложил свои внешнеполитические взгляды, к тому времени ещё не вышел. Приводимые ниже общественно-политические требования группы Штрассера подробно приведены в книге: Kuehnl R. Op. cit. S. 20 ff.

83

O. Strasser. Hitler und ich, S. 113; по уверению О. Штрассера, Геббельс сделал своё предложение с места, не вставая со стула. Этот эпизод неоднократно и не без оснований подвергался сомнению, но, тем не менее, от был подтверждён заслуживающим большего доверия Грегором Штрассером, так что, может быть, и правильно предположение Хельмута Хайбера, что Геббельс действительно произнёс эту вызывающую споры фразу, но не при описанных Отто Штрассером драматических обстоятельствах, а в каком-то разговоре в тесном кругу; см.: Goebbels-Tagebuch, S. 56, Anmerkung.

84

Так в дневнике Геббельса: Goebbels-Tagebuch, S. 56, S. 31.

85

Heiden K. Geschichte, S. 217. Важнейшим изданием издательства «Кампфферлаг» была «Берлинер арбайтерцай-тунг», которой Отто Штрассер пытался придать оттенок и популярности и солидности, Она рекламировала себя таким пропагандистским лозунгом: «Единственный не служащий ссудному капиталу орган рабочих Берлина». Однако приличного тиража набрать эта газета так и не смогла.

Goebbels. J. Die Zweite Revolution, S. 56.

Krebs A. Op. cit. S. 185. Goebbels-Tagebuch, S. 59.

Krebs A. Op. cit. S. 141.

89

Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 227; см. также отчёт местной организации Потсдама от 25 августа 1925 г.: ВАК собрание Шумахера, N 205.

90

Установить точные даты создания упомянутых рисунков едва ли представляется возможным. По словам Альберта Шпеера, ссылавшегося тут, надо полагать, на высказывания Гитлера, эти наброски были сделаны в это время, тогда как начальник канцелярии Шпеера Апель, который вёл учёт имевшихся в собственности архитектора эскизов Гитлера, называет датой создания «Большой триумфальной арки» «примерно 1924 г.»; то же самое относится и к «Большому залу», «Южному вокзалу Берлина» и «Берлинской государственной библиотеке». Часть из этих набросков опубликована в книге А. Шпеера: Speer A. Op. cit.

Так, приглашены были не все гауляйтеры; например, гауляйтер Рура Карл Кауфман жаловался по этому поводу в письме от 12 февраля 1926 г., см: BAK, 203/Blatt 78 и. 85. С другой стороны, партийное руководство дополнительно пригласило лояльных по отношению к нему сторонников из Южной Германии.

92

См.: Goebbels-Tagebuch, S. 60; Lohse H. Der Fall Strasser, S. 5, в гамбургском центре по исследованию национал-социализма.

93

Это выражение принадлежит, по всей вероятности, Готфриду Федеру, которому приходилось даже оправдываться на этот счёт; см.: Tyrell A. Op. cit. S. 124 ff.

94

Опубликовано в кн.: Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution, S. 255. О. Штрассер, разозлившись по понятным причинам на «предателя Геббельса», возложил на него всю ответственность за бамбергский провал. Молчание, которым Геббельс встретил нападки Гитлера и мюнхенцев, и впрямь бросается в глаза и воспринимается как свидетельство его отмежевания от не мцев-северян. Однако в самом Бамберге до этого ещё не дошло, а рассказ О. Штрассера о том, что якобы в самый разгар дискуссии Геббельс встал и заявил о своём заблуждении и о переходе в лагерь Гитлера, другими источниками не подтверждается. Речь здесь явно идёт о попытке найти виноватого в столь явном фиаско Грегора Штрассера. Сам Геббельс, как свидетельствует Карл Кауфман, уже после Бамберга говорил, что Гитлер предал социализм; хотя, согласно этому же источнику, Геббельсу и вменяли в вину провал в Бамберге, однако довольно долго ещё считали единомышленником, но никак не отщепенцем; см.: Tyrell A. Op. cit. S. 128, Manvell R., Fraenkel H. Goebbels, P. 99.

95

Goebbels-Tagebuch, S. 59. Там же, например, на стр. 72, приводятся слова Гитлера о «его идеале: смесь коллективизма и индивидуализма. Земля, со всем, что на ней и в ней, народная. Производство, поскольку созидательно, индивидуализировано. Концерны, тресты, готовая продукция, транспорт и т. д. социализированы».

96

Формулировка д-ра Альберта Фольке в «Директивах для Веймара» («Richtlinien fuer Weimar») от 18 июля 1924 г., цит. по: Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution, S. 96 f; см. далее сообщение PND N 535 о собрании секции района Мюнхен-Лайм 21 марта 1926 г., HA 25 A/1762. Гитлер уже требовал однажды, во время летнего кризиса 1921 г., чтобы программа оставалась неизменной, — тогда сроком на шесть лет, и ставил это условием своего возвращения в партию. В том же выступлении, в котором он обосновывал своё требование, он упоминал также и о секрете успеха христианства, см.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 111. 116, затем речь Гитлера в Гамбурге: Jochmann W. Im Kampf, S. 110, см. также: Heuss Th. Hitlers Weg, S. 22.

97

Из отчётных докладов Гитлера на общих собраниях членов партии в 1926 и 1927 гг., см.: Tyrell A. Op. cit. S. 135, 176; Jochmann W. Im Kampf, S. 104 f.

Goebbels J. In: VB, 3.07.1926.

99

О выборах на общих собраниях членов партии см.: VB, 2/3. 09. 1928; Tyre» A. Op. cit. S. 298. Эпизод с кнутом, на который здесь делается намёк, упоминается бывшим гауляйтером Нижней Баварии Отто Эрберсдоблером в его рассказе о стычке Гитлера с фон Пфеффером; см.: Tyrell A. Op. cit. S. 254 ff. См. в связи с этим также: Krebs A. Op. cit. S. 142, где передаётся замечание Гитлера, что даже в рядовых вопросах никто не имеет права принимать решение по своему собственному усмотрению. Приведённое ниже выражение Геринга известно со слов сэра Н. Гендерсона, см.: Henderson N. Failure of a Mission. Berlin 1937-1939. New York, 1940, P. 282; примыкающую к нему цитату из выступления Гитлера см.: сообщение PND N 535, НА 25/a/1762.

100

Goebbels-Tagebuch, S. 70 f.; письмо Грегора Штрассера Й. Геббельсу от 29 марта 1926 г.: BAK, Ns'l, vor!. 34, Blatt 156 и 160.

101

Из «Основополагающих директив для работы председателя и секретаря чрезвычайных съездов партии», который Гитлер издал к веймарскому мероприятию и приказал выпустить без изменений и к нюрнбергским партсъездам 1927 и 1929 гг.; см.: BAK, NS 26, Blatt 389.

102

Из письма Гитлера фон Пфефферу от 1 ноября 1926 г., цит. по: Bennecke H. Hitler und die SA, S. 237 f. Там же приведены упомянутые выше «приказы по С А» (SA-Befehle) и «Основополагающие распоряжения» (Grundsaetzlichen Anordnungen), которые фон Пфеффер в своём пристрастии к сокращениям называл SABE и GRUSA. См. также: Tyrell A. Op. cit. S. 235 f. Об освящении штандартов в веймарском Национальном театре см.: Ibid. S. 159.

103

VB, 18.08.1929.

Heiden K. Hitler. Bd. I, S. 231.

105

Из отчёта Райнхольда Мухова о ситуации, цит. по: Broszat M. Die Anfaenge der Berliner NSDAP 1926/27. In: VJHfZ, 1960, H. 1, S. 102 f. Там же содержатся и другие конкретные материалы.

106

Goebbels-Tagebuch, S. 92 f.

107

Krebs A. Op. cit. S. 188. Goebbels-Tagebuch, Dok, 13, S. 127 f.

108

В этом отчёте, в частности, говорится: «Открыв сильный огонь из револьверов и пустив в ход копьевидные железные древки флагов, национал-социалисты напали на коммунистов, в результате чего с поля боя было вынесено девять легко— и пять тяжелораненых. За месяц до того при столкновении в залах „Фароса“ на севере Берлина было ранено 98 человек, в том числе некоторые тяжело. После этого события Геббельс торжествующе писал: „С этого дня нас в Берлине знают. Мы не настолько наивны, чтобы думать, что дело сделано. „Фарос“ — это только начало“. См.: Goebbels-Tagebuch, S. 119, Anm., также: Broszat M. Op. cit. S. 111.

109

NS-Briefe, 15.05.1926.

110

BAK, NS 26, vorl. 390. Отличительными чертами так называемой «германской демократии» Гитлера были «выборы фюрера, но и его непререкаемый авторитет». Если в ранних изданиях ещё говорилось, что «председатель избирается, но является единственным вождём движения», то в изданиях, начиная с 1933 г. сказано: «Руководитель всегда назначается сверху и одновременно наделяется неограниченными полномочиями и авторитетом. Только вождь всей партии выбирается по законам ферейна (!) на общем собрании партии». Ср.: 3. Aufl., 1928. Bd. 1, S. 36 f. и 37. Aufl., 1933. S. 378. Характерно, что Гитлер обвинил добровольческий отряд «Оберланд» и его руководителя Беппо Ремера, практиковавших принцип свободы выбора командира, в большевистских тенденциях; см.: Krebs A. Op. cit. S. 121.

111

См., например, речь Гитлера на заседании объединения руководителей «фелькише» Тюрингии: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «Начало 1927 г.», S. 2. По поводу обюрокрачивания см. новогоднее обращение Гитлера в VB, 1/3— 1. 1927, а также его выступление на собрании членов южной секции НСДАП 22 апреля 1926 г., HA PND N 536.

112

Цит. по: Jacobsen H.-A., Der Zweite Weltkrieg, S. 180. Отто Бангерт пророчествовал в статье «Фелькишер беобахтер» 9. 09. 1927, что в ближайшие годы НСДАП станет «все отчётливее превращаться в грядущее государство», которое «в возрастающей степени (должно) пронизать всю нашу разрушенную общественную жизнь. Когда же со временем национал-социалисты придут потом к власти, то третий рейх в своих основах уже будет существовать». См. кроме того: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 453.

113

Goebbels J. Der Fuehrer als Staatsmann. In: Adolf Hitler, S. 48 (издано конторой сигаретных этикеток в Альтоне).

Krebs A. Op. cit. S. 130 f.

115

Цит. по: Heiden K. Hitler. Bd. I, S. 242. Также: Goebbels J. Op. cit. S. 51.

116

Hauptstaatsarchiv Muenchen (далее — HStA Muenchen), см.: Deuerlein E. Aufstieg, S. 279, а также: Krebs A. Op. cit. S. 57 f. По поводу жалобы центра, о которой речь шла выше, см.: VB 7.08.1927.

117

Пакт об отказе от войны как орудия национальной политики, подписан 27 августа 1928 года в Париже сначала девятью государствами, затем количество подписавших возросло до 56. Инициатива исходила от французского министра иностранных дел А. Бриана и была поддержана американским государственным секретарём Ф. Б. Келлогом, отсюда пакт Бриана-Келлога. — Примеч. ред.

118

По теме в целом см. прежде всего богатую фактическими материалами книгу Фердинанда Фриденсбурга «Веймарская республика» (Friedensburg F. Die Weimarer Republik).

119

Продажа книги возросла лишь после превращения НСДАП в массовую партию, особенно когда вышло дешёвое издание стоимостью всего 8 марок за оба тома. В 1930 году было продано 54 086 экземпляров, в 1931 году — 50 808, а в 1932 — 90 351, а затем, начиная со следующего года, продажа уже стала превышать в несколько раз стотысячный рубеж. В 1943 году общий тираж книги составил 9 840 000 экземпляров; см. Hammer H. Die deutschen Ausgaben von Hitlers «Mein Kampf. In: VJHfZ, 1956 H. 2, S. 161 ff.

120

Опубликовано в кн.: Shirer W. L. Op. cit. S. 128; Автор ссылается на исследование О. Дж. Хейла (Hale O. J. The American Historical Review, July, 1955).

121

NStA Muenchen, цит. по: Deuerlein E. Aufstieg, S. 266, а также Heiden K. Der Fuehrer. Hitler's rise to power, Boston, 1944, p. 250; последующее описание взято из «Фелькишер беобахтер» 23.12.1926.

122

См. например: Tyrell A. Op. cit. S. 160ff, где опубликовано письмо Гитлера с таким обращением.

123

Geheimes Staatsarchiv Muenchen, цит. по: Deuerlein E. Aufstieg, S. 269 ff. И в этой речи Гитлер в качестве сравнения ссылался на раннее христианство.

124

Цит. по: Tyrell A. Op. cit. S. 211 ff, Ibid. S. 196, а также: Hoffmann H. Op. cit. S. 151 f.

125

Так Гитлер говорил ещё в начале 1927 года на совещании объединения руководителей «фелькише» в Тюрингии, Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit. «Начало 1927 г.», S. 2.

126

Krebs A. Op. cit. S. 131 f. Письмо А Динтеру от 25 июля 1928 г., опубликовано в журнале Динтера «Христианство духа»: Das Geistchristentum, l. Jahrgg., Heft 9/10, S. 353 f. По поводу «исторического меньшинства» см.: Heiden K. Geschichte, S. 269., а также Hitler A. Mein Kampf, S. 651 ff., где Гитлер определяет различные формы соучастия: «Если движение намеревается разрушить мир и построить на его месте новый, то в рядах его собственного руководства должна быть абсолютная ясность в отношении следующих принципов: любое движение должно сперва рассортировать завоёванный им человеческий материал на две большие группы — на сторонников и членов. Задача пропаганды заключается в вербовке сторонников, задача организации — в привлечении членов. Сторонником движения является тот, кто разделяет его цели, членом — кто борется за них. На десять сторонников всегда будут приходиться максимум один-два члена. Стать сторонником значит осознать, быть членом — иметь мужество самому защищать и распространять осознанное… Победа идеи при дет тем скорее, чем больше людей обработаны пропагандой в совокупности и чем исключительнее, дисциплинированней и крепче организация, ведущая борьбу на практике. Из этого следует, что число сторонников никогда не может считаться слишком большим, число же членов легче пре вращается в слишком большое, чем слишком маленькое. Если пропаганда захватила весь народ, то организация может использовать это, ограничиваясь горсткой людей».

127

Goebbels. J. Der Angriff. Aufsaetze aus der Kampfzeit. Muenchen, 1935, S. 80 ff.

Schumpeter J. A. Aufsaetze zur Soziologie. Tuebingen, 1953, S. 225.

Adolf Hitler in Franken, S. 81.

130

Опубликовано в кн.: Kuehnl R. Op. cit. S. 344 (Dok. Nr. 34).

«Боши заплатят за все» (фр.) — Примеч. пер.

Bracher K. D. Aufloesung, S. 291.

133

Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 368.

134

Ibid. S. 271; по поводу приведённого ниже замечания Геббельса см.: Heiber H. Joseph Goebbels, S. 29.

135

Цит. по: Kuehnl R. Op. cit. S. 234.

136

Письмо от 2 февраля 1930 г., напечатано в: VJHfZ, 1966, H. 4, S. 464; к процитированным ниже словам угрозы см.: Adolf Hitler in Franken. S. 146 (выступление 30 ноября 1929 г.).

137

См. упомянутое выше письмо, Ibid. S. 461.

138

См. в этой связи: Bracher K. D. Diktatur, S. 182, а также: Hitler A. Nuernberger Tagebuch. In: Illustrierten Beobachter, 10. 08. 1929. По поводу предложения, выдвинутого на партсъезде см.: BAK, NS 26, vorl. 391.

139

Так сообщала «Райниш-Вестфалише цайтунг» о более позднем выступлении Гитлера, состоявшемся в июне 1929 г., цит. по: Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 222.

140

Письмо Эмиля Кирдорфа Гитлеру цит. в кн.: Heiden K. Der Fuehrer, p. 271. Высказывание Эльзы Брукман содержится в статье Кирдорфа, опубликованной в газете «Нойе пройсише (кройц)-цайтунг» 3 января 1937 г., цит. по: Deuerlein E. Aufstieg, S. 285 f. Однако вскоре Кирдорф порвал с партией, т. к. многие пункты её программы его не устраивали. И всё же в 1934 г. он опять вступил в неё. См. в этой связи: Turner H. A. Faschismus und Antimodernismus. In: Faschismus und Kapitalismus in Deutschland, S. 60 ff.

141

Слова одного из партийных ораторов на собрании в Бад-Кройцнахе 29 октября 1929 г., Heyen F. J. Nationalsozialismus im Alltag, S. 17. Будучи во власти иллюзорного чувства превосходства, дойч-националы по-прежнему считали, что с имперским комитетом Гитлер порвал из-за якобы имевших место разногласий с левым крылом партии. Тем не менее, нужно отметить, что группа Штрассера рассматривала это событие как успех — и не без основания, поскольку своим поведением в имперском комитете Грегор Штрассер в немалой степени способствовали разрыву этого союза; см. в этой связи: Kuehnl R. Op. cit. S. 234 f.

142

Инструкция отдела пропаганды партийного центра от 24 декабря 1928г., опубликовано в кн.: Tyrell A. Op. cit. S. 255f f. См. также рассказ о мероприятии подобного рода: Heyen F. J. Op. cit. S. 33 f.

143

«Директивное письмо НСДАП» от 15 марта 1931 г., цит. по: Berliner Tageblatt, 21.03.1931.

144

См. документы, опубликованные в кн.: Treue W. Deutschland in der Weltwirtschaftskrise in Augenzeugenberichten, S. 34, 43, 64.

Knickerbocker H. R. Deutschland so oder so?, S. 15 f.

Цит. по: Shirer W. L. Op. cit. S. 131.

147

Adolf Hitler in Franken, S. 63. Утверждение о строго классовом характере национал-социализма принадлежит главным образом марксистской исторической науке. Из почти необъятного количества литературы см.: Abendroth W. Op. cit., а также: Nolte E. Theorien, где приводятся многочисленные другие примеры.

148

В одном из исследований С. М. Липсет дал такое определение идеального избирателя, голосующего за НСДАП: «Самостоятельный представитель среднего класса протестантского вероисповедания, живший либо на хуторе, либо в небольшом местечке и голосовавший ранее за центристскую или региональную партию, которая выступала против власти и влияния крупных промышленников и профсоюзов»; см.: Nolte E. Theorien, S. 463.

149

Слова Эрнста в адрес Ревентлова. In: Der Nationale Sozialist, 17. 05. 1930, цит. по: Kuehnl R. Op. cit. S. 60 Относительно приведённых ниже данных о структуре отрядов штурмовиков в Гамбурге см.: Carsten F. L., Op. cit. S. 164, а об отрядах СА в Бреслау см.: письмо Стеннеса Рему от 28 февраля 1931 г., НА 17.

Engelbrechten J. K. v. Eine braune Armee entsteht. Die Geschichte der Berlin-Brandenburger SA. Muenchen, Berlin, 1937, S. 85.

151

См.: Heiber H. Joseph Goebbels, S. 90 и S. 72.

152

Из приказа по С А от 17 февраля 1932 г., НА der NSDAP, Fasc. 307.

153

Цит. по: Stoltenberg G. Politische Stroemungen im schleswig-holsteinischen Landvolk 1918-1933, S. 205 f.

154

Цит. по: Neumann S. Die Parteien der Weimar Republik, S. 74. См. также: Schueddekopf O. E. Linke Leute von rechts, S. 42 ff.

155

Имперский руководитель союзов немецкой молодёжи. — Примеч. пер.

156

Krebs A. Op. cit. S. 188 f. Другие данные см.: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit S. 34, а также: ВАК, Sammlung Schumacher 201/1, 202/1, 208/1

Frank H. Op. cit. S. 58.

См.: Horkenbach C Op. cit. S. 315.

159

Опубликовано в кн.: Ursachen und Folgen, Bd. VIII, S. 330.

160

Adolf Hitler in Franken, S. 42 и S. 57 (выступление 26. 03. 1927 г.), а также: Ibid. S. 102 (выступление 8.12.1928 г.).

161

Tucholsky K. CW, Bd. Ill, S. 834. Аналогичным образом высказался и издатель журнала «Вельтбюне» Карл фон Осецкий в статье незадолго до сентябрьских выборов 1930 г.: «У национал-социалистического движения шумное настоящее, но нет никакого будущего».

Heiden K. Geschichte, S. 259.

163

См. более подробное и, учитывая сопутствующие обстоятельства, явно драматически стилизованное изложение Отто Штрассера (Strasser O. Mein Kampf, S. 37 ff, особенно S. 50ff), в основе которого лежат более ранние описания этой встречи. В передаче содержания беседы в целом, пожалуй, не может быть никаких сомнений — не только потому, что сразу же после её окончания был по памяти составлен подтверждённый протокол, но и потому, что такая аргументация Гитлера совпадает с его многочисленными высказываниями в других случаях.

164

Rauschning H. Gespraeche, S. 45 f. По поводу определения Гитлером понятия «социализм» см. также его высказывания: Adolf Hitler in Franken, S. 144, S. 167 ff. (речь 30. 11. 1929 г.).

165

См.: Heiden K. Geburt, S. 38.

166

Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 275; а также: Kuehnl R. Op. cit. S. 374.

167

Из циркулярного письма рейхсляйтера по пропаганде от 1 июля 1930 г., см.: Kuehnl R. Op. cit. S. 251 Замечание о «почти противоестественной личной преданности» принадлежит К. О. Петелю и касается Грегора Штрассера, но относится, безусловно, и к другим тоже; Ibid. S. 215.

Die Weltbuehne, 1930, S. 566.

169

Игра слов: Pfeffer по-немецки — «перец», а Kuemmel — тмин. — Примеч. пер.

170

Hitlers Tischgespraeche, S. 419. О глубинных причинах кризиса штурмовых отрядов здесь упоминается лишь вскользь, см.: Orlow D. Op. cit. S. 216 ff, а также: Hoehne H. Der Orden unter dem Totenkopf, S. 64 ff.

171

VB, 4. 04. 1931 («Hitlers Abrechnung»); цифра 133 была подсчитана в газете «Франкфуртер цайтунг» 9 апреля; далее см.: Doc. Ctr. 43/1, а также: Dienstvorschrift fuer die SA der NSDAP (SADV), 1. 10. 1932, S. 82.

См.: Krebs A. Op. cit. S. 138 f.

173

См.: Tyrell A. Op. cit. S. 270.

174

Из служебной записки заместителя командующего С А в Южной Германии от 19. 09. 1930, Doc. Ctr. 43/11, Bl. 1.

175

Miltenberg W. v. Adolf Hitler — Wilhelm HI., S. 74 u. S. 18; по поводу конфликта с известным партийным оратором Германом Фридрихом, перешедшим к национал-социалистам из КПГ и вступившим затем в упомянутый конфликт с Гитлером; см.: Friedrich H., Neumann F. Vom Sowjetstern zum Hakenkreuz. Karlsruhe, 1928, S. 20 ff.

Об этом говорится и в уже не раз упоминавшейся речи в гамбургском «Национальном клубе». Op. cit. S. 97, и в упомянутом письме от 2. 02. 1930 одному члену партии, имя которого не названо; опубликовано в: VJHfZ, 1966, H. 4, S. 464. К замечаниям О. Штрассера, который тоже, возможно, сгустил краски, см.: Strasser O. Mein Kampf, S. 98, S. 43.

177

Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 272.

178

Remmele H. In: Die Internationale. Nr. 13, S. 548, цит. no: Bracher K. D. Aufloesung, S. 365.

179

Из передовицы «Франкфуртер цайтунг» от 15. 09. 1930 См. кроме того: статью В. Абегга в газете «Берлинер тагеблатт» от 9.11.1930. Доклад регирунгспрезидента Кобленца от 14. 02. 1931 также свидетельствует о том, что люди, голосовавшие за НСДАП, являются не столько сторонниками Гитлера, сколько противниками правящей власти; см.: Heyen F. J. Op. cit. S. 49 f.

Spengler O. Preussentum und Sozialismus. Muenchen, 1919, S. 11.

181

См.: Daily Mail, 24. 09. 1930, цит. по: VB, 25.09.1930. Характерно, что статья лорда Ротермира начиналась с призыва изменить представление о Германии: «Для нас она до сих пор своего рода военнопленный. В отличие от других народов она не свободна. Обретение ею полной национальной свободы мы поставили в зависимость от платежей и условий, которые мы навязали ей против её воли… Разумно ли настаивать на последней букве закона?» Заканчивалась статья так: «Для блага западной цивилизации было бы лучше всего, если бы в Германии у руля оказалось правительство, руководствующееся теми же здоровыми принципами, С помощью которых Муссолини обновлял Италию последние во семь лет».

182

Одному из этих кандидатов-»везунчиков», которые нежданно для себя попали в рейхстаг, некий предприниматель задал вопрос о том, как же он представляет себе отмену выплаты процентов по долгам, и тот не смог ничего ответить; см.: Tyrell A. Op. cit. S. 302.

183

По утверждению К. Д. Брахера, см.: Bracher к. D. Diktatur, S. 201.

184

Der Angriff, 2. 11. 1931, перепечатано в: Wetterleuchten, S. 213 f.

185

Согласно упоминавшейся служебной записке А. Шнайдхубера от 19. 09. 1930, Doc. Ctr. 43/11. Относительно упомянутого письма Грегора Штрассера см.: Tyrell A. Op. cit. S. 340.

186

Цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 159, а также: Frankfurter Zeitung, 26.09.1930. См. в этой связи кроме того: Hitler A. Mein Kampf, S. 379: «Движение является… антипарламентским, и даже его участие в парламентском институте может иметь смысл лишь тогда, когда оно направлено на его развал, на ликвидацию того учреждения, в котором мы должны видеть одно из тяжелейших проявлений деградации человечества».

187

Hitlers Tischgespraeche, S. 364.

Цит. по: Schueddekopf O. E. Heër und Reprblik, S. 281 ff.

189

Высказывание Гитлера передано не полностью и не соответствует протоколу; в приведённых здесь цитатах сведены воедино различные тексты, имеющие отношение к данному аспекту; см.: попытку реконструировать дословный текст по сообщениям в печати, предпринятую Петером Бухером: Bucher P. Der Reichswehrprozess, S. 237 ff.

190

Scheringer R. Das grosse Los, S. 236; Der Angriff S. 73 (30. 04. 1928). А. Кребс рассказывает потом, что весной 1932 года Гитлер призывал гамбургскую партийную прессу к «подстрекательству масс на революционные действия» Krebs A. Op. cit. S. 154.

191

См.: Sauer W. In: Bracher K. D., Sauer W., Schulz G. Die nationalistische Machtergreifung, S. 851; о развитии и роли СС см.: Hoehne H. Op. cit. S. 30ff; Ibid. S. 57 f. численность рядов СС: январь 1929 года — 280 человек декабрь 1929 года — 1000, декабрь 1930 г. 2727 — человек.

192

Цит. по: Bennecke H. Hitler und die SA, S. 253 (Dok. 13). Штурмовики должны были быть также и неженаты: «Отцы семейств не годятся для уличных боев» — считал Гитлер; см.: Hanfstaengl E. Op. cit. S. 97.

193

См.: Sauer W. In: Machtergreifung, S. 847; Broszat M. Die Anfaenge der Berliner NSDAP. In: VJHfZ, 1960, H 1, S. 85 ff. Приведённые ниже отрывки из песни штурмовиков цит. по: Der Angriff, Op. cit. 25.06.1928.

Hitlers Tischgespraeche, S. 364.

195

Из письма Вилли Феллера от 16. 08. 1930, цит. по: Tyrell A. Op. cit. S. 297 f.

196

См.: Wetterleuchten, S. 71 f. (статья, датированная 19. 02. 1931).

197

Формулировка Артура Розенберга: Rosenberg A. Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, S. 479.

Fransois-Poncet A. Op. cit. p. 22 f.

199

Curtius J. Sechs Jahre Minister der deutschen Republik. Heidelberg, 1948, S. 217.

200

Сообщение британского посла от 16. 07. 1931, цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 173.

201

Речь идёт о статье анонимного офицера рейхсвера «Национал-социализм и рейхсвер», которая наглядно отражает все неоднозначное отношение офицерского корпуса к гитлеровскому движению; опубликовано в: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «23 ноября 1930 г.». О личности фон Шляйхера см., напр.: Eyck E. Op. cit. Bd. II, S. 420 ff., а также: Treviranus G. R. Das Ende von Weimar, S. 248 ff.

См.: Hubatsch W. Hindenburg und der Staat, S. 306.

203

Ossietzky C v. In: Die Weltbuehne, 3.02.1931.

204

См.: Groener-Geyer D. General Groener, S. 279; затем: Denkschrift des Stabschefs der SA Roehm fuer Zwecke aktiver Information in Auslande, 22.04.1931. In: Vogelsang Th. Op. cit. S. 422 ff.

Heuss Th. Op. cit. S. 148 f.

Эта встреча была вскоре продолжена в Берлине, однако, как свидетельствует Эрнст Пенсген, все заклинания Гитлера, обращённые к промышленникам, прекратить поддержку Брюнинга успехом не увенчались; см.: Poensgen E. Erinnerungen, S. 4; Dietrich O. Mit Hitler in die Macht, S. 45.

207

Письмо Тренера фон Гляйху от 1.11.1931 г., Phelps R. H. In: Deutsche Rundschau, 1950, Nr. 76, S. 1016 f.

208

См., напр., письма Тренера своему другу фон Гляйху: Groener-Geyer D. Op. cit. S. 279 ff. Helden K. Hitler, Bd. 1, S. 293.

209

Weizsaecker E. v. Erinnerungen, S. 103. После замечания насчёт министра почты автор приводит такую анекдотическую фразу: «Да пусть он лижет меня на марках — сзади». Гинденбург обычно называл Гитлера «богемским ефрейтором», поскольку ошибочно предполагал, что Гитлер родом из Браунау в Богемии. Не исключено однако, что одновременно он тем самым хотел, прибегая к просторечью, подчеркнуть богемско-богемный характер Гитлера, который он находил чужеродным и не свойственным немцу. — По поводу замечания Оскара Гинденбурга см.: Hammerstein K. v. Spaehtrupp, S. 20.

210

Слова Альфреда Гугенберга: Hugenbergs Ringen in deutschen Schicksalstunden, Hrsg. von Borchmeyer J. Detmold, 1951, Bd. 1, S. 18. По поводу высказывания Гитлера см. полемическую переписку с председателем «Стального шлема» Теодором Дюстербергом в книге: Duesterberg Th. Der Stahlhelm und Hitler, S. 24 f.

211

См.: Calic E. Ohne Maske, S. 22 passim. Там же приводятся многочисленные примеры того, как у Гитлера словно срабатывал рефлекс неприятия слова «буржуазный». Относительно достоверности книги, содержащей заметки о двух беседах Гитлера с главным редактором газеты «Лейпцигер ноейесте нахрихтен» Рихардом Брайтингом, уместно высказать значительные сомнения. Однако именно к антибуржуазным высказыванием Гитлера они, очевидно, не относятся; см. в этой связи: Der Spiegel, 1972, Nr. 37, S. 62 ff., далее Hitler's Tischgespraeche, S. 170, 236, 245, 261 f., 348. Многочисленные примеры см. также: Hitler A. Mein Kampf, под ключевым словом «buergerlich».

Adolf Hitler in Franken, S. 138 (речь 30. 11. 1929).

213

Burckhardt C J. Meine Danziger Mission, S. 346, u. 340. Мысль о том, что по буржуазным меркам его не понять, Гитлер высказал в интервью Хансу Йосту, опубликованном в: Frankfurter Volksblatt, 26.01.1934. См. также: Hitlers Tischgespraeche, S. 170.

214

Так писала газета «Дер Юнгдойче» 18. 05. 1930 о имперском комитете против плана Юнга. Среди других попыток заключения союза был так и не состоявшийся референдум по роспуску ландтага Пруссии или провалившаяся попытка создания коалиции национал-социалистов с правым буржуазным блоком в Брауншвейге. По поводу приведённого ниже замечания Гугенберга см.: Schulthess, 1931, S. 251.

215

Цит. по: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «Начало 1927 г.», S. 2.

См.: Hallgarten G. W. F. Hitler, Reichswehr und Industrie, S. 120; там же приводятся и более подробные данные об обязательствах НСДАП и размерах финансовой поддержки со стороны промышленников. См. также: Heiden K. Hitler, Bd. I, S. 313 f. Более скромные цифры называет Г. А. Тернер: Turner H. A. Fritz Thyssen und «I paid Hitler». In: Faschismus und Kapitalismus in Deutschland, S. 87 ff. О реальных, а не мифических цифрах и связанных с этим трудностях свидетельствует и неудачная попытка Тиссена изъять в пользу НСДАП из забастовочного фонда северо-западного отделения Союза немецких предпринимателей металлургической и сталелитейной промышленности 100 тыс. рейхсмарок. Когда бывший в то время управляющим делами Союза Людвиг Грауэрт перечислил деньги без разрешения председателя Союза Эрнста Пенсгена, тот выразил ему свой решительный протест, а Крупп потребовал даже увольнения Грауэрта. Только благодаря заверению Тиссена, что речь шла лишь о займе, и тому, что он тут же выложил всю сумму из своего собственного кармана, управляющий не пострадал; см. в этой связи: Turner H. A. Op. cit. S. 101 ff. — Согласно частично подтверждённому фактами показанию Фридриха Флика на суде национал-социалисты получили из выделенных им на политические цели денег лишь по 2, 8 %; см.: Ibid. S. 20. Вопрос о финансовой поддержке Гитлера промышленниками предоставляет — не в последнюю очередь из-за крайней скудости источниковой базы — широкий простор для идеологически окрашенных спекуляций. Казначей НСДАП Франц Ксавер Шварц сам говорил, что весной 1945 года сжёг все документы в «Коричневом доме», чтобы не допустить их конфискации приближающимися американскими частями. Кроме того, недостаточно надёжным оказался и до сих пор наиболее часто цитировавшийся источник — книга Фрица Тиссена «Я платил Гитлеру» (Thyssen F. I paid Hitler). Тиссен сам опровергал аутентичность этой книги. Весной 1940 года в Монте-Карло, куда Тиссен эмигрировал, он дал несколько интервью издателю Э. Реву. В дальнейшем они должны были послужить материалом для книги воспоминаний. Однако быстрое продвижение немецких армий во Франции сорвало планы, Рёв бежал вместе с материалами в Англию, где затем и опубликовал эти интервью, снабдив их многочисленными вставками. Отличная от этого версия самого Рёва менее достоверна, поскольку не была учтена даже судом по делам денацификации в Кенигштайн-Таунусе.

В своём уже упоминавшемся исследовании Г. А. Тернер

доказал, что именно пассажи, до сих пор рассматривающиеся историками как особо важные, относятся к тем фрагментам книги Рёва, которые автор, Фриц Тиссен, никогда не видел, что и было подтверждено самим Рёвом. Значение книги как источника снижается далее тем обстоятельством, что, например, эпизод, где Тиссен говорит о «глубоком впечатлении», которое произвела речь Гитлера в Дюссельдорфе на присутствовавших там промышленников, в стенограмме интервью вообще отсутствует, то есть представляет собой более позднюю вставку, против которой Тиссен категорически возражал уже после войны. И другое постоянно цитируемое место, где размер ежегодных субсидий для НСДАП оценивается Тиссеном в два миллиона марок, является, как убедительно продемонстрировал Тернер, в большей или меньшей степени вымыслом. По поводу реального размера платежей см. размышления автора в упоминавшейся книге с таким резюме: «Если все тщательно взвесить, то финансовые отчисления промышленников были направлены преимущественно против национал-социалистов» (Turner H. A. Op. cit. S. 25). В остальном можно исходить из того, что основную часть денежных средств, которыми располагала НСДАП, составляли членские взносы, размер которых, согласно одному из донесений полиции, удерживал многих от вступления в партию; см. также: Heyen F. J. Op. cit. S. 22, u. S. 63.

217

Слова Э. Чихона (Czichon E. Op. cit.) в качестве одного из целого ряда аналогичных примеров; см. в этой связи также критическую статью Э. Хеннинга, где приводятся многочисленные другие свидетельства и данные о литературе: Henning E. Industrie und Faschismus. In: NPL, 1970, H. 4, S. 432 ff. Впрочем, Чихон предпочитает ссылаться на весь источник в целом, а также на Неопубликованные документы, так что проверить их во многих случаях невозможно; нередко встречаются и явно сознательные искажения, неточности и ошибочные ссылки. Э. Нольте доказал, что Чихон так рассказывает об одном взносе концерна «ИГ Фарбен» в кассу НСДАП, будто он состоялся до её прихода к власти, в то время как из самого документа следует, что деньги были перечислены в 1944 году (Nolte E. Der Nationalsozialismus. Berlin, 1970. S. 190). Ссылаясь на Брахера (Bracher K. D. Aufloesung, S. 695), Чихон утверждает также, что после разговора с Папеном 4 января 1933 года в Кёльне Гитлер встретился с Кирдорфом и Тиссеном, однако этого эпизода у Брахера нет. Аналогичным образом обстоит дело и с неверной ссылкой Чихона на книгу Майснера и Вильде «Захват власти»: Meissner H. O., Wilde H. Die Machtergreifung. Более подробно см.: Henning E. Op. cit. S. 439.

218

Это выступление состоялось 26 января, а не 27, как чаще всего утверждается. См., в частности: Dietrich O. Mit Hitler in die Macht, S. 44, 46. Различную позицию отдельных отраслей промышленности и отдельных промышленников подчёркивает и Хальгартен, см.: Hallgarten G. W. F. Hitler, Reichswehr und Industrie; а также: его же. Daemonen oder Retter, S. 215 f., затем: Fetcher I. Faschismus und Nationalsozialismus. Zur Kritik des sowjetmarxistischen Faschismusbegriffs. In: Politische Vierteljahresschrift, 1962, H. I, S. 55.

219

Письмо Шахта Гитлеру от 12. II. 1931, IMT 773-PS. Густав Крупп, например, ответил так: «По целому ряду причин я действительно не могу подписать это обращение». См.: Hallgarten G. W. F. Hitler, Reichswehr und Industrie, S. 125; Turner H. A. Op. cit. S. 25.

См.: Heiden K. Geburt, S. 22.

221

Dahrendorf R. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, S. 424. Относительно побудительных причин Дарендорф также справедливо полагает, что предприниматели поддерживали Гитлера, как и любую другую партию правых, имеющую планы прийти к власти, думая при этом не о заговоре, а исключительно о собственной защите — в порядке перестраховки; они, выражаясь известными словами Гуго Стиннеса, сказанными им в 1919 году, платили как бы «социальную страховую премию по предотвращению восстаний». Хальгартен также приходил к выводу, хотя Гитлер и получал солидную поддержку из фондов промышленности, но «сотворён» был не ими; см.: Hallgarten G. W. F. Op. cit. S. 113. Можно сказать и так: если «вся» промышленность и не привела Гитлера к власти, то при её явном нежелании ему тоже вряд ли удалось бы этого добиться.

222

Формулировка Яльмара Шахта из его речи в Гарцбурге, см.: Schacht H. 76 Jahre meines Lebens, S. 367 ff. Ещё в декабре 1929 года, то есть до свержения последнего правительства парламентского типа, на общем собрании Имперского союза немецких промышленников один из ораторов, например, под аплодисменты присутствующих заявил, что в Германии «экономический мир не наступит, пока не менее 100 тыс. партийных функционеров не будут выдворены из страны», и в протоколе значится, что в общих криках «Браво!» прозвучала реплика: «Муссолини!» Два года спустя союзы немецких промышленников в «Совместном заявлении» предъявили правительству Брюнинга ультимативные экономические и политические требования, которые связывались с призывами к самой настоящей национальной диктатуре. Близкая к предпринимательским кругам газета «Дойче альгемайне цайтунг» угрожала в передовой 6. 10. 1931, что в противном случае «влиятельные силы немецкой политики и экономики» отвернутся от Брюнинга. См., впрочем, также: Turner H. A. Op. cit. S. 25 i., где на вопрос о том, оказывали ли крупные предприниматели существенную поддержку Гитлеру, даётся определённо отрицательный ответ.

Полный текст см.: Domarus M. Op. cit. S. 68 ff.

224

Из выступления Гитлера перед гамбургским Национальным клубом 28. 02. 1926 в банкетном зале гостиницы «Атлантик». В протоколе записано: «бурные аплодисменты»; см.: Jochmann W. Im Kampf. S. 103, 114.

225

Ответственность за план проведения акции нёс судебный асессор д-р Вернер Бест, который, будучи начальником правового отдела округа, был избран в гессенский суд, а позднее, в «третьем рейхе», дослужился до чина рейхскомиссара в оккупированной Дании. Сам документ опубликован в: Schulthess, 1932, S. 263.

Лоэнгрин, мифологический персонаж, сын рыцаря Парсифаля, также является героем вагнеровской оперы. — Примеч. ред.

227

Грааль (Граль), в западноевропейских средневековых легендах таинственный драгоценный предмет, блюдо или чаша, сулящий обладателю земное и небесное счастье. В поисках Грааля рыцари совершают свои подвиги. — Примеч. ред.

228

См.: Heiden K. Hitler, Bd. I, S. 292, а также: Severing C. Mein Lebensweg, Bd. II, S. 316 f. По поводу приведённой ниже цитаты из документов британского военного атташе см.: Documents on British Foreign Policy 1919-1939, 2nd series, vol. 1, p. 512, Anm. 2.

229

Goebbels J. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 102 (28. 05. 1932).

230

Так писал Эрих Кох-Везер в письме Отто Геслеру от 26. 03. 1932, см.: Gessler O. Reichswehrpolitik, S. 505.

231

Гинденбургу явно в,се больше не давала покоя мысль, что в ноябре 1918 года он бросил своего монарха на произвол судьбы. Концепции Брюнинга, предусматривав шей борьбу с опасностью установления национал-социалистической диктатуры поначалу с помощью авторитарной реформы с последующим переходом к конституционному решению по английскому образцу, президент противопоставил требование прямого и последовательного восстановления монархии в старом духе. Когда же Гинденбург, наконец, согласился выставить свою кандидатуру, то поставил условие, «чтобы выборы были со стопроцентной гарантией и чтобы Гарцбургский фронт не был бы целиком и полностью против»; см. беседу фон Вестарпа со статс-секретарём Майснером, цит. по: Bracher K. D. Aufloesung, S. 458.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 19 f.

233

Brecht A. Vorspiel zum Schweigen, S. 180. Арнольд Брехт приводит такую трагикомическую ситуацию: создатели конституции сознательно отказались перенять то положение американской конституции, согласно которому к участию в выборах на высший государственный пост допускаются только родившиеся в этой стране граждане — дабы не исключить своих австрийских братьев. Впрочем, усилия по обеспечению Гитлеру немецкого гражданства предпринимались ещё осенью 1929 года. Тогда Фрик попытался, хотя и безуспешно, уладить вопрос с гражданством в Мюнхене. Полгода спустя, став тем временем министром в Тюрингии, Фрик хотел устроить Гитлеру немецкое гражданство, сделав его государственным служащим этой земли; он собирался предложить ему свободное место комиссара жандармерии в Хильдбургхаузене, однако Гитлер отказался от всей этой смехотворной возни. Не удалась тогда и попытка Клаггеса устроить Гитлера на должность преподавателя технического вуза в Брауншвейге. Лишь последовав шее затем запасное решение о назначении Гитлера государственным чиновником брауншвейгского представительства в Берлине увенчалось успехом.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 22 f.

Domarus M. Op. cit. S. 94f;Goebbels J. Kaiserhof, S. 54 f.

Hitler A. Mein Kampf, S. 532: Goebbels J. Kaiserhof, S. 31.

237

Приказ СС — С — № 3 от 3. 03. 1932, НА roll 89, folder 1849.

238

Hanfstaengl E. Op. cit. S. 271; VB, 15. 03. 1932, а также: Goebbels J. Kaiserhof, S. 64.

Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 338.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 78 u. S. 76; по поводу приводимого ниже замечания о «мировом рекорде» Гитлера см.: Dietrich O. Mit Hitler in die Macht, S. 65.

241

Goebbels J. Kaiserhof, S. 120 f.

242

См. в этой связи: Frank H. Op. cit. S. 190f; Hanfstaengl E. Op. cit. S. 271 ff. Ссылка на неписаный закон о том, чтобы никогда не упоминать имени племянницы, основывается на сообщении А. Шпеера.

243

Mend H. Op. cit. S. 113 f. Менд, который, со своей стороны, пользовался довольно большим успехом у женщин, также сообщает, что нередко навлекал на себя за это критику со стороны Гитлера.

244

Для сравнения различных версий см.: Hanfstaengl E. Op. cit. S. 231 ff.; Heiden K. Hitler, Bd. 1, S. 371; Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 322 ff.; Frank H. Op. cit. S. 90. Жалобы вюртембергского гауляйтера Мундера на то, что Гитлер, проводя время в обществе своей племянницы, слишком уж отвлекается от своих политических обязанностей, сыграли не последнюю роль в его отставке.

тайное судилище — Примеч. пер.

246

Здесь и далее см. в этой связи: Frank H. Op. cit. S. 90. Ханфштенгль рассказывает в своей книге (Hanfstaengl E. Op. cit. S. 242.) о другой версии событий: по его словам, в семье Гитлера говорили о том, что Гели была беременна от одного еврея, учителя рисования из Линца. Ханфштенгль пишет также, что труп Гели был найден со сломанной переносицей, однако никаких доказательств этого не приводит. На расспросы автора Ханфштенгль заявил, что тогда об этом знали все» но, насколько мне известно, в серьёзной литературе это обстоятельство нигде не встречается.

Hanfstaengl E. Op. cit. S. 61.

Так в немецких народных преданиях называется Брокен, вершина в горах Гарца, с которой связан ряд поверий. — Примеч. пер.

249

В известном одноимённом исследовании Эрнста Френкеля.

250

Из выступления Гитлера 13. 08. 1920, см.: VJHfZ, 1968, H. 4, S. 417; в начале июня 1931 года Гитлер говорил Р. Брайтингу: «Борьба за идею основывается не только на вере, но и на разуме. Однако, если в массах мы должны апеллировать к чувствам веры, то в нашем руководящем звене нет места спекуляциям на вере. Все взвешивается трезво». Calic E. Op. cit. S. 58.

251

Hitler A. Mein Kampf, S. 530 ff.

Ibid. S. 535 ff.

253

См.: Dietrich O. Mit4 Hitler in die Macht, S. 86 f., а также: Hitler A. Mein Kampf, S. 45 f.

Krebs A. Op. cit. S. 154; Adolf Hitler in Franken, S. 73.

255

Hitler A. Mein Kampf, S. 529; это замечание, как и многочисленные выводы Гитлера, относятся конечно же к противнику-марксисту, однако это не больше чем внешняя оболочка.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 307 f.

257

Miltenberg W. v. (т. е. Герберт Бланк, входивший в окружение О. Штрассера). Op. cit. S. 69.

Broszat M. Soziale Motivation und Fuehrerbindung des Nationalsotialismus. In: VJHfZ, 1970, H. 4, S. 402; цитату из книги Х. Р. Никербокера см.: Knickerbocker H. r. Deutschland so oder so?, S. 206.

259

Bruening H. Memoiren 1918-1934, S. 195; к предыдущему замечанию см.: Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. 160.

Kessler H. Graf. Op. cit. S. 681; Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution, S. 405; а также: Heiber H. Joseph Goebbels, S. 65.

261

См. речь Гитлера перед главными редакторами периодических изданий 10. 11. 1938, опубликовано в: VJHfZ, 1958, H. 2, S. 182 ff.; Голо Манн как-то указал на то, что в предвыборном манифесте Гитлера 1930 года на тринадцати плотно исписанных страницах, где были перечислены все те, кого социал-националисты считали своими противниками и предателями, не было ни одного антисемитского высказывания; см. Deutsche und Juden. Frankfurt/M., 1967, S. 67.

262

Adolf Hitler in Franken, S. 81 (речь, произнесённая 30. 07. 1932).

263

Ibid. S. 179 (речь, произнесённая 7. 03. 1932).

Nicolson H. Tagebuecher und Briefe, S. 105.

265

Так Гитлер заявил 24 февраля 1937 года, вспоминая о времени до прихода к власти; опубликовано в: Kotze H., Krausnick H. Op. cit. S. 85. О высказывании в кругу аграриев сообщает д-р Гмелин в письме от 4. 02. 1931, см.: BAK, NS 26/513; затем: Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution, S. 369, а также: Goebbels J. Kaiserhof, S. 75.

266

Так в изобилующей намёками биографии Наполеона, вышедшей в 1942 году якобы по инициативе самого Гитлера, написанной рейхсляйтером Филиппом Булером; цит. по: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit. S. 48.

267

Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. 21, 29 f., а также общий портрет национал-социализма в его собственной интерпретации. То, в какой мере Гитлер уже во время войны, особенно терпя поражения в её второй фазе, обращался к опыту «времени борьбы» и черпал в нём свою уверенность, наглядно демонстрируют «Застольные беседы».

268

Krebs A. Op. cit. S. 136, затем: Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 479. См. также: Schirach H. Der Preis der Herrlichkeit. Wiesbaden, 1956, S. 226, где она пишет: Однажды я увидела его после выступления. Осунувшийся и бледный, обессиленный и притихший, он ждал, накинув свою шинель, когда ему принесут новый костюм и свежее бельё».

269

Goebbels J. Kaiserhof, S. 307. Небезынтересен и состав фракции национал-социалистов в рейхстаге после июльских выборов 1932 г. Из 230 депутатов было 55 рабочих и служащих, 50 крестьян, 43 самостоятельных представителей торговли, ремесла и промышленности, 29 функционеров, 20 чиновников, 12 учителей и 9 бывших офицеров. См.: Reichstage-Handbuch. 6. Wahlperiode. Berlin 1932, S. 270.

«Имперский аграрный союз», образовался в 1921 году в результате слияния «Союза сельских хозяев» и «Немецкого аграрного союза», насчитывал до пяти миллионов членов, из них 1,5 миллиона землевладельцев; союз защищал интересы главным образом крупных земельных собственников. — Примеч. ред.

271

Goebbels J. Kaiserhof, S. 60, Heiden K. Geburt, S 52, где приводится высказывание Людендорфа.

Так, во всяком случае, у К. Хайдена: Heiden K Geburt, S. 57.

Ursachen und Folgen, Bd. VIII, S. 459; о нерешительности Гинденбурга см.: Bruening H. Op. cit. S. 542 ff Президент, очевидно, не в последнюю очередь беспокоился о том, что после его переизбрания «не теми» людьми ему придётся отвечать и за «не ту» политику этих людей.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 84.

Т. Эшенбург писал, что «осуществление руководства страной до этого момента в значительной степени основывалось на добрых человеческих отношениях между Брюнингом, Тренером, Шляйхером и Гинденбургом. „К тому же у этой четвёрки было больше возможностей поддерживать непосредственные тесные контакты, поскольку Гинденбург и Тренер были вдовцами, а Брюнинг и Шляйхер — холостяками. Необремененность семьёй усиливала их взаимную привязанность“. Эти отношения расстроились по еле повторного брака Тренера. „Тренер и Шляйхер виделись теперь реже, меньше обменивались мнениями, что сказывалось и на их прежнем доверительном отношению к друг другу“. Заметная отчуждённость ощущалась и по отношению к Гинденбургу. После досрочного появления на свет ребёнка упрёки в адрес Тренера возобновились с новой силой. Гинденбург и его друзья считали республику и демократию проявлением деградации, которая не могла не затронуть и нравственные устои. Тренер казался им жертвой аморального духа этой эпохи. Впрочем, в июле 1931 года женился и Шляйхер — на жене одного генерала, которая из-за него развелась с мужем, это также шло вразрез со строгими представлениями Гинденбурга о морали. См.: Eschenburg Th. Die Rolle der Persoenlichkeit in der Krise der Weimarer Republik, In: VJHfZ, 1961, H. I, S. 13 ff.

31 мая — 1 июня 1916 г. у пролива Скагеррак, соединяющего Балтийское и Северное моря, произошло крупнейшее в годы первой мировой войны Ютландское сражение на море, в котором принимали участие главные силы британского и германского флотов. — Примеч. ред.

277

См. в этой связи в частности: Bracher K. D. Aufloesung, S. 522 f.; затем: Conze W. Zum Sturz Bruenings. In: VJHfZ, 1953, H. 3, S. 261 f., а также: Bruening H. Op. cit. S. 597 ff и S. 273. Значение информации о благоприятном повороте в переговорах по разоружению не бесспорно с исторической точки зрения, кое-что говорит о том, что Брюнинг его переоценил. О характере давления, которое испытывал Гинденбург в имении Нойдек, см.: Eschenburg Th. Op. cit. S. 25.

Fransois-Poncet A. Op. cit. P. 49, а также Kessler H. Graf, Op. cit. S. 671.

Bracher K. D. Aufloesung, S. 532 f.

Goebbels J. Kaiserhof, S. Ill, S. 107 ff.

281

Stampfer F. Die vierzehn Jahre. S. 628.

282

Goebbels J. Kaiserhof, S. 104. О так называемом кровавом воскресенье в Альтоне см.: Severing C. Op. cit. Bd. II, S. 345 f. Данные о количестве убитых и раненных за кровавые недели после отмены запрета на СА во многом разнятся. См. например, Hoegner W. Die verratene Republik, S. 629, или: Bullock A. Op. cit. S. 210, где даётся ссылка на А. Гжезинского. В целом же точных окончательных данных о числе жертв нет и по сей день. Позже Х. Фольц приведёт такие цифры потерь среди национал-социалистов: 1929 г. — 11 убитых, 1930 г. — 17, 1931 г. — 43, 1932 г. — 87; см.: Volz H. Ehrenliste der Ermordeten der Bewegung.

283

Heiden K. Geburt, S. 71, по поводу переговоров, состоявшихся 20 июля, см. официальный протокол, опубликованный в: Ursachen und Folgen, Bd. VIII, S. 572 f. К. Хайден, в частности, метко заметил, что 20 июля 1932 года положило конец социал-демократическому полицейскому социализму: «Для борьбы за бессмысленную, ни на что полезное не применявшуюся власть это правительство годами оттачивало и полировало полицейскую саблю, но как только дело наконец-то дошло до её применения, оно не решилось испортить зазубринами эту красивую вещицу».

284

Предложение депутата от партии Центра Якоба Диля, см.: Diel J. Das Ermaechtigungsgesetz. In: Die Freiheit, 1, Nr. 5 (Okt. 1946), S. 28. О подобном настойчивом требовании, предъявленном Зеверингу, и оказавшемся тщетным, свидетельствует министр финансов Пруссии Клеппер, см.: Kessler H. Graf, Op. cit. S. 690 f.

285

Акцию, проведённую 20 июля, Папен рассматривал под этим же углом зрения. По своей собственной инициативе он довёл до сведения Брюнинга, что вовсе не собирается допускать Гитлера к власти, а наоборот, хочет лишь поводить его за нос; см.: Bruening H. Op. cit. S. 619.

286

Версии о ходе переговоров довольно существенно отличаются друг от друга. Широко распространена та из них, согласно которой Гинденбург принял Гитлера стоя, в неблагосклонном расположении духа и после короткого диалога, продемонстрировавшего непримиримость Гитлера, отпустил его, пригрозив, что будет стрелять, если Гитлеру вздумается прибегнуть к силе. Другую версию даёт, напр., Папен в своих воспоминаниях: Papen F. v. Erinnerungen, S. 224. Он подчёркивает царившую на встрече корректность и называет «ледяным» лишь само прощание, в то время как Майснер отмечает в записанном в тот же день по памяти протоколе, что Гинденбург, хотя и пригрозил прибегнуть к жёстким мерам, если штурмовики не прекратят своих дерзких выходок, закончил дружелюбно: «Мы же старые боевые товарищи (!), и давайте останемся ими, ведь наши пути смогут снова сойтись. А сейчас вот Вам моя рука боевого товарища». См.: Hubatsch W. Op. cit. S. 339. (Dok. 88), а также изложение этой истории у Кеслера: Kessler H. Graf. Op. cit. S. 692.

287

Улица в центре Берлина, где располагалось министерство иностранных дел Германии. — Примеч. пер.

Adolf Hitler in Franken, S. 194.

289

Rauschning H. Gespraeche, S. 18 ff. В дневниковых записях Геббельса от 25. 08. есть замечание, которое, вероятно, объясняет вопрос Гитлера, заданный Раушнингу: «Ходят слухи, что Гитлера надо взять под арест; но это же ребячество». Goebbels J. Kaiserhof, S. 149

290

VB 21/22.08.1932. Ироническое отношение Гитлера к возрасту Гинденбурга видно из его упоминавшегося выступления 4.09.1932 г.; в контексте это звучит так: «Если в качестве противника мне сейчас предложат рейхспрезидента, то это будет просто смешно. Ведь бороться-то я смогу дольше, чем рейхспрезидент», см.: Adolf Hitler in Franken, S. 189.

291

Goebbels J. Der Fuehrer als Staatsmann. In: Adolf Hitler. Bilder aus dem Leben des Fuehrers, S. 52 (издано конторой сигаретных этикеток).

Goebbels J. Kaiserhof, S. 162 f., 165, 180 f.

Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 451 ff.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 176, 181, см. также S. 167.

295

«Немецкий клуб», известный как «Клуб господ», основан в 1924 году, в него входили представители финансово-промышленной и аграрной верхушки, в 1930 году насчитывал свыше 400 членов. — Примеч. ред.

См.: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «27 октября 1932 г.»; о том, что буржуазные партии приняли вызов, свидетельствуют с негодованием цитировавшиеся в упомянутой пропагандистской инструкции примеры из пропагандистских изданий Немецкой национальной народной партии, в которых НСДАП называется придатком марксизма, а Геббельс — «Розой Люксембург в штанах».

В контексте это звучит так: «Подъем национал-социалистического движения — это протест народа против государства, которое отказывает ему в праве на труд и в восстановлении естественных источников доходов. Если распределительный аппарат нынешней системы экономики не умеет правильно распределить природные богатства, то эта система неправильна, и её нужно заменить во имя народа… Самое главное в этом процессе — сильная жажда антикапитализма, распространяющаяся сейчас в нашем народе и охватившая сейчас — вольно или невольно — уже 95 процентов населения. Эта жажда антикапитализма… является доказательством того, что перед нами великий перелом эпохи — преодоление либерализма и возникновение нового мышления в экономике и нового отношения к государству». См.: Strasser O. Kampf um Deutschland, S. 347 f. Эффективность этой формулы сыграла, пожалуй, далеко не последнюю роль в том, что политическое влияние Штрассера в НСДАП, по сути дела, переоценивается и по сей день.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 195, 191.

299

См. в этой связи статистические данные, приводимые К. Д. Брахером: Bracher K. D. Aufloesung, S. 645 ff., затем материал, подчёркивающий прежде всего социальное положение (безработицу) в книге Г. Беннеке «Экономическая депрессия»: Bennecke H. Wirtschaftliche Depression, S. 158 ff. Здесь же раскрывается то примечательное обстоятельство, что между безработицей и голосованием за НСДАП существует не прямая, а в лучшем случае опосредованная связь. Количество голосов, отданное за партию Гитлера, было значительно выше именно в сельских областях, не так сильно пострадавших от последствий кризиса, как, например, Рурская область или Берлин, где доля голосов, отданных за национал-социалистов, не доходила даже до 25% и составляла лишь около половины от доли голосов в Шлезвиг-Гольштейне.

300

Так, во всяком случае, утверждает Дж. У. Уилер-Беннетт: Wheeler-Bennett J. W. Die Nemesis der Macht, S. 277. О сути задуманного изменения см.: Bracher K. D. Aufioesung, S. 537 ff., S. 658.

301

Цит. по: Horkenbach C. Op. cit. S. 342.

302

Согласно сообщению Г. Ферча, см. Bracher K. D. Aufioesung, S. 537 ff., S. 661.

303

Статья 48 Веймарской конституции предоставляла президенту страны, в частности, право на создание правительства, не опиравшегося на парламентское большинство в случае невозможности создать его на консенсусной основе Все последние правительства Веймарской республики, начиная с кабинета Г. Брюнинга, назначались именно с использованием таких полномочий президента и именовались президентскими кабинетами. — Примеч. ред.

304

Цит. по: Schwertfeger B. Raetsel um Deutschland S. 173. Упоминаемое ниже письмо Гитлера, названное Геббельсом «шедевром», и на самом деле иллюстрирующее тактику, казуистику и психологию Гитлера, опубликовано в кн.: Domarus M. Op. cit. S. 154 ff. — Однако Г. Брюнинг утверждает, что оно было сформулировано Я. Шахтом в отеле «Кайзерхоф», см.: Bruening H. Op. cit. S. 634

305

Слова из популярной солдатской песни периода первой мировой войны. — Примеч. пер.

306

Papen F. v. Der Wahrheit eine Gasse, S. 250. Там же (S. 249) приведены подробности предпринятого подполковником Оттом разбора военных манёвров.

Bracher K. D. Aufioesung, S. 676.

См.: Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 352.

309

Goebbels J. Kaiserhof, . 217 f. По поводу упомянутого рассказ К. Хайдена см.: Heiden K. Geburt, S 99.

310

Это вопрос, поставленный К. Хайденом 10. 12 1932 в газете «Фоссише цайтунг».

311

Strasser O. Mein Kampf, S. 60. Здесь О. Штрассер пишет, что его брата поддерживали 63 члена фракции в рейхстаге, а в книге К. Г. В. Людекке со ссылкой на Штрассера говорится о 100 сторонниках: Luedecke K. G. W Op. cit. S. 450. Поскольку аппаратом печати национал-социалистов распоряжались сам Гитлер и в первую очередь Геббельс, то намерения приверженцев Штрассера не нашли в ней публицистического отражения. Будучи представителем радикального направления, Геббельс всегда поддерживал курс «все или ничего».

312

См.: Strasser O. Mein Kampf, S. 78. Первые меры Шляйхера в области экономической политики, пытавшегося внести хотя бы частичные коррективы в реакционное наследие Папена, позволяют говорить о том, что такая характеристика была не так уж далека от действительности.

313

Источниками сведений о закулисной игре послужили в основном краткая информация О. Дитриха, записки Геббельса, хотя они и сильно стилизованы, клятвенное заявление О. Отта, сделанное им 12. 01. 1949 (IfZ/Muenchen), а также рассказ К. Хайдена, точный в данном случае с точки зрения передачи «атмосферы», но не совпадающий с другими источниками в деталях. См. также показания Геринга на Нюрнбергском процессе: IMT, Bd. IX, S. 279.

Heiden K. Geburt, S. 101.

315

Goebbels J. Kaiserhof, S. 219 f.

Rauschning H. Gespraeche, S. 254. Приведённое ниже замечание см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 364. Об уступчивости его соперников см.: Eschenburg Th. Die Rolle der Persoenlichkeit in der Krise der Weimarer Republik. In: VJHfZ, 1961, H. 1, S. 28 ff.

317

Цит. по: Eyck E. Op. cit. Bd. II, S. 541.

318

«Поселенческая программа» представляла собой часть плана социальных мероприятий правительства Брюнинга, направленных на смягчение тягот массовой безработицы; ею предусматривалось заселение, в том числе и принудительное, пустующих, разорившихся и не подлежащих санированию имений в Восточной Пруссии безработными и их семьями. — Примеч. ред.

Bullock A. Op. cit. S. 241.

320

Из показания Шрёдера, сделанного им 3. 11. 1945, цит. по: Nazi Conspiracy and Aggression, Vol. II, p. 922 ff.

321

Bracher K. D. Aufloesung, S. 691. Гитлер и сам признавал, что встреча в Кёльне носила переломный характер; тогда, как он выразился, у него «сложилось впечатление, что его дела очень даже неплохи»; см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 365. Впрочем, представленная здесь версия не является бесспорной. В частности, сам Папен протестовал против неё (см. его письмо в газету «Дас парламент», N 14, 8.04.1953. Однако версия, изложенная в его книге воспоминаний и оправданий, в немалой мере рассчитана на легковерие читателя. Так, например, он пытается придать этой встрече абсолютно случайный и второстепенный характер; он постоянно подчёркивает, что она преследовала чисто ознакомительные цели. Но этому противоречат не только показания фон Шрёдера, равносильные данным под присягой. Гитлер ещё за несколько недель до встречи отказался вести переговоры с Папеном. Если более поздние утверждения Папена о том, что не было сделано никакого предложения, на самом деле соответствуют действительности, то все же решающим остаётся одно обстоятельство: Гитлер мог считать, что через Папена к нему обращался Гинденбург. Предложение заключалось, по крайней мере, в личности Папена, и он как дипломат должен был бы это знать и наверняка знал. Далее Папен уверяет, что вёл беседу в интересах и для поддержки Шляйхера и что дуумвират касался не Гитлера и его, а Гитлера и Шляйхера. Уже сама трусливая таинственность, окружавшая встречу, говорит об абсурдном характере этой версии.

322

Goebbels J. Kaiserhof, S. 235 f. Неверно интерпретирует эту запись в дневнике, напр., У. Ширер: Shirer W. L. Op. cit. S. 175. См. в этой связи: Turner H. A. Op. cit. S. 35 ff.

323

См. по этому поводу: Meissner O. Staatssekretaer, S. 254 ff.; Papen F. v. Op. cit. S. 261, а также показания Майснера на так называемом Вильгельмштрассе-процессе: Протокол от 4. 05. 1948, S. 4607.

324

«Восточная помощь», правительственная программа санирования сельского хозяйства на востоке Пруссии. Она обошлась в 2, 5 млрд. марок, причём 68 % досталось крупным землевладельцам, на долю которых приходилось 39 % полезных угодий. — Примеч. ред.

325

Так сказано в письме Генриха фон Зибеля от 2. 02. 1951, цит. по: Bracher K. D. Aufloesung, S. 697 f. См. также подборку материалов по проверке «восточной помощи»: Treue W. Op. cit. S. 390 ff.

326

См. в этой связи данные, опубликованные К. Д. Брахером (Bracher K. D. Aufloesung, S. 700), а также записи Юлиуса Лебера, сделанные им в июне 1933 года в следственном изоляторе и касающиеся фиаско его партии, особенно следующую формулировку: «Единственным политическим достижением, на которое ещё оказалось способным правление фракции в эти месяцы, были немедленные заявления о недоверии, которыми оно встречало каждое новое правительство». Партия, пишет он, не услышала «рёва бури»; см.: Ursachen und Folgen, Bd. VIII, S. 769 ff.

Bracher K. D. Aufloesung, S. 701; Dietrich O. Mit Hitler in die Macht, S. 174; Goebbels J. Kaiserhof, S. 237 f.

Имение, приобретённое преимущественно на деньги промышленников, формально было подарено не Гинденбургу, а его сыну, чтобы избежать уплаты налогов за наследство. Гинденбурга сильно беспокоили и события 20.07.1932. Брюнинг писал: «Эрвин Планк, навестивший меня в больнице как-то вечером за 4 дня до отставки Шляйхера с поста рейхсканцлера, рассказал мне о трудностях, возникавших в правительстве из-за боязни Гинденбурга, что ему будет предъявлено обвинение, и меня заверили в том, что именно по этой причине Гинденбург дал, наконец, своё согласие назначить Гитлера рейхсканцлером»; см.: Bruening H. Ein Brief. In: Deutsche Rundschau, 1947, S. 15. Кроме того, летом 1935 года Брюнинг сказал Г. Кеслеру, что Оскар фон Гинденбург «позволил втянуть себя во всякие тёмные делишки биржевиков и тем самым попал в такое положение, что постоянно опасался „разоблачений“. Kessler H. Op. cit. S. 739.

329

См. упомянутые показания Майснера на Вильгельмштрассе-процессе. Геббельс также подтверждает, что тогда же была достигнута договорённость обеих сторон о кабинете Гитлера см.: Goebbels J. Kaiserhof, S. 247 f.

По аналогии с испанским генералом Мануэлем Примо де Ривером, совершившим переворот в 1923 году. — Примеч. ред.

Meissner O. Op. cit. S. 263 f.

Duesterberg Th. Op. cit. 38 f.

333

«С точностью до слова 26 января 1933 года в 11. 30 утра в присутствии свидетеля», — добавил фон Хаммерштайн; см.: Hammerstein K. v. Spaehtrupp, S. 40. Упомянутым свидетелем был генерал-лейтенант фон дём Буше-Иппенбург, который в это утро докладывал президенту о кадровых проблемах рейхсвера.

334

По свидетельству фон дём Буше, Шляйхер неоднократно подтверждал данное Гинденбургом обещание, «как в 1932 году, так и после своей отставки. Он сказал: „Без этого обещания моя миссия потеряла бы всякий смысл“. Когда я спросил его, существует ли она в письменном виде, он сказал: „По отношению ко мне старик сдержит своё слово“, — или что-то в этом роде. Во всяком случае он твёрдо верил в это обещание». Hammerstein K. v. Spaehtrupp, S. 38 f.

335

Ibid. S. 44. О реплике Шляйхера сообщает Дж. У. Уилер-Беннетт: Wheeler-Bennett J. W. Op. cit. S. 301 f. Согласно Брюнингу, который ссылается на свидетельство Шляйхера, Гинденбург сказал: «Я благодарю Вас, господин генерал, за все, что Вы сделали для Отечества. Давайте посмотрим, как с Божьей помощью пойдут дела дальше».

336

Так переданы слова Гитлера в «Застольных беседах» (Hitlers Tischgespraeche, S. 368). Там же он рассказывает, что это задание он дал преданному ему майору полиции Векке. — По поводу замечания госпожи фон Гинденбург см.: Hammerstein K. v. Spaehtrupp, S. 59.

Duesterberg Th. Op. cit. S. 40 f.

Ibid. S. 41. см. также: Papen F. v. Op. cit. S. 276.

339

См.: Schwerin v. Krosigk L. Graf. Es geschah in Deutschland, S. 147.

По свидетельству О. Майснера; см. Meissner H. O. Wilde И. Op. cit. S. 191.

341

О. Майснер (Meissner H. O. Op. cit. S. 179), Э. Кордт (Kordt E. Wahn und Wirklichkeit, S. 27) и сам Гитлер (Tischgespraeche, S. 369) объясняют данное Гинденбургом в конце концов согласие на посредничество Майснера.

Kessler H. Graf, Op. cit. S. 704.

343

Mann Th. Bruder Hitler, GW, Bd. 12, S. 774; к процитированному выше замечанию Гитлера см.: Frank W. Zur Geschichte des Nationalsozialismus, In: Wille und Macht, 1934, Nr. 17, S. 1 ff.

См.: Heiden K. Geburt, S. 60.

345

Из донесения секретаря уголовной полиции Фай-ля, NStA Muenchen, Allg. Sonderausgabe, Bd. 1, Nr. 1475.

346

Так Гитлер говорил о беседе со Шляйхером в начале февраля 1933, см.: Bruening H. Op. cit. S. 648.

347

См.: Frank H. Op. cit. S. 121 f. Правда, в опубликованный вариант книги Франк не включил приведённые здесь эсхатологические высказывания; см. в этой связи: Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 367.

348

Из предвыборного выступления Гитлера в Липпе, см.: Domarus M. Op. cit. S. 176.

349

Так высказывался в те дни Гинденбург, см. Meissner H., Wilde H. Op. cit. S. 194.

Benn G. Doppelleben, GW, Bd. IV, S. 89.

351

Borgese G. A. Der Marsch des Faschismus. Amsterdam, 1938, S. 338.

Так писал Фридрих Франц фон Унру в серии своих статей под названием «Национал-социализм», печатавшейся с 22 февраля по 3 марта 1931 года в «Франкфуртер цайтунг».

Vermeil E. The Origin, Nature and Development of German Nationalist Ideology in the 19th and 20th Centuries. In: The Third Reich, p. 6. См. в этой связи также: Butler R. D. The Roots of National Socialism. New York, 1942, McGovern W. From Luther to Hitler. London, 1946; Steed W. From Frederick the Great to Hitler. The Consistency of German Aims. In: International Affairs, 1938, Nr. 17.

Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. — Несмотря на многочисленные отдельные точные наблюдения, любые попытки разглядеть Гитлера в точке схода многовековой истории не минуют опасности натолкнуться на интерпретации, схожие с национал-социалистическими; ведь они же не исходили не из чего иного, когда узурпировали Ганзу, мистику, пруссачество и романтику и прославляли «третий рейх» как самореализацию немецкой истории. Не менее проблематичной оказалась и противоположная попытка представить национал-социализм, да и тоталитаризм вообще не иначе как феномен кризиса самой демократической эпохи с её протестом против традиции и узаконенных порядков, со свойственными ей общественными антагонизмами и экономическими слабостями и определить его как следствие не немецкого, а современного характера как такового: ставшей реальностью антиутопией тотального государства, о которой настойчиво предупреждали многочисленные пессимистические пророчества XIX века. Ибо национал-социализм понимал сам себя как преодоление во всемирно-историческом масштабе того кризиса, выразителем которого его тем самым делали. В интерпретациях, исходящих от немецкой стороны на основе подобных же предпосылок, Гитлер предстаёт нередко как феномен засилия иностранного влияния, «антипод традиции, особенно немецко-прусской и бисмарковской традиции», как выразился Герхард Риттер, решительно не соглашаясь с Вермейлем, в своей статье для сборника «Третий рейх» (Ritter G. Third Reich, p. 381 ff.); ошибочные позиции, вменяемые в вину также преимущественно немцам, характерны, по его мнению, для эпохи в целом. Вот что он пишет: «Удивительно, как много проявлений националистических амбиций, милитаристского духа, расовой гордыни и антидемократической критики можно найти в культурно-исторической и политической литературе всех европейских стран».

Все эти страдающие перекосом то в одну, то в другую сторону толкования не в состоянии постичь характер явления; особенно ярко это видно на примере марксистской модели интерпретирования. Будучи постоянно скованными собственными аксиомами и пиететом по отношению ко взглядам старых партийцев, поборники этого направления, по сути, так и не смогли освободиться от известного, официально провозглашённого определения, которое видело в национал-

социализме форму проявления «открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, шовинистических и империалистических элементов финансового капитала», а, следовательно, если довести эту мысль до конца, в качестве главных действующих лиц национал-социализма должно рассматривать не Гитлера, Геббельса и Штрайхера, а Гугенберга, Круппа и Тиссена; так на самом деле и считает, например, Э. Чихон: Czihon E. Op. cit. и др. См. в этой связи, а также по всей проблеме в целом широкий обзор литературы, который даёт К. Д. Брахер: Bracher K. D. Diktatur, S. 6 ff.

355

См. выше, с. 193, а также прим. 193 к первому промежуточному размышлению (т. 1, с. 340). Характерно, что главарь румынских фашистов Кодряну сетовал в начале 20-х годов в связи со своим пребыванием в Германии, что в этой стране, мол, отсутствует природный последовательный антисемитизм, см.: Nolte E. Krise, S. 263.

Славу божественной Франции. — Фр.

См.: Rauschning H. Gespraeche, S. 212.

358

Так писал Рудольф Гесс, бывший одно время комендантом Освенцима, см.: Gilbert G. M. The Psychology of Dictatorship. New York, 1950, P. 250.

359

«Тот, кто мешает этой миссии, — заявил Гитлер в речи 20 февраля 1938 года, — является врагом народа независимо от того, пытается ли это делать большевик, демократ, террорист-революционер или реакционный фантазёр»; см.: Domarus M. Op. cit. S. 793. С некоторым метафизическим контекстом эта мысль об особой миссии появляется, например, и у Ханса Франка, который 10 февраля 1937 года записал в дневник: «Моя вера — это вера в Германию. Служить Германии значит служить господу Богу. Никакое вероисповедание, никакая вера в Христа не может быть столь сильной, как эта наша вера в то, что, явись Христос сегодня, он был бы немцем. Мы — поистине орудие господне для уничтожения всякого зла. От имени господа Бога мы выступаем против еврея и его большевизма. До защитит нас Бог!»; цит. по: Klessmann Ch. Der Generalgouverneur Hans Frank. In: VJHfZ, 1971, H. 3, S. 259.

Rauschning H. Gespraeche, S. 211.

361

Laski H. J. Die Lektion des Faschismus, цит. по: Nolte E. Theorien, S. 379.

Mann Th. Denken und Leben, GW, Bd. 11. S. 246.

363

Lagarde P. Ausgewaehlte Schriften. Hrsg. von Fischer P. Muenchen, 1934, S. 34.

364

«Господство неполноценных» — название содержащей резкую критику демократии книги Э. Юнга, который, будучи сотрудником Папена, стал позднее жертвой расправ, учинённых 30 июня 1934 года.

365

Mann Th. Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 113. Письмо Вагнера Ф. Листу опубликовано в кн.: Nitsche R. Der haessliche Buerger. Guetersloh, 1969, S. 158.

Mann Th. Op. cit. S. 115; затем прежде всего: Wagner R. Kunst und Revolution, Ges. Schriften, Bd. HI, S. 194; см. в этой связи также: Gutmann R. Op. cit. S. 148 ff., 309, Stern F. Op. cit. S. 154, 166, 172.

367

Stern F. Op. cit. S. 181 ff; см. кроме того: Klemperer K. v. Op. cit. S. 167 ff.

Смысл критики демократии Игнацио Силоне см.: Silone I. Die Kunst der Diktatur, S. 171.

Vienot P. Ungewisses Deutschland. Frankfurt/M., 1931, S. 93.

Domarus M. Op. cit. S. 226 f.

371

См. примечание 392 к кн. второй (т. 1).

372

Свидетельство Карла Герделера согласно стенограмме, сделанной Рихардом Брайтингом, см.: Calic Op. cit. S. 171; затем: Hoffmann H. Op. cit. S. 188.

373

Гуманитарные науки — Англ.

См.: IUustrierter Beobachter, 1926, Nr. 2, S. 6.

Speer A. Op. cit. S. 134.

376

Из записки Шпеера для автора; об отклонении кандидатур Гесса и Гиммлера в качестве преемников см.: Speer A. Op. cit. S. 152.

377

Ziegler H. S. Op. cit. S. 75; Speer A. Op. cit. S. 249. Научно-технические работники были освобождены от воинской службы в 1942 году по инициативе Шпеера; проблему освобождения от воинской повинности творческих работников Гитлер решил, как сообщил автору Шпеер, приказав взять их дела из управлений военно-призывных районов и тут же уничтожить.

Frank H. Friedrich Nietzsche, цит. по: Klessmann Ch. Op. cit. S. 256, Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.

379

Таково одно из высказываний Шляйхера, см.: Conze W. Zum Sturz Bruenings. In: VJHfZ, 1953, H. 2, S. 261 ff. Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.

См.: Hillgruber A. Hitlers Strategic S. 216.

Цит. по: Joll J. Three Intellectuals in Politics, P. 135, 174.

382

Как заявляет Герхард Риттер, большинству немцев мысль о том, что они оказались в руках бессовестного авантюриста, показалась бы «прямо-таки гротескной». См.: Ritter G. Carl Goerdeler, S. 109. Мнение Рудольфа Брайтшайда передаёт Фабиан фон Шлабрендорф: Schlabrendorff F. V. Offiziere gegen Hitler, S. 12; об отсутствии духовной базы Юлиус Лебер писал в одной из своих дневниковых записей, см.: Leber J. Ein Mann geht seinen Weg. Berlin, 1952, S. 123 f. Многие социал-демократы втайне надеялись, что Гитлер очень быстро начнёт конфликтовать с Папеном и Гинденбургом, так что они смогут появиться на сцене в качестве радующегося третьего «и тут-то мы и сведём с ними счёты, не то что в 1918 году», — пригрозил бывший статс-секретарь Пруссии Абегг в беседе с графом Кеслером, как говорится в «Дневниках» последнего, см.: Kessler H. Tagebuecher, S. 708.

Kessler H., Graf, Op. cit. S. 684 f.

«Пусть перебесится» — сказал фон Нойрат, который сам был членом кабинета Гитлера; см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 141.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 256.

Schacht H. Abrechnung mit Hitler, S. 31; само «Воззвание» опубликовано в кн. Domarus M. Op. cit. S. 191 ff.

См. в этой связи: Kluke P. Nationalsozialistische Europaideologie. In: VJHfZ, H. 3, S. 244. П. Клуке придерживается той точки зрения, что поведение Гитлера «объяснялось лишь чувством триумфа непосредственно в час окончательного захвата власти»; см. затем также: Gisevius H. B. Adolf Hitler, S. 175.

Полный текст этого выступления не сохранился, однако имеется несколько подробных и взаимодополняющих свидетельств участников встречи. См., напр., записи Хорста фон Меллентина, бывшего в то время вторым адъютантом фон Хаммерштайна: Mellenthin H. Zeugenschrifttum des IfZ Muenchen, Nr. 105, S. 1 ff.; ему же принадлежит и цитируемое в следующем абзаце описание этой встречи; см., кроме того, сделанные во время выступления записи генерала Либмана среди документов, собранных Тило Фогельзангом: Vogelsang Th. VJHfZ, 1954, H. 2, S. 434 f., а также показания Редера в Нюрнберге: IMT, Bd. XIV, S. 28; правда, Редер утверждает, что «ни о каких военных намерениях, воинственных намерениях и речи не было». Однако другие свидетельства противоречат этому. И утверждение Редера, будто высказывания Гитлера «были с удовлетворением» восприняты всеми слушателями, также оспаривается многими, например, генералом фон дём Буше. См. также: Hammerstein K. v. Spaehtrupp, S. 64. Гитлер сам якобы заявил Бломбергу, что это выступление было «одной из его самых трудных речей, поскольку он всё время говорил, словно обращаясь к стене»; см.: Foertsch H. Schuld und Verhaengnis, S. 33.

Так считает К. Д. Брахер, см.: Bracher K. D. Diktatur, S. 210.

389

См. последнее застенографированное обсуждение обстановки 27 апреля 1945 года: Der Spiegel, 10.01.1966. Геббельс добавил — и это весьма примечательно, — что и в 1938 году, в ходе аншлюсса Австрии, «было бы лучше, если бы Вена оказала сопротивление, и мы смогли бы все разделать под орех». Затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 364, 366.

Domarus M. Op. cit. S. 202 f, S. 200.

Papen F. v. Op. cit. S. 294.

Gritzbach E. Herman Goering. Werk und Mensch, S. 31; см. также: Horkenbach C Op. cit. S. 66. Некоторое представление о размахе этих мер даёт тот факт, что, например, из 32 полковников охранной полиции были уволены 22. «Сотни офицеров и тысячи вахмистров разделили ту же участь в последующие месяцы. Привлекались новые силы, и повсюду эти силы черпались из огромного резервуара С А и СС», — так писал Геринг, см.: Aufbau einer Nation, S. 84.

393

Bracher K. D. Machtergreifung, S. 73; затем: Crankshaw E. Die Gestapo, S. 35 ff., где даётся картина этого роста. Высказывание Геринга см.: Aufbau einer Nation, S. 86 f.

394

Из выступления на митинге НСДАП во Франкфурте-на-Майне 3. 03. 1933 г.: Goering H. Reden und Aufsaetze. Muenchen, 1930, S. 27.

Domarus M. Op. cit. S. 208.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 256 f.

397

О проведении и значении этого мероприятия стало известно лишь во время Нюрнбергского процесса; см. конкретные детали: IMT, Bd. XXXV, S. 42 if. А также: IMT, Bd. V, S. 497ff, ; затем: Bd. XXXVI, S. 520 ff.

См.: Domarus M. Op. cit. S. 214, 207, 209, 211; затем: Baynes N. Op. cit., Vol. I, p. 252, 238.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 254.

Ibid. S. 86, По поводу сомнений Гитлера в революционной силе марксизма см. его выступление на совещании объединения партийных руководителей Тюрингии в начале 1927 года: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «Начало 1927 г.» S. 2. На фоне этих и подобных высказываний по разным поводам следует особое внимание обратить на бытующий ещё и поныне, особенно рьяно пропагандировавшийся именно Гитлером и Геббельсом аргумент, будто бы перед Германией стояла тогда неизбежная альтернатива: коммунизм или национал-социализм. Об упоминаемых выше слухах насчёт покушения см.: Goebbels J. Kaiserhof, S. 294.

401

Имеется в виду «Манифест Коммунистической партии». — Примеч. ред.

См. в этой связи: Nolte E. Kapitalismus — Marxismus — Paschismus. In: Merkur, 1973, H. 2, S. Ill ff.

Tobias P. Der Reichstagsbrand. Если верить много численным сообщениям, которые, правда, на момент окончания работы над рукописью ещё не были как следует проверены, Эдуард Чалич и возглавляемый им «Европейский комитет по научному изучению причин и последствий второй мировой войны» придерживаются противоположной точки зрения. См. в этой связи, напр., также: Mommsen H. Der Reichstagsbrand und seine politischen Folgen. In: VJHfZ, 1964, H. 4 и статью того же автора в: Die Zeit, 26. 02. 1971, S. 11. И на самом деле кажется сомнительным, что ван дер Люббе смог в одиночку и в течение всего лишь нескольких минут создать столько крупных очагов возгорания и, опять же, как увязать смелость и расчётливую осмотрительность этого поступка с тремя другими явно неумело организованными поджогами, которые ван дер Люббе устроил в тот же день.

См.: IMT, Bd. IX, S. 481 f., а также документ PS-3593. Геринг, кстати, до самого конца решительно отрицал какое-либо своё участие в поджоге и — что вполне убедительно — заметил, что ему не нужно было никаких особых поводов для расправы над коммунистами. «На их счёту было столько вины, а их преступление столь огромно, что я без какого-либо дополнительного предлога был полон решимости и желания начать беспощадную войну по искоренению этой чумы всеми находившимися в моём распоряжении средствами власти. Напротив, как я уже заявлял на процессе о поджоге рейхстага, этот пожар, вынудивший меня к срочному принятию мер, был для меня крайне нежелателен, поскольку он заставил меня действовать раньше запланированного срока и ещё до того, как я закончил все необходимые приготовления». См.: Aufbau einer Nation, S. 93 f.

Diels R. Lucifer ante portas, S. 194.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 194. О волне арестов см.: Horkenbach C. Op. cit. S. 74.

407

Из «Официального сообщения пресс-службы Пруссии» опубликованного в: Horkenbach C. Op. cit. S. 72.

Bruening H. Op. cit. S. 652.

409

Brecht A. Vorspiei zum Schweigen, S. 125 f. Чрезвычайный декрет от 28. 02. 1933 гласил: «Статьи 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153 Конституции Германского рейха отменяются вплоть до особого распоряжения. Поэтому, помимо предусмотренных в законном порядке допускаются также и дополнительные ограничения личной свободы граждан, права на свободное выражение мнения — включая свободу печати, права на образование союзов и проведение собраний, вмешательство в тайну переписки, почтовых и телеграфных отправлений, и телефонных разговоров, выдача ордеров на домашний обыск и конфискацию, а также ограничения собственности».

Bracher K. D. Machtergreifung, S. 82 ff. Брахер, в частности, справедливо заметил, что слишком поспешное обоснование принятия чрезвычайного декрета, «угрожающими государству актами насилия со стороны коммунистов» стало несостоятельным, как минимум, уже после решения Имперского суда. Тот факт, что чрезвычайный декрет тем не менее так и не был отменён, позволяет «определить национал-социалистическое государство и с формальной точки зрения как неправовое государство»; Ibid. S. 85.

411

Goebbels J. Kaiserhof, S. 271; а также: Daily Express, 3. 03. 1933; см. в этой связи, кроме того: Delmer S. Die Deutschen und ich, S. 196. Об арестах см.: Broszat M. Op. cit. S. 101 f.

VB, 6. III. 1933; Goebbels J. Kaiserhof, S. 273 f. Относительно потерь см.: Heiden K. Geburt, S. 116.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 271.

Sommerfeld M. Ich war dabei, S. 42; по поводу приводимого ниже возражения Геббельса, см.: Goebbels J. Revoiutionstagebuch, S. 275, а также: Horkenbach C. Op. cit. S. 98.

415

Из материалов заседания кабинета 7. 03. 1933, опубликованных в: Akten zur deutschen Auswaertigen Politik 1918 — 1945, Serie D (далее — ADAP), S. 114;затем сообщение пресс-службы НСДАП от 5. 03. 1933, Schulthess, 1933, S. 54 f. По поводу обмена телеграммами между депутатом от партии Центра Йоосом и Герингом см.: Ursachen und Folgen, Bd. IX, S. 80.

416

Miller M. Eugen Bolz, Staatsmann und Bekenner. Stuttgart, 1951, S. 440. Некоторые малые земли, в которых национал-социалисты входили в состав правительства, оказались в их власти в середине февраля, например, Тюрингия, Ангальт, Брауншвейг, Мекленбург, Шверин и Нойстрелиц.

Domarus M. Op. cit. S. 222.

Calic E. Op. cit. S. 59. По поводу приведённых выше слов Гитлера см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 164.

419

Из обращения Гитлера 10 марта 1933 года, цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 219. Ср., с другой стороны, негодование Гитлера по поводу жалобы заместителя председателя ДНФП фон Винтерфельда от 10. 03. 1933:— BAK R 43, Bd. II, S. 1263. Относительно послания Гитлера Папену, копии которого были отправлены Гинденбургу и министру рейхсвера, см.: Broszat M. Op. cit. S. 111. В немецких газетах, в частности, сообщалось, что с 31 января по 23 августа 1933 года насильственной смертью умерли 196 противников национал-социалистов и 24 сторонника Гитлера, а в период до мартовских выборов — 51 противник и 18 национал-социалистов.

Ibid. S. 215.

421

Bracher K. D. Der Technik der. nationalsozialistischen Machtergreifung. In: Deutschland zwischen Demokratie und Diktatur, S. 168.

Horkenbach C Op. cit. S. 114.

423

См.: Bracher K. D. Machtergreifung. S. 158. В «Фелькишер беобахтер» 17. 03. 1933 с ликованием было подсчитано, что достаточно не допустить 81 депутата-коммуниста, и НСДАП будет иметь в рейхстаге на 10 мест больше, чем это необходимо для абсолютного большинства.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 284.

Horkenbach C. Op. cit. S. 106.

Hitlers Tischgespraeche, S. 366.

Goebbels J. Kaiserhof, S. 285. f.

428

Слова, сказанные Эвальду фон Кляйст-Шменцину. Politische Studien, 1959, H. 106, S. 92. «Потсдамской душещипательной комедией» назвал это представление Ф. Майнеке: Meinecke F. Op. cit. S. 25.

429

Berliner Boersenzeitung, 22. 03. 1933, цит. по: Horkenbach C. Op. cit. S. 127.

Heiden K. Geburt, S. 147.

Речь опубликована в кн.: Domarus M. Op. cit. S. 229.

Severing C. Op. cit. Bd. II, S. 385. О рассказанной ниже, в действительности же более запутанной истории с письмом см.: Bruening H. Op. cit. S. 655 ff., а также: его же. Ein Brief. In: Deutsche Rundschau, 1948, S. 15.

433

Domarus M. Op. cit. S. 242 ff. По поводу предположения о том, что Гитлер заранее знал содержание речи Вельса, см.: Stampfer F. Erfahrungen und Erkenntnisse. Koeln, 1957, S. 268.

434

BAK, протоколы заседаний кабинета, R 43, Bd. 1; затем: Goebbels J. Kaiserhof, S. 287. В другом месте Геббельс так отозвался о словах Гитлера: «Создавалось впечатление, будто здесь играли в кошки-мышки. Марксиста гоняли из угла в угол. И там, где он надеялся на пощаду, его ждал разгром». См.: Der Fuehrer als Redner. In: Adolf Hitler, S. 33 (издано рекламной конторой «Реемтсма»).

Bruening H. Ein Brief, S. 19.

436

На неоднократно делавшийся впоследствии запрос насчёт обещанного письма Гитлер утверждал, будто против его передачи, а также публикации (что было согласовано) заявили протест дойч-националы, однако те, отвечая на запрос, опровергали утверждение Гитлера, напротив, они как раз приветствовали бы публикацию этого письма; см.: Bruening H. Op. cit. S. 660.

Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 372.

438

Цит. по: Fabry Ph. W. Op. cit. S. 91; по поводу приводимого ниже замечания, которое, несомненно, передаёт суть высказываний из окружения президента, см.: Bruening H. Op. cit. S. 650.

439

Papen F. v. Op. cit. S. 295. Гитлер, напротив, рассказывал позднее, будто Гинденбург однажды спросил его, почему это Папен всегда присутствует при их беседах: «Я же хочу говорить только с Вами!», см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 410. Насчёт упомянутого высказывания Майснера на заседании кабинета 15 марта см.: IMT, Bd. XXXI, S. 407; правда, Майснер возразил, что «может быть, есть смысл все же подключить и авторитет господина рейхспрезидента при обсуждении некоторых законов особой важности».

440

Так сообщил Майснер Хельду в телеграмме от 10. 03. 1933, см.: Bracher K. D. Diktatur, S. 223. Приведённые ниже слова Геббельса см.: Goebbels J. Kaiserhof, S. 285 (22 апреля 1933 г.).

441

Rauschning H. Gespraeche, S. 78 f. О высказывании Герделера см.: Calic E. Op. clt. S. 171.

Horkenbach C. Op. cit. S. 168 f. О роли бюрократии в этот период, а также вообще о политике режима в отношении чиновничества см.: Mommsen H. Beamtentum im Dritten Reich. In: Schriftenreihe der VJHfZ, Nr. 13.

443

См.: Matthias E. Der Untergang der alten Sozialdemokratie 1933. In: VJHfZ, 1956, H. 3, S. 272. Относительно приводимых ниже фактов см.: Hoegner W. Die verratene Republik, S. 360.

Такое красноречивое название имел доклад Р. Брайтшайда 31 января 1933 г., в котором он попытался идеологически оправдать пассивность партийного руководства как акт уверенного в будущем благоразумия; см., впрочем: Matthias E. Op. cit. S. 263.

445

Verhandlungen des Reichstages. Bd. 457, 17. Mai 1933, S. 69.

Конкордат между Ватиканом и правительством Гитлера в результате этих переговоров был подписан в Риме 20 июля 1933 года. Документ предусматривал, в частности, подтверждение права на официальное отправление католического вероисповедания, защиту церковной собственности, сохранение границ епархий и приходов. Дополнительный тайный протокол касался урегулирования проблем с верующими на случай введения всеобщей воинской повинности. — Примем ред.

Цит. по: Fransois-Poncet A. Op. cit. P. 136.

Bruening H. Op. cit. S. 657; последующее замечание взято из дневников Роберта Музиля (Hamburg, 1955), ср: Berghahn W. Robert Musil in Seibstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg, 1963, S. 123.

449

Так насмешливо именовали тех, кто вступал в нацистскую партию после выборов 5 марта 1933 г., иронически используя понятие, возникшее после мартовской революции 1848 г. в Берлине. —Примеч. ред.

Musil R. Op. cit. S. 125; высказывание Тухольского взято из его письма поэту Вальтеру Хазенклеверу от П. 04. 1933, см.: Tucholsky K. GW. Bd. Ill, S. 399.

Domarus M. Op. cit. S. 288.

452

Цит. по: Heiber H. Joseph Goebbels, S. 149; см. также: Rauschning H. Gespraeche, S. 185 ff. Перед гостями из демократического зарубежья Гитлер охотнее всего козырял тем фактом, что, как известно, он устраивает голосования не только по поводу продления срока полномочий законодательных органов, но и по поводу каких-то своих конкретных мер, и является посему куда большим демократом, чем кто бы то ни было; он в любую минуту готов также вынести на референдум вопрос о доверии к нему нации. См.: Jacobsen H.-A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 327.

Rauschning H. Gespraeche, S. 179 ff. Ср.: Heiber H. Joseph Goebbels, S. 137. За всем этим стояла, соблазнительно поблёскивая, идея общности народа, которая на протяжении поколений была одной из первостепеннейших тем неизбывных чаяний немцев. Воплощаемой в народе общности как высшей, мистически воспринимавшейся форме социального существования посвящалась масса литературы о преображении, чьи представления подхватил национал-социализм и с агрессивной остротой противопоставил их не только марксистским тезисам классовой борьбы, но и либеральным теориям плюрализма. Над образом растерзанной нации, её общественными антагонизмами и конфликтами возвышался противоположный ему светлый образ государства, основанного на верности, дисциплине, чести, организованности и преданности и воплощающего не только извечную мечту о гармоничном единстве, но и не менее привлекательную идею могущественного и внушающего страх сообщества. На место метущейся, оглуплённой массы придёт, как заявлял Гитлер, «вырастающая из её недр общность народа, упорядоченная, обретшая чувство собственного достоинства нация». На воплощение этого в жизнь и направлены теперь важнейшие инициативы второго этапа борьбы за власть.

В выступлении перед имперскими наместниками 6 июля см.: VB, 8.08.1933.

455

Ibidem. Насколько сознательно Гитлер искал примирения в целом, видно из его более позднего упрёка в адрес Франко, что тот обращался со своими бывшими противниками «как с бандитами»: «Объявить половину страны вне закона, — продолжал он, — это далеко не лучшее решение», а затем добавил, что был тогда неверно проинформирован на этот счёт, иначе никогда бы не допустил этого; см.: Le Testament politique de Hitler, P. 76 f.

456

Письмо руководителя по пропаганде округа Трира от 19. 01. 1939, см.: Heyen F. J. Op. cit. S. 326 f.

Bracher K. D. Diktatur, S. 258; Schoenbaum D. Op. cit. S. 336 i., Schellenberg W. Memoiren, S. 98.

Rauschning H. Gespraeche, S. 96; Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 518.

459

Слова из уже упоминавшегося выступления 6 июля перед имперскими наместниками.

460

См. перепечатанное М. Домарусом «Сообщение имперской службы печати НСДАП от 29. 06. 1933: Domarus M. Op. cit. S. 285, а также, напр.: Heyen F. J. Op. cit. S. 115. Озабоченность по поводу „обуржуазивания партии“ выражается, например, в полемическом пассаже одной из статей ежемесячника „НС-Монатсхефте“ в феврале 1933 г.: NS-Monatshefte, Februar, 1933, S. 85. К последующей цитате см.: Rauschning H. Op. cit. S. 89 ff.

461

Ibid, S. 198; там же приводится и последующее замечание.

462

Heyen F. J. Op. cit. S. 134, доклад земельного советника из Бад-Кройцнаха.

463

Из выступления Геббельса по радио 1. 04. 1933, направленного «против распространения измышлений о зверствах в отношении евреев», опубликовано в: Dokumente der deutsche Politik, Bd. 1, S. 166 ff.

Fransois-Poncet A. Op. cit. P. 218 ff.

Horkenbach C. Op. cit. S. 196.

Mann G. Deutsche Geschichte, S. 804.

Benn G. Antwort an die literarischen Emigration, GW, Bd. IV, S. 245.

Полководцы Александра Македонского, боровшиеся за власть после его смерти. — Примеч. пер.

469

Horkenbach C Op. cit. S. 207; см. затем: Brenner H. Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, S. 50.

См.: Hagemann W. Publizistik im Dritten Reich, S. 35. По поводу политики национал-социализма в области печати в целом, особенно во время насаждения его идеологии, см. содержательное и основанное на обширном материале исследование Hale O. J. Presse in der Zwangsjacke.

Broszat M. Op. cit. S. 286.

См.: Der Diskus, 1963, Nr. 1, «Открытое письмо». Там представлена и точка зрения Адорно, выражающаяся, в частности, в следующих словах: «Вся ошибка заключалась в моей неверной оценке ситуации; если хотите, в недомыслии человека, которому было бесконечно трудно решиться на эмиграцию. Я думал, что третий рейх просуществует недолго, что нужно остаться, чтобы спасти все то, что ещё можно было спасти. Именно это и побудило меня произнести из тактических соображений те неумные фразы. Этим фразам противостоит все, что я написал в своей жизни до и после Гитлера». Но как раз эти аргументы делают его высказывание ещё более непонятным. Упомянутая в тексте статья Адорно была опубликована в июле 1934 года в журнале «Ди Музик». Относительно «заклинания огня» Эрнста Бертрама см.: Brenner H. Op. cit. S. 188 f. См. затем: Deutsche Kultur im Dritten Reich, Hrsg, von Dreyer E. A. Berlin, 1934, S. 79.

Feistel-Rohmeder B. Im Terror des Kunstbolschewismus. Karlsruhe, 1938, S. 187.

Bracher K. D. Diktatur, S. 271.

475

Scheler M. Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs. Berlin, 1929, S. 45. Симптомами антирационалистической эпохи Шелер называл большевизм, фашизм, молодёжное движение, повальное увлечение танцами, психоанализ, новое отношение к детям, а также страсть к примитивизму, к мифам.

Jung E. J. Neubelebung von Weimar? In: Deutsche Rundschau, Juni 1932. По поводу замечания Поля Валери см.: Mann Th. Nachlese, Prosa 1951-55, S. 196.

477

См. упомянутое письмо Г. Бенна, Benn G. Op. cit. S. 245 f.

См. Milosz C. Verfuehrtes Denken, S. 20.

Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 443; процитированные слова Гитлера см.: Domarus M. Op. cit. S. 315.

480

См. иллюстрацию, опубликованную в кн.: Nolte E. Paschismus, S. 294.

481

Hitler A. Mein Karnpf, S. 491.

Domarus M. Op. cit. S. 302. По поводу приводимого ниже замечания Г. Раушнинга см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 27 f.

Bracher K. D. Diktatur, S. 253, Heiden K. Geburt, S. 257.

484

Wendt H. Hitler regiert, S. 23 f.; затем: Springer H. Es sprach Hans Fritzsche, S. 159. В выступлении в берлинском Дворце спорта 10 февраля Гитлер сказал в этой связи: «Если они говорят: представьте нам вашу детальную программу, то на это я могу дать им только такой ответ: „Наверное, в любое время у правительства должна была бы быть программа с несколькими совершенно конкретными пунктами. Но после вашего хозяйствования, после вашей деятельности, после вашего погрома нужно заново создавать немецкий народ, точно так же, как вы разрушили его до самого основания! Это и есть наша программа!“ См.: Domarus M. Op. cit. S. 204.

См.: Krebs. Op. clt. S. 148 ff.

486

Hitler A. Mein Kampf, S. 228 ff., а также: Rauschning H. Gespraeche, S. 26. По поводу фиаско Федера см. VB, 28.07.1933. Подробную картину политики по отношению к среднему сословию на том этапе см.: напр.: Heiden K. Geburt, S. 172 ff., а также: Broszat M. Op. cit. S. 213.

487

Из письма попечителя труда в Вестфалии д-ра Кляйна статс-секретарю Граудеру, см.: Ursachen und Polgen, Bd. IX, S. 681.

Rauschning H. Gespraeche, S. 151, 179 f.

Schulthess 1933, S. 168.

490

Мефо-векселя были выпущены специально созданной в мае 1933 года фирмой — Обществом с ограниченной ответственностью для проведения изысканий в области металлургической промышленности (сокращённо МЕФО). Оно было основано по инициативе президента Рейхсбанка Я. Шахта. Первоначальный трехмесячный срок обращения мефо-векселей был продлён на многие годы. К 31 марта 1938 года их было выпущено на 12 млрд. марок (62% — государственных расходов, 39% — военных расходов, 16% — национального дохода). Их погашения так и не произошло, хотя предусматривался пятилетний срок. — Примеч. ред.

491

IfZ/Muenchen MA, 151/16. Мелочная суета по поводу вынесенного во второй половине 1932 года на обсуждение проекта автострад наглядно свидетельствует прежде всего о характерном недостатке у них психологического чутья — они явно не брали в расчёт перемену настроения у подавленных безработицей и социальными нуждами людей, которую должно было повлечь за собой начало реализации такого большого проекта. Гитлер же, напротив, сразу же .разглядел этот шанс, и вероятно, в тот момент он для него значил больше, чем та экономическая, технологическая или даже стратегическая целесообразность, которая также была присуща этому проекту.

492

Цит. по: Ursachen und Folgen, Bd. IX, S. 664. Там же приводятся другие документы, касающиеся политики режима в области создания рабочих мест. Последующую цитату см.: Adolf Hitler in Franken, S. 151.

493

Schoenbaum D. Op. cit. S. 150; см. затем: Eschenburg Th. Dokumentation. In: VJHfZ, 1955, H. 3, S. 314 ff.; кроме того: Historikus. Der Faschismus als Massenbewegung. Karlsbad, 1934, S. 7.

494

Rauschning H. Gespraeche, S. 126 u. S. 165; по поводу предыдущей цитаты см. донесение австрийского генерального консула в Мюнхене от 27. 03. 1925, цит. по: Deuerlein E. Aufstieg, S. 252.

495

Так писала, например, выпускавшаяся Отто Штрассером газета «Ди Шварце фронт», см.: Goerlitz W. Quint H. A. Op. cit. S. 367. О дебатах в палате общин см.: Heiden K. Geburt, S. 209.

496

В беседе с бургомистром Гамбурга Крогманом 15 марта 1933 г., см.: Jacobsen H.-A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 395; там же (S. 25) приводятся и интересные данные о смене личного состава в ходе захвата власти. По этим данным в министерстве иностранных дел, например, было «заменено по политическим мотивам не более 6% служащих», и лишь один единственный дипломат, посол Германии в Вашингтоне фон Приттвиц-Гаффрон, сам подал в отставку по политическим соображениям. О данной Гитлером характеристике министерства иностранных дел см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 250.

О реакции за рубежом см.: Shirer W. L. Op. cit. S. 207.

См. в этой связи: Meinck G. Hitler und die deutsche Aufruestung, S. 33 f.

IMT, Bd. XXXIV, Dok. C-140.

500

«Это — война!» — Фр.

501

Nolte E. Krise, S. 138.

502

Так заявил английский журналист Уорд Прайс в ходе интервью с Гитлером 18 октября 1933 г., см.: VB. 20. X. 1933; затем: Horkenbach C. Op. cit. S. 479.

503

Rauschning H. Gespraeche, S. 101 ff.

504

См. донесение британского посла от 15 ноября 1933 г. Ursachen und Folgen, Bd. X, S. 56 f.; см. в этой связи телеграмму, которую направили по этому случаю Гитлеру Мартин Нимеллер и другие священники: «В этот решающий для народа и Отечества час мы приветствуем нашего фюрера. Мы благодарим за мужественный поступок и ясное слово, которые блюдут честь Германии. От имени более чем 2500 евангелических священников, не принадлежащих к религиозному движению „Немецкие христиане“, обещаем быть верными последователями и возносим свои молитвы». Цит. по: Fabry Ph. W. Op. cit. S. 123.

505

К процитированным выступлениям см.: Domarus M. Op. clt. S. 312 ff., S. 324; а также: Horkenbach C Op. cit. S. 536 f. Наглядная картина сложившийся ситуации даётся также в упомянутом донесении британского посла.

Horkenbach C. Op. cit. S. 554.

507

Domarus M. Op. cit. S. 357. О намёках Гитлера в беседе в французским послом см.: Jacobsen H. A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 331; по поводу высказывания фон Нойрата см.: Ingrim R. Hitlers gluecklichster Tag, S. 87. В «Фелькишер беобахтер» от 31. Ю. 1928 приводится безапелляционное заявление некоего австрийского националиста, что ввиду намерений Германии расширить свои владения на Востоке поляки должны будут исчезнуть с занимаемых ныне территорий, а вслед за поляками следует согнать и чехов или же переселить их в Южную Америку.

508

Documents on British Foreign Policy, 2nd ser. vol. IV, донесение от 30.01.1934.

Epstein J. Der Seeckt-Plan. In: Der Monat, 1948, H. 2, S. 42 ff.

510

Высказывание Арнольда Тойнби, сделанное им в 1937 году, цит. по: Gilbert M., Gott R. Der gescheiterte Frieden, S. 54. См., кроме того: Lange K. Hitlers unbeachtete Maxlmen, S. 113 f. Самнер Уэллс также отмечал, что американцев привлекают прежде всего причуды Гитлера, а также сходство его усиков с усиками Чарли Чаплина; Ibid, S. 125 f.

511

См.: Eden A. Angesichts der Diktatoren, S. 87 ff.; Fransois-Poncet A. Op. cit. P. 164. Множество других примеров, аналогичных частично приведённым здесь, см. также в кн. Jacobsen H.-A. Nationalsozialistische Aussenpolitik, S. 368 ff. Эпизод с сэром Джоном Саймоном сообщает А. Киркпатрик: Kirkpatrick I. Im Inneren Kreis.

Цит. по: Fabry Ph. W. Op cit. S. 115.

См.: Brenner H. Op. cit. S. 100 ff.

Ibid. S. 40; затем: Trotha Th. Das NS— Schlichtheitsideal. In: NS-Monatshefte, 4. Jhg, 1933, H. 35, S. 90.

515

Hess R. Reden. Muenchen, 1938, S. 14, замечание Гитлера о том, что массе нужен идол, см.: Hitlers Tischgespraeche, S. 478.

516

«Власть фюрера — …свободна, независима, исключительна и неограничена», — говорил Эрнст Рудольф Хубер: Huber E. R. Verfassungrecht, S. 230. Предыдущую цитату см.: Forsthoff E. Der totale Staat, S. 37.

517

Brueckner W. Der Fuehrer in seinem Privatleben. In: Adolf Hitler S. 36 (выпущено конторой сигаретных этикеток).

518

Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. 150. В «Застольных беседах» он высказывал мнение, что для человека с великими мыслями «достаточно 2-х часов напряжённой работы в день»: Hitlers Tischgespraeche, S. 322.

519

См.: Koktanek A. M. Oswald Spengler in seiner Zeit, S. 458; относительно чтения книг Карла Мая см.: Libres propos, S. 306, а также: Dietrich O. Zwoelf Jahre, S. 164.

Goebbels J. Wer hat die Initiative? In: Das eherne Herz, S. 380. По поводу идеи Г. Федера насчёт офицера с обязанностями секретаря см.: Tyrell A. Op. cit. S. 60.

Domarus M. Op. cit. S. 352; Heiden K. Geburt, S. 260.

522

См.: Meissner H. O., Wilde H. Op cit. S. 195; затем сообщение сэра Горация Рамбольда от 22. 02. 1933 г.: Ursachen und Folgen, Bd. IX, S. 41.

Goerlitz W. Hindenburg. Bonn, 1953, S. 412.

Битва при Танненберге (26-30 августа 1914 года), когда немецкие войска под командованием Гинденбурга разбили 2-ю российскую армию генерала Л. В. Самсонова. — Примеч. ред.

Имеется в виду цвет армейских мундиров. — Примеч. пер.

См.: Krausnick H. Beilage «Das Parlament» vom 30 Juni, 1954, S. 319.

527

IfZ MA-1236 (распоряжение от 30. 05. 1933).

Ibidem.

Roehm E. SA und deutsche Revolution. In: NS-Monatshefte, 4. Jhg. S. 251 ff.

530

Из распоряжения Ch Nr 1415/33 or 31. 07. 1933; см.: Doc. Centre, 43/1.

531

Rauschning H. Gespraeche, S. 143 f. Существуют, правда, две различные версии о намерениях Рема. Согласно одной из них, он собирался сделать из СА своего рода милицию наряду с рейхсвером, согласно же второй — объявить СА основной вооружённой силой и включить в неё рейхсвер. Документы и различные свидетельства позволяют предположить, что Рем разделял обе эти позиции, в зависимости от того, кому он их высказывал, и понимал при этом первую версию как переходный этап ко второй.

Goerlitz. W., Quint H. A. Op. cit. S. 440.

533

Diets R. Op. cit. S. 278. О личностях фон Бломберга, и Райхенау см. также: Foertsch H. Op. cit. S. 30 ff.; затем Hossbach F. Zwischen Wehrmacht und Hitler, S. 76, а также: VJHfZ, 1959, H. 4, S. 429 ff.

534

Rauschning H. Gespraeche, S. 147. По поводу заявления Райхенау на упомянутом совещании высшего командного состава см.: IfZ Zeugenschrifttum Nr. 279, Bd. 1, S. 19. Относительно той роли, которую, с точки зрения Гитлера, должен был играть рейхсвер в деле успешного осуществления операции по захвату власти, см. его выступление 23. 09. 1933 г.: Horkenbach C. Op. cit. S. 413.

535

Из выступления перед штурмовиками Киля 7. 05.г., см.: Schulthess, Op. cit. S. 124. И даже 19 мая 1934 г. он заявил в Мюнхене «старым борцам»: «Революция обязательно будет продолжаться!» См.: Domarus M. Op. cit. S. 371.

536

См. Rossbach G. Mein Weg durch die Zeit, S. 150. Затем донесение французского военного атташе в Берлине генерала Ренондо от 23.04.1934 : Ursachen und Folgen, Bd. X, S. 153. О других подстрекательских высказываниях Рема свидетельствует, напр., Р. Дильс: Diels R. Op. cit. S. 124.

Diels R. Op. cit. S. 275.

538

Из выступления на совещании высшего командного состава, состоявшемся 2-3.02.1934 г., цит. по записи генерала Либмана: IfZ Muenchen, Bl. 76 ff. Упомянутый выше «критерий арийского происхождения» вытекает из статьи принятого 7.04.1933 г. закона о восстановлении профессионального чиновничества, согласно которой все евреи, не служившие чиновниками ещё до первой мировой войны или не могущие документально подтвердить, что сражались на фронте, увольнялись со службы.

539

Материалы Главного архива НСДАП, Hoover Institute, Reel 54, Folder 1290; см. также: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «2 февраля 1934 г.».

Krausnick H. Juden-Verfolgung, S. 319.

541

См. свидетельство Дильса: Bracher K. D. Machtergreifung, S. 942, Anm.

542

См.: Krausnick H. Op. cit. S. 320; затем информацию Кеслера о беседе с Ремом 23. 03. 1934 г.: ADAP Bd. Ill, S. 263.

543

См: Sauer W. In: Bracher K. D. Machtergreifung, S. 946. Согласно Зауэру, при разоружении штурмовых отрядов летом 1934 г. было изъято 177 000 винтовок, 651 станковый и 1250 ручных пулемётов, что соответствовало оснащению десяти пехотных дивизий рейхсвера, установленному Версальским договором.

Ibid. S. 949, Anm.

См.: Liebmann-Aufzeichnungen, Op. cit. Bl. 70.

Papen F. v. Op. cit. S. 344.

547

«Жестокая дружба» — название одного описания отношений Гитлера и Муссолини1, которое в свою очередь восходит к замечанию Гитлера, сделанному в апреле 1945 г.

548

Фрагменты этой речи опубликованы в: Ursachen und Folgen, Bd. X S. 157 ff.

Domarus M. Op. cit. S. 390 f.

550

Rosenberg A. Das politische Tagebuch, S. 32 (запись от 28. VII. 1934).

551

См. ссылку у В. Зауэра, In: Bracher K. D. Machtergreifung, S. 923.

Ibid. S. 954.

553

См.: Krausnick H. Op. cit. S. 321. Однако на этот раз у закулисных режиссёров случился прокол, что позволило заглянуть за кулисы событий; фон Кляйст и Хайнес встретились для откровенного разговора, в ходе которого у них обоих, как заметил позднее Кляйст, закралось подозрение, «что нас… натравливает друг на друга… какая-то третья сторона — я подумал о Гиммлере — и что многие сведения исходят от него»; фон Кляйст дал эти показания на Нюрнбергском процессе; здесь цит. по: Bennecke H. Die Reichs, wehr und der «Roehm-Putsch», Wien, 1964, S. 85.

См.: Das Archiv, 1934, Juni, S. 316 ff.; там приводятся и другие высказывания подобного рода.

Krausnick H. Op. cit. S. 321.

Sauer W. In: Bracher K. D. Machtergreifung, S. 958.

557

Цит. по: Das Archiv, 1934, Juni, S. 327. Там же содержатся и все цитируемые ниже официальные заявления, касающиеся этих событий.

558

Вопрос о личности того, кто был организатором мюнхенского «мятежа», до сих пор до конца не выяснен. Имеется в виду книга британского историка Ф. У. Дикина: Deakin W. F. The Brutal Friendship: Mussolini, Hitler and Fall of Fascism. Lnd., 1962. — Примеч. ред. Помимо Гиммлера некоторые улики говорят против мюнхенского гауляйтера Вагнера, который, однако, опять-таки не мог бы действовать без наущения со стороны Гиммлера.

559

Сообщение Эриха Кемпки, опубликовано в: Ursachen und Folgen, Bd. X, S. 168 ff.

Domarus M. Op. cit. S. 399.

Frank H. Op. cit. S. 142 f.

562

Gisevius H. B. Bis zum bitteren Ende, цит. по: его же. Adolf Hitler, S. 291.

563

Показания Германа Вильда от 4. 07. 1949 г., цит. по: Май Н. Die «zweite Revolution» — der 30. Juni 1934. In: VJHfZ, 1953, H. 1, S. 134.

Heyen F. Op. cit. S. 129. Общее количество жертв этих двух дней до сих пор не установлено. В официальных данных говорилось о 77 жертвах, однако реальная цифра была, видимо, раза в два больше. Те оценки, согласно которым погибло 400 или даже 1000 человек, явно завышены. См. в этой связи: Amtliche Totenliste vom 30. Juni 1934, IfZ Muenchen, Sign. MA-134, Bl. 103458-64.

565

См., напр., упомянутое выше, в сноске 520, свидетельство Виктора Лутце; в других показаниях и сообщениях участников тоже говорится о том, что Геринг, Гиммлер и Гейдрих были подлинной движущей и приумножающей число жертв силой. А. Розенберг утверждал в этой связи, что, например, насчёт убийства Грегора Штрассера «не было никакого приказа» Гитлера и тот в конечном счёте начал следствие, «чтобы привлечь виновных к ответу». См.: Rosenberg A. Das politische Tagebuch, S. 36.

566

Цит. по: Heiden K. Hitler, Bd. I, S. 456 f.

567

См. напр.: Strasser O. Mein Kampf, S. 98; по словам О. Штрассера, Гитлер восторгался Чезаре Борджиа и как-то раз со смаком пересказывал, как тот пригласил своих кондотьеров на званый обед, чтобы помириться с ними, «как все они явились, эти господа из знатнейших дворянских родов, как их усадили за стол, праздновать примирение, — а в двенадцать часов Чезаре Борджиа встал и объявил, что отныне все распри позади, и тут-то к каждому из гостей подошли сзади двое в чёрном и привязали главарей-кондотьеров к стульям. И тогда Борджиа, переходя от одного связанного к другому поубивал их всех по очереди», — так заканчивает этот рассказ Штрассер; это свидетельство не заслуживает большого доверия, в крайнем случае можно допустить, что Гитлер рассказал эту историю под настроение. Но тогда она лишается той характерности, которую вкладывает в неё Штрассер.

568

Свидетельство А. Розенберга: Rosenberg A. Das politische Tagebuch, S. 34; если верить Розенбергу, Гитлер не собирался расстреливать и Рема, однако Рудольф Гесс и Макс Аман переубедили его («Нужно покончить с этой самой грязной свиньёй»).

569

См.: Май H. Die «Zweite Revolution» — der 30. Juni 1934. In: VJHfZ, 1953, H. 1, S. 126, а также: Domarus M. Op. cit. S. 424. Примечательно, что и в более поздние годы Гитлер никогда не объяснял убийство Рема его моральными проступками или намерениями СА устроить путч, а называл в качестве причины строптивость Рема и военно-политические разногласия с ним.

Sauer W. In: Bracher K. D. Machtergreifung, S. 934 f. Зауэр тоже придерживается той точки зрения, что у Гитлера, исходя из создавшейся ситуации, не было иного выбора, кроме как убийства Рема.

Gisevius H. B. Bis zum bitteren Ende, S. 270; см. также: Meissner O. Op. cit. S. 370.

Так, например, Зепп Дитрих был произведён в обергруппенфюреры, а давние приятели Гитлера Кристиан Вебер и Эмиль Морис — соответственно один в оберфюреры, а другой штандартенфюреры; см.: Das Archiv, 1934, Juli, S. 470. Сам же Гиммлер получил в награду самостоятельность СС и одновременно полномочия на создание войск СС; см. совещания высшего командного состава, состоявшиеся 5 июля 1934 г. и 9 октября 1934 г., Liebmann-Aufzeichnungen, B1. 101 и 110.

573

См.: Bracher K. D. Diktatur, S. 263. В этой связи Гиммлер заявил в выступлении в Позене: «Вменяемая приказом обязанность ставить к стенке и расстреливать своих провинившихся товарищей по службе… ужасна для каждого, и всё же каждому было абсолютно ясно, что в следующий раз он снова поступит так же, если ему прикажут и если в этом будет необходимость. Сейчас же я имею ввиду выселение евреев, истребление еврейского народа», цит. по: IMT, Dok. 1919-PS, Bd. XXIX, S. 145.

Hitlers Tischgespraeche, S. 348; затем заявление для прессы от 2. 07. 1934 г., см.: Domarus M. Op. cit. S. 405.

То обстоятельство, что при этом пролилась кровь фон Шляйхера, который много лет был ему близок и одно время был канцлером, не показалась ему — и это весьма примечательно — достаточно весомым для каких-либо оговорок; см. свидетельство Функа Г. Пиккеру: Hitlers Tischgespraeche, S. 405; затем: Prank H. Op. cit. S. 144.

Слова будущего генерал-фельдмаршала фон Рундштедта см.: Liddell Hart B. H. Jetzt duerfen sie reden. Stuttgart, Hamburg, 1950, S. 124.

Domarus M. Op. cit. S. 425.

Mau H. Die «zweite Revolution» — der 30. Juni 1934, S. 133.

Bracher K. D. Diktatur, S. 268. Это фатальное высказывание фон Бломберга звучало так: честью прусского офицера была его корректность, честью же немецкого офицера станет его изворотливость; см.: Goerlitz W. Der Deutsche Generalstab, S. 348.

580

Bor P. Gespraeche mit Haider, S. 116 f. В пору запрета СА Тренер писал в одном из писем, что «дело генералов позаботиться, чтобы военные в конце концов не стали целовать ручки г-ну Шикльгруберу, как истеричные дамочки»; однако именно эта картина в целом метко характеризует манеру поведения фон Бломберга по отношению к Гитлеру. См. письмо Тренера фон Гляйху, опубликованное в кн.: Groener-Geyer D. Op. cit. S. 326.

581

Учреждения погибают в результате своих побед. — Фр.

582

См. выше примечание 548.

Rauschning H. Gespraeche, S. 148.

Ibid. S. 161 f.

585

Sauerbruch F. Das war mein Leben. Muenchen, 1960, S. 520.

Цит. по: Dokumente der deutschen Politik, Bd. II, S. 32 ff.

587

Из письма Гитлера Фрику от 2 августа относительно исполнения закона о главе государства, см. Ibid. S. 34 f.

Выражение М. Брошата, см.: Broszat M. Op. cit. S. 273.

Domarus M. Op. cit. S. 447 f.

Ibid. S. 433.

591

Ibid. S. 436.

Ibid. S. 448.

593

Rauschning H. Gespraeche, S. 165; затем: VB, 11.IX. 1934.

594

Из «Доверительного доклада» одного из руководителей выпускников школ, направляющихся на обязательные сельхозработы; там же раскрываются и многочисленные другие тоталитарные устремления режима; цит. по: Heyen F. J. Op. cit. S. 171 f.

595

Выражение Д. Шенбаума, собравшего обширный материал по этой теме: Schoenbaum D. Op. cit., см., в частности, S. 196 ff. и S. 226 ff. О революционном характере национал-социализма и «третьего рейха» в целом см. также: Dahrendorf R. Op. clt. S. 431 ff., затем: Turner H. A. Faschismus und Antirnodernismus in Deutschland. In: Faschismus und Kapitalismus in Deutschland, S. 157 ff.

Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit. «25 января 1939 г.» См. также выступление Гитлера 27. Об. 1937 г. в Вюрцбурге, где он говорил, что в истории никогда ещё «этот болезненный процесс не осуществлялся более умно, трезво, осторожно и чутко», чем в Германии, см.: Domarus M. Op. Cit. S. 703.

597

Из архива Эппа, IfZ MA-1236, см.: Broszat M. Op. cit. S. 258 и S. 271 t.

598

Выезд евреев из Германии составил в 1933 г. 63 400 человек, в 1934 — 45 000, в 1935 г. — 35 500, в 1936 г. — 34 000, в 1937 г. — 25 000, в 1938 г. — 49 000, в 1939 г. — 68 000 человек. См. документы Объединения евреев Германского рейха, Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Rep. 97.

599

Тайные уголки сердца. — Фр.

Эта знаменитая формула была дана Эрнстом Френкелем в его одноимённой книге (Fraenkel E. The Dual State).

601

Das Archiv, 1934, Juni, S. 359.

602

Из беседы с председателем Союза фронтовиков Франции Жаном Гуа, см. Domarus M. Op. cit. S. 460 f. См. в этой связи также: Nolte E. Faschismus, S. 170.